ТАИСЬЯ ПЬЯНКОВА

СИБИРСКИЕ СКАЗЫ

ТАИСЬЯ ПЬЯНКОВА

СИБИРСКИЕ СКАЗЫ

НОВОСИБИРСК 1993

ББК 84 Р7-4
П 96

Художник Заплавный А. А.

Пьянкова Т. Е.
П 96 Сибирские сказы.— Новосибирск: Фирма «Тимур», 1993.— 464 с., 16 цвет. ил.
ISBN 5—85513-022—3

Уникальность дара Таисьи Пьянковой заключается в умении поверить в чудо-невидаль. Как не многим на нашей суетной земле природа открывает ей свои тайные дела: ей нашептывают свои вековечные истории мохнатые таежные ели, с ней разговаривает только что народившийся месяц, и пичуга прилетает к ней на окно поделиться своей радостью. Очень органичный человек Таисья Пьянкова, к тому же имеет свое заповедное слово, доставшееся ей в наследство от бабушки. Слово, казалось бы, простое, да есть в нем тайная сила: ведь «простые слова — самая великая мудрость».

Книга «Сказов» Таисьи Пьянковой — прекрасный подарок всем неравнодушным к нашему родному слову, всем, кто верит в великое чудо, имя которому — Россия.

П $\frac{4702010201—19}{ЛР\ 061507—93}$ Без объявл. ББК 84 Р7-4

ISBN 5—85513—022—3

ТАЕЖНАЯ КЛАДОВАЯ

СИБИРСКИЕ СКАЗЫ

ОТ АВТОРА

Перефразируя английскую пословицу, скажу: нет плохих сюжетов, есть плохой язык. По нескольку раз на дню, и вольно, и невольно, я вспоминаю бабушку мою, царство ей небесное, Баранову Елизавету Ивановну. Она без мудрого слова народного и гостя не встречала, и солнца не провожала. Не зря, видно, добрые знакомцы зачастую ее, неграмотную, именовали профессором; недобрые судили о ней — книжница голозадая. И, действительно, в доме ее серьезному вору взять было нечего, кроме книг. На этот счет бабушка часто говаривала: исполнением дел праведных не наживешь палат каменных. Иной раз добавляла: не будешь богат, а будешь горбат. Однако же чувства самоуважения и гордой совестливости она не теряла никогда. Кроме того, она имела талант слышать русское слово и пользоваться им сполна.

Я от родителей своих осталась крохою. В доме Елизаветы Ивановны, помимо меня с сестрою, после многих кряду смертей, сохранилось еще шесть человек. Я — самая младшая. Кто на работе, кто на учебе. При хозяйстве обычно суетились бабушка да я. Суетилась-то бабушка, я же при ней присутствовала в посильных собеседниках. За делами она любила рассуждать о людях, о совести, о высших силах.

— Бог есть слово и слово есть Бог!—слышала я часто от нее.— Не на небе, в душе всякого человека жив Господь! — уверяла она меня.

Я была частым свидетелем ее бесед со своим Богом, с которым она говорила на равных. Порой она меня вовлекала в эту компанию. Бабушка не щебетала со мною; каждое ответное слово мое обязано было попадать в цель.

Очень скоро я поняла, что попадание это, хотя и достается мне с великим трудом, наполняет меня многодумьем и ответственностью за высказанное слово.

Пустословья и краснобайства бабушка моя не терпела. При ней, помнится, ни одна соседка не позволяла себе по чьему-либо адресу зряшное замечание.

При всем при этом в доме нашем часто собирался народ. Выдумщица и песельница, бабушка привлекала к себе людей умением делать все. Могла она и шелками шить, и с одного удара завалить кабана.

Маленькая, сильная, проворная, умная и строгая, она отвечала за всякое действие и слово свое.

В шесть лет перенять мелодию речевого склада, осознать неповторимость родимого языка — это ли не подарок, данный мне судьбою на всю мою многотрудную жизнь.

Мне повезло сполна перенять от моей прародительницы умение слушать и слышать и сдерживать в себе, при нужде, всегда емкое слово.

Скоро мне пришлось оказаться на людях, которые тут же зачислили меня в разряд недоумков. В ранней юности моей среди сверстников ходила даже такая приговорка: на чох желали — будь здорова, не будь бестолкова, как Тая Пьянкова.

Редко, но встречались на моем пути и такие люди, которые понимали, что живу я в каком-то изначальном мире — в мире чистого и честного слова. В нем нельзя быть понимаемой с ходу, поскольку там невозможно не мечтать, не фантазировать.

Случалось, в мое обиталище врывались особи со словами искалеченными, либо пересоленными, но хуже того, дистиллированными. Вот тогда-то я становилась, как мне говорили, невыносимой, даже озлобленной. Человек, посягнувший на мою святыню, навсегда оставался моим неприятелем. Люди с выхолощенной, бравурной либо щегольской речью также не были мной уважаемы. Зато каким праздником становилось для меня редкое общение с людьми родниковыми, теми, кому и в голову не приходила мысль о словоблудии.

Особенно я, городская, чувствовала отраду, ког-

да мне приходилось бывать в деревнях. Я воскресала засмурневшей душою. Восторг и удивление завладевали мной: жив язык мой, жив родимый! Во мне торжествовала уверенность: нет же, не подменили его пустозвоны парадными восторгами и убежденностью вокзального диктора. Помимо воли моей, во мне шло накапливание этого удивления. И когда натура моя переполнилась обретенным, пришла боязнь утраты мною накопленного. И я взяла в руки перо сказителя.

Поначалу я торопилась как бы законсервировать оцененное. Но с годами поняла, что родник слова русского неиссякаем, что пронизана кровь моя родовой памятью. Однако накапливание шло слишком долго, теперь меня не оставляет беспокойство — успею ли изложиться до предела? И еще не отпускает страх: заслуживает ли моя работа того, чтобы отнимать у людей самое дорогое — время?

Таисья Пьянкова

3 февраля 1991 г.

КЛИКУША

В стары-то времена к нечистой силе кой-то стороной всякую быльницу притуляли. Навроде прокоптят ее дымком небылицы, чтобы со временем не иструхлялась, и до внуков-правнуков дошла в целости-сохранности — не в устрашение умам, а в полноту разума.

Нужды великой не было ходить за надумками по свету. Сами краснословьем могли одарить дорожного человека да и к своей памяти привязать сказанное кем. Вот и выходило: спал Егорий на своем подворье, а шли к нему сны с любой стороны.

Так, должно, и про бабку-Кликушу. По травинке да соломинке наскребли копешку — в навильник не ухватить.

Была она, сказывают, бабка та, была. В знахарках числилась. Знала, стало быть, силу лечебную всякоей травки махонькой. Которой подоспеет пора силу свою буйную накопить, бабка за лукошко да в лес-поле.

Видели ее люди на той страде травяной; идет себе тихонько: то сощипнет, то потянет... а сама все шепчет и шепчет, навроде перекликается с кем. За то ее Кликушей и прозвали.

На погляд — дело чистое, без колдовства какого. Да людям скучно без чуда-невидали верить в этакую хитроумность.

Недолго она зажилась в селе. Прибрела Бог весть откуда, убрела Бог знает куда.

Ноне-то у кого порез на персту али где случится — болесть мизерна, а дохтора неделю лялькаются. А было — прахом с дороги, паутиной ли рану залепят, тут тебе и вся лечба.

С большим каким недугом к знахаркам кидались. Куда ж еще? Коли на всю округу один немчишко ерепенистый врачевал. К нему? Одно дело — версты считать, другое — деньги... А тут — чем Бог послал.

Ну, да не всякая бабка печет сладко. Другая так улечит, что исповедаться неколи. Лекарка такая опосля руками разводит: пришелся-де Богу ко времени. Что до Кликуши, то эта на особом счету была.

Поглядит было вприщур на хворобу да и уйдет молчком, коли чует слабость свою. Тут уж попа зови — соборовать.

А где поопридержится бабка — пойдет человек, куда болесть денется.

Жил там же в селе дед Соловей. Все из разных безделущек музыку добывал. Такой, слышь-ко, мастак был по этой части, что и Соловьем-то его не за серость да малость поименовали.

Листок возьмет березовый, тростинку сломит малую аль гребень внучки своей Аленушки ко губе приладит — тут и сердцу услада. До слез доймет, а нет, так ноги сами стоять не велят.

На то и Соловей.

Брехали бабы, что Аленушка внучкой ему и не приходилась вовсе. А так. Подобрал где-то сиротинушку дед, пригрел от доброго сердца.

Девка в самы невестины года уж входила, а чисто пащенок паршивый: махонька да рябенька. Подружки завсе ее секретами-заветами обходили, а что до парней... те и глазами-то ее, как сраму, хоронились. Кому такой стручок нужен?

Вот горе бежит, беду за руку держит.

По осени поиграл как-то с Соловьем бычишко соседский в пятнашки, вусмерть загонял старого. До двора только и успели люди донести.

Поохали вкруг сиротинушки, пожалковали, помощь какую ни на есть оказали по похоронам, да и восвояси: чужа забота — до поворота.

Осталась сирота: себе — тягота, другим — издевка. Заступы на нее никакой... А ведь вот еще: у всякого латаного полно добра ласкового, да всяк норовит ткнуть туда, где болит.

Как тут жить?

И задумала Алена сотворить над собой дело богопротивное.

Как вечер к ночи затрусил, убрела она под крутой бережок.

Стоит в сутемках, мешкает. Хотя горя поверх маковки, а все голову приклонит к воде — не к материнскому плечу.

Вглубь глянула — спина холодом подернулась, страх за горло ухватил: смотрит на нее из воды девица-красавица. Вроде Алена. Вокруг темь непроглядная, а от виденья того свет исходит. И такая, слышь ты, сила в той девке водяной — глаз отвести не можно.

Все забыла сиротка: и горе свое, и обиды людские, и страх давишний. Стоит и смотрит.

Тут из-за спины водяницы Кликушино лицо выплыло:

— Чего-то, девонька, припозднилась ты на воду любоваться?

Дрогнула Алена: сломалась гладь водяная, кругами пошла. Оглянулась — Кликуша рядом стоит, просит:

— Пособила бы дряхлой поклажу до дома донесть.

Подосадовала девка, что помешали ей, да тут и забыла. Вскинула бабкино лукошко на руку, следом потянулась, а сама думает: «Ишь, как хитро отвел мою задумку водяной. Знать, и ему не поглянулась я».

Ну, пришли почем время, печку затопили, повечеряли чем пришлось. Кликуша ряднушку на лавку кинула, подушку сует.

Легла Алена, как провалилась, ажно сон проспала. Утром проснулась — солнце в полную силу играет, бабка Кликуша у печи ноги мнет.

Охнула Алена со стыда, спорхнула с лавки, в преддверии поклоны бьет, прощается. А Кликуша ей:

— Что ж ты, дитятко, скоро так? Пирогами ли хозяйскими брезгуешь, сама ли хозяйка обидная?

Занеудобилась девка, к косяку припала, лепечет:

— Ой, бабушка! Сладки пироги твои, да честь знать пора.

— А коли сладки, — ведет старая, — чего ж от них скоком? Садись-тко, поутряй на дорожку.

Села разумница, Кликуша подсовывает поприжаристей да похрумчатней. Пироги-то, к месту сказать, сами в рот просятся.

И то видно, будто со хмельного голова туманится, на сердце веселость вьется, и думки никчемные, что росы от солнца полуденного, испаряются в ясное небо, облачками легкими плывут, плывут... Невесть куда...

Уж и голос бабки, сызначала скрипучий, звенит теперь колокольцами серебряными, струночками ласковыми тренькает:

— Беда, милая, что вода. Кто не боится в ней помыться, завсегда на люди чистым выходит. А коли шибко глыбко — не гнушайся голос подать. Авось на крут

бережок прибежит верный дружок. И, как в сказке говорится: коли девкой окажется — сестрой будет, коли молодцем статным — братцем званым, а коли, как я, старой каргой — тут уж сердешный покой. Ведома мне печаль твоя. Поделить ее надобно да теми долями свиней накормить. Только на дело такое время нужно. Поживи-тко у меня, сколь придется, а как солнышко тучу скинет, поприглядней будет глядеть, в какую сторону вертеть.

Аленушка привычна к тычкам да издевкам. А тут такая ласка сердобольная. Она и разревелась. Уткнулась в бабкины колени, ходуном ходит.

Кликуша гладит ее да приговаривает:

— Выслезись, родимая. Выплесни застой. Ослобони душу для веселья-радости.

Так и осталась сиротка у старой. Ну, день живет, неделю коротает. Там и за месяцем месяц пошли вуцепку. На чужих глазах Алена не вертится, да и бабка ее не неволит, навроде огораживает еще:

— Любое семя сидит до время. Пора приспеет — зацветет, поспеет.

Прошла зима за рукодельями разными да избяными заботами. Там и масленица[1] снега распустила, круто облачко на синеве выткала. Засовалась по оконцам Аленушка. Слезы за глазами еле удерживает да от бабки веселинкой отгораживает. Ан старости у младости догадливости не занимать. Между стряпней Кликуша и говорит:

— Спорхнула б ты, Алена, на зелен луг, во девичий круг. За зиму долгую, поди-ка, хрящами косточки поросли. Чего же сидьмя-то сидеть?

Взяла Алена бабкины слова впослух, приоделась и поискрилась на бережок, где девки хоровод водили. Пришла и стала у кусточка бояры кудлатой. Стоит по своей обычности, радуется чужому веселью. Разбежались девки в веселухе и Алену закружили, завертели.

Алена ходу из круга не ищет, дивится только: «Откель во мне смелость завелась — с девками в хороводе играть?»

Тут круг раздался, плывет Алена посреди хоровода лебединочкой, радуется: отродясь в хороводе ногой не

---

[1] Масленая неделя перед Великим постом: *понедельник* — встреча; *вторник* — заигрыши; *среда* — лакомка; *четверг* — широкий, разгульный; *пятница* — тещины вечорки; *суббота* — золовкины посиделки; *воскресенье* — проводы.

повела, а смотри-тко, получается. Вроде кем гораздым научена.

Наклонила плясунья голову, глянуть, что ноги выделывают, видит: чеботки на ней новехоньки, убористы. Блестят-переливаются. Повела глазами на себя: сарафан — золотая кайма, звездами ткан, будто с полуночного неба упали они на голубой шелк. Гармонист ливенку развел да и замер, как глиняная безделуха на лавке. А плясовая так и льется невесть откуда.

Спохватилась Алена. Как ветром сдуло девку с круга. Забежала плясунья за куст, оглядела себя, ощупала: сарафан ситцевый, немудреный, кацавейка стеганая да и плат не впригляд... Возвернуться в хоровод уж не решилась. Домой побрела, а сама прикидывает: «Неладное со мной деется, болесть, знать, неведомая за меня ухватилась. Сказаться бабушке — полечит».

А старая-то на крыльце Алену поджидает. Пристально так смотрит, как богомаз на икону. Будто выглядывает, все ли на месте, всякая ли краска к делу пришлась?

Алене даже тяжко сделалось.

Остановилась она во дворе, стоит. А Кликуша с крыльца спустилась и пошла вкруг Алены. Обошла ее на раз и молвит:

— Вот и пришла пора — убираться со двора. Зажилась я тут с тобой, замешкалась. Коли спросят про меня, скажи: «За травой убрела, мол, старая, и не возвернулась ко времени». Не ищи меня и не тужи шибко. Одна не останешься. Суженый твой с восхода — в воду, с заката — в хату. Умом не зови — сердцу верь. А я тут всегда.

Огляделась Алена — нет никого.

Жутко стало. Потом одумалась. В хату кинулась.

А там сарафан голубой с золотой каемкой на половицы брошен. Поверх обутки те, что Алена на себе в хороводе видела, стоят. Будто кто суматошный убрать не успел.

АЛЕНА-ТРАВЯНИЦА

В народе говорят, что жизнь — она своенравная штука: кого по головке гладит, кого взашей ладит. Выкамуривает над человеком, как поглянется. Да мы ей и сами в том наипервые пособники.

Так-то и с Миколкой пошутковала судьба-злодейка.

Не впусто людьми молвится: «Бежит вор в бор, а выбегает, знато, туда, где взято».

В каких землях доселе Микола мотался, чего нахватался,— один Господь ведает.

Только деревня поперва приняла его за доброго человека: живи, хозяйствуй.

Мужик оказал себя дельным. С виду рыж, как пыж, да знал, знать, кого бодать.

Поди, и дале понукал бы паря, да Алена-травяница кликушинская ухабиной на дороге его подвернулась.

Треснуло колесо Миколино, а вычинить охота не приспела.

Засмотрелся гусь на гагару, память вышибло — в катался,— один Господь ведает.

Вот те и жених!

А то бабы жалковать было собрались Алену: одна и одна, как былинка в поле: службу есть кому служить, да не к кому голову прислонить.

Парни, которые, бывало, глаза мозолили об Аленкины оконца, поотстали со временем, обмужиковались, детей повывели. А она все в девках ходит.

А девка, не худо сказать, вызвездилась ясной звездочкой, выпрямилась да вытянулась. Рябинки с лица как крылышком кто смахнул да курам горсткой вышарнул.

Да, умна Алена сладилась. Днями по лесам бродила, потемками по книжкам пальцем водила — грамотой тешилась.

Ну дела! Люди на нее рукой махнули, во лбу покрутивши: жена ученая, что вода толченая, сколь ни пестуй, одни музли на персты.

Потому никто Миколе дорогу не заступил, охотки не пресек. Однако сумлевались: «Лови, пайчик, солнечный зайчик...»

Так и пристал Микола к селу, как ветка к помелу.

Живет. Хозяйством обзаводится. Ждет, когда с Алены кураж схлынет. Тем временем и приметил его купец один. Ну тот, который лес откупил для поруба. К себе зазвал и величает:

— Мужик ты подходящий. Цепкий, вижу, мужик. Мне такой позарез нужон. Подь ко мне на лесопилку началить.

Микола замялся поперва, как жмот на ярмарке, цену поднял. Да где ж отказаться, когда у того лесозавода

вся округа кормилась? Вот и прикинь, кем Микола становится.

— Испыток, — говорит, — не убыток. Бери, коли поглянулся.

Заделался рыжий наипервым хозяйским советчиком, наипервейшим подсобщиком.

Захухрынился, забекренился: фу ты, ну ты, лапти гнуты.

«Ну, ну, — думаем. — Петушися, кочеток, поерепенься чуток. Поершися, кочет, покуль силку[1] точат».

Алена-травяница тоже диву далась: «Гляди-тко! Поганкой вынырнул, да боровиком вывернул».

Микола пуще того в пыжню ударился. Окромя тыка да крика никак не здоровкается.

Видит хозяин такое дело, вовсе на Миколку заботы посбросал: сам себе гостем заделался.

Одна только забота у рыжа: хата без хозяйки чужа.

Алена хоть и подаряет Вовку бровкой, а все не запамятует бабкин сказ: «Суженый твой с восхода — в воду, с заката — в хату. Умом не зови, сердцу верь».

Ну так, знамо, лето за зиму, зима за лето...

Позаряла как-то Алена по траву-мураву за поскотину, в лягу заречную. Солнышко только рожки над землей выставило. Спустилась она к воде, бродом пошла. Ноги ставит кошкой по склизким камешечкам — где не оступиться.

Добрела Алена до середины, тут впереди и плеснуло. Глядит, чужак с берега в воду ступил. Жуткий мужик: бородой, как пырьем, порос, космы не прикрыты, рубаха — слава одна: латка на латке — хозяина нет, одни постояльцы.

Метнулась было девка прочь, да вспомнила: «С восхода — в воду». Пошла навстречу. Поравнялась, охнула:

«Выходец с того свету!»

Поманила Алена мужика за собой. Хоронясь, домой привела. На сеновале уложила, за молоком в сени побежала. Скоро возвернулась. Спит мужик. Так натощак и проспал до вечера. А глаза развел: девка рядом сидит.

— Куда это я забрел? — спрос ведет.

Аленушка все ему обсказала.

— Зря ты, девонька, озаботила себя, — печалится мужик. — Каторжный я. Суета тебе будет великая, коли не спровадишь меня до ночи.

---

[1] **Силка** — охотничий нож.

— Куда ж этакий пойдешь? Пропадешь. Лежи давай. Хатка моя мала, да доброму человеку места хватит, и в обиду не дам.

Улыбнулся мужик девичьей речи, однако остался.

Принесла Алена ужин. Ест мужик да на хозяйку глядит. Она речь ведет про свои дела, а сама думает: «Сколь легко-то мне говорится, сколь ладно мыслится. Праздник в груди веселится, глазыньки смехом полнятся».

И мужик не томится. Вот и засумерничались они до звезды. Алена пресекла себя на памятке: «Баньку б стопить».

Выскочила, пробыла сколько-то, скоренько обернулась. Тут села. Опять говор ладят.

Вовсе как запотемняло, помылся Артем в бане, в хату ступил. «С заката — в хату», — вспомнила Алена.

Окна покрепче девка занавесила, гостенечка на печи пристроила, сама на лавке прикорнула.

Не идет сон, не быстрится; голова думами полна: «Умом не ищи — сердцу верь».

И поверила Аленушка сердцу своему: полюбила она мужика бездомного. Ни двора у него, ни кола, ни одежки, ни денежки, а куда денешь-то?

И он не спит на печи. С боку на бок перестраивается, вздыхает.

Слышно-то Алене, и радостно, и боязно, и тает ретивое, как масло на шестке. И солнца хочется скорей, и ночь желанна, и бежать-лететь хочется, и пальцем шевельнуть нету сил.

Утром Микола рыжой заказал работу на лесопильне, места проглядел, людей пересчитал — все ладно. По селу запылил. Мимо двора Алениного туда-сюда прометнулся, через плетень перегнулся. Хозяйке поклон отвесил, ладит ответ принять. Да Алена чего-то не та: светится вся, да не про него тот свет, смеется, да не вчерашним смехом. Каким-то непонятным.

Побрел Микола прочь, а сам рыжей башкой мотает, дивуется: «Блажит девка: глазом ластит, а хвостом застит. Ну, доберусь я до тя, увертыш».

Ко полудню урядник на село прикатил с парою лихих удальцов. Зашмыгали они по дворам. Выспрашивать почали о побродяжке. Того, другого пытают:

— Не видали?

Люди руками разводят...

Сник урядник, Миколе наказывает:

— Смотри в оба, начальник, Смутотворец он. Кабы завод не подпалил. Коль дознаешься чего — ко мне мигом. А то сам хватай бродягу.

Защелкал законник кнутом, а Миколку суета одолела: все дворы вынюхал, все закоулки выслухал — никем не слежены. Притух малость. Опять жениховство справляет.

Сидит ввечеру Микола за Алениным плетнем, комаров с шеи сшибает. Летний вечер мешкотный: до зорьки тени тянет. Как вовсе смерклось, собрался Микола до дома. Тут девка на грядку выбегла, сощипнуть чего.

Вот она, рядом. Рукой достать.

Не стерпел Микола, выпрыгнул из-за прясел, ухватил девку.

Та вывернуться не торопится, ласково говорит:

— Брось, Артем. Пошли ужинать.

Микола руки сдернул:

— Кой Артем, сказывай!

Напирает так-то на девку. Видит Алена, оплошка вышла. Однако не струхнула, не завертелась. Стоит спокойнехонько, смеется:

— А тот самый, которого ради ты всю округу взял. Как же боишься-то, погляди-тко.

— Чего мне бояться? Вот гукну урядника, упекут твово хахаля в Александровский, да и тя заодно, вертихвостка!

— Ох, ох, погодь, Миколашка. Не замай. Не то худо не переплачешь.

Видит Микола — потерял вовсе девку. Заметался по двору, кол из плетня выправил да в хату.

Заступила Алена Миколе путь. Во зле-то на нее Микола попер:

— Говори, кудла травяная, где вора ухоронила? Убью, такая...

Махнул ерепеня колом да чуть не упорхнул долом: в руках его и не кол вовсе, а травинка зыбкая. Перед ним бабка черная. Стар-стара. Шуршит, что сухая трава под ветром:

— Вот и пало встренуться лицом с подлецом. Знать ты меня не знаешь, ведать не ведаешь, да я давнехонько к тебе дело пытаю. По белу свету ходяша, тако, как ты, дерьмо глядяша. Слухай в оба уха: и тута я, и тама

я, и наградой я, и расплатой я. Из-под камня гляну лежалого, из-за леса встану стоялого. Все мне впамятку. Наскрозь вижу, вижу наскрозь. А ну, держи порты да кружай верты! Духу твово чтоб до утра не чуяла. Не сгинешь, так сгниешь, не спляшешь, так прахом ляжешь.

Завертелся Микола, что пес за гузкой, шмыгнул за прясла, ажно подсолнухи застукали. Протопал улкой, на повороте обернулся: стоит на крыльце Аленка, статная, в голубом сарафане звездчатом, и пальцем мотает.

Одыгался кой-как Микола, ночь передрогал, утром барахло в переметную суму скидывать принялся, тут урядник застукал в ворота:

— Эй, пара простю[1]. Отворяй дворы гостю.

Обрадовался рыжой уряднику, за стол усадил. А когда по доброй выпили, Микола ему и поведай о девкином наказе: за любовь, мол, велела колдунья поутру монатки сматывать.

Про Артема умолчал-таки.

Докумекал законник, что к чему, пузом раскололся:

— Ох, ух! Уморил ты меня, дубина стоеросовая. От усердства шибкого умишко вышибло?

Обидно то Миколе показалось, он и ляпни:

— Упреждала бабка не замать Артема. У девки-травяницы хоронится каторжник.

Смолк урядник, ногой двери вышиб:

— Пошли!

Только к избе Алениной подступили, хозяйка встречь идет.

Принаряжена в голубой сарафан с золотой каймой, на ногах обутки царские.

— Тут он, тут Артем. Проходите, гостеньки дорогие, об притолоку не стуканитесь.

Сама вперед ладит, гости за ней.

Урядник с ходу шашку выпужнул, да, пропустивши вперед Миколу, за косяк зацепился и раскорячился в дверях, как вошь в гребешке: руками машет, а дале не пляшет. Онемел скоро.

Артем с лавки привстал, поклон гостям отвесил. Стоят гости, как кол проглотили.

Алена тем временем образа с божницы приняла, на лавке у окошка пристроила.

Чудится рыжому: растут образа, ширятся. В рост человеческий поднялись да и распахнулись настежь.

---

[1] Простя — глупый человек.

— Ну, — говорит Алена, — попялился ты на меня довольно! А что не послушал вчерашнего наказу, сам виноват. Не взыщи.

Взяла Алена суженого своего за руку и пошла в те створы образовы. Не успели они захлопнуться — урядник от косяка отлип.

— Что глаза раззявил, тетеря, — заорал он, — догнать их! — От тугого кулака в загривок Микола перемахнул разом избу, налетел с маху на образа, и нате... Образа-то застекленными оказались. Микола через подоконник на улицу свесился, выхлестнул напрочь стекло оконное.

— Где девка? — тормошит Миколу урядник. — Где каторжник?

Мычит Микола, ладошкой нос зажавши, кровью на стороны мотает.

— Упустил, губошлеп рыжий, — воет урядник, — ушли огородами! Через окно ушли! Ну, ты у меня теперь попляшешь.

А как не «попляшешь», когда рыжий нос стеклом отсек, самую дюбку, как ножом срезало.

С той поры и стал Микола гнить. На глазах сгнил мужичонко. От носу пошло.

Так-то оно бывает.

НЕЧИСТАЯ ТРОИЦА

В деревне, в Красном Яру, на отшибе у самого оврага избушечка малая невесть с каких пор место заняла.

Оконные рамы у той избушки повыгнили, иструхлились все и вывалились вместе со стеклами. То ли сами выпали, то ли ребятня помогла? А только как начнешь подниматься из оврага в село, так и уставятся на тебя те дырки избушечные, словно пустые глазницы.

Недавно избенка совсем завалилась. А бывало, кто трусоват да греховат, обходил ту постройну бесприютную.

Хорошо людям помнится: жили в той избушке три бабки. Все три вровень ростом и сединой, и глазами.

Сельчане судачили, что те бабки родней друг дружке приходились: кто-то из них внучка, кто-то — дочь, а

третья — бабушка. Разберись тут, кто из них над кем стоял, когда они уж и сами запамятовали.

Злой язык как-то назвал их нечистой троицей, назвал, как с размаху прилепил. Разное болтали. Кто соврет, кто подкинет, а кто раздует.

Вот и выходило: могли они в единый миг в кого угодно оборотиться. Хоть в зверя лютого, хоть в рыбку золотую, а то и в птицу, а и в красну молодицу. Одна ль из них, все ли трое бесовским ремеслом тешились — про то врать не врали, не знали.

Да и, правду сказать, никто от тех старух лиха не имел и людей, коим печаль-горе от них прилепилось, видеть никому не приводилось. Но слыхом народ слыхивал про одну такую тяготу.

Жил в Красном Яру Аверьян Никитич. Богач — не богач, а мужик зажиточный. Домино имел крестовый, тесом крытый. Забор округ — рукой не дотянешься, кобель на цепи, что зверь, матер. Ко всему, жеребца выездного держал мужик. Крепенько жил и до наживы лют был шибко. Бабу свою за работой уморил, еле ноги переставляла.

А и недалече от того Аверьяна, почитай, в суседстве, вдова Бараниха горе мыкала.

Род ли удался хворый сам по себе, господь ли за что прогневался да перстом в них сунул лихой минутой — неведомо. Только первым мужик на тот свет ушел и двери распахнутыми оставил. Годом поспешили за ним два сына и дочка, все на возрасте. Осталась Бараниха с ребятней. Старшой давно уж в ту дверь заглянул, собраться только осталось. Другой мальчонка — на двенадцатом году — хворый же, последняя девка и того меньше.

А баба-то работяща да красива. Сколь горя не перенесла, а все не клонится. Не зря говорят: горе любит песни слушать. В песне, знать, и Бараниха слезы прятала. Любо-дорого на такую поглядеть.

Вот и наладился Аверьян ко вдове в гости с полдороги завертать.

Посидит, зенки потаращит, поумничает об чем не нужно, потом и схвастнет при народе черт знает что.

Баранихе за делами-заботами жалко попусту время кидать. Кто что донесет на нее, она только отмахнется: мели, мол, Емеля, — твоя неделя.

Все б ничо, да припожаловала ко вдове жена Аверьянова, принародно охаяла. Бараниха после того и пока жи гостю помело: по чину и дрючина. Вдова-то вскорос-

ти забыла про то. Аверьян же думку пакостную затаил.

Однако дело к весне близилось. Об ту пору скуден стол у голытьбы. Какие запасишки с осени уготованы, к весне вовсе повыветрятся.

Тут еще у Баранихи старшой слег. Билась баба, билась. Дошло до того, что куска в доме не осталось. К кому с пустой котомкой сунешься? Кругом — голь перекатная. Всяк с хлебом впринюх щи пустые хлебает. А к богатею — зазря ноги мозолить.

Да и Аверька, злыдень бессовестный, подговорил, кого подоступней из богатых, не давать Баранихе в долг.

Как горе-нужду обмануть?

Голод — не тетка, кукиш не покажешь. Пошла-таки горемычная к Аверьяну.

Мужик только того и ждал:

— Отдай, — говорит, — сына своего меньшого мне в работники — двор где прибрать, воды принесть. Баба-то моя, сама знаешь, велика ли помощница. Коли так — дам пуд муки, нет — и суда нет.

Пока вела Бараниха парнишку к Аверьке, всю дорогу слезами улила. Тот муку наготове держит. Знает, демон, нет у бабы другого выхода.

Взяла вдова муку, домой принесла. Вязку распустила, щепотку на язык кинула. Ан мука не пригодна для стряпни — керосином попорчена.

Она вобрат:

— Пошто ты мне, Никитич, карасиновой муки наскреб?

Тот и отрубил:

— Сама муку испоганила. Забирай и уматывай!

Бросила баба ту муку у супостата и пошла домой. Идет, свету белого не видит.

А путь ее — мимо той самой постройны, в коей нечистая троица жила. Глядит Бараниха: одна старая через дорогу быстрехонько семенит. Бабе и не к уму... Мало ли кому среди бела дня приспело пробежаться.

Подошла вдова к тому месту, где дорогу бабка перетрусила, глядь-поглядь, лежит на дороге золотой. Охти мне!

Из богатых кто вряд ли золотой упустит, жадны, крепко деньгу держат. А бедных-то золотые и во сне обходят. Да и место видное, прохожее.

Вдова золотой подняла и стоит. Боится этакое богатство в дом нести. А тут старушонка назад торопится. Бараниха к ней.

— Не ты ль, — спрашивает, — сердешная, золотой здеся утеряла?

Старушонка приняла монету, покрутила в тощих ручках да и молвит улыбчиво:

— Тут не один золотой.

И разделила деньгу, как расколупнула с ребра.

— Бери, — говорит, — добрая душа. Тебе судьбинушка твоя горькая улыбнулась. Может случиться и такое, что призовет Господь твоего старшого, так будет на что проводить сынка, да и на обзаведение кой-чего выгадаешь. А меньшого к нам пришли, полечим, может.

Вернулась Бараниха домой, а оно и правда: помер сынок-то.

Ну, обрядили, как могли, и снесли на покой.

На другой день купила вдова муки, отнесла Аверьяну. Молча на лавку кинула да парнишонку за ручонку... Тот зубенки скалил — радуется матери.

Вскорости совсем приободрилась баба: пацаненка с девчонкой приодела-приобула, сама кое-чем отметила свою удачу и старушек тех не забыла.

Аверька только глазами хлопает: откель у бабы деньга завелась, с какой такой сырости? Мечется по дворам, народ с панталыку сбивает:

— Крадено, — говорит, — у нее это.

Ну, люди-то Бараниху давно знают, не верят наговору.

Нашлись все-таки подсевалы, с расспросами к бабе подались.

Она возьми и отшутись: из муки, дескать, карасиновой золотой выудила.

Тут Аверьяна за живот ухватило. Прибежал ко вдове, орет, слюнями брызжет:

— Отдавай, — кричит, — золотой, не то живьем в землю законопачу.

Ну, вдове делать нечего, обсказала все как есть.

Аверька ко старухам-то и заявился.

А бабки будто его век ждали, забегали, засуетились:

— Садись, Никитич, сказывай, с какой нуждой к нам припожаловал?

Тот и ляпни:

— Выкладывайте, которая из вас золотой делить может?

Старухи руками разводят, друг на дружку поглядывают. Вроде бы разобраться не могут, об чем гостенек речи мудрены заводит.

Видит мужик: толку не жди — выкамуривают над ним старые.

Гаркнул Аверьян, ажно стекла в оконцах созвякнули:

— Ах вы, коряги болотные! Сказывайте, как золото делить, не то я вас в церкви анафеме предам.

Те и суетиться бросили, насупились. Потом одна выступила вперед да и говорит:

— Угадай, Аверьян Никитич, которая из нас кому бабкой приходится, а то мы не разберемся, кому твою заботу решать. Не ошибешься — научим золотым премудростям, нет — последнее спустим, голодранцем по миру пошлем.

Аверьке-то шибко охота золото, сидя над мошной, добывать. Стал он в лица старухам вглядываться. А сколь ни гляди, все получается: с одного образа три бабки леплены.

Была не была! Ткнул мужик перстом в ту, что ближе оказалась.

Мотнула старая сединой — и стала перед ним девка красная.

Аверьян сглупа в другую палец протянул. Глядит, и та девкой обернулась.

А третья и приглашения ждать не стала, сама вышла красавицей писаной.

Мужик глаза развел, окосел, попятился, задом дверь вышиб — да деру.

Бежит по селу, будто бы за ним гонится кто, рот раззявил, орет, видно, да голосу нет.

Прибег домой, у двери ляпнулся и заснул мертвецки.

Дня три дрыхнул Аверьян. На четвертый проснулся с петухами. Ничего ни про кого не помнит. А страсть как вспомнить нужно. Голову стал ломать.

Сколь не перекидывал мозги — все впустую.

Неделя, другая прошла.

Забросил мужик хозяйство, сидит и думает. Вроде начнет в голове проясняться, тут опять как туман наплывет.

Баба его плачет, убивается. Да что с тех слез толку.

Так от думы и загинул Аверьян, стало быть, Никитич.

КИРЬЯНОВА ВОДА

Так ли, не так ли дело-то было, пойди теперь у ветра спроси. А и не так, да так...

Подрались как-то на крутом яру Фимка с Ленькою. Чего подрались, сами не знают. Фимка от Леньки в кусты пятится, одною рукой под носом мажет, другою грозится:

— Налезешь, ты налезешь... Я к тебе подкрадусь... спихну в омут... там быстро Савватей-барин зачикотит.

— Ой, пупырик! — жмется со смеху Ленька. — Пущай Савватей твою бабку чикотит. Брешет она про барина, чтобы пацаны в омут не сигали.

Фимка чуть было не задохся от обиды:

— Сам брешешь! Повылазиют глаза мои, когда не видела она того Савватея. Голый... Зенки, во! Синий! И орет кошкою...

— Когда ж она углядела того Савватея?

— В туе ж субботу. До бани еще...

— В сутемы?! — пугается Ленька.

Фимка хитрить совсем не умеет и потому верит Леньке.

— Ну. А то...

— Вот те и «ну», — фыркает Ленька. — То ж мы с Петькой Рэпанным теми сутемками на омуте поспорили: кто на Савватея страшнейше будет пошибать. Нукало...

— Ври! — только не заревел Фимка. — Рэпанному дед хворостиной в субботу лупцовку давал за Перчиху. Перчиха еще грозилась через ограду: «Если, — шумела, — твоего оглодыша еще угораздит на моей избе чертомыльню разводить, я больше здря орать не буду. Я до осени подожду...» И подождет... Кислярихе ж она тою осенью подсвинков в огород напустила? И Рэпанному напустит.

Леньке стало невесело, но он все-таки петушился:

— Ой, напустила. Побегу вытурять. Да мы ж ей с Петькою, если надо, еще и не такое сработаем. Она ж со страху помрет... А то понапридумывала — чужих голубей приманивать. Пущай своих разводит да и лопает. Мы ей...

Ленька икнул, будто его саданули по затылку, глаза ошалели, и гаркнул он полной глоткой:

— Лыгай, Фимка...

Но блажить-то поздно было. Фимкино ухо уже потонуло в цепких пальцах тетки Перчихи.

— От они, злодеятки, иде стакнулись. О-ой! — подивилась она на Фимку.— И ты, хорек сопливый, в ихню компанию затесался? Ишшо один голубячий заступник выискался. Я тя щас вот перцем-то натру.

На Ленькиных глазах Фимке ж нельзя не хорохориться.

— Чо ухо-то крутишь?! Сама глухая, что пим. Крутишь кому попадя... Пусти!

— Я тя пущу, я пущу... Я тя щас так пущу, что бабка с маткою цельную неделю тебя собирать будут.

Фимка свое гнет:

— А неправда? Хто чужих голубей лопает?

Перчиха и глазами заморгала:

— Ой, не битый! Давно-ка ты, паря, небитый. Айда к матери, — она потянула Фимку из кустов на тропку,— щас она твою правду оголит да изрисует. Она ее тебе, как самовар, начистит.

А и то... Про Леньку в деревне люди и говорить притомились. Отец его плотогоном был. После смерти отца мать Ленькина заговариваться стала...— не до сына... Ой, хороший у Леньки ж был отец... А Ленька — враг! Но и про него находились добрые души. Нет-нет да и скажет кто:

— Попомните меня: израстет малец. Ха-роший из него человек получится.

Забытый Фимкою и Перчихой, Ленька по-за придорожными кусточками и сухостоем поспешил вровень с ними. Он поглядывал между веток на Перчиху, крался по разнотравью, забегал вперед, а то отставал, прикидывая чего-то... Глаза его ждали и веселились... Нечесаный вихор колыхался, как петушиный гребень.

Когда же тропка пошла спускаться с лесистого яра к ручью, Ленька бесом вымахнул вперед и сунулся головою в ноги тетке Перчихе. Перчиха молча перевалилась через Леньку, потом, хватая воздух руками, через свою голову и с криком покатилась в ручей.

Фимка сперва ничего не мог понять. Он все еще щупал горячее ухо, таращил на Леньку и без того здоровущие глаза. Но, почуяв свободу, крутанулся на пятках и дернул галопом в лес, подальше от нежданного спасителя.

А Ленька-то и не думал его догонять. Он отряхнул штаны, сунул пальцы в рот и лихо свистнул. Телок, что пил из ручья, поставил свечкою хвост, брыкнул и поскакал на Перчиху. В нем, видать, заговорила телячья прыть.

Скоро Фимкина радость сменилась нудною тревогой. Теперь столько Перчиха насоветует Фимкиной матери, что мальцу легче в омут нырнуть, чем домой воротиться.

И ведь в том самая досада, что Фимка с Ленькой недруги давние, еще с прошлого лета, когда Ленька утопил в омуте Фимкины штаны. Поскольку же, кроме штанов, летом Фимка носил только цыпки да веснушки, так и принудило его Ленькино озорство с полудня до заката просидеть нагишом в сырых тальниках. Дождаться ж у омута полной темноты и большой не вытерпел бы. Так не успел тогда Фимка в закатных лучах вынырнуть из тальников, как сквозной свист прямо каленою стрелою продел его с головы до пяток. Ленькину потеху подхватили другие озорники, да так дружно, что в деревне заголосили спросонья заполошные петухи.

Метнулся тогда Фимка блеклою зведочкой через лощину и погас в самой что ни на есть густой крапиве. Скрыться тогда больше некуда было. И теперь кожа у Фимки вздувается волдырями, только вспомнит он про ту крапиву. Да и материны примочки оказались тогда не слаще. Но самое обидное, что Ленька, заливаясь хохотом, орал Фимке вдогонку:

— Эй, пупырик! Вернись! Пуп потерял.

Этого-то «пупырика» и не мог Фимка Леньке простить. Сонными ночами, что есть мочи, лупил Фимка Леньку нещадно. А вот при свете получалось обратное. Однако Фимка упорствовал и не думал покориться Леньке. За эту-то неугомонность втайне Ленька сильно уважал Фимку.

Ручей, где искупалась Перчиха, бежал от реки, делал разворот и сливался в омут. На сливе воды были видны здоровенные черные бревна. Кой-где торчали в тех бревнах поеденные ржой огромные гвозди.

На этом месте в забытые времена красовалась мельница Савватея-барина. Тут, говорят, и спихнула его нечистая сила в подколесную глубину.

Савватеево хозяйство без строгого догляда оскудело, мельник запился, мельница подгнила и рухнула. А те бревна, что оставались все время под водою, сохранили свою крепость и по сей день.

Низкий левый берег зарос. Тут летами царствовали деревенские свиньи. Сам же омут был обжит птицею всякою. Гогот и кряканье в летнем мареве стояли невыносимым содомом.

Вплотную к воде можно было подступиться разве что со стороны бревен. Но именно тут, говорили, и сидит Савватей-барин.

И хотя самолично никому не выпадало столкнуться с утопленником, омута боялись и, пожалуй, не меньше, чем барского дома на яру. Даже белым днем ходить сюда не очень торопились.

Мальцы другой раз по дурости и ныряли в омут, но заглянуть в самую подколесную глубину никому не довелось. Тому же, кто пытался достать дно, не хватало дыхания.

На самом же гребне, на лысой, как голова новобранца, маковке левого яра высился двумя этажами старый барский дом.

Сколь разочков пытались сельчане приживить к деревне этот дом. Но затея так никому и не удалась.

А ссылались на то, что живет в старом доме какой-то неясный голос. Нет-нет и даст о себе знать. Кого-то кличет, кого-то зовет тот голос, все плачет, стонет...

Как-то случился в доме пожар, но сгорели только половицы в одной из кладовых хозяйственной пристройки. Дальше огонь не пошел, сам погас. И пополз слушок, что-де видели, как Савватей выходил из омута да погасил в доме огонь. Тогда-то люди и заколотили в старом доме двери и окна широкими горбылями.

Фимка устроился на самой крутизне, свесил с яра ноги и между тревогою стал подумывать о том, что пора, быть может, простить Леньке летошные штаны...

Одно из бревен запруды дулом громадной пушки торчало над водой. Юркие утята крутились тут же, над самой глубиной омута. Они торили по воде рябые дорожки, ныряли во встречную струю неугомонного ручья, потешно дергали тонкими ножками.

Самый проворный из этой пушистой оравы подкатил к поднятому краю бревна, скользя, влез, остановился у самого среза и глянул одним глазом вниз. Ясно, примеривался: далеко ли вода. Решился, колыхнулся на ребре среза, приспустил пуховые крылышки и свалился в глубину.

Фимка мигом приметил потешного ныряльщика и стал следить за шустрым затейником. Вынырнул птенец

из воды куда как дальше прочих утят. Это ему, видно, понравилось, потому что он громко крякнул, тряхнул грудкой и весело развернулся к бревну. Фимка напрочь забыл недавние горечи свои и всею душой заболел птичьей забавой.

А вокруг вечерело.

Уже в который раз ныряльщик оказался на бревне. Закатный луч солнца скользнул по серой его спине, вспыхнул капельками воды на трепетных крылышках удальца и... Фимке привиделось, что не крылья встрепыхнулись над утенком, а шитый золотом камзол взвихрился полами и исчез вместе с хозяином в черной глубине омута.

Фимка задохнулся. Он вытянулся, как гусенок, в жутком ожидании чего-то. Но птенец вынырнул птенцом, и Фимкина пустая надейка на то, чего и быть-то не могло, сменилась прежней заботой: надо было идти домой.

А шебутной ныряльщик все продолжал свою затею.

Вот он умело влез на бревно, лихо дошлепал до края и... хитро оглянулся на парнишку. Фимка замер. Утенок поднес к широкому клюву перепончатую лапку, будто призывал мальца не шуметь, и хотя расписного камзола на птенце Фимка больше не увидел, однако ожидание чего-то еще более непонятного бросило мальчишку в трепет...

— Кири-кири-кири! — донеслось из-за поворота дороги. То Перчиха шла на омут собирать свою живность. Фимка еле удержался на крутизне. Вся его фантазия разом выпорхнула из головы, и на четвереньках он отполз подальше от берега. Сокрывшись в траве, малец видел, как Перчиха собирает уток.

Когда крикливый отряд пропал за поворотом, Фимка понял, что день кончился. Тальники у запруды спокойно клонили свои темные ветки к омутовой тихой воде. Даже свиньи, которые только что охали в топи низкого берега, успели когда-то исчезнуть.

В смурной тишине затухающий голос тетки Перчихи показался мальцу таким родным, что Фимка бросился домой, боясь даже обернуться на омут.

Но не успел он еще и на дорогу-то выскочить, как долгий, жалобный крик возник над лысым яром, от старого барского дома скатился к тальникам:

— Кирь-рька-а, Кирь-рька-а... — звал кого-то тоскливый голос. — Кир-р-рь...

У Ефимки похолодело в животе.

Минуя дорогу, прямиком, лопухами и шиповниками ломанулся Фимка к своему огороду. Весь облепленный репьем, в ссадинах и обдергах, перевалился через огородный плетешок и с лету вкатил в распахнутые теплые руки своей бабушки.

— От оглашенный! — прижала она к себе насмерть перепуганного внука. — Да где ж ты опять обремкался-то весь. От непутный! От оглашенный! Носит тебя окаянная... Чего ж трясет-то тебя всего, как маслобойку?

На каждый свой вопрос, на каждое восклицание бабка сокрушенно качала седою головой.

— Что ж ты это с теткою Перчихою давеча наработал? Она ж меня этак-то когда-никогда вместе с избою... и с огородом заглотнет... Ты бы уж меня-то бы, старую, пожалел. Не связывался бы ты с Ленькой, што ли...

Фимка хотел было улизнуть от ответа. Он вывернулся из-под старой руки, но оробел перед темнотою сеней и, виноватый, приткнулся лбом к бабушкиной груди.

— Пойдем-ка, милай, — сразу обмякла старая, — пойдем, зернушко ты мое. Пойдем, я тебя укладу, покуда матери нет дома.

В избе было тепло и надежно. Фимка одним духом опорожнил кружку молока, сцапал со стола пирог покрупней и полез на печку...

Старая ж приняла с полки куделю, подсела прясть поближе к оконному свету.

На дворе теплился долгий летний вечер. И в избе слышно было, как обалделая от цветения трав на все лады сходит с ума луговая саранча.

Привычно, почти на ощупь тянули старые пальцы в полутьме долгую нитку. Не мешая покою, постукивало о застеленные домоткаными половиками половицы тонкое веретено. По обычаю, по вековой привычке не могла старая не петь за такою работою:

Среди долины ровные,
На гладкой высоте...

Фимка перестал жевать, зажмурился... Хотел увидеть могучую красоту никогда не виденного дуба, но углядел он темный омут, барский дом на лысом яру... дрогнул от пережитого страха, позвал:

— Баушка...

— Аиньки, — продолжая тянуть нитку, отозвалась старая. — Чего тебе, внучек?

— Я ноне слыхал...

— Ну?

— Ноне ктой-то орал в Савватеевом доме...

— Ну! — остановила старая веретено.

— Глухо так... Будто кого за шею давили...

— Поди-ко ты! Чо орал-то? Звал кого али просто?..

— Звал, — мотнул высунутой из-за занавески головою Фимка, — вот эдак-то.

Парнишка потянул шею с печи и надсадно взвыл через стиснутые зубы:

— Кир-р-рь-рь-ка-а...

Бабушка перекрестилась, помянула Господа, поднялась и, гладя внука по голове, сказала:

— Поди-ко все Ленька дурака валяет?

— Не-а, — уверил ее Фимка. — Я Леньку в тальниках тогда видел... Я чуть в омут со страху не скатился...

— Ну ладно, ладно те... Спи-тко вот лучше. Не то мать с поля воротится, нахлопает по заднушке-то...

Задернувши занавеску, вернулась старая на место, но прясть не поспешила.

А за окошком вечер сгустился, и, казалось, весь дневной свет собрался капельками на темном небе.

— Чой-то матери твоей долго нетути, — сказала старая. — Видно, в поле сговорились остаться... Нет. Люди здря болтать не станут. Ишь ведь как... Не каждому тот голос слышать... Ой, давно его не было...

Фимка не то жевать, дышать бросил. Затих на печи, что скворушка...

Только рот разинутым оставил...

— В мою молодость всякое говорили об том голосе. Одно, что Савватей-барин сваво работника кличет, другое — наоборот: работник тот об себе людям знак подает: вот, мол, я. Сыщите-ка меня, кто смел да умен, а я вам за смелость вашу открою великую тайну. А еще сказывали... Ну так я тебе все порядком расскажу, покуда мать дожидаемся...

Встренулись они, Савватей-то с Кирьяном, еще, знамо, до того, как Савватею ж барином сделаться. Он, Савватей, вишь, смолоду больно страдал о богатом житье. Прямо помогнуть бы царю со своего места слезть, да самому сесть. Ему и во сне хоромы да колокольные звоны виделись. Только боязнь каторги и держала его постромки. Взял тогда Савватей и подался в нашу тайгу золото искать. Одному-то по здешней тайге блукать — скоро озвереешь. Так он улестил посулами парнишонку с чужо-

го двора; долго ли недоростышу, вашему брату, голову задурить? Сколь тогда Кирьяну тому было? Небольшенький. Может, чуток тебя поболе.

Уманил Савватей Кирьяна с родного двора тайком, не спросясь отца-матери. В тайге-то он его и окрестил Кирькою.

Кирька да Кирька.

Звонче по тайге кличется.

Эвон куда убредали в свое время золотишники-то! Увел и Савватей Кирьяна к черту на кулички, а сам возьми да и захворай в лесу. Свалила Савватея с ног таежная немочь. Все! Падает, глаза закатывает... Кирьян переполошился: куда ему кинуться? А Савватея не бросает, думает к реке выволочь — не так страшно у реки-то. А тут попадись в тайге яма. Должно быть, земля в этом месте заболела тожить да и провалилась аршин этак на десять, а и того глубже.

Доволок Кирьян Савватея до самой ямы и все... Хоть рядом ложись да помирай. Нисколько силы у Кирьяна не осталось. А гляди, уж и ночь в затылок дышит. Пора бы им и костерок устраивать.

Набрал Кирьян хворосту, наладил костер... Воды опять нету! Покуда засветло, надо бы воду найти. А далеко от больного отойти боится.

Покрутился парнишка да и думает: «Дай-ка погляжу в ямине. Может, где дождичек скопился? А то родничок найду...»

Веревка у них с собою крепкая была, длинная...

Вот Кирьян одним концом ту веревку за сосну захлестнул, на втором ведро в яму опустил и сам туда же...

Спустился Кирьян на самое дно таежной ямы и удивился: будто бы знал, где да что на земле делается, — вот он, ключик-то! Под самою стенкою прыгает-трепещет, ажно светится весь навстречу Кирьяну! Будто соскучился и в руки просится. Место себе чистое размыл, а бежать никуда не бежит, прямо тут же под камень прячется. Вода в ключике ясна, светла и все вроде то голубым, то розовым отдает, то желтизною пронзит ее и... теплая. Кирьян больше доверял холодной воде. Да уж какая есть. Наплескал малец горстями полнехонько ведро и вылез, и ведро из ямы вытянул.

А Савватей наверху уже, гляди, последним паром исходит — синеть начал. Кирьян давай его тою водой отпаивать.

Вроде бы мал-мала очухался Савватей, потеплел.

Кирьян ухо приложил к Савватеевой груди — сердце послушать, да и, не помня себя, уснул. Притомился до упаду.

Утром чует: Савватей сам к ведру тянется. Раз-другой глотнул да и понужнул лещего крепким словом: не понравилась, вишь ты, Савватею вода — горькая.

— Гдей ты, — спрашивает пацанишку, — воды-то поганой начерпал, голимая полынь!

— Из родника набрал...

И никто не знал, как у них дальше получилось, а только понял Савватей, какая такая вода в яме таежной под каменною стеною прыгает. Спросишь, какая? Живая! Вот какая! Савватей тот на самом себе испытал ее силу. А Кирьяну виду не показал, что ему понятно. Зачем ему теперь Кирьян? Только лишний пайщик. Вот и стал Савватей голову кидать: как ему сделать так, чтобы за одним, за собою оставить это золотое место. Ни к руке ему Кирьян возле того ключика. Хорош, говорят, сокол в полете, а черт — в болоте. А малому где ж было понять, какое богатство открыл он в земле для Савватея тем живым ключиком...

Савватей в туе пору, знать, не вовсе еще душу-то свою черту продал. Вроде бы и жалко... совестно ли... так вот взять и положить мальчишку в тайге своею рукой. Так он чо придумал? Он с Кирьяном ушел тайгою подальше от того места, будто золото опять искать принялись, закружил мальчишонку по буреломам и бросил его в тайге, и огонь, и провиянт... все как есть забрал и ушел к Кирьяновой воде.

Ить вот не мог подумать Савватей, что Кирьяну повезет. Уж сколько он наорался, уж сколько набегался... И в болоте-то он гнилом тонул, и сонный с кедра на землю падал, и от медведя вплавь по реке уходил... Медведь-то его к реке и выгнал... Напоследок оглох от голоду: за рекою собаки лают, а ему не слышно. Спасибо еще, одна собака шельмовая блукала в лесу без хозяина и наскочила в кустах на Кирьяна. И ведь какая оказалась умница: прямо волоком дотянула мальчонку до берега, а там давай на всю округу выть. И подняла народ!..

Выходили Кирьяна добрые люди, домой, к отцу-матери, отпустили...

А Савватей? Тот быстро в гору пошел. Тот дело знал! Скоро у него и деньги появились. А деньга деньгу любит. Поплыли, посыпались... В работники нанял крепких

мужичков. Они ему близкую речку плотиною загородили и пустили лощиною между наших двух яров прямо в ту лесную яму, где теперь омут. Когда вода в яме ровно с краями набралась, река, по-под правым яром, низинкою пошла, обогнула левый крутояр и с другой его стороны влилась в свое же русло. Вроде как водною петлею обхлестнула лысый яр. Вот на этом-то яру и поставил себе Савватей крепкий дом. На сливе же реки в омут соорудил мельницу.

— А ключик живой?

— Это когда работники Савватеевы реку задумали повернуть, так тот ключик шибко хитро куда-то в сторону отвели. Ой умный Савватей тот был. Страшным умом был умный! Вишь, как получилось у него с теми мужичками. Работу они ему сладили добром, как в руку положили. И заработанное честно от хозяина получили. Все чин чинарем. Савватей им праздник закатил. Всего хватило! Так ведь, как кто-то сказал: уснул пьяный, а проснулся — мертвый. Теперь спроси у тайги, что она в ту ночь у омута видела? Вот он каким Савватей-барин был.

А Кирьян когда-никогда про Савватея услыхал. Да и как было про него не прослышать, когда тот уж чуть ли не в святцы вписан был народом за ту, за живую воду.

Ведь он что людям говорил? Что сам и настаивает водицу на таежных травах. У него даже в кладовухе одной сорокаведерные бочки стояли — вода в них кисла.

Так вот таким ли, скажи, барином заделался тот Савватей — ой, да ну! Уж и в простой одежке ему холодно. Уж ему брезготно, уж ему ломотно... Камзол, шитый золотом, подавай! Ходит перед народом, батюшки! Повернется, оглянется — матушки! Себя не видит, не то что людей.

Вот тогда-то Савватей и встретился с Кирьяном. И выпало им сойтись, да в одиночестве, да у того самого места, где в свою пору Савватей помирать собирался. Видать, Кирьян нарочно там его поджидал, чтобы, может, о прошлом напомнить да совесть Савватееву пробудить.

Ой, Господи! Была бы у волка совесть, он хоть бы морду отворачивал.

Ну и сошлись. Кирьяну узнать нужно, где Савватей спрятал живую воду, чтобы народу показать. А Савватею ж это чистый разор. Ему-то какая охота Кирьяну уступать? Стал он бывшему своему работничку золотые горы сулить. Камзол скинул — на, мол, носи!

Только о богатстве-то разные понятия в них жили: не проняла Кирьяна Савватеева жадность.

Тут-то они и схлестнулись драться.

Бывает так, что хочет человек прыгнуть да упадет. Так и Савватей. Торопился Кирьяна в омут спихнуть, да сам и пошел мерить подколесную глубину.

А вот тут-то самая загвоздка получается. Уж кто там подглядел за всем этим делом, а только говорили, не каялись: когда стоял Кирьян в полной своей растерянности над омутом, подкралась к нему со спины Савватеева мать и накинула на плечи молодцу сыновий камзол, что на траве валялся.

Будто бы придавило Кирьяна к земле тем камзолом. Разом помельчал он, слипся в комочек и сам пошел в омутовую воду. И поплыл Кирьян по воде серым утенком. И плавать ему, говорили, до тех пор, покуда не окунется он в теплую струю живого ключика. Да только вот беда: стоит Кирьяну отыскать заветное место, как тут же, невесть откуда, появляется Савватеева мать и ключик пропадает бесследно. А вот кому бы кричать на лысом яру, того никто не сказывал. Да и голос тот не больно часто дает о себе знать. Последний раз, не помню, кто и говорил об этом.

Бабушка вздохнула, посидела молча.

Добавила про себя:

— А может, то живой ключик голос подает да все к людям просится?

Снилось Фимке, что сидит он на крутом берегу омута. Вода в омуте черная и берега черные. И лес на той стороне реки, и небо... Все черное. Но все, до точки, различимо. Хорошо видно, как далеко внизу, у самого края воды, снуют черные водомерки, и каждая травинка под яром отливает своею особой чернотой. А тихо-то кругом! Так тихо, что слыхать, как горят в небе звезды и где-то далеко-далеко, может, по ту сторону, что-то бухает в землю, бухает...

То буханье все нарастает, нарастает и вдруг обрывается утиным криком. Фимка видит на черном бревне омута огромного, с корову, птенца. Он тянет к Фимкиному яру долгую, колючую шею, хлопает полами расписного камзола и вскрикивает так, что у Фимки в ушах чешется:

— Кир-р-рька, Кир-р-рь...

Фимка валится с яра в черную бездну, летит, бьется

о выступы крутизны, сшибает в воду камни, но сам до близкой воды никак долететь не может и просыпается.

Сонный покой настоялся в избе, но Фимка мог бы побожиться, что не избяная умиротворенность разбудила его, а что-то исходящее со стороны подняло его среди ночи.

Хоронясь разбудить больших, Фимка сполз на животе с печи, зябко потоптался на месте, поскреб крапивные волдыри, подобрался к окошку: весь видный в щедром лунном свете за окном стоял Ленька. Он махал руками, манил Фимку на улицу и приплясывал от торопкости.

Нехотя, спотыкаясь о свои же ноги, Фимка вышел на крыльцо:

— Чо надо?

Да Леньке ж чихать на Фимкину гордыню. Покуда тот стаскивал со ступеней ленивые ноги, Ленькино терпение лопнуло, и он сразил Фимку наповал:

— Перчиха к Савватею пошла!

Фимку будто пнули сзади.

— Когда? — слетел он одним духом во двор.

— Важничаешь... — только и сказал Ленька. — Айда скорей.

Сквозь огородную калитку, повдоль грядок, через плетень, ложбиною, за ручей... все разом, сплошным наметом покрыли парнишки и, запаленные, с ходу ушли в тальники у лысого яра.

К дому на яру можно было бы подобраться тихо только со стороны реки. Там, на месте снесенных весенними водами старых деревянных сходен, чернели в береговой крутизне глубокие вымоины, лоснились гладкие каменные уступы. Этакой чертовой тропинкой могли подниматься на яр разве что мураши да самые отъявленные сорванцы.

Фимка с Ленькой добрались до реки и крутизной стали карабкаться на плешивую маковку.

Когда вровень две головы поднялись над кромкою яра, близость Савватеева дома показалась им странной: будто бы дом поджидал мальцов и сам подвинулся поближе к берегу, вроде прислушиваясь к шорохам ночи. И все кругом, такое веселое днем, теперь стало другим. И лозняки, и сосняк за рекою, и сама река.. все чего-то ожидало плохого. А вот луна... ту земные страсти не пугали, светом своим так и лезла в щели заколоченных

окон, уж больно ей хотелось узнать, что же делается внутри старого барского дома.

Ребятишки на коленях выползли на каменное темечко яра, прилипли животами к холодной его плешине, замерли...

Прямо, считай, перед носом сквозила чернотою большая дыра. Это, однако, тетка Перчиха, пробираясь в дом, оторвала внизу приколоченные на месте бывшей двери горбыли и, разведя их на стороны, оставила так до поры. Дыра, казалось, втягивала в себя тишину ночи. Злая, разбойничья тишина натянуто звенела над яром и ползла, ползла в черную дыру.

Голова к голове, подбирая штаны, двинулись мальчонки к черной глотке страшного Савватеева дома. Она проглотила их обоих разом и осталась разверзнутой ждать, может, еще добычи.

В давние-то времена, от парадной двери барского дома, поднимала гостей и хозяев наверх богатейшая резная лестница. Теперь та лестница и обломана была, и обобрана, и сама развалилась, и подняться на второй этаж можно было только «вподтяжку». Из нижней бывшей гостиной по крепким еще крепежным столбам надо было подтянуться до потолочного перекрытия, там протиснуться между широких досок и очутиться в барских опочивальнях. Лепные потолки оглядят тебя сверху донизу, за потрепанными обоями станут шушукаться про тебя, как столетние хозяйские приживалки, хрупкие от давности газеты.

Тетке Перчихе такие фокусы не по летам. Где-то внизу она, рядом. А может, и Савватей с нею... Кажется, руку протяни — и упадет на ладонь холодная капля с мокрой его бороды. А темнота в доме такая, что ее можне попробовать языком: сырая, холодная, гнилая... а густющая! Промешай ее веселкою — потянется следом, как тесто.

Фимка с Ленькой прокрались из парадной в гостиную. Там оказалось поприглядней: луна смотрела сквозь щели горбылей и резала темноту полосами света.

Неслышно ступать по половицам гостиной оказалось делом мудреным: они и стонали, и пели всеми голосами.

Впритирку к стеночке пошли ребята глубже в дом, туда, где была когда-то барская кухня, где пахло плесневелой глиной, и дальше, в просторные, жадные барские кладовые. У дверного проема кладовой Ленька вдруг остановился, и Фимка больно обступил ему запят-

ку. И тут-то встречь ребятам зашаркали осторожные тайные ноги. Смутное бормотание скоро стало различимым, и вот уж у самого порога кто-то сказал в темноте:

— Шишнадцать, однако... Ишь ты, суета пестрая...

«Перчиха!» — поняли мальцы. А Перчиха продолжала говорить:

— Самая ж, холера, ноская... Ну ды, черт с нею! Пущай дома несется. И так хорошо...

Так вот за какою такою нуждой ходила Перчиха в старый барский дом, да еще ночным временем!

И не успел Фимка толком сообразить, об чем это Перчиха печалится, как та уже перевалилась старым телом через порог кухни. Половицы охнули под такою тяжестью, трубный голос раскатил всю тишину, да с таким грохотом, что Ленька с Фимкой не утерпели и захихикали в ладони.

Перчиха, оставляя за собою широкий след побитых яиц, на четвереньках переползла кухню, завалилась за порог и там... святая ее молитва скоро затихла в ночном покое.

А мальцы носились скоком по дому: нет никакого Савватея!

Перчиха ворует яйца! Хорошо!

В кладовухе, где когда-то погас, не разойдясь по дому, давний огонь, вовсю хозяйничала луна. Должно, Перчиха сама лазила на чердак отворачивать потолочные доски. Над досками же давно проломилась, под тяжестью времени, тесовая крыша, и сквозная дыра впустила в кладовуху весь мир. По углам были хозяйски устроены курьи гнезда. И не один день и не одна курица, видать, приносила сюда для Перчихи свои подарки.

— От ловкая, — дивился Фимка, — от жадная!

— Так она ж, говорят, за чужим-то добром в могилу ночью полезет, — уверил Ленька.

Он умело поддел ногою первое гнездо, Фимка перехватил его и трепанул о стену... И пошла потеха...

Прах и перья взлетали к потолку и валились на головы мальцов, на стены, на несгорелые балки пола...

Увешанные трухою, усталые от буйства и страхов, довольные парнишки, наконец, угомонились, сели рядком на балку.

Буря в них остыла, и опять стало наползать неведомое... А там подступила тревога, а там изо всех щелей полез вместе с тишиною давешний страх. Ребята прижались один к другому и затихли.

Вот наверху что-то ухнуло, стукнуло и заскрипело, будто отворилась давным-давно закрытая дверь. И поползли по дому шорохи и шепот. Хрупнула лестница под чьей-то тяжестью, в кухне звякнула ведерная дужка...

Мальцы замерли! Явственно и жутко дохнуло в углу кладовухи, зашипело капризно, и тонкий жалобный голос позвал из-под земли:

— Кирь-рь-ка...

Как очутились мальцы в деревне, и так понятно.

Горели обхлыстанные травой голые ноги, щемило глаза, душонки трепыхались выпавшими из гнезда журланчиками.

А деревня еще спала глубоким утренним сном. И не было в этот сладкий час никому самого малого дела до лысого яра.

Кто звал, зачем, почему канувшего во времени Кирьяна? Сам ли Савватей маялся неуемною жаждой мести за свою страшную погибель, или еще какой нечистый дух отпугивал от лысого яра людской интерес? Но голос тот был такой живой, что Фимка с Ленькой за эту правду готовы были положить животы свои.

Оба вместе поднялись они на поветь, где сохла скошенная для овец Фимкиной матерью трава. Сладковатый, парной дух тронутого поверху утренним холодком молодого сена обволок озорников миром и чистотой.

Мальцы оказались как бы отгороженными от недавних страхов надежною стеною простой жизни. Вся неуютность, вся неотогретость недоступного осталась там, на лысом яру.

— Никого там нету,— сидя рядышком с Фимкой, решил Ленька.— Я ж сам в том углу руками шарил.

— Так ить голос-то какой был? Подземный! — доказывал Фимка.

— А может, Перчиха чего там наладила, людей пугать? — не уступал Ленька.— Чтобы не поняли, что за яйцами ходит?

— Не, Ленька! — отказался Фимка.— Знал бы ты, про чо мне бабушка вечор говорила. Про Кирьяна!

Долго Фимка шептался с Ленькой на повети про Савватея-барина, про Кирьяна-ослушника, про Кирьянову живую воду...

Когда уснули мальцы, и сами не помнили. И не слыхали они, как ушла в поле Фимкина мать, как Фимкина

бабушка, поднявшись с крехтом по лесенке, долго глядела на сопатых друзей, сонно разметавших руки-ноги по молодому сену.

При дневном свете дом Савватея-барина смотрелся внутри куда как тяжело да больно. Глядя на облупленные углы за рваными паутинами, на плешивые стены, думалось: «Неужели тут когда-то жили люди?»

Плохо было тут, недужно. И никакого страха. Просто помирает то, чему давно пора быть забытым. Отсюда и неловкость, и робость, с которой мальцы виновато прошли комнатами. В кухне ж они малость заробели, а уж в кладовуху вошли только на одних козырях: как бы перед другом не оказать себя заячьим хвостом.

Тут все помянуло ребятам о ночном разбое: горелый пол, балки, стены замела пыль да труха, да перья... Поверху же неприглядности веселились солнечные зайчики. Уж такая веселость исходила от них, что мальцы услыхали сразу и воробьиную возню на чердаке, и ветровую легкую песню над яром, и вольготное парование духмяной тайги.

Но какая-то уступчивость тому тайному, что звало тут ночью незабытого Кирьяна, удержала сорванцов опять рвануться в бесшабашную радость. А заветный угол кладовухи тянул ребят к себе неодолимой силою.

Дом Савватеев строился безо всякой боязни перед земною сыростью — бревна укладывали прямо на скальную породу лысого яра. Никакого такого подполья, как в других-то домах, в этом доме не было, и Фимка с Ленькой, потыкавшись в камень, сели прямо на труху и, от неча делать, уже нехотя выгребали ладошками из угла лежалую золу да уголья.

Из-под грязи потихоньку обглаживался перед мальцами плоский круговой камень, так это с печную заслонку обхватом. Каменная заслонка была плотно втесана в основу яра ловкою рукой умелого человека. Но никакого подхвата, ручки ли, зацепки ли, крышка не имела и поднять ее оказалось нельзя.

Э, нет! Не руками старой Перчихи вдолблена каменная заслонка. Не она тут подстроила пужалку. Да и где ж ей, глухой, вполуха уловить под землею вздохи и бормотание? Ей, поди-ко, и явный зовущий голос слышится как посвист шалого ветра.

И не затем заслонка в скалу втесана, чтобы сохранять под собою холодную крепь лысого яра.

Когда-то же эта крышка кем-то отворялась?

Из тонкой, в ниточку, щелки несло не то гарью, не то гнильем. Мальцам только и осталось, что припасть к заслонке и всем слухом уйти в неведомое чужое житье.

Вдруг за спиною ребят что-то трепыхнулось и, обернувшись, увидели они на дверном порожке серого утенка. Тот качнулся на слабых ножках, наклонил голову, будто видеть одним глазом ему было удобней.

Солнце снопом веселых лучей заливало птенца, и Ленька с Фимкой углядели на малой птахе шитый золотом, расписной камзол. А под каменной заслонкой что-то щелкнуло, крышка под ребятами будто лопнула пополам и пошла расходиться на стороны, подворачиваться куда-то под скалу. Ребята отскочили в сторону и увидели неглубоко, в этакой гладкой каменной выемке, тонкую струю родниковой воды. Вода насквозь светилась. Тонкою струею тянулась она к ладоням, подпрыгивала, захлебывалась радостью, просилась в руки и, не дотянувшись, убегала куда-то в яр, всхлипывая и журча негромкий укор.

— Кири-кири-кири...

Как гром среди ясна неба грянул над яром Перчихин голос. Что ошпаренные, подпрыгнули на месте ребята и увидели, что давешнего утенка нет, и никакой заслонки — в яру, и никакого живого ключика... Закрылся яр.

Лишь наметена между мальцами куча лежалой золы да черных углей.

А в дверь кладовухи уже глядит носатая голова тетки Перчихи, и громкий голос радуется:

— А-а, злодеятки, где собрались. Щас я вас посыплю перцем...

Сколь потом ни слушали Фимка с Ленькой, голос на лысом яру больше не позвал Кирьяна.

Может, когда-нибудь еще кому суждено увидеть Кирьянову воду?

А и взять ее у черной силы?

ТАЕЖНАЯ КЛАДОВАЯ

Все рассказчики мудреные, да редко который сам про себя... Такое порой нагородят — ума не приложишь, где правда конец свой упустила, а где небыль подхватила его.

А все верится после байки такой: живы на земле еще чудеса-невидаль, только не всякому они навстречу идут. Поверить надо в чудо или, наоборот, вовсе рукой махнуть на тайные дела природы нашей, тут она и явится, невидаль-то.

И не так вот, как человека видишь: поглядел да пошел. А уж повстречавши кого, крепко спросит: кто ты? И ведь не соврешь ей, не выкрутишься. Знает она, перед кем на дорогу выходить. Потом уж одарит всякого по своему усмотрению.

В старые-то времена, сказывают, наезжал в таежные края купец Афиногенов. То ли Томской губернии, то ли еще откуда нечистая его к нам насылала? А только больно приглядлив был Афиноген по купеческому делу своему. С виду посмотреть на него, чисто поганка недельная. Прям-таки плюнуть не во что. А жаден да хитер был, собачий хвост, ну хоть ты святых выноси.

Особенно шибко Афиноген за соболем ноздрей тянул.

Дознается, где поболе кусок ухватить сподручней, в гости того охотника зазовет, лисой прикинется и ну потчевать.

Оно, пьяного-то, куда как проще облапошить. Глядишь... и обошел мужика. За спасибочко все подскреб начисто. Тот и опохмелиться не успеет, как в кармане ветер гуляет. Афиноген сунет ему там муки сколько-то, товару какого, пороху, дроби и приговаривает:

— Смотри, паря, бей зверя в глаз. А то что ж это за товар? Да приготовь поболе на обратный мой приезд. Тогда и рассчитаемся за добро мое.

Мужики диву даются: как так получается? К бумагам Финогеновым сунутся — там все чисто да гладко расписано. А какой навыкнутый в грамоте подвернется да умом станет на купца напирать, так умнику тому начальство местное хвост приступит да каторгой грозится.

Были и посмелей. Домогались правды: прошение там, жалобу напишут... Только где она, правда-то, объявится, коли купцом все власти куплены.

Так и сходило все лиходею с рук.

Дознается, было, о недовольствах, выйдет на народ, хорохорится: я-де всех вас тут товаром пользую, всех кормлю-одеваю. Без меня бы ходили голыми. Креста на вас нет!

Лет этак пять, а то и того боле, обобирал наш народ мироед трухлявый. Под конец вовсе обессовестил, орать начал:

— Все вы тут у меня в долгах, как в шелках! Мне одному и должно зверя носить! На сторону куда — и думать забудь!

Один год больно добычливый удался: соболя прямо-таки сами шли под выстрел. Вроде кто из тайги гнал их на охотников. «Ну, — думают мужики, — на этот раз откупимся от Финогена!»

Где там! Все заграбастал, окаянный! Люди опять только руками разводят.

Тут и объявился Ефимка-охотник. Такой, глянуть, кедр! Идет — земля под ногой гукает. Волосом рус, зубами бел, глазом смел да востер! На кого поглядит, тот и язык зубами прищелкнет да крепко держит.

Откуда такой? Раньше-то и в глаза его никто не видел. А говором да повадками — свой. Всех поименно кличет. Будто отродясь между охотников силу свою буйную копил.

Дня три меж людей разговоры слушал нерадостные, цены на зверя, купцом положенные, распознал да и явился сам к Финогену поганому.

Кинул Ефимка перед купцом штук этак двадцать соболя отборного, голубого с серебринкою, дымком так это вроде таежным подернутого; у купца от жадности дух перехватило.

— Где, — спрашивает, — бил-добывал?

А Ефимка ему отвечает в приговор да с ухмылочкой:

— Где, — говорит, — был, там и бил, а где побывал, там и добывал. Бери, купец, не мешкай, пока в другое место не отнес.

И цену назвал до того мизерную, что охотники, которые близко случились, косым глазом на Ефимку уставились.

«Ишь ты, леший зубастый, — думают, — добряком да свояком прикинулся. А на вот тебе! На нет цену на соболя собьет».

Даже Финоген диву дался.

«Ну, — прикидывает, — парень по молодости своей, видно, совсем цены соболю такому не знает». А сам себе на уме. Брови сдвинул и попер во весь опор на Ефимку:

— Ты, — шипит, — шатун-бродяга, как сумел столько соболя один добыть? Не можно столько одному-то. Держи передо мной ответ: кого ограбил-погубил?! Я тебя за грабеж да разбой потяну куды надо!

Ефимка ничего... не сердится. Хитро так на ерепеню поглядывает да посмеивается, будто жадные струночки в купеческом нутре перебирает.

Совсем Афиноген взбеленился. За властью стал мужиков посылать.

Те вроде к дверям... Да куда там! Повел Ефимка глазом, они и присохли у порога, прямо рукой-ногой двинуть силы нет.

Повернулся Ефимка к купцу и говорит:

— Ай, купец-удалец! Чего ты скачешь, будто блохи тебя колют? Народ беспокоишь попусту. Правду-то сквозь хитрость да брех разглядеть — не ох! Да вот хватит-то ее ровно на столько, чтобы глаза тебе протереть да на чистую истину глянуть. У моего батюшки в таежной кладовой такого добра видимо-невидимо припасено для добрых людей. Может, у тебя, купец, охотка имеется сходить-поглядеть? Тут — рукой подать.

От жадности Финоген и про себя забыл. Шубу на ходу напяливает, в рукав попасть не может никак.

— Веди, — хрипит, — меня в свою лесную кладовую. Ежели не брешешь, все сполна уплачу.

Обмолвился купец так-то, Ефимка и пошел за дверь. В спешке Афиноген и про ружьишко свое забыл.

Мужики некие увязались следом.

Тоже ведь любопытство осторожность побороло. Страсть как захотелось поглядеть на Ефимкину кладовую.

Вошли в лес. Тут смотрельщики-то незваные потеряли из виду Ефимку с купцом. Вроде как заблудились маленько.

А Ефимка идет своим делом по тайге, песенки насвистывает. Ровно да неторопко вышагивает. Афиноген же, тот, сколь ноги ни подгоняет, все за парнем успеть не силен.

Долго так шли. Узрел купец, что лес перед Ефимкой сам расходится: где ступит, там дорога наезженная. Купчине же все бурелом да валежник под ноги подоспеть горазд.

Струхнул Афиноген. Видит, дело тут мудреное! Загоношился:

— Куда ты меня, к черту, ведешь? Где твоя кладовая?! Шутишь, брат! Не пойду дальше! Сам ко мне свое добро приволокешь.

Остопился Ефимка, поворотился к купцу: глядит на купца медвежья образина, очами ворочает.

Афиноген со страха глаза руками захлестнул. Подождал, что будет, и отвел от лица ладони.

Стоит он один-одинешенек среди тайги дремучей.

Плюнул купец. В сердцах корягу сапогом саданул. Заохала та коряга, зашевелилась и поднялась со хвои стар-старичком.

Сед старичок, борода голубым отливает, искорки серебряные на бороде вспыхивают, во рту трубка-берестяночка.

Опомнился купец, бежать кинулся. А старичок ему вдогонку:

— Куда так торопишься, честной купец? Ишь ты какой оказался зобастый: ни прощай, ни здравствуй! Сынок мой надысь сказывал мне, что охота к тебе припала мою таежную кладовую поглядеть. Гляди, коль нужда доняла. Денег я не беру за гляденье, только не ослепни, купец.

Упредил так-то старик купца, сам трубку в рот — и задымил. Валом повалил тот дым трубчатый. Голубой весь, с искоркой! Чисто мех соболий, самый дорогой!

С виду получается, что лес горит, да гарью не пахнет. Скоро ветром потянуло. Разошелся помаленьку дым тот трубчатый, а кругом!.. На деревьях, на кустах разных шкурки собольи, лисьи, куньи да прочие какие поразвешаны! Ну как есть лесу не видно.

Купец и про страх свой забыл.

Кинулся купец те шкурки собирать, да накось, выкуси! Какую рукой ни схватит, та в зверька обернется — и нет его.

Совсем одурел Финоген: на кусты-деревья бросается безо всякого толку, ругается на чем свет стоит. Все на себе прирвал-прикончил. Одне отрепья болтаются.

Тут на кусту медвежья шкура подвернулась. Со злости купец хватил ее кулачищем. Перед ним и поднялся медведь дыбком! Идет, на купца зубы скалит, вроде как знакомо ухмыляется.

Купца пот холодный прошиб. Куда деться?

Каюк бы ему! Да в ту пору натолкнулись на него мужики, которые навязались было на таежную кладовую вместе с Афиногеном поглядеть. Пальбу подняли. Убежал косолапый. Кинулись мужики к Афиногену, да лучше бы и не видеть его вовсе. Успел-таки топтыга купца погладить. Так со лба всю шкуру и стянул. Оба глаза ненароком прихватил.

Выжил, сказывали, купец тот. Слепым только на всю жизнь остался.

Говорил он людям про Ефимкину кладовую, да люди на него только рукой махнули: свихнулся, мол, купец со страху, а может, от жадности.

ПРОЙДА

Раньше было как? Только заметили в человеке какую-нибудь необъяснимость, тут оно и есть — колдовство!

К мужику какому боязно пристроить такую приладу — он уж постарается рыло-то выдумщику занавесить блямбою потяжелей! Еще и вперед накажет: ходить-то, мол, ходи, а хреновину не городи!

Не всякая и молодайка покорится ведьминому званию. А вот старухи — самый что ни на есть подходящий для этого страху матерьял. Только вздумай пустобрех зацепить языком такую бабку, глядишь, уж она и сама почуяла в себе что-то заветное. Уже и к лечбе в ней способность проклюнулась, и присушивать-привораживать годна, хоть воробья к вороне...

В тайном колдовском ремесле старухи одна другой не мешали — каждая служила по своей особой статье.

Иная бабка посадит, к примеру, порченого на порог избы, голову ему нагнет, поставит на затылок ковш холодной воды, от хозяйки примет плавленный на печи воск и струит его из кружки в воду. А в ковше шипит, бормочет...

— Слышитя! — строжится бабка. — Ет нечистая сила серчат, почто как чичас узрим мы ее поганую образину!

Враньем бабка врет, а в темной да тихой избе людям и вправду кажется, что из ковша исходит сердитое недовольство!

Из того перелитого в ковш воску получалась такая образина, что глянь на нее нечистый — сам бы со страху испортился.

Знахарка же, бывало, сует стряпню свою леченому в лицо да пытает:

— Свинью супоросную видал?

— На той неделе.

— А петуха на заборе?

— Еще летом.

— А собака на тебя брехала?

— Так она на то и собака, чтобы на всех брехать.

— Я, милай, покуда про тя одного спрашиваю!

— Что ж ей не брехать, у нее морда не завязана.

— Во! — скажет со значением лекарка, поднявши палец. — Ето черт кидался на тебя в собачьем образе. Он же, рогатый, и петухом тебя обкричал.

— И все разом вылилось?!

— Дык ведь я, милай, не как другие. Я порченого человека одним заходом лечу...

Некоторые старухи умели зазывать былую любовь! Брошенную мужиком бабенку такая старуха поднимет сонную среди ночи и ведет в холодный летник. Там велит ей волосы распустить, стать на колени лицом к отворенной печной дверке. Тридцать три раза кричать следует нужное имечко, чтобы через трубу на улице было слышно: «Ми-ки-фор-ко-о-о!» или «Сте-па-нуш-ко-о!» Слышь, мол, кто тебя зовет?!

И ведь хватало терпения! Одна у печи всю ночь орет, другая на лавке дремотой сидит мается, вздрагивает да крестится на зычный голос. И посмеяться-то на них жалко.

Таких лекарок и в голову не приходило никому ведьмить. Никто никакой боязни к ним не чуял. Наоборот. Утром мать там али бабка блинов на стол набросает, ребятишек накормит и сует которому-то из них тепленький узелок в руку:

— Вам на речку мимо Ниловны бежать, запорхните к старой. Пущай-ка свеженького пожует, дай ей Бог здоровья!

Да-а! Эти лекарки были выдуманы для добра.

Но случались могутки и другого пошибу. Не жили они и дня, чтобы хоть малого вреда не причинить ближнему. Либо корову у соседа сурочат — молока не даст, либо килу посадят дотошному мужику, чтобы не подъелдыкивал, где не просят. Бывало, и молодуху сглазят — родит без времени...

Пакостили, одним словом.

Может, сами они и не хотели бы зловредить, только по сатанинскому ихнему уставу бездельники шибко строго наказывались. А уж, не дай Бог, которой в голову

взбредет еще и добро человеку сделать — сразу жизни лишалась и определялась сатаною на вечные муки...

Оно и понятно. Таких колдовок народ боялся. Ежели кто и поздоровкается с такою ведьмою на улице, скорейча торопится домой открещиваться: кто знает, каким глазом поглядела старуха в ту минуту?

Но и злыдни эти могли творить погань не всю подряд; им был определен сатаною каждой свой удел и значение. Кто сватов от крыльца поворачивал, кто град на поле называл, кто разлуку творил...

А вот бабка Пройда была неудобна для людей тем, что, наступи ей в горячий след ногою, — непременно с кем-нибудь подерешься или поругаешься до злобы. Порою такая вражда разгоралась — деревня на деревню шла! Так ли стервенели, что и себя не помнили. А разобраться — даже чоху собачьего для ругани не было.

И никакой охоронки от Пройдиного следу люди не знали, поскольку с приходом темноты становилась колдунья невидимой и ходила, где хотела и перед кем ей вздумается.

Ради такого удобства она раз в году на поганом пустыре варила для себя колдовское зелье. Разливала его по склянкам и хранила при себе. Когда надо, отхлебывала по глотку и становилась невидимой. Так и ходила она воздухом по деревне да слушала людские разговоры.

С молодости в ней такое началось, с девичества. Сперва народ думал, что парни, потасуясь, красоту ее поделить не могут. А когда она замуж ни за кого не пошла, сообразили, что неспроста гордыня ее одолела.

Тогда стали сходиться всей деревней — Пройду ловить. Да только из благой затеи опять же война получалась. Если бы знать, когда Пройда варево затевает, какой колдовской ночью поганит она душу свою сатанинским делом, тогда бы можно было подкараулить старую и плюснуть ей в глаза. Если угодить без промаху, нападет на Пройду куриная слепота: целый год не видеть ей в темноте, сидеть дома слепым сиднем. И тогда целый год не было бы в деревне драк, и даже ругань бы ни у кого не получилась.

Но Пройда, видать, боялась быть пойманною на пустыре, поскольку парни, которые пытались ее укараулить, все делали только во вред себе. «Черт с нею, с Пройдой! — решили люди. — Лучше не трогать».

Но хвост репья не ищет.

Как руки ладонями сложить, так тесно со двором

Пройды стояло подворье Броньки Сизаря. Жена у Сизаря и тихая, и хозяйственная, и рукодельная. А вот над самим Бронькой вся деревня смеялась:

— Ты, Сизарь, поди-ка, все запятки бабке Пройде пообступал? Шумота ты бестолковая, шумота и есть! Ты пошто это со всякого восходу на людей-то кидаешься? Мало тя мужики-то буздыкают?

Измаялась Сизариха в срамоте жить, хоть помирай безо времени. И то бы согласилась, да вот сыновья-подкрылышки — Гунька да Минька. Гурьян да Михаил.

— Эй, Сизари! — кричали им нередко через заплот мальцы деревенские. — Чем батька седни лупцевать вас будет? Батогом или сапогом?

Вся и перемена для братьев в отцовском доме. У других ребят в семьях тоже бывало по-всякому, но не так! А тут и по затылку, и по спине, и на, и на! И ни конца ни краю...

Тверезый Бронька Сизарь шалопутный, а уж когда нажрется, да в своем доме все перехлестает, тогда к бабке Пройде бежит — убивать старую за свою срамоту. Но ить Пройда не робкого десятка: так, случалось, влупит скалкою поперек Бронькиного лобешника — юлой пойдет мужик! И опять у него домашние виноваты.

Обычным делом для Броньки было расслюнявиться после бойни. Голову повесит, губы распустит и сидит, бьет себя в грудь да жалуется:

— Пройда, ведьма лупатая, меня урочит. Куда бы ни шагнул — черт ее вперед несет... Гунька! Минька! — зовет. — Сыночки! Пройда меня путает.

Вот и задумали Гунька с Минькою скрасть бабку Пройду на поганом пустыре, когда ведьма будет варевом занята. Решили они хоть через смерть, а плюнуть ей в глаза.

Поганый пустырь в аккурат лежал за Пройдиным огородом и с Сизаревой крыши был виднехонек как на ладони.

У матери не надо было спрашиваться, поскольку ребята и без того частенько спали на чердаке, особенно когда отец бывал пьян. Там у них давно и соломы натаскано, и ремья всякого. Можно и на палку закрыться. А из чердачного окна следи за пустырем хоть круглый год.

Веснами пустырь обрастал полыньем, крапивою да дикой коноплей столь густо, что на голую его середку целое лето никто не заглядывал. К осени бурьян отцве-

тал, и сквозь долгий быльник проглядывала широкая плешина пустыря.

— Плешину ту черти вытоптали, — говорили деревенские бабенки — Когда Пройда варево свое на огонь ставит, так черти дровами ей помогают. А напившись зелья, веселятся. Вот и вытоптали себе точок копытами.

Самих чертей людям не видать, но колдовскою веселой ночью поднимается в округе сильный ветер, и по земле скачут искорки из-под чертячьих копыт. Уж тогда лучше дома оставаться! Не то искорка такая зацепит человека на лету — всего обметает пузырем, коростою осыплет...

Обо всем этом Сизарята знали не хуже остальных. Потому-то они решили не ждать, когда черти успеют зелья нахлебаться да невидимыми стать, а захватить Пройду на пустыре одну. Для того нарядиться чертенятами и подбежать к первому огоньку.

Напасли они себе на чердаке сажи, из овчины бросовой сообразили лохматые штаны сладить, прицепили к ним телячьи хвосты. Каждый вечер потемками наплетали они волосяные рога надо лбами, чтобы при нужде долго не возиться.

Захвати их Бронька Сизарь за таким занятием, пошибал бы обоих с чердака! Уж он бы им наложил чертей! Но ни единая душа не знала о задумке Сизаревых ребят. И ведь сколько надо было набраться терпения, чтобы и спать каждую ночь вполглаза и не бояться Пройду сторожить. От настырные!

Ночь, другую, пятую сидят, не уходят... А лето катится. Утрами уж стала земля туманцем попыхивать. Мать ругается на сыновей — простынете, чердачники! Чирьем обдаст!

Но взашей с чердака не гнала — любила Сизариха сыновей.

В тот вечер долго не темнело. Слышно было, как брешут на деревне собаки, выхлестываясь в подворотни на дальние голоса веселых мужиков. Там же где-то и пьяный Сизарь доказывает людям жизненную пригодность своей правды.

Гунька с Минькою, привыкшие глядеть на пустырь, сидят себе на чердаке да шепчутся вовсе не о том, чего ради вот уж которую неделю гнездятся они в этой пыльной темноте. Сверху ребятам видно, как крутые вихорьки завевают по земле сор позднего лета, уносят его за огороды и прячут где-то в густых лопухах.

Скоро ветровую игру застила ночная хмарь, стало лень говорить. Дрема потянулась погладить ребят по рогатым вихрам, но вдруг отдернула руку и пропала в темноте. А Сизарята подхватились враз и выставились часовыми птахами в чердачное окно: черная тень кралась вдоль стены Пройдиной избы! Словно вода через сито, просочилась тень через сеношную дверь, и тут же в избяном оконце посветлело.

Вспыхнуло оконце да погасло, а во внезапно расхлестанную дверь выкатился и съехал по ступеням крыльца живой темный ком. На земле он разровнялся, вытянулся и пополз через двор, огородом, в шухлые конопли поганого пустыря.

Ребят окатило немочью! Сели они на чердаке друг против друга — не помнят, кого как зовут. Но спохватившись, опять на улицу высунулись.

И не вспыхни на пустыре огонек, они его со страху все одно бы увидели. Однако робкий огонек и на самом деле мелькнул за бурьяном.

— Где штаны? — подскочил Гунька. — Давай сюда сажу!

Натянули они на себя овчину с телячьими хвостами, сажею навозекались, проползли огородом между капустных кочанов и полезли через прясла.

— Никого нетути! — трясясь в бурьяне, шепнул Гуньке Минька.

— Ты чо, ослеп? — дернулся тот. — Туда гляди! Видишь? На кукорках сидит? Огонь в кулаке раздувает!

— Боюся-а...

— Цыть! Заходи спереду! По кругу прыгай, чтобы ведьма ко мне оборотилась. Я стану у ней за спиною... Как повернется — плюну!

Выскочили ребята из быльника да и про договоренность оба забыли — заорали в два голоса, завыли истошно. А ведьма этак вскинулась, повалилась на землю, и руки врозь...

Управились.

Братья молнией домой! Вихрем на чердак!

Посрывали с себя все чертячье, мордашки пообтерли кое-как, а от страха спрятаться не могут. Полезли на сеновал. Но и там изо всех углов светят желтые глаза! Колодезный журавль в огороде и тот тянется к мальцам долгой шеей — вот долбанет по макушке! Куда деваться? Хоть в избу беги. Но не дай Бог, отец пьяный вернул-

ся! Во дворе-то еще будет чего или нет, а уж отец не промахнется...

Одно осталось — пробираться в избу да на полати лезть. Обошлось на этот раз — только мать и подала голос из темноты на их шебуршание:

— Озябли, полуношники? Время ли по чердакам-то слоняться?

На полатях ребята расплели себе рога, обчесались пятернями и давай шептаться, покуда мать не заругалась.

Притихли Гурьян с Минькою, а сон только того и ждал.

Утром Сизарихе шабур какой-то понадобился на полатях. Сунулась она наверх — батюшки! Поизмазаны ребята, что головешки лежат. А лохматы! А исцарапаны! Кинулась банешку топить: согрела быстрехонько воду, ребят толкает:

— Вставайте, прокудники! Живо в баню, покуда отец не явился.

Дала обоим подзатыльников, сама заторопилась корову доить.

Без матери братья набузовали в корыто воды, полезли мыться. Сидят шушукаются между собой — что делать? А банная дверь как распахнется во всю ширь! И стоит на пороге живехонькая бабка Пройда!

Сизарята чуть не утонули в корыте.

А ведьма поглядела на братьев сквозно да и говорит:

— Как время придет могилу копать — ройте сами! Место берите у трех берез. Поняли? У трех берез!

Повторила так ведьма и пошла прочь, а у ребятаднушки ко дну пристыли.

Тут во дворе мать истошно завыла!

Надернули ребята одежонку, выскочили из бани, а мужики деревенские несут через огород с поганого пустыря черного, как земля, отца... Вот те и бабка Пройда!

Бабы уж во двор набились, стоят, судят потихоньку:

— Ето черти Броньку на пустыре загоняли. Вечор грозился подстеречь Пройду за ее варевом... Вот и подстерег!

— Жалко мужика из-за детей, хоть и дурак.

— Как теперь Сизариха останется? Вьюшка-то хоть и черна, а тепло держит.

— Конешно. Не ядрышко он был ореховое, но и щербаты грабельки сено гребут...

Стоят Гунька с Минькою, разговоры бабьи слушают, однако нутром понимают, что сами они отцовой смерти первая причина. Оттого-то и потупились братья сильнее печального, и на людей не могут смотреть.

Утром другого дня засобирались мужики покойнику могилу копать. Но Гунька с Минькою вперед вышли:

— Сами будем рыть!

— Не принято своим-то...

— Сами!

— Господь с имя, пущай идут, — решила за всех самая древняя бабушка. — В этом завете одно только сердоболие, а греха никакого нету.

Взяли Сизарята лопаты, прихватили лесенку, пришли на кладбище. Тихо кругом. Осень уже успела сбрызнуть березовые листочки желтизной, а тепло. Однако братьям зябко сознавать, что кончилось их неуютное детство и надо теперь думать не только о себе, но и о горемычной своей матери.

Стоят ребята, прикидывают, где могилу начать.

— Тут по три березы целое кладбище.

— А вот за бояркою...

— И правда! Што сестры.

Пошли братья за боярку, а там, между трех берез, простору как раз на одну могилку, и уж само рытье кем-то начато. Только ни копальщика, ни лопаты не видно.

А ведь деревня не уезд и даже не волость. Тут каждый знает, сколько покойников случилось. Выходит, что могилка кем-то начата ни для кого другого, как для ихнего отца.

— Должно, вечор мужики начали копать, — стоит гадает Гурьян.

— Мы бы про то знали, — не соглашается Михаил.

— Тогда Пройда...

— Ну тя! — испугался Минька. — Еще, поди-ка, и на нас наколдовала... и мы тут еще помрем! Пойдем отселева.

— Куда? — ответил Гунька. — Ежели Пройде надобно человека уморить, она его хоть где сыщет.

И, словно бы в подтверждение сказанного Гурьяном, углядели ребята на близкой кладбищенской дороге неторопкую согбенную спину бабки Пройды...

Только лопаты замелькали в руках братьев. Копают Сизарята, а земля до того мягко подается, словно моги-

ла уже кем-то копана на всю глубину, да засыпана для интересу непонятного.

К полудню мальцы, считай, справились со своей невеселой работой; осталось на вершок углубиться, и можно отряхивать штаны. Тут вот Гурьянова лопата и уперлась во что-то неподатливое.

— Гроб!

Но Минька зря вылетел наверх, как подкинутый, — под лопатой оказалась старая корчажка, а в ней тряпица с деньгами!

Найденных денег было не так уж и много, чтобы Сизарям сразу захотелось другой жизни, но на завтрашний день можно стало глядеть без боязни. И вдовьи слезы на глазах самой Сизарихи скорее ожидаемого высохли, с полным-то карманом...

Ладно.

Вскорости померла и бабка Пройда.

Деревенским сходом было решено похоронить ведьму на поганом пустыре, да чтобы душа ее неусыпная ночами больше не блукала по дворам — воткнуть на ее могиле осиновый кол.

Миньке с Гунькой чаще других доводилось потом ходить мимо Пройдиного пустыря: то на речку побегут купаться, то рыбки на уху добыть, то травы покосить на пологом речном берегу.

И чем выше поднимались ребята годами, чем глубже сознавали они истинную причину отцовой смерти, тем неотступней одолевала их загадка — каким таким манером, каким чудом оказались тогда под Гурьяновой лопатой деньги? Тем невыносимей было видеть им осиновый кол на поганом пустыре.

Сизариха взялась жаловаться соседям:

— Вышла надысь потемками на крыльцо, а они оба стоят, на пустырь глядят, шепчутся. Ой, подружки-подружки! Ой, чо мне делать?! Томятся мои ребятки...

— Бабку искать, — советуют. — Пущай придет порчу выльет. А так хоть задумайся — одной думой и комара не убьешь.

Но скоро отпала нужда бабку искать. На Семен-день[1] чуть свет тарабанит Фроська Халина в Сизарево окно, шумит:

---

[1] Семен-день — 14 сентября. С этого дня по 21 сентября — старое бабье лето.

— Эй, хозяйка. Выходь скорейча, глянь-ка, что на пустыре-то деется!

Сизарихе ажно в голову дало — сыночки!

Слепая, босая, в одной рубахе кинулась она через огород. Халиха ее и догнать не смогла. Когда же Фроська пролезла чернобыльником на пустырь, застала там Сизариху полную удивления: а дивилась она трем молодым березам, выросшим в одну ночь в изголовье Пройдиной могилы, да резному березовому кресту на месте осинового кола...

И Халиха, и Сизариха не в силах были сообразить, когда же все это успело образоваться?! На голом-то пустыре!

А народ уже сбегался со всех дворов, ахали пораженные бабы:

— Вот те и Пройда!

— Ну и ну!

— Святая! Как пить дать — святая!

— Земля ей пухом!

ОГЛЯДКИН ПОДАРОК

Еще про однуё бабку небылица велась, про Оглядку. Про ту старуху, которая была почище всякой Пройды.

От Пройдиного-то следу передернутся люди, переругаются, да и опять вместе. А с Оглядкою было куда как больше заботы.

Вот ежели бабка, скажем, идет тебе встречь — ничо не бойся. Тут у нее никакой силы про тебя нету. И следом за тобою может ходить цельный день — тоже никакой беды. Но стоит ей, пройдя мимо тебя, оглянуться,— все! Этим годом помрешь!

Вот оно какое дело страшное!

К этой бабке Оглядке даже какой-то ученый немец приезжал: умника из себя строил. Говорил он народу, убеждал, что никаким сглазом бабка, мол, не обладает. А наделена-де она странной от природы особенностью — улавливать нюхом близость чужой смерти.

— Ет чо же? Ето немец больше нашего ведьму, что ли, знает? — кричала тогда перед народом Степанида Закуриха. — Оглядка, она и есть Оглядка. Ишь, приехал сюды, заступник! Поди-ка, сам сатанинского роду — в

кармане хвост прячет... Вот и выгораживает свою товарку!

За неделю до немцева приезда от той Закурихи мужик ее венчанный в город убежал. С молодухою Федот Закурин и году не вытерпел жить. А сам виноват: ему, видите ли, в родной деревне суженой не выбралось! Степаниду он привез откуда-то с Московской дороги. Высмотрел красавицу!

На ихней свадьбе Оглядка возьми да скажи кому-то:

— Не жить Федоту со Степанидою...

Эти Оглядкины слова дошли до Степаниды тогда, когда Федот улепетнул со двора. Уж больно не к его рукам оказалась молодайка — из тех, об ком в народе говорят: ни сесть, ни подняться, а с Богом равнятся.

— Пушшай не радуется моей беде! — грозилась в тот день Степанида в сторону Оглядкиного двора. — Не смейся горох над бобами, сам будешь валяться под ногами.

Оно и без того боялись Оглядку деревенские простодумы. Бывало, стоит кому увидеть сыздаля ее черный платок, будто бы степным вихрем выметало народ с улицы. Только щеколды заклацают на калитках да испуганные ребячьи глаза в щелях плетней уже караулят каждый Оглядкин шаг.

И прежде Степаниды Закурихи находились на старую лихие люди, и они хотели бы укоротить Оглядкину жизнь. Да только оберегал старую от тяжелой руки страшный завет.

— Ишшо когда Оглядка в полной ведьминой силе была, — рассказывали бабенки одна другой, — когда ишшо невестилась, так один бойкий стрелок пулю в нее свинцовую пустил за насмешку невыносимую со стороны Оглядки. Может, случилось такое и за гордыню ее высокую. Только пуля та ведьму обогни возьми да самого стрелка и ухлопай наповал.

А ишшо на ее голову находился и такой герой, что под угол избы красного петуха подпустил: паклю на палке поджег да и сунул в кошачий лаз. А дело, знамо, ночью было...

Вот, бы, торопится петухарь тот прочь от Оглядкиного дому, а ему, бы, что-то больно светло бежать. Оглянулся, а за ним скачет на одной ноге горящая палка, только огненная грива ее хлещет по ветру...

С перепугу влетел петухарь в чей-то пустой амбар, заперся изнутри... Потом еле успели вытащить его из амбара — вся голова обгорела у прокудника. Еще и хозя-

ин построины заставил его потом новый амбар срубить, чтобы вперед не баловал с огнем.

Волосы на голове того поджиги так и не выросли никогда: всю жизнь звали его в деревне рекрутом.

Вот и выходило, и складывалось с тех разговоров, что справиться с Оглядкою могла разве что самовольная ее смерть.

На том и остановилась злая Закурихина душа, на том ее и заклинило.

В простой же человеческой исходности было якобы Оглядке отказано. В самой ее кончине и гнездилась крючковатость ведьминого завета: прежде того, как помереть последней смертью, должна была Оглядка передать колдовское свое умение другому человеку. Без такой передачи сколько бы разов ни помирала Оглядка — воскреснет!

По причине такой боялись сельчане даже прикоснуться к старухе: не дай Бог, минутой помрет!

Но и в деревне всякий народ жил: находились и такие, что Оглядку вовсе не боялись.

Хотя бы взять — Вознеся-бондарь. Тот на всякие разговоры рукой махал.

— В других деревнях и помину Оглядкиного нету, — говорил он,— а люди не меньше нашего мрут.

Веселым был Вознеся человеком.

— Как только помру, — смеялся он, — сразу на седьмое небо вознесусь и останусь там, не упаду. Грехами я не обременен, чего падать? Никакой заковырки мне там не будет.

За такую шутейность в деревне его окрестили Вознесей и дочку его, тоже веселую да открытую, по отцу Вознесюшкой кликали. Сама бондариха в доброте тоже от них не отставала.

Да-а! Чисто, легко жили люди. На таких вот глядят с неба ангелы и улыбаются, а черти в затылке скребут.

Ну, да не станем завидовать, поскольку зависть всем грехам заглавие!

Те вот бондари всею семьей не боялись бабку Оглядку. Сами они ходили к старой и дочку с малолетства отпускали к бабке слушать мудрые сказки.

С подростом стала Вознесюшка бегать к Оглядке не только за выдумками, а и торопилась пособить старой по хозяйству чего, и даже делала это себе в радость.

А Закурихе занеможилось бондарей от Оглядки отвадить.

— И чо только думают люди? — лезла она ко всем подряд со своей неизбытной досадой. — Испортит же девку ведьма проклятая.

— Не испортит, — уверяли ее соседи. — Тебя вот она скорее заметит...

— Она хоть и ведьма, — добавляли другие, — а все-таки человек. Так-то душевно живучи, разве Оглядка наберется совести погань бондарям сотворить?

Так судили осторожные. Пустозвоны же да дуроватые подначивали Закуриху:

— Отбивай, Степанида, бондарей от ведьмы — скорее задавится однова.

Ну вот! Куды человек едет, там и остановится.

Как с ветки, сорвала Степанида главную причину своей разнузданности.

Набивал Вознеся-бондарь обруч на квасную дежу и тяпнул себе по пальцу молотком. Скоро отбитый палец почернел, поднялась рука подушкою. Порченая кровь растеклась по плечу и ударила в голову.

Глаза опускались глядеть, что с человеком сделалось за короткое время: весь дрожжевой стал, рыхлый. Ткни, казалось, его пальцем посильней, дурной воздух засвистит наружу.

Откуда такая напасть налетела?

— От Оглядки! Откуда ишшо-то? — разорялась в бондаревом дворе Закуриха. — Теперь сами видите, почем слово мое? Попомните вперед: она и бондариху туда же спровадит! Ведьме этой край надобно: кому она ишшо-то, окромя Вознесюшки, свое колдовство передаст.

— С нами крестная сила! — пугались в толпе бабенки. — Спасать надо Вознесюшку, пока не поздно.

— Да как спасешь-то ее?

— Думать надо, как!

— Чо тут думать, чо ждать? — настаивала Степанида. — Айда прямо счас до Оглядки! Пущай лучше добром помирает, не то в избе ее заколотим и трубу заткнем. Пошли, баба! Может, успеем ишшо Вознесюшку спасти?!

Черт ее знает: может, и взбеленился бы народ Закурихиной беленою — вроде к тому шло. Только в ограде сказал кто-то громче других:

— Помер Вознеся! Перестаньте горланить!

Перестали покудова.

Только похоронили бондаря, не отвели и девяти ден — вот те на! Бондариху скрутило: и живот, и живот... и ни-

чего ей стало не надо... Померла бондариха, как в гости ушла.

Тут уж со Степанидою даже бойкие бросили спорить. А ее, того тошней, прямо в сучок потянуло! Кулаками трясет:

— Я те покажу, нечистая сила, как людей со света сживать да со двора мужиков выпроваживать! Дай тольки времечка, вознестись на небеса святой бондарихиной душе...

— Надоела ты, тетка Степанида, со своей грозой, — осекла как-то Закуриху сама Вознесюшка. — Что ж ты в добрые-то по чужой спине лезешь? Зря стараешься. Ведь сколь ни куй, а из алтына не выкатится полтина.

— Вот она, выучка Оглядкина! — тут же кинулась Степанида правоту свою доказывать. — И в самом деле, спасать тебя пора.

На сороковой день от смерти матери собрала Вознесюшка в доме своем поминки. Еще и народ не успел путем сойтись, вот ли бежит по улице махонька девчоночка соседская да кричит в отворенное оконце:

— Тетка Вознеся, бабка Оглядка помирает!

— Как ты знаешь, Дуняша? — высунулась на улицу молодая хозяйка.

— Щас-ка сама видала, — щебечет махонька у оконной створки. — Плетется старая с огорода, согнута-пересогнута вся... «Ох-ох!» — охает. Еле ноги взволокла на крыльцо... упала там... В самую избу ползком поползла.

До конца-то девчоночка еще и не досказала, а уж народ сыпом посыпал к Оглядкиной избе. Закуриха вперед всех летит, ажно подол к ногам прилипает.

Мигом собралась на улице толпа, и Вознесюшка сюда же торопится.

Степанида руки перед нею расставила:

— Куда? Колдовство перенимать?! Ах ты, бесстыжая! Ни отец, ни мать ей не памятны. Рвется скорее ведьмою стать...

— Пусти! — не слушает ее Вознесюшка. — Там же человек больной...

— Не пущу! Нам и одной колдовки по горло хватило.

— Да ты сама, тетка Степанида, хуже всякой ведьмы...

— Пустые твои шары! — заорала до посинения Степанида и хвать Вознесюшку за косы, да к народу обернулась. — Она думает, что я не видела ее с Оглядкою!

Запрошлой ночью, бабоньки! Гляжу: выходют из Оглядкиной бани. Космы у обоих соломою, глаза зеленым огнем полыхают... Там вот я, за плетнем стояла... морду мне опалило глазным ихним жаром! Бей ее, собаку!

Однако парни отняли Вознесюшку, не дали Закурихе воли. Но и девку стали уговаривать:

— Нет, Вознесюшка, нет! Суди нас как знаешь, а мы тебе не злодеи. Ежели немец тогда и не соврал про Оглядку, так все одно темнота людская задолбит тебя пустословьем. Покуда старая не помрет навовсе, мы тебе не дозволим к ней подойти.

Сколько ни билась Вознесюшка в сильных молодых руках, не пустили ее ребята к старухе, домой отвели. Приставили к ней подружек для караулу.

А что девчонки? Да еще за день наработанные? Долгая ночь их всех и подвернула под себя. Не спросилась, когда ей подложить под молодые головы мягонькие сны.

Поднялась трепетная Вознесюшка среди ночи, что пугливая норушка в сени юркнула, а уж на улице оказаться и вовсе ей никто не помешал.

Прокралась девонька темными задами к Оглядкиному огородчику, горбясь у плетня, долго ночь слушала, а потом легкою тенью миновала чистый двор и осторожно поднялась в сени.

Скрипнула под рукою ветхая дверь, половица заплакала от радости, ей отозвалась слабым стоном избяная хозяйка.

Упала Вознесюшка головою на худую бабкину грудь и, почуя на затылке ласковую руку, захлебнулась слезами.

А старая заговорила, силясь быть понятою:

— Дитятко! Горемычное ты мое! Вознесюшка... Не испугалась... А надо бы поостерегчись простоты людского ума, хотя бы и зла от меня никому не было... Ишь, как Степанида-то разоряется. А ведьмою на свете живу я от случая.

Потом подумала Оглядка да не передумала — дальше повела тихим голосом:

— Отец с матерью меня людям раньше твоего оставили... Росла... Чо поделаешь? Куда денешься?

Скоро люди стали говорить, что смотреть на меня нельзя без душевной отрады — такова пошла я в красоту... В ту пору я жила в работницах у одного чепурного хозяина. Он-то и надумал сделать меня удобною для своей хозяйской похоти... Языком-то согнуть ему меня

не удалось, подарками не сладилось... Кроме силы ему ничего не оставалось больше...

К тому разу я картошку окучивала за пригоном.

Неслышно подкрался хозяин...

Вывернуться-то я вывернулась — иного и быть не могло. Только вгорячах хватила я хозяина тяпкой по загривку. Раскроила... Думала, что он побежал кровь останавливать, а уж, гляжу, обратно с ружьем несется...

И приставил меня хозяин к стене пригона... А пьяный...

Я кричу ему в самую рожу: «Стреляй, барсук вонючий!»

Какой хозяин стерпит обиду от своей работной девки? Хлестанул он по мне в упор... Да только с такой больной головою и втык промахнешься.

Слышу я: пуля — чок! Прямо у моего уха щелкнула! А сам хозяин, гляжу, на земле крутится, воздух ловит широким ртом.

Недолго покрутился хозяин у моих ног — помер.

Кто-то из людей видел, крик поднял. Суматоха пошла: стали разбираться, что да как...

На деле оказалось, что пуля та шальная угодила прямо в железную скобу пригона, отскочила да нырнула в раззявленную глотку самого стрелка. Чо-то, видно, кричал он мне на прощание, да не разобрала я под ружьем-то...

Много нашлось, кто были рады странному исходу неимоверной дури моего хозяина. Потому что не только бедные, а и зажиточные ходили у него в больших долгах. И это немного сравняло мою причастность к хозяйской смерти. Но удивляться люди не перестали такому случаю.

Доудивлялись до того, что, вроде бы, успела я хозяйскую пулю на лету заговорить. Вот и получилось, что ведьма я. Что и пули меня не берут, и огонь не трогает...

А ведь на чужой роток не накинешь платок...

Не жизнь прожила, Вознесюшка, а муку промучилась.

Рада-радехонька теперь помереть. Одно меня томит на этом свете: за тебя боюсь.

И замолкла старая и снова открылась:

— Мне бы только до утра дотянуть. Там я выползу на солнышко. Хочу в ограде помереть, на людских глазах... Но и тогда, Вознесюшка, вперед других ко мне не

подходи. На то тебе моя последняя воля! А теперь ступай домой, Господь тебя благослови.

Надо было бы Вознесюшке домой вертаться тем же путем, да черт, видно, его загородил...

Вышла она на улицу воротами, не успела путевого шагу ступить — Степанида перед ней из приоградного бурьяна выросла.

— Ну что? Сходила? Переняла?! Ведьмою жить захотела? Людей морить?!

— Тебя, тетка Степанида, первой уморю, — хотела отшутиться Вознесюшка, да на смелость ее Закуриха ажно вздулась:

— А вот мы счас увидим, хто кого первою уморит! — Да опять хвать девку за косы, да грянула сквозным голосом до последней деревенской избы: — Сюда, лю-уди! Вставайтя-а! Сюда-а-а... Ой, глазонькам моим больно, что я видела чичас! — выла она истошно на всю улицу...

А люди, подбегая, таращили на нее полусонные глаза да спрашивали один другого, кто что придумает.

Когда ночная деревня, лохматая да тугоумая ото сна, собралась на улице тесным кругом, Степанида стала захлебываться во вранье:

— Гляжу! Выходит Вознеська из Оглядкиной избы... А веселехонька вся! Радостна! С крыльца ажно плясом спустилась. Я за плетнем сижу и вижу: восстал вдруг перед нею в ограде огненный столб! А в столбу! Разорви меня на клочки... Немец в том столбу стоит! И вот уж разговаривают они с Вознесенькою-то... Да рогами немец трясет! И стерва эта ему согласно кивает... Хотела я, бабыньки, в страхе-то бежать, да учуяли они близость мою, заторопились, забормотали, по двору закружились... И дьявол... Господи прости!.. Влился в девку дымною струею... Без остатку влился, весь! Что делать будем, люди? Вы только поглядите! Не верите, эвон треплет-то Вознеську как! Это в ней не уймется еще переемная трясьба. Ведь только-только спеклась новая ведьма... Так покуда не укоренился в ней дьявол да по молодой крови не растекся, выбить его надо!

И силою согнувши девку под себя, Степанида первая долбанула ее по спине.

— Для нее же это нужно, — кричала она оробевшим бабам. — Бей, чтобы рогатый выскочил...

Нашлись... Но сколько ни долбили девку, дьявола, понятно, не выдолбили.

— Веди ее к речке! — шумит тогда Степанида. — Кунать будем головою до захлеба. Из мертвого-то тела немец сразу выскочит. А потом Вознеську откачаем. Что стоите-то? Глядите — светает! Петухи запоют, тогда поздно дьявола будет выгонять.

Повели Вознеську бабы скопом к реке.

А ближе всего к воде идти им было через Оглядкин двор.

Не испугались, поперлись!

Вот и ворота, вот и двор Оглядкин. А вот и сама старая Оглядка! Лежит болезная посреди двора, и размертвехонька, что камень.

Остановились люди перед мертвой, защемило в них тоскою суть человеческую. Одна только Степанида Закуриха не унимается:

— Видите — померла! А я вам чо говорила? Не могла ведь Оглядка, не передавши колдовства, окочуриться?

И уж что хотела сделать Степанида с Оглядкою: то ли с дороги убрать, то ли убедиться лишний раз в своей правоте?

Но не успела она нагнуться над старой, как поднялись от земли медленные мертвые руки, обняли Степаниду за крепкую шею, и все кругом услыхали долгий Оглядкин вздох и ясный ее голос:

— Прими душу мою, Степанидушка! Стань заместо меня на деревне ведьмою.

Так-то вот!

Будь спор — через костер, да посередке не сядь.

СТАРИК-БОРОВИК

Счастье?! Счастье — оно чудо такое, которое за тебя никто не сотворит. Смолоду мы все тянемся к такому чуду. Но земной путь долог. На том пути перехватчиков ой как много! Кого жадность одолеет, кого беда осилит, кого хвороба заест, а бывает, и простая дурь голову закрутит... и ко всякой беде первым прибедком можно поставить наше глупое «авось». Спрячешься за него, и не найдет тебя твое счастье.

Так вот кабы не «авось», куда бы лучше жилось.

К примеру будет сказано, жила в деревне, что вверх по нашей речке этак версты на четыре отстояла... жила,

значит, в той деревне Дашутка Найденова. Жила, как все живут, ничем особым от своих однолеток не отличалась. Разве что без матери рано осталась. Так и сиротство не ахти выделяло ее, жалеть было не за что. Отец ее, Федот Найденов, второй раз не стал жениться, а привез в дом сестру свою, кривую Финету. Финета в девчонках еще потеряла один глаз. С подружками в лесу играла да и наскочила на острый сучок. От кривоты своей и осталась на всю жизнь одна.

— Мне,— говорила,— на себя один раз самой-то глянуть тошно, а человеку — всю жизнь смотри...

Когда же Финета к брату перебралась, очень радовалась— в семье жить будет. Привязалась она к Дашутке, как к родной дочери, но держала ее в работе и строгости.

Семья была со жменьку, а все не на серебре едали. Бедность тогда у простых людей большая была. Многих невест в стороночке держала. А и замужество тоже не приносило великого праздника.

Понимала Финета, что и к ее Дашутке не князь приедет свататься, и все же больше того боялась — не повторила бы племянница ее судьбы... Вот она и приглядывала для Дашутки жениха.

— Пусть, — говорила, — хоть худая крыша, а все не каждая капля на голову упадет.

Дашутка же по молодости подсмеивалась над Финетиными заботами.

— Ты гляди, гляди, тетка Финета, а я посмотрю.

И отец ей потакал:

— Человеку на земле всего по одному разу отпущено: один — родиться, один — помереть, и любить тоже один раз дано. Так что не спеши загадывать, торопись думать!

Оно, конечно, и для Дашутки женихи находились, но больно долго не упрашивали: дело твое — не хочешь, как хочешь... Другие сговорчивее.

Финета все охает, а Дашутка ластится к ней:

— Молчит мое сердце, милая моя тетечка. Слыхала я в людях, что сердце петь начинает, когда узнает суженого своего.

— Верно, — поддакивал Федот, — в хороводе плясать и то не с каждым хочется...

И тут пошла по деревням молва: ходит-де по дворам Христа ради Старик-Боровик — самой земле родной брат, тайге нашей хозяин заботливый. Ходит Боровик, и все чего-то вынюхивает, все высматривает. А сам под

сумошника рядится, чтобы его, значит, от других попрошаев отличить нельзя было. Как только пригреют его в каком дворе от чистого сердца, так он, уходя, в том хозяйстве прибыток оставляет.

И не то чтобы выдернут в огороде вместо свеклы узелок с деньгами, а так: коли в доме больной человек лежит — встанет, или хлеб в тот год невиданный на полосе уродится... Не то сваты налетят со всех сторон — разом выдадут замуж ту, которой прежде и другого-то имечка не было, как «горевуха».

Финета на эти россказни и клюнула:

— Вот бы нам с тобой, Дашутка, заманить Старика-Боровика!..

Все чаще, все громче заповторяла Финета свои слова. Стала она хожалых людей выглядывать, к заплоту часто выходить — высматривать... Потом и зазывать принялась...

Ну и навадились у ихнего стола каждодневно сироты убогие пастись...

Федот сестру не останавливает:

— Пусть ее... — смеется. — До костей поди-ко не обглодают...

Напоит Финета, накормит бесфамильника дорожного, спать укладет... Утром, не успеет сумошник узел свой собрать, а уж Финета все окна проглядела, сватов ожидаючи.

Ну, погарцует у окон, посуетится и плюнет — осердится. А потом опять свое, опять залучает всяких захребетников. Дашутка стала укорять тетку:

— Смеются надо мною подружки... Что же ты делаешь, тетка Финета?

И Финета уже понимает свою пустую затею. Уж и грозится с досады:

— Не пущу никого! Хоть помирай под забором, не пущу!

И почти той же ночью постучись кто-то в калитку. Ночь расходилась ветреная, мокрая... А стукоток уже такой несмелый, будто и не надеется тот, кто стучит, что его в тепло пустят.

Если бы Финета не прислушивалась ко всяким шорохам, не услыхать бы ей того стука. Встрепенулась, Дашутку посылает:

— Беги скорей, отвори! Может, его судьба послала?..

— Ты ж зарок дала, — сидит Дашутка. — Уж лучше

пусть человек в чужом дворе попытает добра. Может, там его за простое благословение примут.

— А я говорю, ступай! — осердилась Финета. — Неспроста у меня колотится внутри: он это!

— Эх, тетка Финета, тетка Финета, какая ты хорошая раньше была! — упрекнула Дашутка.

Но послушаться — послушалась. Пошла отворять калитку.

На дворе дождь хлещет, береза обтрепанная жмется к самой стене дома, а ворота ветром распахнуло... Старик же убогий в калитку скребется — слепой!

У Дашутки сердце занялось. Взяла она старика за руку, ведет:

— Пойдем со мною, дедушка. Тепло у нас, сухо...

А Финета от нетерпения на крыльцо выскочила, стоит, присматривается. В темноте такой разве чего сразу разглядишь?

— Э, нет! — вдруг замотала руками Финета. — Этого не веди! Не веди, говорю, этого! В который раз он завертает к нашей калитке. Ишь ты! Узнал дорогу. На той неделе я кого два раза кормила? Хватит, батюшка мой, хватит!

Дашутка в слезы:

— Кого ты гонишь, тетка Финета?

Стали втолковывать одна другой свои понятия.

А старик тем временем выбрел на улицу, напрямки сырою луговиною захлюпал куда-то: добрую дорогу сослепу да с горя потерял.

Дашутка хватилась, в сенях отцову шубу да сапоги натянула, старика уж у самого леса догнала.

— Ты, дедушка, шибко на тетку мою не серчай, — плачет...— Она ж из-за меня такою сделалась. Слыхал, поди-ко, про Старика-Боровика?

— Слыхал, — гладит ее старик по голове, — а то как же...

— Так тетка моя Финета уж больно в того Боровика поверила, обнадеялась... Раньше-то, бывало, она и без того каждому подаст, а теперь все Боровика ждет. А идут другие да другие... Она и досадует, как малец на палку, котора не стреляет. Она бы хотела, чтобы с его легкой руки ко мне добрые сваты приехали, а то приданое такое бы дал, на которое женихи кидаются... Не может никак понять: зачем бы тому Боровику нищенствовать, если бы у него у самого чего за душою было?

— Так ить может статься, что он лохмотьями только прикрывается?

— И ты, дедушка, про то же, — улыбнулась Дашутка. — Скажи лучше, куда ночью пойдешь-то? Может, к нам воротимся. Поди-ко, отошла теперь тетка моя, сидит, кается...

— Да уж нет, дитятко, — отвечает старик. — Я уж лучше до Белояровки пойду. Там у меня родня никакая с краешку деревни живет. Ты меня, внучка, только на дорогу выведи.

— Какая ж такая Белояровка? — спрашивает Дашутка. — Не слыхала я об такой деревне.

— Успеешь еще услыхать, — загадкой ответил слепой. — Твое время впереди.

— Такая ночь поганая, — жалеет старого Дашутка.— Куда ты? День настанет — тогда пойдешь.

— У меня, внученька, и ясным днем в глазах черная звезда полыхает. Я уж и помнить забыл, какой он, день-то, бывает.

— Ой, дедушка. Не то я говорю, — кается Дашутка.— Провожу я тебя, сколько надо.

— Пойдем, — соглашается слепой. — Проводи, когда тетка не заругает.

Вот и пошли они хлипкою дорогой повдоль темного лесу. Разговаривают идут, посмеиваются, где смешно, вздыхают, где тошно... Дашутка про свое говорит, старик — про Дашуткино... И про дождь забыли, и про ветер... Да и кончился тот дождь, улеглась погода... Дорогу подморозило. Луна выплыла. Светло Дашутке.

Слепой и говорит:

— Шибко ты, внучка, ноги погоняешь. Запалила меня вконец... Дай-ко передохну. Тут бревнышко должно у дороги лежать. Сиживал я тут...

Дашутка и правда бревно увидела.

— Какой ты памятливый! — удивляется.

— Нельзя мне, внученька, по-другому... Я памятью вижу...

Сели они на бревно. Сидят, толкуют. А старик все чего-то ногой пришаривает у бревна.

— Погляди-тко, внучка, что это за камешек у меня под ногою катается.

Подняла Дашутка старикову находку, подивилась:

— Тяжелый-то какой! Поди-кось, фунтов с пять будет.

— Отри камешек хорошенько, — советует слепой. — Сними грязь-то.

Отерла Дашутка находку об отцов полушубок...

— Дедушка, — шепчет, — кабы ты видел, что ты нашел. Однако золото! Помереть мне на месте, золото!

— Ну тя, — хитрит старик. — Откуда? Золото! Кто ж нам с тобою его на дороге поклал?

— Истинный Христос! — крестится Дашутка. — На-ко вот, держи. Это хорошо, что золото. По дворам скитаться тебе нужда сразу отпадет, будешь теперь на своей печи есть калачи...

— Не-е... На печи я скоро помру. Не привык я к баловству. Возьми-ко ты себе этот камешек. Тут столько, что и тетка Финета об таком не думала, не гадала.

— Не возьму, — дернулась Дашутка. — Как же я после того жить на свете стану, слепого обобравши. Мне отец говорил, что золото — оно зоркое. Оно само видит, кому в руки даваться. Ты его нашел, ты его и бери. Мне чужого не надо.

— От неслух! — смеется старик. — Я ж от чистого сердца... Кабы тетка Финета его увидела, с руками бы оторвала...

— Ты мою тетку не скупи. Она не жадностью болеет, а заботой. И не суй мне свое золото.

После Дашутка повинилась перед стариком:

— Вишь вот. Не успели мы его, проклятое, в руки взять, а уж, гляди, поругаемся скоро. Убери ты подальше его.

— Дело твое, внучка. Тебе не надо и мне ни к чему... — Сказал так слепой и бросил золотой камень подальше от дороги. — Лети камень-приворот во невестин огород.

Дашутка было кинулась в тайгу да раздумала.

Назад вернулась, а слепого на дороге нету. Дашутке страшно стало: заблудится в лесу слепой, пропадет старый!

— Ау, дедушка... Ау, миленький... Вернись.

И увидела она: идет кто-то к ней из леса.

Ей и не к уму, что уж больно прямо идет, уж больно смел для слепого... Побежала навстречу.

А луна, а луна!..

Дашутка от испуга к дереву спиною привалилась, ноги не держат: старик-то — не старик, и не слеп, и не сед, кудри волною льются, чистый голос молодо звенит.

Дашутка слушает и не слушает: смотрит на парня во все глаза и поднимается в ней сила, какой она сроду в себе не чуяла. И не то чтобы сердце ее запело, а так, будто кого загибшим считала, а он вернулся... Такая горячая радость, что, не остуди ее слезами, сгорит сердце, не выдержит.

— Ты чего плачешь-то? — спрашивает парень. — Испугал я тебя. Ну что теперь поделаешь? Ты уж не сердись. В лесу-то почему так запозднилась? Пошли, я тебя к деревне выведу.

Пришла Дашутка домой и не знает, как ей о лесном человеке думать, а тут еще Финета ее донимает:

— Чо он хоть тебе говорил-то?

— Ничего такого, — таится Дашутка.

— Как ничего? Обижался поди-ко. А, ты, Господи Боже мой! Прости ты мою душу грешную. По тебе вижу: проклинал меня старик. Как я могла прогнать слепого человека, да еще в этакую-то ночь. Будь он трижды неладный, Боровик этот! Совсем задурил мою головушку.

Дашутка видит такое Финетино раскаянье и не стала долго молчать, только про парня скрыла, а что старик сказал, камешек бросивши, про то чисто выложила.

Не надо было ей про огородную-то приговорку Финете сказывать. Лишнее оказалось.

Ночь-то она кой-как прокрутилась, а утром чуть свет побежала в огород — самое время было капусту рубить. Дашутка тоже привыкла от тетки не отставать. Прямо у первого кочана села Финета на землю:

— Тошно мнешеньки! Золото!

Дашутка видит, прячет что-то тетка в руке, прижимает к груди.

— Выброси ты его, — просит Дашутка. — Давай будем жить, как жили.

— Да в уме ли ты, бросить! Теперь нас голою рукой не ухватишь! Богатенькие мы... Все женишки наши будут... Хи-хи-хи.

Говорит Финета бог знает что, а сама одноглазо шмыгает по сторонам: куда найденное спрятать?

Побежала в пригон, там побыла, выскочила, как ошпаренная, да в баню. Из бани — в курятник. Из курятника — опять в пригон. Сама вся белая, колотится... Дашутку увидела, остановилась, страшно поглядела, кричит:

— Уйди! Чего доглядываешь? Уйди, нечистая твоя сила!

Поняла Дашутка, какой подарочек преподнес Боровик тетке Финете. Убежала в избу, ревет. Страшно ей за Финету, и отца, как нарочно, дома нету — в извозе Федот. А еще тошней ревет девка оттого, что лесного парня не может из головы выбросить.

Прошел день впустую, ночь проползла темнее темного. Финета все во дворе мытарится, все золото прячет. А уж сама его давно куда-то засунула да вместо золота яйцо в руке держит.

Так и застал их утром Федот: одна слезами в нетопленой избе исходит, другая распатлатилась, по двору бегает.

Федот только к сестре подступать, а она ему:

— Пошел, пошел, — кричит. — Явился вор. Много вас на мое золото...

У ограды люди стоят.

— Спятила, — говорят.

Федоту и раньше приходилось бешеных-то видеть; давай он сестру вожжами вязать. Финета силой налилась, не дается. Мужики помогли. Еле справились. В избу унесли Финету, на постель поклали.

Дашутка, плача, все как есть, отцу обсказала, только про парня опять язык не повернулся помянуть.

Ну уж тут и не колко, да прытко. Тут уж и Федот заоохивал:

— Ой, непростое задумал старик. Да кто ж его знает, кто он? Может, злой шутки ради, подсунул он вам в капусту желтый камешек, а вы тут с ума посходили?

— Золото, — шепчет Дашутка. — Оно и страшно, что золото. Простой камень таким тяжелым не бывает.

— Тогда надо нам так сделать. Найти самородок, распилить помельче и раздать тем же нищим. Может, тогда простит нас, грешных, твой старик. Ты, Финетушка, помнишь ли, куда самородок засунула?

Финета вроде послушалась, согласилась пойти показать. Развязал ее Федот. Пошли искать. Одно место укажет Финета — нет ничего, второе... опять пусто... Долго бились...

— Ждать надо, — решил Федот. — Может, Боровик сам вернется из лесу за своим добром.

Стали ждать. Месяц, другой проходит... Рождество на носу... Никто ничего. Никаких перемен. Финета больше не буйствует, но и в себя не приходит. Все в землю

смотрит: не то о чем-то вспоминает, не то забыть не может. Зима в самых морозах стоит, а старика и не чуется. Где уж тут про женихов говорить, простые-то люди стали обходить стороною Найденов дом. Боятся на свою голову беду накликать.

— Вон он, Боровик-то, какие подарочки раздает...

— Тут не до жиру, быть бы живу...

Сам Федот Найденов, на что мужик твердый, и тот домой идти не хочет. С мужиками стал где придется дотемна просиживать. Так ведь и мужикам с таким гостем не очень весело: кака ж пляска на гнилом болоте?

Финета скоро и узнавать никого не стала. Раз как-то ушла из дому и не вернулась. Побежали искать. На речке над прорубью стоит и в воду командует:

— Отдай золото! Ишь космы-то распустил, глаза вылупил. А то слепым, старый черт, прикинулся!

Уговорили ее, увели от воды, а ночью Дашутка проснулась оттого, что Финета над нею склонилась и слепо шарит по постели руками.

Поняла Дашутка: некогда больше ждать Боровика, надо ей самой к нему на поклон идти.

— Отыщу! — решила она.— А нет... Так уж лучше замерзнуть, чем так-то маяться. — И пошла.

Дошла она до того места, где бревнышко у дороги лежит, и свернула в лес. А время самое лютое и снега столько, что по шею, гляди, где-нибудь увязнуть можно.

Сколько смогла Дашутка, прошла по такой оказии. Потом и ноги потеряла. И сама не помнит, на чем думка ее остановилась. Сковырнулась она на ходу и припала на мягкий снег, и притихла... Стоит кругом лес, не шелохнется, куржак горит на солнце, деревья потрескивают. Уж и тепло вроде Дашутке. И видит она: дорога перед нею в снегу открывается, до самой земли протаивает высокий снег. Пошла Дашутка по той дороге... пошла и пошла... Кругом зима, а у нее брусника под ногами... А деревья кругом плотные, белые стоят, как терема сказочные! А и терема... Высокие, узорчатые! Дворы чистые... И стоит Дашутка с самого краешку, у чужой деревни, осталось только в улицу войти. Мимо малец веселый бежит.

— Какая это деревня? — спрашивает Дашутка.

— Белояровка! — кричит малец.

— Вон что! — подивилась Дашутка и пошла вдоль дворов, любуется.

Все прямо нарисованное... Собаки и те с повизгом лают, будто соскучились. Посреди деревни церковь стоит, на взгорочке... А с ее колокольни благовест льется. Люди нарядные к той церкви торопятся. Дашутке тоже узнать хочется, какая радость у людей в будний день?

Подошла поближе, а там народ шумит:

— Невеста идет. Невеста!

Взяли ее в круг и ведут скопом на тот взгорочек, прямо к церкви. Хочет Дашутка пояснить народу, что-де с другою ее спутали. Какая ж, мол, я невеста, когда и жениха-то в лицо не видела?

Не успела Дашутка подумать — вот тебе и жених! Навстречу из церковных дверей слепой старик торопится, руки к ней тянет. Что же это! Да что же это такое?!

И поплыли перед Дашуткою и церковь, и люди, и дома... Слышит бедная, ведут ее куда-то, о чем-то спрашивают... Она кивает, вроде соглашается, а в голове ни памяти, ни мысли, ни заботы... Вот уж и кольцо на палец воздевают... Матерь Божья глядит на нее с иконостаса недобро, усмехается... А сердце так и стонет, так и рвется на кусочки... И перед нею уже не лицо Богородицы — безумное лицо тетки Финеты...

Дернулась Дашутка назад — жених за руку держит. И не слепой вовсе. А стоит рядом с нею парень тот лесной, улыбается.

— Ты чего придумал? — задохнулась Дашутка. — Какая тебе свадьба? Не для свадьбы я сюда шла. Зря ты в молодого перекинулся. Не пойду я за тебя. И колечко свое забери.

Заплакала она от смелости, но свое долдонит:

— Чего ты натворил с моею семьею? Уж ежели ты такой умелый да ловкий, так почему же у тебя не хватило ума понять теткины корысти? Я ж тебе говорила: меня жалеючи, натворила она беды, меня и наказывай... А ее прости, Христа ради!

Упала Дашутка лесному парню в ноги и опять голова ее пошла кругом. Качнулась она и память потеряла.

Когда же в себя пришла, уж она дома лежит. Рядом отец сидит, Финета суетится:

— Ой же, смертно напугала ты нас! Вовсе мертвой была, когда тебя чужой человек из лесу принес...

Федот себе с разговором лезет:

— Гляди-тко, доченька, со страху-то и мы с Финетою поумнели. Ну давай, поправляйся теперь.

А весною, когда Дашутка стала выходить на молодую зелень, повстречался ей на поляне добрый молодец. Он тут, в нашей таежной земле, с другими учеными мужиками что-то полезное для людей искал.

Они прямо в нашей церкви и повенчались потом.

А когда стал он ей колечко на палец надевать — признала Дашутка колечко: то самое, какое зимой она лесному парню вернула. Вот она где, хитрость-то!

И все-таки дело тут без Боровика не обошлось.

ВЕДЬМА

У времени-то сподручней взять премудрость давнюю, когда она скатилась к жизни по речам виденных тобою людей. И чего только по дороге не прицепится к ней? Обрастет она, правда малая, уж такою непробираемой куделью придумок, что только руками разводишь да головой качаешь. Так ведь, не омочив бороды, не помоешь головы.

А знать нужно ее — старинушку. Не затем знать, чтобы лезть в знать, а чтобы двоераз не спотыкаться об один камень.

Была, сказывают, в нашем роду сибиряночка, Глафира Маркова.

Кто знает, каким отростком ветвилась она на нашем родовом дереве? Только не выпало ей на долю передать по крови красоту свою, возвеличенную многократными пересказами до неслыханного предела.

Должно, красота-то несказанная и бросила ее зимним временем в бега, от руднишного хозяина. Выгнала ее на Сибирский тракт, прямо под розвальни купеческим обозникам, понужавшим разлетных пристяжных соленым словцом. Так, смятую до полусмерти, и привезли ее обозники хмельноголовые на постоялый двор. Кинули Глафиру в тараканий угол закоптелой мазанки.

Может, и лучше бы для Глафиры было, когда бы хозяин постоялого двора стянул ее с лавки за холодные ноги...

Не рассказало нам время, куда и откуда ехал в эту пору по Сибирскому тракту смурной барин — ломливый скоробогатько. Ехал он, видать, изгаляться дармовыми

деньгами над темным народом нашим, в подмогу нужде, и без того забрившей волю мужика.

И завернуло его на тот постоялый двор, где Глаферья ждала покаяния. Крякнул барин от изумления, увидевши в зачуханной мазанке красавицу Глафиру:

— Эк, какова, будь ты неладна вовсе! Откуда... такая? Гляди ты на нее, чисто — камень одинец! Впору государю в позументы! А коли грань навести да золотом оплести, так и себе к чести!

Хозяин-то постоялого поддакивает. У него свое на уме: заботу с рук спихнуть.

— Я ить тожа переполохался сызначала. Думал, уж не барыня ли какая в ремье обрядилась? Да слышу, во бреду-то она по-нашему, по-простому лемешит... Таежница, знат-ко. Создаст же господь, — вертится хозяин перед купцом. — Чище ведьмы! Обозники и те разглядели девку. Лезут в мазанку надивоваться впрок... А ить на лечбу-то, бурундучье вонючее, кукиш сунули... Никто и медного не разломил на лечбу-то...

— Будет тебе! — остепенил барин хозяина. — Определи-ка лучше девицу в горенку да чисто держи! Да гроша не жалей — рублем вернется! Ноне я в дела настроен, а скоро поверну назад... Смотри у меня! Чтобы к моему возврату девка у ворот стояла! Ежели помрет, головой мне заплатишь! Уйдет — ею же откупишься. С дороги лекаря пришлю. Гляди у меня! — еще раз погрозил барин хозяину у ворот и трубанул довольный.— Эй, залетныя! Кати веером! Перегибай дорогу с половины на четвертину-у...

И укатил.

Будто чудо чудесное перенесло Глаферьюшку из глиняной мазанки во горенку чистую, будто силы небесные одели ее во батисты, будто черт из-за печки вывалился, подравшись с домовым, и назвался Иваном Петровичем — лекарем уездной больницы.

Да! Чего уж тут? Где деньги впереди идут, там все двери отворены...

Вот и перед Глашею заскрипела, отворяясь, такая дверь. Заскрипела, как заплакала. Выходили девицу грязные деньги, на ноги поставили, терзать сердце принялись.

— Чего это со мною делают? — пугается Глаферьюшка, глядя на заботливую суету хозяевов постоялого

двора.— Откармливают меня, точно гусыню на Никиту[1]. Ой, чует сердечко мое девичье: загнут мне шею под крыло.

От вопросов Глаферьиных хозяин будто красным угольем давится, хозяйка молчит да каждое утро хлобыщет половики об забор — чистоту наводит. Хозяинята пупы грязные чешут от бродящей за пазухой смерды, шушукаются за дверною занавеской да палят на Глафиру трахомные глаза.

Иван-то Петрович, купленный лекарь, тот все пыхтит, все ловит на коленях невидимые соринки да смыргает в тряпицу из пропитого носа табашную гущу. И не понять Глаферье: то ли судит он ее, то ли жалеет?

Эх, сердце ты девичье — клевер ты луговой... Еще и ветер-то на полке, а уж голова с угару падает...

Обступили Глаферью страхи, облепили догадки. Сама же беда прилетела на лихом скакуне, следом за страстной седьмицей великого поста.

С первым заутренним ударом пасхального колокола распахнулась дверь в горенку, занавеска дверная в сторону отлетела.

— Христос воскрес! — заглушил барин великим басом колокольный звон и крепко расцеловал Глаферью.

— Воистино воскрес! — хрупнуло Глашино сердечко и замерло, сжавшись. А уж в горенку баринов ямщик с трисильным хозяйским работником вносили длинный, что гроб, кованый сундук.

Глафире ж в ту пору шел всего-то шестнадцатый годок. А было в ее жизни радости, что кукла деревянная да толстое стеклышко, сквозь которое белый свет дрожал во семи цветах. А тут! Как в сундук-то кованый заглянула, будто через стеклышко то прошла, окунулась в радугу шелков-соболей.

Вот уж и выступает довольный большекарманник к обедне и ведет, гордый, под руку разнаряженную Глафиру Маркову, не стыдясь честного народа. А народ шепчется, указует на Глафиру.

Вот уж и на паперть ступила Глафира, да тут и попятилась от костлявых рук попрошаев-суменников, приковылявших к церкви по добрые христианские души — размочить нужду Христа ради.

---

[1] Никита-гусарь — 28 сентября. В этот день били домашних гусей.

Видно, какой-то из реможников понадеялся на парчовые наряды развесенневшейся красавицы, выкатил перед Глафирою грязные пригоршни коробом:

— Подай калечке убогому...

И тогда брат кусошный торкнул просителя в загривок и загудел на весь приход:

— Кого просишь, мотыга? Шлюху просишь! Держи карман шире... Насыплет она тебе чесотки — керосином не вытравишь...

Всколыхнулась девичья стыдобушка, онемели ноги у Глафиры. Барин подхватил ее на крепкие руки.

Взялся тут гундосым смехом бродячий люд, затряслась разговленным брюхом купчиха ленная.

А Глафиру вдруг обхлестнуло силою гнева. Сорвала она с высокой головы своего непрошеного благодетеля не стянутую еще гордую шапку и махнула ее через испуганную купчиху на хваткие крючья всеприемлющих рук попрошаев:

— Нате вам подаяние...

И тут же черною птицей полетел над толпою кашемировый ее платок, скоро нырнувший в глубину людской жадности. А уж кто-то тянул с Глафиры шубейку, кто-то поддевку ее, цокая толстым языком, пихал себе за пестрядинный зипун. Кому-то гребень ее роговой счесывал, сквозь рванину кармана, струпья с бегущих ног...

А Глафира уже рвала шнурки на новых ботинках...

— Ошалела, ну ошалела... — тянул ее, буйную, растрепанную, баринов ямщик в крытый возок.

А барин мотал здоровенным кулачищем перед носом растерянного попа. Поп приседал, горбатился, тряс простоволосой головой и повторял всякий раз:

— О, господи! О, господи!

Заперлась Глафира на постоялом дворе в мышастой кладовке и просидела день до вечера. Ни досада, ни грозня шумливого барина не вызвали даже Глаферьиного голосу из-за двери.

К ночи барин нахлестался до слепоты и полез на крышу кладовухи добывать Глафиру волчьим путем.

Оттуда стянули его хозяин с ямщиком и одетого койкак уторкали обещаниями и посулами.

Но ты про волка́, а волк про телка́...

Стоило заботникам веки сном свести, как баринов хмель на подушке остался. Прислушивается барин и шепчет себе:

— Нужда и змею из норы выводит. Тут я ее за сап и ухвачу... Потом сама за телегою побежит.

За телегою, однако, Глафира не торопилась бежать. Нашла она в кладовухе старый полушубок да пимы и прямиком подалась в снеговатый еще лес.

— Врешь, не уйдешь! — ударился барин следом.— Не затем птаху силкуют, чтобы волею наградить.

Почуяла Глафира погоню в глухом углу сторожкой тайги. Не помня себя, запетляла она между сосенок.

Да не матерый волк обловчил козу — догнала ее усталь резвая. Какая ж сила была в Глаферьюшке, опосля-то болезни?

С лету догоняльщик сшиб Глафиру в пустой сугроб. Доволок за волосы до корявого пня. Бил головою, покуда девка руками шевелить не перестала. И тут барин сам понял, что хотел напиться, да утонул...

Побег он на постоялый двор, ямщика растолкал:

— Запрягай!

Ой, не спеши торопиться — торопень воротится...

Еще ямщик и понужнуть лошадей как следует не успел, а у колеса ступица лопнула.

Пришлось ворочаться да будить хозяина.

Сменили колесо, опять по лошадям хлестанули. И дернули скоком, да поехали боком: за выгоном, над узким распадком слепого ручья, мосток обвалился. Покуда низиной объезжали, барскую шубу где-то вытряхнули.

Ведь вот, потерявши голову, по бороде не плачут, а барин шубу пожалел. Погнал ямщика своего потерю отыскивать. А ямщик будто за смертью ушел: нет и нет его.

Барину одному и делать больше нечего, как к лесу прислушиваться.

Молчит лес, молчит старый колдун. Тяжела его дума лохматая — не продохнуть... Только расшибленная молнией древняя сосна скрипит над дорогою... скрипит...

Затрусился барин.

Ну ить сколько зубами ни цокай, страха не пережуешь, сколько ни трясись, не вытряхнешь его из себя.

Оседлала жуть баринову волю: махонькой козявочкой захотелось ему в щелочку спрятаться. Он и полез под возок. Только, пыхтя, устроился между колесами, только угнездился, как лошади, не чуя над собой хозяйской руки, пошли.

Отчаялся барин: не хватало еще лошадей упустить! Шустро на ноги вскочил, следом за возком кинулся. Не получается у барина поимка — все вполовину ладони до возка не дотянется. Может, и догнал бы ездок возок, не попадись ему на дороге спотычка. Зацепился барин ногою за что-то и повалился кулем.

Тут он и про бога вспомнил!

А то, обо что споткнулся барин, зашевелилось вдруг на дороге, вздохнуло, и поднялась над барином Глафира Маркова. Сама поднялась и барину руку протянула. Вставай, дескать, чего лыву-то весеннюю промокать? Идем со мною!

Сам не знал, зачем поскакал барин за Глафирою через пни да валежины прямо в самую таежную глухомань. Скачет барин, переваливается, а сам все извиняется:

— Надо бы знать мне, до чего же ты, девка, живуча. Не спешил бы я тебя в лесу ночью искать. А то и ямщика по колдобинам загонял, и сам от усталости на дорогу свалился...

Суетится перед Глафирою барин, а себе думает: «Выведи, выведи меня на людей, там я с тобою другим языком поговорю!»

Эко ли!

Не зарься, ездок, на скок, покуда не углядишь, на ком сидишь...

Вывела барина Глафира... Ох, как она его вывела!.. Привела она барина к тому самому месту, где пень корявый стоит, тот пень, об который головою Глафира давеча была до смерти зашиблена. Тут она светлою в темноте чертою очертила место вокруг пенька да и заставляет барина:

— Копай!

— Зачем? — спрашивает барин.

— Как зачем? Убил ты меня? Убил! Теперь надобно меня похоронить. А я покудова на пенечке подожду. Тяжко мне на ногах-то стоять — земля тянет.

У барина дух занялся. А попробуй отказаться... Покрутился барин — ни лопаты, ни заступа нету. Чем копать-то? Хочется ему Глафиру об том спросить, а она, сидючи на пеньке, уж и задремала. Легонько тронул ее барин за плечо, она и повалилась на землю — руки раскинула и окостенела. Точно так легла, как он ее, уходя, бросил, будто и с места не сходила.

Заорал барин в три голоса и пал рядом с Глафирою.

Тем временем ямщик вернулся к лошадям с найденною шубой: лошади чуть дальше места стоят, а самого барина нету. Подождал ямщик, подождал да и забеспокоился, кричать барина стал. ...Отозвалось где-то недалеко страшным криком и замолчало...

Больше не откликнулось, сколько ямщик ни звал. А ночью в тайгу ямщик испугался пойти. Утра дождался. Посвету пошел искать барина. И прямо тут вот, версты не будет от дороги, и наткнулся ямщик на обоих мертвецов. Рядом лежат.

Ямщик — в голос... Потом — на лошадей да в деревню. Прискакал, задыхается... Собрались мужики — наверха и в тайгу... Привел мужиков ямщик на место и онемел: все как было — и тайга, и пень, и барин лежит... А Глафиры и следа нету... Так и не нашли Глафиру Маркову нигде.

А уж потом, много позже, сказывали бабы, что видели в тайге красивую девку, да не подошла она к ним, в лесу пропала.

Кто знает, она ли?

МЕДВЕДКО

Затесали обмерщики валежный клин от предела до предела и, ружьишки подхвативши, зачапали по вековому настилу прелой хвои приглядеть к обеду тетерку зобастую либо куцего пострела. Благо на новой деляне зверье не пугано, птица не поднята.

Парни молодые, игровые. Мало ли, что знакомство шапошное: молодость, она душу-то наперед котомки развязывает.

Затеяли парни канитель по лесу: пугать надумали один другого то из-за черемухи крапивистой, то из-под бояры пучковистой. Один прячется, другой водит.

Гаврилка-то Мотовилов — вот он, на ладошке у каждого-всякого мужика здешнего: тут его и крестили, тут его и растили, тут впервые потянул он носом разливанный дух весенних хороводов. Парень он открытый: вся его колода к долу рубахой. Придись, беда козыря подкинет — ему и крыть нечем. А беда-то, она пронырa: ты ее в шею, а она к тебе в душу. Найдет лазок — протянет возок...

Еще в рассветные Гаврилкины годы мать его, Мотовилиха, белье на речке полоскала. Полоскала Мотовилиха белье, да, знать, ласково улыбнулась водяному: утянул он ее в омут.

Без Мотовилихи Гаврин отец душой покривился: за что ни возьмется — все у него рвется, за что ни ухватится — все из рук катится.

В доме, кроме Гаврилки, двое младшеньких ребят с полатей носами швыркали, видя, как бушует в отце пьяная безысходность.

Кто знает, с какого высокого дерева срывал Гаврила терпенье? Днем парень по вырубкам бревна ворочал, после работы с худым ружьишком своим охотой малой промышлял, а к ночи домой торопился: братьев приглядеть, отца привередливого угомонить. И все бегом, все с притруской. В будни у него побегушки, воскресным днем — постирушки, а до престольного дожил — опять все то же.

Братья-одногодки ревут, в ученье просятся, а у них — одна заплата на двоих.

Как-то пошел Гавря в лес на охоту, да скоро вернулся: ведет из лесу человека на вечерний костер. Артельным своим говорит:

— Пущай парень с вами ночь переночует, притомился на пустой охоте.

Артельным что? Ночуй! О чем разговор. Указал Гавря гостю свое место на нарах во времянке, а сам домой пострекотал. Утром, к свету, вернулся на делянку; мужики уж чаю напились, а гость все еще нары давит.

Собрались, пошли работать.

Не заладилась в тот день у Гаврилы работа на вырубке: то, глядишь, топор в лесине увяз, то валежина легла на сток, то сучок середку тянет...

— Ладно тебе,— говорят мужики.— Управимся сами. Иди-ко лучше отоспись. Пойдешь утром новый клин валежа отмеришь.

Вернулся Гавря в леснушку — гость посапывает.

«Ну и ну,— думает Гавря,—ловок спать! Чисто медведь в зиму».

Подумал так-то и уснул рядом.

Спит и видит себя в густом лесу. Перед ним пень не пень — стол накрыт. Против него медведь на коряжине хозяином развалился. Ест Гаврила не то грибы, не то корешки сладкие, а медведь подкладывает, потчует гостя.

Вот и спрашивает медведь Гаврилу:

— Счастья тебе хочется?

— Счастья?..— отвечает Гаврила.— Как не хотеться? Счастье, говорят, в хозяйстве пособляет. Только штука-то это крученая. Держать ее надо обеими руками. А какой из тебя работник, когда руки заняты? Счастье держать, что за солнцем бежать: сколько ни старайся, все равно ночь догонит.

— Да,— соглашается медведь.— Счастье — что свет, на него хозяина нет.

— Ну, а что тогда пустое спрашивать? — вроде упрекает медведя Гаврила.

— Думал, позаришься. Жалко мне тебя. Живешь, прямо сказать, бросово.

— Это я-то бросово живу? — обиделся Гавря.— Я что тебе, пью-гуляю? Ребятишки у меня сытые, отец тоже по миру не ходит. Подрастут братья, глядишь, люди получатся. А я потерплю: не было бы поля, не цвели бы маки.

— Завидное терпение! — толкует медведь.— А чего б ты стал делать, когда бы сироту потерянного да больного в лесу встретил? Нешто обошел бы?

— Таких-то сирот, чтобы совсем никому не нужных, редко бывает. Помог бы родню отыскать. Да чего ты меня пытаешь? Один я, что ли, на земле человек?

— А то я пытаю, что просить боюсь. Просьба моя денег стоит. Пожалеешь небось?

— Может, и пожалею. Братья у меня на всходе. А в нашем доме одной работы полно, больше ничего нет. Ружье мое и то, как немощная собака, только щелкает. Покуда на выстрел раздобрится, заяц надо мной успеет нахохотаться.

Проснулся на том Гавря. На дворе — вечер. Гостенок с мужиками у костра сидит, пар с чаю сдувает, Андрюхой кличется.

Ладно. Прошла ночь.

Утром, до зоревания, увязался Андрюха за Гаврей место валежное замерять. Вдвоем-то они живо замер тот сладили и, ружьишки подхвативши, пошли обед стрелять. Пошли по обед, а сами прятки затеяли.

Вот Гавря стоит на поляне, глазами ищет, где Андрюха притаился.

Смотрел, смотрел Гавря, надоело. Крепко Андрюха спрятался — нигде не шелохнется. Тихо в лесу. Папоротник шеборшит, саранки рыжими кудрями трясут.

Солнце сквозь игольчатое сито сосновых веток дух таежный, парной тянет горячим носом и дрожит от великого удовольствия...

Загляделся Гаврила на благодать земную — тут и хрустнуло в малиннике: знать, Андрюха ягодой занялся.

«Я тебя сейчас подхвачу на лакомом!» — думает Гаврила.

Снял он с плеча ружье, на траву положил и ползком к тому кусту малиновому. Ползет, что цыган к чужой лошади. Подкрался совсем под куст да как заорет! А куст ему в самое лицо как рыкнет! И взвился из куста, что черт из пекла, медведь мордастый.

Нос в нос сошлись двое... Заревели оба пуще себя и дранки рвать. Ажно трава следом ложится.

Гавря про ружье свое уж за сотой сосной вспомнил. Вернулся когда — нет ружья! Топтыга, видать, за лапой утянул.

Тут и Андрюха откуда-то взялся, хохочет:

— Слямзил зверюга у охотника пужалку.

Андрюха хохочет, а Гавре хоть ревом реви: чем теперь ребятню подкармливать? Оно хоть и ружье-то никудышное, а все не палец. Гавря в досаде и просит гостя:

— Дай ты мне, Андрей, свово ружья до вечера — догоню черта косолапого.

— Э, нет, брат! — скалится гостеван.— Ты погляди, какое у меня ружье! Ему ж цены нет.

Хвалится Андрюха ружьем, расчесывает досаду Гаврилке.

— Ты ж,— говорит,— стрелянка не бог весть какой. Где ж тебе косматого одолеть? Чего доброго, ты и мое ружье медведю подаришь. А мне что же потом, сучок заряжать?

— Ладно! И на том спасибо, что узнать довелось. Хороший ты человек, да уж лучше бы тебя обойти.

Проверил Гавря силку свою на ногте — острая, заткнул за голенище и пошел, неуемленый, ноги через коряги перебрасывать, медведя в лесу искать.

Андрюха кричит ему со смехом:

— Гавря, эй! Медведя-то под брюхо чапай!

— Вон чо! — воркотнул ходок.— Указал луне время родиться.

Идет Гавря по лесу, жалеет уже: «Чего расходился? Зря парня обидел. И то... нужда бы охотнику ружьем кидаться. Кто я ему? Сумел же свое упустить. Да и

медведь разве повинен, что я таким полоротым родился?»

Думает так себе и чует: идет кто-то с ним вровень по тайге, за деревьями хоронится.

Ободрился Гавря, быстрей пошагал, думает:

«Андрей. Видно, подмогнуть решил».

Дотопал до вывороченной лесины, тут и след медвежий пропал. Глянул Гавря под корневища — дыра, валежником прикидана. Палку подлиньше подыскал парень, сунул конец в ту дыру, сам нож на изготовку держит. Покрутил в дыре палкой, там запохныкивало вовсе не по-медвежьи.

Раскидал Гавря валежник, а в берлоге малец зачуханный лежит. Гавря ажно сел на хвою.

— Во! Поди ж ты, зверь какой! А ну, вылезай! Чего ты в берлогу заехал? Палаты какие занял! Вылазь, говорю, сюда, не то силой вытяну!

Выполз малец на солнышко, голову поднял да опять уронил.

— Ах ты, белка-сопелка, корешок от маковки... Чего тебя так занозило?

— Захворал я,— отвечает.

— Вижу, что захворал,— говорит Гавря.— Ты мне скажи: из какого гнезда выпорхнул, воробей ты бесперый! Со двора, чай, убег али заблудился?

— Убег,— отвечает малец.

— Давно ль?

— Вестимо...

— Ешь-то что?

— Орехи лузгаю, ягодой живу...

— Вот и долузгался до лихорадки. Спишь тут ли?

— Не, в хоромах!

— Ишь ты! Туда же... Со мной пойдешь али уговаривать надо?

— С тобой пойду. Я тя, дядька, с мужиками на деляне видал. Только ты, дядька, коли при себе держать меня надумал — я с полной охотой! А так — удеру!

— Во! Чем это тебя от дома отшибли?

— Да уж знаю чем...

Подхватил Гавря мальца того на руки, а он, гляди, с болезни своей, щетиной порос.

Колыхнулось Гаврино сердце от жалости, прижал мальца к себе, как ласковая матка первенца, и пошагал с ним тихонько. Несет, а сам ношу заговаривает:

— Вот и ладно, вот и складно... А ружье-то я пока хозяину оставлю. Пущай себе лешего пугает.

— Какое ружье?

— Ноне косолапый выпросил у меня ружье, на косача сходить. Да вот, поди ж ты, вернуть забыл. Али раздумал... Такой, слышь, человек оказался — ружья пожалел.

— Это ты про кого, дядька? Про медведя?

— И про медведя...— смеется Гавря.

— Чой-то ты плетень плетешь?

— Вот те крест! — побожился Гавря.— Тебя как зовут-то?

— Макарка...

— Макар ты, Макар... носом макал... Горемыка ты.

— Горемыка,— согласился малец.

— Те сколько годов-то?

— Десять скоро будет. Большой уж я... Сидеть у тебя на шее не стану. С вами заодно лес пилить буду.

— И то,— соглашается Гавря,— нешто в нахлебниках проживешь?

Так вот и явились они оба-два на делянку лесную. Мужики артельные с расспросами привязались: как да что?

Гавря шутиху плетет:

— Ишь, какую птицу вам к обеду доставил. Кочеток с початок, голосок с волосок, сам еще сопатый, а ума — палата!

Самому Гавре-то дивно: со всей округи мужики тут собрались, а мальца никто не признает. Но что делать теперь? Не гнать же мальчонку обратно в лес.

Хотел он Макарку в деревню отнести, да уж больно слаб малец, еле душа теплится.

На последние деньги заманил Гавря лекаря на делянку, потом сапоги Макарке справил, еще, чего надо, не пожалел. Все раскидал и рукой махнул: «Не жили богато, не стоит и начинать».

Прижился Макарка на делянке. Что ни день, добреет малец, наливается на справных харчах. Лесная хвороба от него отцепилась.

Вовсе парнишка оперился.

Скоро Илья Пророк[1] прогромыхал по поднебесью, а там и озимки пошли насвистывать. Жди теперь ихнюю бабушку с белой куделью.

---

[1] Ильин день — 2 августа.

Пришло время шишковать.

На это дело еще с вечера Макарка в кедрачи с Гаврей запросился. Узелок навязали шишкователи, мешок под орехи скрутили и, не будивши мужиков, ступили утром на росную траву.

Травы в тайге долго живут, и холодные росы блудят по ним до самого Покрова[1].

Им-то чего, шишкователям? Сапоги справные, портянки теплые — шагай себе да шагай. Выбрались они из лесу, крутым берегом речки Тары пошли.

Над водой туман стелется, сосновые верхушки на том берегу по-над туманом, как ребятневы вихры из-за оконной занавески, выглядывают.

Эх ты, мать-тайга сибирская, до чего же ты заковыриста для молодого ума! Нет того дня у тебя, нету ноченьки, чтобы ты не убрала свой могучий лик новой радостью.

Вот где с душою-то говорить!

Ладно...

Идут шишкователи над рекой, молчат от великого; слова запутались в радости, что сосны в тумане. И опять послышалось Гавре: кто-то идет стороной!

Кому бы это прятаться в лесу? Разве медведю? Нет, медведь — не волк, хитрости в нем никакой. Да и волк в этакую пору сытую бежит от человека. Рысь? Эта рыжая шельма тихо идет, а тут ясно уловил Гавря сушняковый хруст.

Человек!

Пошто хоронится? Лиходей! Хорошему-то какая причина о коряги спотыкаться?

Остановился Гавря, присел на бережку, вроде портянку перемотать, виду Макарке не подает, что лес ухом ловит. Повозился Гавря с портянкой, натянул сапог, встал. Огляделся кругом — нет Макарки! Тут вот только стоял малец и нету! Как в яму провалился.

Куда осторожность Гаврилова делась: кричать начал, бегать — нету малого! Неладное в лесу творится, нехорошее дело делается! Где искать мальчишку?

Весь ближний лес истолок Гавря, стволы обстукал, коряги облазил... До полудня без толку бился. Вернулся на старое место поглядеть — может, Макарка шутку шутит? А тут и видит Гавря: на ихнем месте мешок стоймя стоит, тот самый, что под орехи брали.

---

[1] Покров — 14 октября, первое зазимье.

«Ишь ты,— думает парень,— в мешок забрался! Вот игрован. Щас я тебе вихор-то надеру за такие пряталки».

Подошел Гавря к мешку, а он крепкою тесемкой поверху затянут и как есть полон орехов лущеных. Ой, диво!

«Может,— думает Гавря,— чей чужой тут мешок оказался, похожий?» Так нет же — свой мешок! Тут вот и узелок с обедом лежит. Тоже свой — не чужой. А тем узелком да ружьецо придавлено! Не брал Гавря с собою ружья... Поднял парень находку, оглядел: знакомое ружье!

«Вона, Андрюхино!» — узнал.

Вовсе Гавря потерялся в догадках. Только видит вдруг, что к тому берегу лодка подплывает, в лодке двое людей сидят, большой и маленький.

Причалили те двое к берегу, на песок вышли, лодку по течению отпустили, сами стоят, смотрят на Гаврилу. Потом поклонились оба земным поклоном да выпрямились.

«Во! Еще не лучше! Андрюха с Макаркою!».

Уже и рукою собрался махать им Гавря, назад звать. Только пошли они к лесу, и уж не Макарка то, да никакой не Андрей, а медвежонок с матерым медведем...

Постоял Гавря на берегу, поудивлялся. Однако на вырубку идти надо.

Легко дошел Гавря до вырубки. Будто кто помог ему мешок донести. Показал он мужикам ружье, орехами похвастался. Все хорошо! Только мужики будто сговорились: никто не помнит Макарки, никто и Андрюхи в глаза не видал...

Спустя работу, побежал Гавря домой — и там радость: отец бросил пить!

С той поры и пошла в гору Гаврина семья.

Сам же Гавря сделался таким охотником, что хоть смотри, хоть на слово поверь. Не знало промаха Гаврино ружье.

Однако странно: никогда больше не трогал Гавря в лесу косматого хозяина, да и тот на рожон не лез. Поговаривали, что Гавря боится косолапого, да мы-то с вами знаем причину.

ПАУЧИХА

По крутому бережку, по склону суглинистому бегала в старую пору за ключевой водой с коромыслами кленовыми Дарья Паучиха. Оттого и Паучиха, что ноги ейные от горба горбушечного начиналися да в разные стороны отвернуты были одна от другой. Тошнехонька болезнь согнула Дарью в три погибели, узлом завязала и отпустила, наигравшись.

Отчего ж ей, бедной, нрав-то людный было иметь? Пряталась днями Паучиха за плетнем своим высоким, в сутемах выскакивала на зады, катилась ко воде родниковой, черпала и впопятную бежала, поскрипывая коромыслом, поплескивая из бадейных ведер на крутую тропу голубой водой.

Покудова бабы коров доили да чугуны на ухват принимали, Паучиха нанашивала воды той, в хозяйстве многонужной. Опосля, впотьмах вовсе, торопилась в леса ближние, а уж по звездам ярым домой ползла, груженная хворостом да корьем на растопку, поверх чего безотказно ехала чурка добрая, про зиму затаенная.

Сама, знать, деношно пилила Паучиха чурки те разовые. Зато уж всю зиму долгую не кизяшный дым валил из трубы ее избяной, а смолянистый, запашной дух тайги.

А и было в той Паучихе знатного, что голос ее. Вся песней исходила, когда, было, примется выводить вольные напевы. У баб в печах хлеба горели, пироги углились... Коровы в стайках бросали жвачку жевать...

Завалюха ее в пластяной шапке на соломенной подкладке привалилась спиной к плетню Парамоныча, позадь бани бревенчатой белой.

Парамоныч — мужик богатый. За его доходом работников водить, а он сам в каждое дело охотник. К тому же кормил он возле себя трех сыновей. Уж два-то сына — листвяки! Филька грузный, кряжистый, лоб широкий, плечом хоть мосты подпирай. Да и Петряк, меньшой, тоже не споткнется. А вот старший сын, Сенькой звали, божий человек, квелый, телом жидковат, глазом слеповат. Семейные его и за мужика не считали. Живет, мол, прихлебатель: не кол, не лучина — одна кручина.

А то невдоум братьям, что весь дом, почитай, только на Семене и держится.

У Фильки к тому времени уж хозяйка была заведена, дык она с ленцой попалась: братья с батькой в поле, а она Семена — в работу. И то подай, и свиней накорми, и двор прибери...

Это она, Анчутка Филькина, по злобе своей Дарью-то певунью Паучихой назвала.

А еще когда работнички в дом с поля вернутся, так Анчутка муженьку жалуется перед сном:

— Нешто нянька я вашему слепню? И без того на этакую-то ораву руки отбиты, так еще возись вам со слепошарым недоноском. Пошто не жените его? Женили б, покуда не ослеп вовсе. Мне б в хозяйстве подмога бы.

Братья бы и сами не прочь другую сноху на подхват взять, да Парамоныч заказал:

— Не бередите больное! Покуда я ему хозяин! Пущай доживает в спокойствии да сытости.

А какой уж тут покой, когда Филькина злыдня по толчкам день мерит? Однако терпел Семен, берег семейный лад. Но не бывает ночки без звездочки...

У Семена того своя радость была, что перекинуться с Дарьей-певуньей через плетень словом добрым.

Жалела она его, хворого, да и он ее, убогую, за все соседство никак не обидел. Убог да хвора — какая ссора?

Что ни день ладили они разговоры. Кто скажет, об чем речи ихние текли? Не мешал им народ во сердечных беседах. Ни разочку не высмеивал, не подъелдыкнул никак...

Умный народ в селе был, понимающий.

Так, может быть, до последнего часа утешался бы Семен беседами с Дарьей-Паучихой, когда б, не ко времени, но помер Парамоныч. Гнедуха его на полосе чегой-то заартачилась. Он ее покоить, он ее по морде гладить... А она махнула через хозяина... Сама-то не задела, а сошник подхватил старого под микитки — располоснул живот поперек. На поле прям-таки и богу душу отдал Парамоныч, наказывая Фильке не обижать Семена.

Да, знать, впорожню потратил батька свои последние силы на тот наказ.

Похоронили Парамоныча, крест поставили, молебен отслужили, помянули хмельно и спать легли.

Легли спать, а Анчутка Фильке зудит:

— Али ты, Филька, Исус Христос. Душа-то у тебя, знаю, широкая, а всех не увезешь, посадивши. Хвор-то

он хвор, а жрет-то как! Ты поглядел бы днем... Это при вас он казанской сиротой прикидывается. Без вас он только по горшкам и щелкает.

— Ну и ну! — сердится Филька.— Мала блошка, да спать с ней тошно.

— Не я ж на тебе женилась,— резонит Анчутка.— Ты мне спину-то не кажи. Не ставь спину-то стенкой! Я ж Семену невесту подглядела.

— Да ну! Не то Паучиху?

— Дурак ты, господи прости! Кто же это одной коростой другую лечит?

— Да уж и не знаю,— тянет Филька,— кому он мог еще поглянуться?

— Паруня, та, что весной у Назарихи баню купила, в самый раз нашему шпаренку.

— Это Паруня, которая, говорят, от муженька своего убежала?

— Она!

— Так разве ж доброе дерево к трухлявому пню привьется?

— Много ты знаешь! Она пятно свое стелькой готова прикрыть. А ты видал, какая? Эта лошадь двух мужиков прокормит. Только взять-то ее — никто не берет.

— Ой, гуди, гуди... Брешете вы, бабы. Красота ее глаза вам слезит. Скажи, сесть тебе на Паруню захотелось. Думаешь, кого горе согнет, того и овца перемахнет?

— Ишь куда по жалобе поплыл — к берегу не притянешь. Нашел тихую! Мужика бросить — она смелая...

Ну, нонче — ночь, завтра — утро... Убаюкала Анчутка Филькину совесть, заговорила кровную жалость.

— Ладно! — отмахнулся Филька от зуды.— Загляну на неделе к Паруне.

Анчутка и неделить не стала. Из теплой постели к Паруне явилась.

— Ай дрыхнешь, нагулявшись?

— Не с твоим гуляно, не тобой пытано...— осерчала хозяйка.— Чего ты с утра, не оглядевшись, людей будоражишь? Дело, што ль, пытаешь?

— Дело, Парунюшка, дело! Полный короб принесла. Слушай сюды. На неделе Филимон мой со сговором к тебе пожалует. Так уж ты не сусолься шибко-то, Парунюшка.

— Ишь чо! — удивилась Паруня.— Али ты своему Фильке осточертела?

— Вот уж наляпала! — усмехнулась Анчутка. Да в нашем дворе женихов-то лопатой греби.

— Уж не Петруха ли по мне занемог?

— Не... Петруха ж остолоп еще. Семен квохчется. Сам-то он, вишь, какой стеснительный?

— Буде вракать! На кой леший припала мне болячка ваша?

— Болячка-то он болячка, да на каком теле сидит! Род-то какой тебе честь оказывает!

— Мне что ж от вашей чести, али соху за нее прицепить можно?

— Фу ты, простоумая! Семен-то не сегодня завтра того... упокой душу... А ты тем временем Петруху приручи. В одно хозяйство пойдет. Чего тебе терять-то?

— Ишь ты, чумичка подлая! — подскочила Паруня.— Мало тебе Семена, ты еще и Петруху думаешь под себя посадить! Две шеи ей подставляй! Не широко ли сидеть будет?

— Я чо такого сказала? Ты пошто в пузырь-то лезешь? Глядите на нее! Я к ней сватом, а она — ухватом. Ну я пойду, коли так. Другую поищу.

— Погодь, Нюрка,— позвала было сваху Паруня.— Договорить надо.

— С Филькой договаривай.

Договорились, однако, Паруня с Филькой.

Уж и пела в тот день Дарья-Паучиха за плетнем своим. Анчутка сколь разов ладила кол из плетня выправить да по горбу Дарью накостылять.

В ночь перед Семеновой свадьбой занялась огнем Паучихина пластянка, со всех четырех сторон полыхнула жарко. И костей Дарьиных не доискались потом. А неделей, после венчанья, Паруня зафондебобилась:

— Широк ваш двор, да правит в нем вор. Дели добро! Своею печкой тепло добывать будем.

И Семен, знать, от досады за Дарью тоже в лад с Паруней уперся:

— Дели, Филька, покуда я сам не приступил!

Ох и не ждала Анчутка такого выверта от золовки. Однако скоро вожжу на кулак намотала, уперлась дужно и повернула в свой огород:

— Кто ж о такую пору-времечко дележ ведет? Буде кочевряжиться. Скирды завершим, зерно обмолотим, картошку приберем... Там и дели-распределяйся.

А у самой на уме: «По осени, должно, Сенька, окочу-

рится, Паруню тогда — в гриву! В гриву ее, шленку-чужедворку! Иди, свою банешку топи!»

А уж самой недужится, а уж самой неможется. Гробит Сеньку работой, голодухой добивает.

Полевая работа Паруню мужиком сделала: днюет и ночует со деверьями на жнитве да на зяби, на покосе да на озими. А Сенька чахнет на глазах, еле двор перемогает. Только и сила в нем, что до Дарьиного плетня доползет и ляжет, ляжет и задремлет на солнышке. Тепло ему там, будто земля еще с пожару не остыла.

Сладили крестьяне полевки; братья с новой снохой на ярмарку собрались. Паруня наказывает Семену:

— Ты, Сенька, не бегай под Нюркой. Горб-то свой не подставляй под ведьму киевскую. Разумей себя: старшой ить ты.

Ну, съехали со двора обозники, постояла Нюрка у ворот, покрасовалась и домой вернулась. Вернулась и Сеньку в бок.

— Неча болявки належивать! Велика ли работа: по лопатке, по ведрышку... Погреб под картошку приготовь, отвори... пущай ветряет.

Погреб тот у бани самим Парамонычем был вырыт. Когда рыл его Парамоныч, сказывал: «В погребе чегойто шибко слыхать, как Дарья поет. То ли жила какая идет со двора ее подземно в нутро погреба?»

Покуда Семен добрел до места, колечки цветастые в глазах закрутились, заширились... А работу надо делать, не то Нюрка поедом заест. Поскреб Семен сколько-то, покидал наружу сор, подмел донышко, выбрался кое-как и прилег передохнуть у Дарьиного плетешка.

Тепла земля озноб сняла, косточки на место приткнула, чтоб не тряслись, и приголубила хворого до дремоты.

Анчутка пришла на работу глянуть и заорала, торкнувши Семена ногою в бок:

— Я тя за сном послала? За сном я тебя послала, морда слепошарая?!

— Ну, чего ты, Анна, злом рот поганишь? — не утерпел Семен.— Почистил я. И лесенка вона... на ветерке... Пущай обыгает.

— Обыгает...— перевернуло Анчутку.— Черт бы тебя обыгал, притвора. Поди хворосту накидай! Подожги дымно. Червяка всякого, паучишек повыкури.

— Да чисто в погребе, сама погляди. Сухо да чисто.

— Где сухо? Где сухо? Вон в углах... Нагнись ты!

Нагнулся Семен над погребом, Анчутка и саданула его: спину, мол, боишься переломить.

Ухватился болезненный за погребушечный край, да слабые руки ослушались — сорвались. Ухнулся Семен об глинистое дно, простонал и умолк.

— Так тебя! — крикнула в погреб Анчутка.— Посиди тут денек-другой. Может, подохнешь быстрей.

Хлобыстнула она творилом и ушла во двор.

А Семен как упал на дно, так и не мог подняться. Кое-как дополз до стеночки, спиной привалился. Так и просидел в погребе до темноты. От холода, знать, опамятовал. Вспомнил, что было, и заплакал без стону и причету. И впервой подумал Семен о смерти как об избавлении.

Чу! Песня!

То ли смерть идет, то ли жизнь возвращается? То ли мерещится Семену во бреду Дарьин голос?

Хотел Семен на помощь позвать, да силушки в нем осталось только прошептать имечко доброе:

— Дарья! Ах, Дарьюшка...

Откинулось творило, пахнуло в яму теплом и голосом:

— Ктой-то тут меня зовет? Неужто Семен! Раненько ты, батюшка мой, под землю забрался. Да я тебя и под землей нашла.

Опустила горбыня лесенку в погреб, зовет:

— Вылазь сюда.

А Семен уж с ног на руки валится.

— Друг ты мой бесталанный! Погодь времечко...— Сбежала легонько Дарья по лесенке, подхватила Семена, что дитя малое, под звезды вынесла.— Ах, ты, Сенюшка, Сенюшка. Сколь легонек-то ты, сколь хрупенек. Все высосала кровопийка ненасытная, а меня ж еще, подлая, Паучихой нарекла.

Посмотрела Дарья строго так в сторону избы, где Анчутка бока на перине грела, и пошла к лесу со своей ношою.

Ну ладно...

Отползла ночь от села, за оборком леса спряталась, и нет ее.

Не успела Анчутка, спросонья зевнувши, рта перекрестить — вот она, ярмарка, в ворота стучится.

Не ждала злыдня такого поворота, залебезила перед своими: про товар, про дорогу, про цены спрашивает...

Паруня ж Семена глядит.

— Где Семен?

— А пес его знает,— отвечает Анчутка.— Ночью все дверями хлопал, все ходил — спать не давал. Может, где на сене дрыхнет?

А самой не стоится. И такие у нее прыткие глаза, прям не знает, на чем бы их остановить.

— Пошли завтракать, чего среди двора стоять,— зовет.— А Семен никуда не денется.

Однако и в избе под нею лавка прыгает.

— Сидите,— суетится она,— с дороги и так притомились. Пойду Семена покличу.

Не привыкли домашние к такой заботе, удивляются. Не усидела Паруня, вышла следом за Нюркою. А та прямиком к погребу шпарит. Паруня юбку — в горсть и за ней. Анчутка уж творило погребное откинула, шумит:

— Вылазь, Семен, куда забился? Вылазь, говорю! Не то в погребу погребу...

Яма ж ей пустой ответ бубнит.

Полезла она в погреб и уж не видит со страху, что следом Паруня опускается и Филька с Петром прискакали, смотрят сверху.

Нюрка будто вовсе ослепла: шарит руками по стенкам погребушечным, ищет... Паруня же стоит в погребе посередине, глядит на нее, а сама дрожит мелкой дрожью, и такие у нее глаза, что у Фильки с Петром волосы дыбом поднялись.

Анчутка кидается на стены, бормочет чего-то... В одном месте стенку боднула и увязла головою, что в квашне. Дернулась освободиться, земля и поплыла в погреб, как вода в половодье полилась. Не успели бабы и ноги вытянуть: закрутило их в месиво земляное, что в воронку речную. Скоро и макушек не видно стало.

Братья за лопатами в пригон кинулись. Пока бегали туда-сюда, полный погреб грязи наплыло, под самое творило. И вся она поверху уже заткана крепкой паутиной. В самом видном месте сидит здоровенная паучиха, шипит, ядом плюется...

Хотели ее братья держаками с места согнать, но дохнул на них погреб могильным холодом, и побежал наружу злой шепоток:

— Пошли, пошли со двора. Не то в погребу погребу-у...

И завыло ветром-поземкой.

Братья и лопаты побросали, друг на друга смотрят: в уме ли они?

Тут и послышалось им: поет кто-то под землей. Идет песня нутром земным туда, где стояла раньше Дарьина пластянка.

Братья за песней как привязанные пошли, сами не знают, что делается с ними.

Уж было через плетень в Дарьину ограду полезли следом за тем голосом. Да только видят: стоит за плетнем Паруня. Живехонька. Будто не ее сейчас плывуном в погребе залило. Стоит Паруня и ладошкой братьям путь загородила: мол, нет вам дальше дороги и ходить не смейте.

Сказать ничего не сказала, поглядела и отвернулась, и пошла к лесу. Пошла в ту сторону, куда ночью Дарья-певунья Семена унесла...

НЕДОЛИН ДОМ

На миру как на яру: кругом тебя люди, и ты человек! А ежели ты человек добрый, так от тебя облегчения ждут. Когда же к твоей доброте еще и ума больше других дано — так с тебя втрое спросится. Так что быть хорошим человеком — тяжелая работа, долгий путь. И держится на земле хороший человек одной лишь надеждой, что кто-то переймет его широкую душу.

С такой вот надеждой и ходил по земле таежной, по краям сибирским славный мастер Иван Недоля. Что умел Иван в своей жизни, так это дома ставить. И ставил он их не топором да пилою, а сердцем да головою!

Подряжался он в деревнях к надежным хозяевам, артель из бойких мужичков сбивал, писался грамотный договор, и, после всей этой затравки, возводил Иван с мужиками творение такое, что дальних деревень люди подбегали порадоваться на работу мастера Недоли.

Мужички, что сподоблялись быть пригодными Иванову таланту, до конца века этим гордились. Нарасхват богатые хозяева тянули Недолю за стол договор писать. Но поскольку и метлу не в каждый угол можно поставить, так Иван сперва место для постройки дома выбирал, а уж потом к нему подыскивал хозяина.

Что ни дом у Недоли получался, то новая радость для людей. И сердце каждого хозяина полнилось удовольствием, что не какой-то заморский умник утер нос лапотнику подтележному, а лохматый Иван заставил цокать

языком да трясти бараньими кудельками иноземных умельцев.

Сладивши работу, брал Иван с хозяина полной мерой — ни копейки на оговоры не уступал, делился с мужиками артельными честь честью, кому сколько положено, себе откладывал по уговору. Артелка расходилась довольная, а Недоля собирал со всех мазаных дворов ребятишек и вел их целою оравой в товарную лавку.

Все купцы в округе знали такую Иванову слабость. К его приходу уж и на прилавки сластей понасыпливали, и по стенам добра понавешивали. Ребятня всякий раз пугалась такого избытка, за дверь пятилась. Да купцы посылали приказчиков загонять пуганых обратно.

Вот и начинались в лавке смех да веселье, прикидки да примерки. Нашумятся вволю, навыбираются, налюбуются собою ребята, напоследок Недоля их леденцами одарит, по новым карманам пряников насует и отпустит к матерям. Потом поклонится деревне у поскотины и дальше идет по земле, приглаживать своим трудом нечесаную бедняцкую жизнь.

Придет, бывало, тот Недоля в какую деревню — вроде всем именины принесет. Вроде после горячей бани поставит кружку ядреного кваса.

Не то чтобы сразу полегчала у людей жизнь. Нет! Просто податливей становилась та лямка, которую приходилось тянуть им до гробовой доски.

И всегда-то был Иван среди народа, и повсюду ходил Иван один. А ведь всякому человеку милее жизнь тогда, когда он вокруг себя нажитое видит: корова, скажем, во дворе, лошаденка стоит, телега, в избе глазастые ребятишки на широкой печи — это понятно! А когда нету в доме никакой беды, так и повеселиться можно. У Ивана же, как говорится, придись проснуться — надо бежать людей звать, чтобы разбудили...

Вроде бы не от своей матери человек родился, вроде живет от полной отдачи жизнью весенней земли.

Оттого-то люди и звали Ивана Недолей.

И вот случись Недоле завернуть в бойкую деревню, где стояла государева контора по закупу золота, пушнины. Тут же и орехи принимали на масло, и живицу на канифоль. А конторщиком был Кузьма Ермилов.

Он, когда из Расеи к нам в Сибирь на Тару пожаловал, широко раскатился на новом-то месте насчет зуботычин да господской власти. Только наши люди — не портки, не опояской держать их надо, а умом! Скоро

того Кузьму приструнили. По кочетной же его задиристости еще и наградили прозванием липким: никто не стал его кликать иначе, как Задеруйка.

Однако свинья способна и на дерьме жиреть. От казны стал Задеруйка малость приворовывать, добытчика ошельмовать не задумывался. Народ у нас долготерпный. Ему хоть по локоть руку в карман запускай — только от щекотки морщится. Уж тогда хватится, когда голым катится.

Еще Задеруйка тем был в округе заметен, что имел при себе в крепости девку Ланку. Он ее в Сибирь-то к нам с матерью из Расеи привез. Мать у Ланки вскорости померла чахоткою, а девка осталась в Задеруйкином доме стряпкою да ключницей. Да и всюду была она горазда: и в поле, и в мяле, и в лес по дрова. А когда Задеруйка с приказчиками из дома по закупам уезжали, так Ланка за них и таежную добычу принимала. Такого случая добытчики только и ждали, поскольку не умела девка морочить людям головы.

Задеруйка возвернется домой, шумит на Ланку:

— Опять ты мне тут, Ланида, наконторила!

Но бить не бил: заступников у нее в деревне много развелось. Могли бы Задеруйке и «спасибочко» сказать в темном месте.

Заступников-то много, а женихов нет. Задеруйка таковой заслон вокруг Ланки поставил:

— Кто надумает Ланку в жены взять, тот пойдет ко мне в крепость.

Если бы для себя одного, наверняка отыскалась бы отчаянная голова. В рай-то можно и послушником. Но как детей своих в крепости видеть?

Ланка и сама понимала, что краше в поле воробушком, чем в клетке соловушкой. Потому и не привечала никого, и не заманивала. Так и жила на земле — всем нужная, да никому не впору.

Вот тогда-то Иванова дорога и заверни в бойкую ту деревню.

Дело к ночи, а в конторе свет горит. «Дай,— думает Иван,— загляну на огонек. Обспрошусь». Только ступил на крыльцо, дверь перед ним и раздалась на всю широту. И сошлись лицом к лицу на пороге государевой конторы вольный мастер Иван да крепостная девка Ланка.

— Ой, Господи! — от внезапности молвила она, видя перед собою парня статного, синеглазого. И, отступая, повторила: — Господи!

Озаривши ее испуг долгой улыбкою, сказал Иван, как поздоровался:

— Вот ты какая — луговая ромашка! Не о твоей ли крепостной беде люди говорят?

Задеруйка рядом был. Ездивши повсюду, он уж встречал мастера Ивана. Оттого-то разом и благословил в уме ту дорогу, что привела Недолю на порог его конторы.

— Будь здрав, Иван Палыч,— вклинился он, как гудок в песню.— Надолго ли к нам пожаловали?

— Моим временем дело командует,— ответил Иван, проходя в контору да все оглядываясь на дверь, за которую упорхнула Ланка.— Куда мое дело повернется, туда и я смотрю.

— Понятненько,— потер ладошки Задеруйка.— Поспособствуем...

Всю ту ноченьку не спалось Кузьме Данилычу — бегал из угла в угол спаленки своей, прикидывал, как бы ловчее охомутать экоего прибыльного работника.

«Ничо, ничо,— думал он.— Уж коли наскочил мотылек на уголек, так не скоро теперь крылышки-то отростит. А мы тем временем путы вязать будем...»

В отличку от Задеруйки, что нередко бдел в бессонной жадности своей, Ивану не спалось впервые. Лежал он на сеновале, жевал соломинку да с ясным месяцем советовался, как ему, Ивану, порушить Ланкину крепость? Мастерством ли, хитростью, а может, и деньгами?.. Так или иначе, а парень даже мыслить не пробовал, чтобы Ланку у Задеруйки оставить.

Думал Иван, думал и Задеруйка. Надумавшись вдосталь, сошлись и заговорили:

— Я те, Кузьма Данилыч, со всею душою строю дом, без единой для себя копейки,— сказал Иван,— а ты мне отдаешь Ланку.

— Можно,— кивает Задеруйка,— все можно. Да на все есть своя цена, особливо, когда денег не хватает. Мы ж в цене будем сходиться так: на тобою построенный дом я нахожу покупщика и честно при тебе торгуюсь. Ежели покупщик даст за твой дом меньше тыщи рублей, тогда и дом и Ланка достаются мне. А раскошелится да выложит деньги чистоганом — забирай Ланку и ступай на все четыре стороны. Понял?

Иван только крякнул.

Выбрал он место по своему усмотрению, за березо-

вой рощицей, на яру, у тихой речной заводи, и принялся за работу.

Пора идет — дом поднимается. Парни деревенские, временем, подбегают к Ивану в тяжелой работе подмогнуть.

Ничо, Задеруйка этому не противится, а все думает, все маракует, где бы ему покупщика столь хитрого отыскать, чтобы сумел прикопаться к Недолиной работе.

А Ланка ходит — жалко смотреть, да и мастеру Ивану, поди-ка, не легче. Только держится бойчее. А станет доску стругать, в разводах струганины то окат девичьего лица для него проявится, то в стружке оживет завиток Ланкиных волос.

На деревянные кружева брал Иван рисунок опять же с Ланкиной красоты и, глядючи на работу, радовался. А Задеруйка, подмечая Ивановы радости, хихикал в кулачишко:

— Совсем спятил Иван. Только бы мне покупщика надежного отыскать. А Недоля без Ланки, что гриб без дождя,— на корню засохнет. Останется при мне Ланка, останется и мастер. А дом неплохой получается...

Как-то была конторщику забота ехать в тайгу по закупам. Когда же он вернулся, то прямиком понужнул коней до Ивановой рощицы. Между деревьями колесить не стал — отпустил коней с приказчиком. Сам же трусцою побежал к новому дому. Вытрусивши к речной заводи, оторопел. Жарким морозом его продернуло! Стоит на яру Недолин дом, как редкий ларец на царской ладони.

Подумалось тут Кузьме Данилычу, что не его умением хомутать мастера Недолю, не его руками плести невод для этакой золотой рыбки!

А тут еще Ланка, не видя за березами своего барина, прибежала Ивана проведать. И такая ли в ней радость, такое веселье струится, будто все дело уже решено, и не об чем больше тужить. Но всякий случай ждет, когда его позовут.

Покуда Задеруйка на дом глядел — одно думал, отвернулся — отмахнулся, поперся искать-добывать хитрого покупщика.

И нашел... грех монашку прямо на исповеди.

Еремей Подкатун, которого Задеруйка решился сманить в покупщики, с малых годов жуликоватым был. Люди про таких говорят, что они у черта в горсти родятся. А ведь пеленал-то Еремея тот черт в ремки и грел-то

его в навозе. А нынче?! Даже урядник Тараканов говорит об Еремее, заикаясь. А уездный прокурор кивает всякий раз в сторону Подкатуна:

— Вороний глаз! Этот пройдоха дерьма наклюется, потужится и золотой снесет.

Подкатуном Еремея не поп крестил: шибко был он круглый да короткий, чтобы по-другому-то его называть...

На торги Недолина дома Подкатун явился вместе с прокурором да с людьми верными, коренастыми.

— Ничо не скажешь,— катаясь вокруг Недолина дома, ворковал Еремей.— Этакого-то умения работать, ежели ты человек не того корню, и у бога не вымолишь, и у черта не выспоришь. Видится мне скрозь все эти рюшки-завитушки мастер первой руки!

«От змей! — скулит про себя Задеруйка.— От гад! Купит ведь дом. Ах ты, господи! Надо было бы мне, дураку, полторы тыщи положить. Э-э! Уж и Недоля с Ланкою переглядываются... Нечистая твоя сила!»

Тем временем Еремей Подкатун к Ивану повернулся и говорит:

— Прежде того, как сойтись нам всем в немалой цене, ответь мне, мил человек, на такой вопрос: ты же, как мне известно, обещался Кузьме Данилычу поставить дом с душою?

— Ну,— кивнул Иван и растерялся, видя, как прокурор заглядывает ему в рот.

— Так-так! — нажал голосом Подкатун.— Покажи-ка ты мне эту самую обещанную душу. Где она у тебя тут разместилась?

— Да он чо? — шепнула Ивану Ланка, и Задеруйка пхнул радостным локотком прокурора и зашептал, хихикая:

— Это Подкатун! Узнаю! Надо ж так суметь ловко скрозь камень проползти!

— Ну так как? — припер Подкатун мастера.— Не можешь, стал быть, показать? Об чем нам тогда с тобою и говорить? Видать, не получится у тебя с Кузьмою Данилычем спор...

И Подкатун разведенной в безысходности рукою как бы невзначай хлопнул прокурора по животу. Будто китайский божок, закивал тот лысой головою.

— Однако,— повернулся Еремей к Задеруйке,— уважая глубоко работу настоящую, за красоту такую не пожалел бы я и две тыщи положить. Так что, хорошо

тебе от того или плохо получится, но денежки за дом я приготовил сполна.

Покуда у Задеруйки отваливалась на подбородок губа, Еремей успел прибавить:

— Выходит, что и ты, Кузьма Данилыч, своей выгоды не поимел. Никто из вас спору не взял. Но за дом денежки-то надобно кому платить? — обратился он за согласием к прокурору.— Мы думаем: будет верно и по закону так, что ежели одна половина тыщи достанется мастеру, а еще половина — Кузьме Данилычу. Дом же переходит ко мне полностью. А по причине отсутствия в нем обещанной мастером живой души, забираю я к себе в придачу и крепостную девку Ланку!

Закивал, закивал безо всякого подтыку гладенькой головенкой уездный прокурор.

Ланиду на месте будто литовкою срезали. Не могла уж она услыхать, как рванулся к Еремею Подкатуну мастер Иван, да перехватили его под руки те, которые коренастые, да по велению прокурора заперли до утра в Задеруйкиной банешке.

— Лучше будет сразу его в каталажку отправить,— настаивал Задеруйка.

— Да кому тут нужда чужака вызволять! — посмеялся Подкатун над страхами Кузьмы Данилыча.— За него же передо мною отвечать придется. Мне все одно утром надобно смахать в уезд — купчую составить, так что Ивана я сам передам кому следует.

Но Еремеевой затее не дала сбыться Ланкина горячка. Уложенная Подкатуном в верхней горенке нового дома, девка металась в жару, не видя никого, все звала к себе Ивана. Когда же привозной лекарь посоветовал Ивана все-таки показать, то Задеруйкина баня встретила коренастых молодцев только сырою пустотой.

Пошли по деревне искать, спрашивать... На все вопросы люди отвечали в голос:

— Надо же! Вот чудо! Пропал человек! А какой хороший мастер-то был!

Но чудеса на этом не кончились, поскольку с Еремеем такая странность вскоре произошла, что и разгадать ее нельзя.

Безъязыкой от беды Ланке Еремей Подкатун обещался:

— Как споднимешься, красота, от болезни своей глупой да поймешь, каково к тебе мое добро,— уедем соцелева и повенчаемся святым рядом. А покуда — грешен!

От пустого придурья твоего велю оконца в горенке зарешетить, и дверь полой оставлять я тоже не собираюсь. Догляд же за тобою будет вести моя кухарка.

Ладно.

Эта забота была у Еремея, да еще Кузьма Данилыч зудил каждый божий день:

— Я говорил: надо было Ивана сразу в уезд отправлять. А теперь вон говорят, что видели мастера близко от деревни, и не одного! Увозил бы ты девку подальше куда — хватит у Ивана ума дом подпалить.

— Не городи околесицу,— отмахивался Подкатун от советальщика.— Ланку трогать лекарем не велено. Да и что ж мне от Ивана, бегать прикажешь? Сколько бегать — год, два? Али всю жизнь его бояться? Ничо! Не трясись. Мои соколики и не таких лавливали! А что насчет подпалу, так покуда Ланка в доме, Иван прибежит голыми пятками огонь затаптывать, ежели кто и умудрится подпалить.

Подкатун храбрится, а Задеруйке не до гонору — он уж спать стал дома в обнимку с ружьем. Всех своих работников сторожайкой замучил. Однако сколько можно крутиться-то по ночам? Надумал Задеруйка проситься к Подкатуну в ночевальщики. Солнце в землю — конторщик к Еремею.

А у того свой резон: чем черт не шутит! Покуда в передней Иван Недоля будет Кузьму Данилыча потрошить, можно успеть соколиков со двора покликать, ежели те посмеют заспаться.

И стали Подкатун да Задеруйка всякое заденье до полуночи в карты сидеть лупиться да водку глушить.

На второй неделе Задеруйкиного ночевания расходился на дворе Иван Постный[1]. Так ли разбушевался, что у многих крестьян поленницы поразметало.

Задеруйка доволен бурею — хоть одну ночь от страха отдохнуть.

Вот сидят они с Еремеем, об стол картами хлопают, пьют-едят здоровья ради — кухарка не успевает подносить. А ить у нее не одни они — Ланка в горенке никак не успокоится, за нею нужен глаз да глаз. Тут еще Еремей заругался:

— Чой-т ты сёдни растопалась — ходишь, тумба ка-

---

[1] Иван Постный — 11 сентября. Самая слякотная пора сибирской осени.

менная?! Не казарменный двор, поди-ка, у меня — маршировать-то?

На что кухарка дрогнула и, не ответствуя, заторопилась в Ланкину горенку. А уж когда вернулась в свою каморку, игрованы даже и не видели. Там она долго чухалась, полусонная, да все тревожно припадала зачем-то к мокрому оконцу, испуганно крестясь на бурю. Не умаляли ее страха и караульщики, поскольку с вечера еще уторкались они по пристройкам надворным и вели там охульные разговоры между собою да ржали что кони.

А в доме, когда кухарка спать легла, и вовсе настала невыносимая тишина. Хоть и свечи кругом горят, а все одно темень по углам шевелится.

И вот слышат ночевальщики: под бурею стекло в оконце задребезжало. Дребезжит стеклушко, а получается, что в доме кто-то заблудился да тоненько плачет среди чужих углов.

Редкие Задеруйкины волосы ершом поднялись на темечке. Глядя на гребень Кузьмы Данилыча и Еремей голову в плечи утопил. А ветер над крышей воет заупокойную, колобродит за стеной буря, ажно дом шевелится. И скажи на милость, до того обоим мужикам жить захотелось, хоть собаку зови да малою блошкой полезай прятаться в ее хвост.

Сидят игрованы, друг на друга хлопают глазами и молчат, притихли. В соседней горенке дверь поскрипывает. Вроде кто-то с обратной стороны подглядывает. Скрипела дверь, скрипела да, знать, потому, что никто не осмелится ее как следует прикрыть, она и засмеялась. По всему дому отозвался тот смех.

Задеруйка вместе со стулом под стол завалился. Увидел там Еремеевы ноги, ухватился за них, что черт за грешную душу. Подкатун дрыгается, а Задеруйка ноги ему не отпускает. Ничего другого не оставалось Еремею, как щелкнуть подстолошника по ершастому гребню.

— Ты что там, сдурел? Не сходи с ума! Ланка это воет в своей горенке, а по дому разносится. Пойдем, приструним ее!

Пошли.

Идут, колени поджимают: ежели кто из темного угла долбанет, так удар легче придется. А в животе у каждого со страху прямо ветряная мельница крутит. К Ланкиной двери вовсе крадучись приблизились.

Вместо того чтобы в горенку хозяином войти, Подкатун поштой-то припал к пробою ухом. Только не было никакой надобности кособениться-то ему, поскольку придержавшемуся на расстоянии Задеруйке и то было слышно, что за дверью разговор идет. Будто голубок с голубкою воркуют.

— Хто ето там? — попятился Задеруйка, Подкатун же пальцем ему погрозил: дескать — тихо ты! И, дойдя до Кузьмы Данилыча на цыпочках, шепнул ему на ухо:

— Видно, Ланка спятила — сама с собою говорит. Однако мало ли чо — сбегай в мою спаленку за ружьем.

Задеруйке хоть куда, лишь бы подальше бежать — только топоток в тишине разнесся.

Влетел он в Еремееву спаленку, дверью махнул — свеча погасла. Полез Задеруйка в темноте ружье на стене шарить. Вот бы ему нащупать на крюке эту строгую игрушку, а кто-то сильный цап его сзади за руку!

Не успел Кузьма Данилыч со страху и похолодеть, как его за шиворот перехватили и повесили на один крюк с ружьем.

— Ой, здоровый! Ой, лохматый! — толковал потом конторщик.— В нашей деревне таких мужиков нет...

Странно, что Задеруйка не удавился тогда на собственном вороте.

А все одно ему эта вешалка даром не прошла: что-то в горле у него пережалось. До самой смерти шипел он шипом, как змея подколодная. И морда осталась по всю жизнь сивою.

Значит, так: висит Задеруйка в Еремеевой спаленке на высокой стеночке, а Подкатун его у Ланкиной горенки ждет не дождется.

Воркование же за дверью вдруг умолкло, и его заменил какой-то странный хрип.

«Задавится девка!» — ударило в голову Подкатуна. Да как рванет он дверь на себя, ажно замок охнул.

Влетел Подкатун в горенку, а там шаром покати — никого нету. Пусто, как в пропасти! Одни решеточки да стеклушки оконные глядят на него, да перед святою иконою тихая лампада тлеет, да девичья кровать жмется от Еремея к стеночке.

Некуда Ланке спрятаться, разве что под кровать?

— Вылазь! — грозно распорядился Подкатун, но только ветер на дворе застонал ему в ответ.

Тогда Подкатун, кряхтя, опустился на колени. Но и головы наклонить не успел, как изогнуло ему спину не-

померной тяжестью. По сапогам седока Еремей понял — не Ланка его оседлала. Устроился на нем гарцун порядочный!

Вот и говорит тот седок веселым голосом:

— Не признал меня, Еремей Лукич? А ить как видеть хотел! Так ли хотел, что и про всякую совесть забыл. И не дрыгайся у меня! Не твоею нынче грозою пал пускать...

— Кого я хотел видеть? — не понял Еремей.

— Как кого? — Иванову душу,— ответил седок и, потрепавши крепенько Еремея за уши, стал грозиться:— Умудрился ты меня без Иванова согласия в доме оставить, не дам я тебе спокойного житья. Лучше вези меня к нему.

— Куда? — прохрипел Еремей.

— Туда, где отыщется...

Да так ли лупанул седок Еремея под бока крепкими сапогами, что тот взбрыкнул, храпнул и пустился по горницам резвым галопом. От повторного удара скакун хватил вниз по резной лесенке прямиком в сени и там вымахнул на широкое крыльцо...

Ежели бы не кухарка, никто бы век не узнал, куда подевался Еремей Подкатун. Кухарка же, крестясь, заверяла всех подряд, что видела она в малое оконце свое, как расхлестнулась во всю ширь сенная дверь Недолина дома, и с бешеным храпом сиганул с крыльца в осеннюю бурю вороной жеребец, и поскакал повдоль улицы прямехонько за деревню.

Кухарке не разобрать было через оконце, что за седок понужал того жеребца нещадно сверкающей в темноте плетью. Только видно было, как сыпались искры от того седока и огненным шлейфом ложились на шальной ветер.

Знать, пламенная душа была у мастера Недоли.

Ланку с того дня тоже никто больше никогда не видел.

ПО ЗИНКЕ ЗВОН

Кабы дурак судьбу выдумал — смехом бы все проходило. А то судьба, что лицо твое, вместе с тобою на свет является. И уж когда лицо видом своим для иконы не

вышло, сумей так приспособить его к жизни, чтобы хоть люди от тебя не прятались. Но и на это умение тоже родиться надо.

Эх, жизнь наша... пополам с мякиной!

Кузня Никифора Лопатина стояла у села, как лавка у стола под крутым яром у самой старицы, поросшей кувшинкою да одолень-травою. Завалена кузня была всяким крестьянским барахлом.

В сосновой пристройке, под одной крышею с кузней, лепленной из самана, ютился Никифор с сыном, Серегою Чугунком.

Сокол! Больше ничего не добавишь. Сокол ясный был тот Серега. Не за черноту его буйных волос назван был парень Чугунком. За то еще, что жило в нем долгое тепло про каждый день, про всякого человека.

Сам Никифор за долгий свой век нахватался над наковальней паленого: в груди его сипело, свистело и булькало, как в подмокших мехах. Всей и работы Никифору осталось, что быть сыну бестолошным указчиком.

Сядет, бывало, старый у входа в кузню, кашляет через порог да на Серегину работу выркает:

— Ставь на попа! На попа, говорю, ставь! Во! Теперича окалину с подхвостника сбей. Окалину, говорю, сыми! Да не тут, дьявол тебя подними! Срежь с держака!

Чугунок знай себе шпарит да на батькину воркотню щурится.

Как-то на команде поперхнулся старый кузнец: заклюкал, захрипел и плюнул в землю кровавой пеною.

Подхватил Серега отца, в пристройке на постель уложил, заварил троелистку...

Отвел, однако, Никифор сыновью руку с ковшом, на икону глазом покосился. Чугунок за божницей смотанную тряпицу нащупал. Распустил тряпицу, в ней деньги стопочкой.

— Прими, сынок,— говорит Никифор.— Тебе коплено: горбом добыто. Помру — бросай кузню, ступай на чистый воздух.

Передохнул отходной и договорил:

— Женись после похорон. Господь тебя благослови!

И помер.

Бабка Ланида с товарками обмыла покойника. Чугунку приказала обмылок спрятать — супротив мертвой косточки средство верное! За пятки велела подержать

отца, чтобы ночами не блазнился. И обрядила Никифора в дальний путь.

Мыльную воду с покойника Ланида под крыльцо сцедила, шепча:

— Злой дух, корыстная душа, лихое око, упади на склизи — не подымись, на тело чистое не подивись, не оставь своей печати: мертвому — хулы, живому — печали...

До свету Ланида читала над усопшим молитвы, убрав с печи заслонку, вьюшку вытянув напрочь, двери да окна приоткрыв, чтобы «анделы-арханделы, духи святые вольно доступились к душе раба божия Микифора».

Когда надо, опустили гроб в землю, на крест венки березовые повесили, помянули хмельно, поговорили хорошо о покойном и разошлись.

Эхма! Хорошо воют, да не по нашему горю...

На поминках-то Чугунок про отцов наказ рассказал, о деньгах вспомнил, не потаился.

Отбыли девять дней, сороковки отвели. Все честь честью! И закружились вокруг кузницы любезные свахи, что слепни вокруг живности. Да и кто ж от такого жениха отвернется.

Залучать в гости парня принялись, охаживать. Телок своих наряжают да за всяким неделом на кузню шлют, будто Чугунок раньше их не видел, будто до отцовой смерти слепышом жил.

Полюбуется Серега на расфуфыренную кралю, похвалит, когда шибко надоест, и, одно дело сделавши, другое начинает.

Помнется жениховка у дверей кузницы — идет домой, как за покойником.

Однораз строчит Чугунок по деревне, торопится куда-то, а Чернышиха ему в окошко шумит:

— Погодь, выйду...

Выбегла из дому, юлит:

— Зашел бы ты к нам, Сергей Микифорыч. Кобыла вчерась охромела, окаянная. Другой день припадает на левое заднее.

Чугунку понову, што ли, за таким делом дворы топтать?

Обошел кузнец кобылу, дужно по крупу огрел, она и заплясала на всех четырех. Фекла ж Чернышова, на лице удивление, завела:

— Надо ж так! Ну ты, поди ж ты! С хвоста подковы заколачивать!.. От скотинка! Чует крепкую руку. А вче-

рась падала. Мужик мой, как за чашшою-то ездил, замаялся. К погоде, должно, падала-то. Да ты, Сергей Микифорыч, заходь в избу: ножи соберу, литовку хорошенько отбить бы... Мой-то, солонец непутяшший, кол и тот в рогатку тешет.

Пригнулся Чугунок, в летник ступил. Чернышиха суетится: четверть на животе несет, солонину лучком присыпает...

— Ты,— говорит,— давай-ка, Микифорыч, не ленись, а я покуда работу для тебя соберу.

За «нет» да и за «не хочу» опорожнил молодой чаплыжку, другую опростал... По редкому делу быстро повеселел.

Фекла ножами бренчит, а сама все наливает до края. Линула и себе:

— За покойничка, сынок, за отца твоего неможное выпью! Золотой был человек, земля ему пухом! Душевный... Ты весь в его уродился.

Как тут не выпить?

Дале уж и не упомнит Чугунок, что было. Ухнул третью... И поехал потолок на стену. Запел кузнец:

Катя, Катерина, купецкая до-очь...
Прогуляла Катя с вечера всю ночь.

Поет паря и не ведает, что опосля песня горючей слезою ему выльется.

Рано, чуть свет, проснулся кузнец в летнике на полу. Хотел он было, хозяевов не будивши, домой тихонько уйти. Вышел во двор, косточки на зарю расправил, вчерашнее вспомнил. Плюнул и подался огородом до колодца — лицо сполоснуть.

Тут Чернышихина соседка Марьяниха уж через плетень глядит, здоровкается:

— Росное утро ноне, Сергей Микифорыч... Хороший денек будет...

— Должно...— отвечает кузнец.

— Как спалось-то на новом месте? Поди-ка с молодайкой-то и снов не поглядел?

— С какой молодайкой? — опешил Чугунок.

— Во! Нате вам! Ну буде. Чего краснеешь? Шпарят тебя, что ли? Фекла-то мне еще с весны трындила про Зинкины по тебе вздохи. Извелась девка совсем. Она хоть и дурочка, а теперь уж куда денешься? Не крути башкой-то — не дышло... Как спать, так — свой, а встал, так — вой?

— Да тебя что, Марьяниха, муха укусила? Какая Зинка? Ты што языком-то мелешь? Ступай проспись!

— Ах ты, мерин боярский! Мне еще и «проспись!». Тьфу! Будь ты весь в крапиве, поганец!

Повернулся кузнец от Марьянихи — из огородной калитки дед Маковей идет, посошком ботву картофельную отгибает — в росе онучи не замочить бы.

— А! Молодой хозяин! Ни свет, ни заря, ты уж за поливку?.. Добро! Везет же людям. Ты, Сергей, Марьяниху не слухай. Живи! Она, Зинка-то, хоть и не крупяного помола мука, да с такою женой спокойней. Ить как в народе говорится: «На худую кобылу вор не родится». Пошто молчком-то? Свадьбешку б какую-никакую сыграли... Да бог вас рассудит. Живите, как знаете.

От разговора во дворе Фекла с постели поднялась, на крыльцо сонная вышла, при Маковее шумит на всю округу:

— Чего-то ты, зятек, рань пасешь? Работа — не волк... Управимся за день-то.

Сам себя не помня, кинулся Чугунок в летник, упал на подстилку, Зинку Чернышову представил себе.

Лихо одноглазое, а не девка, была Феклина дочь: конопата да угревата, потлива да рассупониста, вокруг ее двух рук пальцами не сцепишь...

И то бы еще терпеть можно. По голове Зинкиной стригун пробежал. Чернышиха, после лишая, клоки остатные с дочерниной головы состригла, на сковородке спалила да с гусиным салом перетерла волосяной пепел. Теперь тою мазью мажет Зинке голову — лишай выгоняет.

И не подумал кузнец, когда за стол Чернышихин садился, что этакую глызу Фекла ему в невесты прочит. Пойдет теперь кататься по языкам беда Чугункова.

— Во как оплела! Оплела туго! — ударил кузнец кулаком в пол.— Спалю!

Но не спалил, не разнес Чугунок на щепы собачью эту клеть.

Смирился кузнец, вихры свои черные, буйную головушку подставил он под икону вровень с повязанной платочком, смердящей гусиным салом, стриженой кочкой придурковатой невесты.

Была свадьба... Ой, была свадьба! Уревелись девки допьяна, охмелели бабы до тоски, проводили други Чугунка в этакую дальнюю дороженьку, место хитрое искать всю жизнь — гробовой свободушки.

Днем свадьбу сыграли, а к ночи жених в кузницу свою ушел.

Зинке и той передалась Чугункова кручина: задумалась, загоревала...

Плачет кретя, да все на ветер.

А Фекла ее со своей полки крестит:

— Буде тебе, конопатая, вавилоны разводить! Чо слюни-то распустила? Смотри, подушку сгноишь. За гриву парень не удержался, а за хвост не удержится — придет.

Всю ноченьку просидел бедняга Чугунок в пристройке своей без сна.

Утро в оконце ряднушкою заткнул — и свет ему лишним показался. Только горе-то наше ходит не по жнивам, а по жилам...

На третий день бабка Ланида, что Чугункова отца обряжала, глядя с яру в распадок на Чугункову пристройку, толмила бабам:

— Поди-ка и обмывать нечего будет? На Ахтырския-то пресвятую Богородицу[1] муха семь раз на дню плодится. Изрешетит тело — сквозь пальцы поползет. Ввечеру наведаться надо ж.

— Надо ж...— толкуют бабы.— Еще и вправду сунется кузнец в петлю.

Не выпало, однако, бабам благородство разводить. Сам кузнец на третий закат из пристройки выбрел. Но что это был за кузнец?

Будто кто по шее колом его стебанул, будто руки ему повыдергивали — на жилах висят, будто неделю держали его в грязной воде да не ополоснутым на люди вывели.

Но бабы все полегче вздохнули:

— Слава те, Господи! Пронесло...

Начал Чугунок потихоньку в кузне колупаться. Что ни день, звончее поет наковальня.

В первый Спас[2] пошли девки льны в поле глядеть, парни овсы шелушить да в колодцы горстями кидать — касаткам на зимний корм[3].

По лугу костры развели — печь молодую картошку. Хрустели огурцами, покуда Авдотья-сеногнойка[4] не сог-

---

[1] Ахтырская пресвятая Богородица — 15 июля.

[2] Первый Спас — 14 августа.

[3] Считалось, что ласточки не улетают, а ложатся на дно колодцев.

[4] Авдотья-сеногнойка — 17 августа.

нала их в кадки. Ели колоба из новины с молодым сотным медом.

В гущу доброго веселья нет-нет да и вольется печаль, прокатит по душам звоном Чугункова молота.

— Колотится женатый бобыль,— жалеют его парни.

— И в христово воскресенье нет болезному веселья,— вторят девки.

Поговаривают так о Чугунке, и никому-то про себя даже не спросится: отчего это Лизавета Кудиярова конец платка закусила?

Давно ли девчонкою-недоумышем бегала Лизка по кувшинки утренние к заболотившейся старице, за Лопатинову кузню? Давно ли из-под черемухи обслоненной, обжигая крапивою голенастые лытки, подглядывала она «разлуки». Видела, как Серега Чугунок, разгоревшись от частой беготни, ловил лукавую «разлучницу», чтобы тою же минутою в бессчетный раз во весь дух лететь за новой соперницей.

А ноне на вот те! Кусает платок, прячет руки свои Лизка Кудиярова, чтобы унять в ладонях бегущую от сердца дрожь. И никому-то не видно покуда за пеленою обманного веселья да под скорлупою отроческой линьки лица выбродившей любви.

Набрякли, разнежились молодые земляным теплом, осоловели от веселья и всем гуртом запылили к деревне.

Одна Лизка, не залученная покуда сердечными тайнами вдогляд подружкам, попридержалась на дороге и, забытая всеми, в заревой тишине свернула к старице.

А Чугунок в кузнице своей выколачивал шкворень для парной брички, прислоненной без колес к навесу, где лежала куча березовых углей да охапка хворосту у кедровой поленницы.

Хватил Чугунок готовый шкворень клещами поперек, сунул в шайку с водою. Зашипело, заурчало, обдало кузнеца едким паром. Выхватил кузнец шкворень из шайки и отошел к порогу — дохнуть ночного воздуху.

За порогом Лизавета стоит, кофту теребит.

— Чего тебе? — озлился Чугунок.— Мать, што ли, потеряла?

— Батюшки! — отступила Лизавета.— Злой-то какой! Воды бы дал...

— На чурбане вон... пей!

Напилась Лизавета, ковшик повесила. Утерлась краем платка, а дальше и не знает, что делать. И Серега дела не видит. Мнется, на девку поглядывает.

— Ты уж невеста,— говорит.

— Невеста,— соглашается Лизавета.

— Да. Идет времечко,— вздыхает кузнец.

— Идет,— откликается...

— Поди жениха уж подглядела?

— Жених — не жених, да не надо б двоих...

— Складно!

— Кому складно, кому накладно...

— Оно так...

Постояли, помолчали... Знать, было об чем. Беда-то разная, а горе одно.

— Пойдем, Лизавета,— зовет кузнец,— повечеряй со мною, одному-то в горло ничего не лезет, а там я тебя провожу.

Согласные, ушли в пристройку.

Тишина укрыла кузню закатным крылом. Только медовый серпень на холодной заре шелестел отавой, да грачевый грай за яром полоскал озимые черным вихрем.

...Уж и кукушка давно подавилась ячменным зернышком[1], и медведь лапу омочил[2], и пожнанный хлеб на овины свезли, а кузнец все носа не кажет на женин двор.

В Чернышихиной избе туман густой поселился: семейные ходят, друг дружку не видят. Ни ветерка свежего, ни лучика светлого...

Завтра — Успенье[3], а они его празднуют уже восьмую неделю.

Вечером Фекла квашню поставила, молоко в кринки сцедила, подойник на шесток опрокинула, кликнула Зинку с чердака, где горевуха бобы шелушила, и потянула ее за собой.

— Пошли, что ли, чертово семя. Будет когда конец муке моей? И спихнуть-то тебя, паразитка, не могу. Навязалась на мою голову... Ступай! Иди! В ноги падай!

Зинка было заупрямилась:

---

[1] Кукушка замолкла — считалось, что подавилась ячменным зернышком.

[2] Ильин день — медведь лапу обмочил, купанию конец.

[3] Считалось, что с Успенья солнце засыпает. Начало молодого бабьего лета (с 28 августа по 11 сентября).

— Ай не видно те, маманя? Седло-то не по коню. Чужая ложка рот дерет.

Фекла себя ажно по ляжке хлопнула:

— Во, рассудила! Дура и есть. Да где тебе, дуре, понять, какой ложкой хлебать? Идем, говорю! Не то обоих вас прокляну!

Пошла угревая за матерью, как тоска за пьяницей.

Подходя к кузнице, Зинка опять оробела: «Не пойду и не пойду».

Фекла канителится, а девка свое:

— Хоть убей, не пойду.

Во злобе досадной Фекла так долбанула дочку по лысой башке, что Зинка с ног свалилась и завыла.

На тот вой Чугунок дверь в пристройке отворил, оглядел темь непроглядную, сказал в пристройку:

— Почудилось, должно...

И дверь закрыл.

Фекла так вся к окошку и приросла: «Кому сказал?»

От малого света лицо ее стало таким страшным, что притихшая было Зинка опять заскулила. Фекла дернула ее за рукав.

— Молчи, лындра заморская. Досиделась!.. Гляди, как муженек твой Кудияриху обхаживает. Я его щас обхожу... Неси хворосту! Я им щас Успенье отпраздную! Чо стоишь, кикимора!

А у той «Кикиморы» словно змея по спине ползет — белее луны стоит, знобится в три трясучки.

Чернышиха сама под навес побежала, на ходу все шипит:

— Я ж вам подкину жару! Я ж вас, голубки, выкурю. Вы у меня забудете и про любовь, и про разговоры...

Нахватала Чернышиха хворостин веником, уголья в горне кузнецовом раздула... Дверь в пристройку распахнула и шуганула веник огненный прямо под ноги Чугунку.

Мигом обхватил огонь кузнеца. Лизавете бы тушить пламя, а она припала к парню и задымилась сама.

Тут-то и поняла Фекла, что натворила злоба ее. Со страху бросилась она бежать распадком подальше от пожару. А вдогонку ей — долгий, как горе, наковальный звон.

Гудит наковальня чище вечевого колокола, зовет народ...

Люди, гомоня и обгоняя друг дружку, уже бегут с яра в распадок.

Поняла Фекла: куда ей бежать-то? Некуда ей бежать.

Повернула она за толпою и, будто ничего не зная, понеслась обратно к кузнице.

А там уж люди Зинку обступили, руки крутят.

Чернышиха упала перед народом на колени, голосит:

— Люди добрые! Дура ить она, дура! С малого ума ить она подпалила кузню. Лизку Кудиярову тут с мужиком углядела. Пустите вы ее, дуру!

Расступился народ. И то! Что с дуры-то возьмешь?

Чернышиха кинулась было дочку-то на радостях обнимать, да Зинка так на мать поглядела, что та истошно заорала и плашмя пала на землю.

А Зинка, не видя боле перед собою помехи, пошла прямиком в огонь.

Тут и крыша рухнула.

Никто не помог Чернышихе подняться с земли. Обходя ее, стал народ расходиться по своим дворам.

На другой день сговорились люди разобрать пожар да косточки, какие найдут, схоронить.

Не успели они спуститься с яру, как полетел им навстречу из пустой кузни наковальный звон.

На яру мужики шапки поснимали:

— А ведь то ж по Зинке звон. По ее безгрешной душе.

ФЕДУНЬКА-САМОДРЫГ

Тайга-то, она, матушка, не без норова... Понятие нужно к ней иметь. При понятии она тебя и накормит, и напоит, и обогреет, и путь укажет. Нет понятия — нашумит, запугает. Последний разум замутит.

Не любит тайга бестолкового человека, а пуще того — привередливого. Такому она вовсе чужою стороной прикинется, тут у нее и в Петровки — зимовки...

Вот вы послушайте сюда, какое дело однораз на вырубке получилось.

У хозяина вырубки к тому времени с большими властями заминка вышла. Остановили вырубку. Главный народ по хозяйствам своим до поры разошелся, а двое парней, это Иван Маркелов да Федунька Величко, на вырубке остались сторожевать. Было велено им, от нечего делать, дрова хозяину на зиму запасать.

Ивана-то Маркелова хозяин оставил на делянке потому, как он безродный был, один. А Федуньку — посвойски... Родней ему Федунька приходился. Так, седьмая вода на киселе... Но хоть из-под куста ягодка, а все — малинка.

Оно, Федуньку-то, похаять грех. Вровень с другими мужиками топором гукал, рубил лес до сырой горбицы. А только выкладку имел пакостливую — шибко до девчат был прыгун. Сегодня одной голову закрутит, завтра другой... Уж больно умел он, нечистая сила, играть на девичьем сердце... А красивый был, холера! После него мужики на себя и глядеть не хотели.

Изводил он девчат, тот Федунька, прямо убей! А самому ему хоть бы хны! Только зубы скалит:

— Ничо,— говорит,— пущай поплачут. Через слезы отпущение приходит. После маво причастия и попу делать нечего.

Многих девчат таким-то манером Федунька причастил.

За эти святые замашки бивали его ребята, и не единожды. Да дураку — не в дугу... Знать, и на делянке его хозяин не столько по родне оставил, сколько хотел охоронить от длинных рук.

Так нет! Не бросит сверчок свою песню, покуда не ошпарят.

Сидят как-то оба-два сторожа на вырубке, костерок охаживают, зорьку вечернюю переводят на пустопорожние разговоры: старое выбивают, новое приколачивают; одно тянут, другое — карнают...

Может, и давно бы услышали в лесу девичью песню, да комарье одолело. Покуда отмахивались, она, песня-то, слышат, вдоль вырубки поплыла.

Иван Маркелов не был вертопрахом, а и его за живое взяло: уж такой голос шелковый стелется по лесу! Напарник же Иванов даже стойку дал.

— Кому бы это,— елозит,— в такую пору песни разводить за пять верст от села?

Ивану бы лучше прислушаться к той песне закатной,

к тому голосу странному, к словам тем не деревенским, да он Федуньку отговаривать принялся.

— Чего прыгаешь? Мало ли тут девок по ягоды ходит?

— Какие тебе ягоды! Ягоды ему... Ты гляди, солнце-то рогом землю роет!

— Ты чо ерепенишься? — перечит прыгуну Иван.— Не к лешему же на свиданку подалась девка? Тут, окромя нас с тобой, одна зуда комарья.

— Может, эта песня до меня рвется? — вовсе сморозил Федунька.

А Иван сдуру-то и подъелдыкни:

— Вишь вон, и то... Девка-то у костерка нашего крутится. Право, для тебя голосянку тянет.

Федунька вроде бы сел, притих, а сам все ухо топориком держит. В лесу тоже поумолкло, чуть только звенит комарье.

Ну и ладно. Стали они опять огонь шишкарем потчевать, разговоры настраивать... Тут и брызни по лесу девичий хохоток.

Дернулся Федунька, чуть пень, на котором сидел, в землю не вдолбил.

— Ну и варнак ты, Федька! — удивляется Иван.— Эко тебя шарахнуло!

А у самого, у Ивана, так на душе ломотно. Маракует себе: «Кому это, зоревым делом, пригостилось у вырубки нашей? Хотя накладно ли пять верст для молодых ног. Может, кто с разных деревень друг дружку на полдороге пришел искать?»

Вроде бы на том и уговорил свое беспокойство Иван. А вот Федуньке недужится. Свербит его тягота, плохо ему у костра дышится.

— Пойду до ветру,— говорит,— пробегусь.

— Пес тя задери! — озлился Иван.— Лыгай, коли шлея под хвост попала. Может, наскочишь на свово хозяина, вложит он тебе в душу затычку с ершом...

Ить побежал, шельмец! Впотьмах-то скоро с лесом сравнялся. И хохоту того больше слышно не стало, и песня умолкла.

«Может, и впрямь нашлась смелая Федуньку в лесу отыскать? — думает Иван.— Теперь его до свету не жди».

Побрел Иван в зимник, улегся... Не спится. Что-то все ноет и ноет, все жмет в груди. Лежал, лежал, вроде задремал. Нет, опять очнулся. Встал. Вернулся к костер-

ку... И тут ему плохо. «Вот заноза! Куда его унесло?! Хоть бы голос подал. Глянуть, что ли? Надо глянуть!» — думает Иван.

Перебрел он через вырубку — никого! Пошел дальше — лес сквозной; перепела вспархивают, комар зудит... Шумнул Иван:

— Федунька!

Эхо закатилось младенцем перепуганным. Плюнул. «Пропади ты пропадом!» — и поворотил сапоги.

Не туда!

Чует Иван, не туда идет. Он опять повернулся — собачья карусель... Вот сатана! Куда ни повернешься, нету ему хода.

«Дай,— думает Иван,— влезу на сосну, огляжусь, где это я?»

Выбрал дерево повыше и кое-как подтянулся до первых сучков. А там уж быстренько поднялся до обзору: вон он, костерок! Только что не доплюнешь! «Как это я так закрутился? — думает себе Иван.— Вон и зимник... дверью скрипит... Ишь ты, забыл прихлопнуть! Щас,— думает,— слезу. На кой бы мне леший этот сумасброд сдался — искать его в темноте. Пойду, спать лягу».

Стал Иван на землю сползать... Чудно! Не пущают его ветки. Ко стволу сосновому приголубили, чище милой, и держат. Пришлось Ивану шибко ласково — хоть белугою реви. А тут еще луну громовая туча с неба слизнула. Откуда принесло этакую оказию?! Солнце ж ноне по-чистому в землю скатилось. Не должно быть грозе! А она, вот она! Видно, поглядеть явилась, как Иван в колючей кудели увяз. Да молнией ка-ак щелкнет!

«Ой, пропала моя головушка! — тянет Иван голову в плечи.— Так мне, дураку, и надо. Спал бы себе в зимнике, так нет... Пошатался медведь по сладка, да поцеловала шата рогатка».

— Пусти ты меня! — отпихивается Иван от сосны.— Чо я тебе?.. Пусти!

Только то-то и оно-то... В грязь-то бы можно, да из грязи тошно. Пожух Иван, навертевшись впустую, руки опустил...

А тут слышит: низом кто-то шлепает.

«Федунька, должно!!»

Разломил Иван сухой от страха рот, чтобы помощника себе окликнуть, да сосна его как хлестнет веткою! Весь рот Ивану забило хвоей. Покуда отплевывался —

шаги умолкли. А над головою туча будто разломилась.

«Ну все! — думает Иван.— Щас осколком долбанет, и поминай как звали!»

Ни до того, ни после не знал Иван в жизни такого потопа. Что творилось! Матушка владычица! Стеною дождь стоит, а вот самого Ивана под ветками не трогает...

Внизу ж, на поляне, от сырости, должно, гнилухи заголубели. Полыхают синим огнем. С высоты поглядеть, будто кто здоровенный сундук отворил и невидимой рукой каменья самоцветные пересыпает.

В самой же середине той поляны разубранной — темное пятно: пень не пень — человек на кукорках сидит.

«Да ведь то ж Федунька Величко! Фу ты, едрен корень! — радуется Иван.— Меня, поди-ко, ищет. Черта ли тогда в земле колупается? Тут я! Ну, задери ж ты дурную башку! Погляди ты на меня, ради Господа Бога!»

Думает так Иван, а рот открыть боится. Кабы опять его хвоей не забило. Глядит Иван Федору в макушку, что кошка в кувшин, и слезы глотает. А Федунька чегойто уж больно смирно сидит, не шелохнется. Живой ли?!

Пригляделся Иван попристальней, а Федунька опутан по рукам и ногам, черными кореньями повит, как муха паутиною.

Вона! Допрыгался! Нашел свое! Ехал цугом, да поперек дороги...

«Не одного меня тайга приголубила,— трясется Иван.— Только меня-то за какой грех в шутники записала? Может, людям что через меня пересказать хочет?»

Вовсе Иван на своей сосне притих. Чует: не играет тайга. Лучше уж сидеть сиднем, покуда не схлынет с нее охота держать его на привязи. Не заметил Иван, как ливень потух. От гнилух тех, от каменьев ли самоцветных, а поплыл над поляною сизый туман. Это среди ночи-то! Поплыл и поплыл... Кругами плывет, сужается, теснится... Поднимается над поляною кверху сторонкой. Все круче подхватывает края, все веселее замешивается... Вытянулся туман тот столбом выше Ивановой сосны и облился весь на поляну, прямо под ноги незнакомой девке. И откуда она взялась?

Платье на ней зеленое, все цыплячьими пятнушками бегает, как тайга солнечными бликами ясным утром. Косы ее неплетеные усыпаны спелой рябиною, жарками

да кукушкиными слезками перевиты хитро. На шее соболек белый греется; обвил ей шею и жмурится, как кошка. Девка того соболька наглаживает, а сама приговаривает:

— Сколько же в ином человеке всякой мороки гнездится? Сам в себе человек беду сеет, сам ее греет, сам пожинает, а после на чертей пеняет... Ну что ж мы с тобою для него придумаем? А? Одарить его совестью? Нет... Из гнилья огня не высечь, не добыть из плесени ядрышка... Пусть хотя бы послужит крепкою памяткой, чтобы не повадно было другим куражиться над чистыми душами своею удачною природой. И про меня пускай не забывают...

Сказала так девка про Федуньку вроде, а сама на Ивана глаза подняла.

Было бы в сосне хоть махонькое дупло, втиснулся бы в него Иван. Так она поглядела!

Зажмурился парень — ждет...

Тут сосна-то как дернется.

Свалился Иван на мшистое место и лежит. Ну, сколь ни лежи — время идет... Открыл он глаза — никого кругом нет. А сам он, Иван Маркелов, лежит в зимнике на нарах, весь как есть сухой, вроде подсолнуха на печи.

— Поди ж ты! — дивится Иван.— Откуда што? И дождь тебе тут! И гром! И лесовичка разумная... Что померещится человеку...

Поднялся Иван, качая головой, пошел за дверь, а там Федунька на вырубке сидит, костерок шишкарем кормит.

Подошел к нему Иван со спины, не знает, с чего разговор начать.

Кыркнул: мол, тут я, Федор.

Дрогнул Федунька от Иванова крика и сполз со пня на землю: пена изо рта повалила; головою землю долбит, выгибается.

Иван к нему с подмогой. Ухватился за Федуньку — а тот мокрехонький весь и ажно голубым огнем светится.

По лесу же, вдоль вырубки, прокатился еще раз девичий хохоток и далеко смолк... навсегда...

«Э-э... Да не с мово страху тебя знобит»,— понял Иван.

Оттащил он Федуньку подальше от костра, чтобы ненароком в огонь не повернулся, и ушел в зимник.

Да уж какой там сон!

До самого свету Иван прокрутился на нарах. Утром задремал все-таки. Проснулся аж к обеду, от голоду. Федунька рядом храпит, слюни на нары пускает. Одежда на Федуньке сухая да чистая вся...

Так Иван ничего и не понял.

А только с той самой ночи привязалась к тому Федуньке Величко падучая: как надумает он к которой девке с ухлястыванием подкатить, так хвороба его и прижмет к земле...

Красивый был Федунька! Ох, красивый! Однако так бобылем на всю жизнь и остался. Ни одна девка не захотела пойти замуж за такого-то...

— Зачем мне этот самодрыг. Мне и добрых не перебрать...

Вот она, тайга-то, порою что делает.

А может, и зря мы на тайгу грешим?

ФЕДОРУШКА-СЕДЬМАЯ

Сколько людей по земле ходит, а нет такого человека, чтобы с другим спутать можно было. И примет-то у нас: душа да тело. Поглядишь на человека один раз и уйдешь по жизни разными дорогами. Повстречай потом забытого — маяться будешь: где это он мне попадался? Разве уж вовсе перевернет его, перекрутит... Про душу — другое.

На балалайке три струны, а что вытворяют! В человеке же струн несметное множество. И каждый проходящий норовит настроить их на свой лад: попадет умный — поют струны, подвернется пройдоха — стони да охай, нагрянет дергач — садись да плачь...

Может, к тому времени, когда умному очередь подойдет, струны те пооборваны висят. По связанной же струне один дребезг катится, под музыку такую черти пляшут.

Глядишь на такого человека: живет — могилу ищет. Рядом с ним больно себя здоровым сознавать.

Про одну такую горемыку, про Федорушку, помнил народ с малых ее годов. Жила Федорушка, от людей пряталась, неся по миру убожество свое непоправимое.

Годов с пяти принялась она в голову расти, после

того, как, сорвавшись с колодезного сруба, просидела ночь целую в гнилой темноте.

До полудевки уж дотянула Федорушка, а все-то в одну варежку могла она втиснуть обе руки. Ребячью одежонку отдавали ей на донашивание, и казалось-верилось, что вся Федорушка уложена в голове своей, большой и крепкой, как семенная тыква.

А ведь не получилось бы с Федорушкой такой беды, кабы за нею был хоть малый догляд.

Какой там догляд, когда одна мать на ошестех сорванцов да на седьмую Федорушку руки ломала. Ну и скопытнулась на непосильной работе.

А с такими-то руками безрукими, какие у Федорушки остались, зыбку качать и то — пойди попробуй! Парнишек народ кого в кузницу пристроил, кого в подпаски — загонялой, вместо собаки, кого в лавку — затрещины хватать. А Федорушке одно дело — милостыню просить.

Ходила Федорушка, годы вела...

Тут возьми да и подвернись веселая барыня, самого губернатора жена.

И пес ее душу знает, какого она лешего искала в наших заплатанных краях? Губернаторенка своего за хвостом возила.

Этот самый гнатаренок и приметил Федорушку.

— Ой,— орет,— маманька! Кукла на завалинке сидит. Купи!

Купи да купи, вынь да положь.

А ей, барыне-то, по душе, что по меже — лишь бы юбку не вымарать.

— Поскольку на другое дело ты не пригодна,— говорит она Федорушке,— беру тебя вместо забавы, садись на задке и ногами помахивай.

Так и умахала Федорушка от смеху на потеху.

Как сам губернатор увидел ее, поразился:

— Кого ты,— спрашивает,— матушка, привезла? Охо-хо! — ржет,— пузырь на вилке. Ты,— говорит,— матушка, утром по гостям пошли: пущай соберутся поглядеть.

Барыня муженьку угодить рада. Нарядила она Федорушку по своей задумке: голову ей начисто остригла, щеки свеклой натерла и выпустила на пьяных гостей.

Стоит Федорушка среди разгульного хохоту, бегут-катятся слезы, расходятся со щек алыми пятнами на белом наряде...

Губернаторша довольная перстенек на пальце крутит, а бородатый Расстегай скакуна через стол хозяину за Федорушку сулит...

Навеселились гости да и забыли про нее. Уторкалась под стол Федорушка, наревелась да там и уснула.

Проснулась... Над столом голос губернаторши стелется в Расстегаево ухо раструбом:

— Да ты не бычься, брат. Ну беда ли в том, что муженек мой на скакуна твоего девку менять не хочет? А ты не торопись. Наиграется. Уродство, оно надоедливо. Придет время — так отдаст. А ты Федорку эту с каким-нибудь там пьянчугой повенчай. Народит она тебе таких выродков, каких свет не видывал. Да за такой цирк тебе не одного скакуна дадут. Что ни год — то урод. Прямая прибыль.

Федорушка даром что не мудра была, а поняла, к чему губернаторша клонит. Сомлела вся: как беду отвести? За кого спрятаться? По губернии бежать — все равно что на сковороде жариться: и перевернут, и посолят, и на стол подадут... А бежать надо.

Дождалась она, когда Расстегай с губернаторшей ушли, выползла из-под стола, по коврищу мягкому не стукнула, по сеням протемнила, не звякнула, скатилась с высокого крыльца... только мерин Расстегаев храпнул у привязи, только сторож трещоткою прокатал тишину.

Выскользнула за ворота, а там баба хмельная на краю канавы сидит, подняться не может.

— Ой, лихушки мне! — тянет она к Федорушке грабастую пятерню.— Подай подушку-перинушку. И у тебя нетути? — и запела пьяная:

Соломы б клок,
Да пойла чуток,
Да горькой налей —
Помирать веселей.

Дергает баба разутой ногой и приговаривает:

— Слышь-ка, девонька? Хавронья я, Свиное рыло. Чо уставилась-то на меня? Звезду енеральскую увидела? Тащи меня за ухи из грязи домой.

Принялась Федорушка Хавронью из канавы тащить. Хоть мала силенка, а к силе приварок. Хавронья — баба здоровая. Закондыбала по улице. К дому подходить стали, вовсе твердыми ногами пошла. В избе лучину запалила — рука не дрогнула.

Чудно Федорушке показалось и то, что в доме у нее не корки да сухари, а калачи на сахаре.

Ой, взяла беда расчета — вышла в дверь, вошла в ворота!

«Будь ты трижды неладная! — клянет себя Федорушка.— Спряталась, что дите малое: голову в подклеть, а задок под плеть...»

А Хавронья Федорушку уж и к столу манит.

Поела бы Федорушка Хавроньиных калачей, да кусок в горло не идет.

— Чего это ты не сглотнувши икчешь? — спрашивает Хавронья.— Меня, что ль, испугалась? Да ежели мы, простодумы, начнем друг на дружку волками смотреть, так загонщикам нашим останется наши шкуры готовыми по кучкам раскладывать. Чем яростней мы будем злобиться, тем больше пойдет этих шкур на барские розгульни. Может, и есть у тебя нужда людей бояться, да сегодня отпусти сторожа... В моей избе ни один живой глаз тебя не поймает. Не любят меня проныры. На улице сам губернатор, увидевши меня, торопится по делам. Потому, что за меня темнота людская заступу поставила: оборотнем живу я! На шепотке за моей спиною всем я: Хавронья — Свиное рыло, а в лицо на голосе — будь здорова, Хавронья Саввишна. А по моему понятию, так за мной пущай хоть хвост волочится, лишь бы вперед коровой не мычать. Еще я так думаю: значит, я для чего-то нужна оборотнем, раз уж народ так придумал.

Эх, ма! Кабы не оговорка, была б в уме Федорка...

Хавронья, должно, вразумляла Федорушку своим откровением, а той уже привиделось-прислышалось, будто захрюкала хозяйка после слов своих страшных.

И дня не прожила Федорушка у Хавроньи. Утром чуть свет нырнула она в подворотню и попала... как из трубы в трубу, только поуже: за воротами вот он!.. Сам Расстегай брюхо на седле везет.

Федорушка заметалась по улице, а он за ней верхом, а он впритруску... Правит скакуна за Федорушкой, а сам заливается со смеху.

Металась Федорушка, металась, пока не сунулась носом в землю.

А уж Хавронья тут. Заступила дорогу Расстегаеву мерину и идет на него всем телом. Пятится мерин, схваченный за узду крепкой рукой.

— Смотри, куда прешь! — говорит Хавронья Расстегаю.— Назюзюкался с утра-то? Ты б еще борзых на сироту натравил, брюхо ты безмозглое!

Опомнился Расстегай — спесь его величать принялась, гордая заноза сквозь седло колет, да так глубоко, что он до ушей кровью наливается.

Видит Хавронья: пора прощаться. Припала она губами к меринову уху и что-то крикнула. Хватил мерин по улице; пошел через канавы плясать, чесать бока о заборы.

Ресстегай руками машет, верещит по-свинячьи да плюхается колотым местом об седло.

Укатил мерин седока за городище, там хряпнул где-то оземь, и... доставили Расстегая проезжие на губернаторов двор еле живого. А скакуна его до сей поры в поле ищут.

Хавронья же Федорушку на руках домой принесла.

Лежит Федорушка на лавке — впору под образа...

— Ты хоть имечко свое помнишь ли? — бьется над нею Хавронья.

— Федорушка,— отвечает сирота,— седьмая...

— Ну ладно тебе... седьмая так седьмая... Годков-то тебе сколько?

«Седьмая» и все тут.

Ну, а на губернаторском дворе сыр-бор разгорелся.

Какая-то там Хавронья — Свиное рыло и посмела над барином шутки шутить.

Бог знает, что бы сам губернатор тогда сделал, кабы дома был, а губернаторша ногами затопала, дворовых в загривок:

— Доставить сюда Хавронью! И Федорку — кнутом, чтобы не куражились вперед!

Хавронью привели, а про Федорушку правду сказали:

— Не можно трогать: родимчик ее колотит.

Губернаторша и пристала к Хавронье:

— Держи ответ, баба, как ты на девку порчу навела? Мы по доброте своей сироту в доме пригрели, а ты увела, оговорила да зельем опоила! Не будет тебе от нас милости, и не проси, и в ноги не падай. Эй! Кто там! Волоки сюда веревку! Вяжи ее, чтобы судом судить!

— Ну чего ты, барыня, визжишь? — говорит ей Хавронья.— Али не слышишь: голос-то у тебя перехватило... Давай-ка я сама холопьев твоих покличу.

— Стой! — машет на Хавронью губернаторша: без тебя, мол, обойдусь...

— Ну что ж. Без меня так без меня...— смеется Хав-

ронья.— Иди, матушка-барыня, зови своих холуев. А я погляжу, как у тебя это получится.

Шаг шагнула губернаторша к дверям да в юбках запуталась, другой шагнула — грохнулась на пол. Поднялась было, да снова ухнулась.

Хавронья хохочет, а губернаторша не сдается, ползет... Загребает, да ползет.

— Ну, ежели ты такая упрямая,— говорит Хавронья,— век тебе ползать!

Перешагнула Хавронья губернаторшу и дверью хлопнула.

Приехал губернатор домой: холопья гнутся в сторону от него, шепчутся по углам, торопятся каждый свое дело делать.

Губернатор — в дом, а там жена его, уползалась до того, родимая, что на спину перевернулась и похрюкивает жалобно, будто что сказать хочет.

Работники, видя такую беду, про Хавроньин-то приход сказать боятся: как бы кому самому поползнем не сделаться.

А Хавронья без головы, што ли? Будет она ждать, когда губернатор до истины докопается.

Видели люди, как шла Хавронья по улице с узлом да Федорушкой, а куда они подевались, сказать не сказали.

ПАНТЕЛЕЙ ЗВЯГА

Человек в людях словом живет.

Все можно отнять у человека, но доброе слово людьми множится, как семя землею. Что против него злоба да корысть, когда само время ему верный друг.

В одной деревне жил дядька Степан. Так тот Степан про Пантелея Звягу так говорил сперва:

— Сваво ума нету, кожаный не пришьешь.

Это про того Пантелея, которого урядник на выселки привез.

Поместил он Пантелея в избу к дядьке Степану и велел «ха-ра-шо» присматривать за «неугодником».

Видать, Степан уряднику чем-то нравился, что он ему за тем Звягою доглядать доверил. А чего там было доглядать? Чо уж доглядывать? Деревенские подумали,

что опять придется землю долбить, как годом раньше для этапного одного. Того, сказать, сегодня привезли, а запослезавтра уж и крест на могиле его поставили.

Когда же Пантелей весну вытянул, дед Иван, Степанов отец, ему пимы лосятиной подшил, чтобы по двору не промокали.

Скоро Пантелей и за ворота стал выбредать, а там и до речки пимами теми зашаркал... Добро, что речка на задах Степанова огорода бежала.

Станет, бывало, Пантелей над самым крутым местом берега, обхватит себя по плечам руками и ну говорить... Говорил Пантелей тихо так, с подвыванием, вроде как пел без музыки, одними словами только... Тут хоть земля лопни, не услышит.

Поначалу думали, молится человек перед смертью. Да уж какая там молитва, когда ни разу себя крестным знамением не осенил.

Сперва ребята, потом и большие стали прислушиваться: об чем это чудной человек поет на берегу свою долгую песню? Покуда прислушивались да в словах разбирались, приворожил Пантелей говором своим полдеревни...

Случалось, солнце сядет, сам Пантелей с берега уйдет, а люди все сидят на обрыве, все на воду глядят, и плывет по умам думка-загадка: «Кому такой человек не угодил? С кем не справился?»

Как-то, весной еще, за обедом, Степан и говорит своей жене Настасеи:

— Ты бы, мать, в летнике прибрала; Пантюху б надо туда перевести... Накашляет он нам в дому своей заразы. Ночь цельную нынче спать не давал.

— Бог с тобой, Степан! — вскинулась Настасея.— Видано ли дело — человека заживо гноить в этакой-то сырости? Да там, в летнике-то, по нонешней весне только волков морозить. И матица там поперек разошлась. Гляди, рухнет крыша. Захлестнет ведь больного человека.

— Ну и захлестнет...— упорствовал Степан.— Уряднику сообчим...

— Эх, Степка! — отнял дед Иван ложку ото рта.— Не нашего ты роду человек, собачья твоя душа...

— А тебе век спокойно не живется! — ощетинился Степан на отца.— Дите у нас малое... К нему эта зараза как пить дать пристанет. А ты всякого колоброда готов

за пазуху посадить. Нашел мне родню! Сказал — в летник! И все тут.

— Ты орешь-то чего? — присмотрелся к сыну дед Иван.— Знаю я, чего ты орешь. Это совесть твоя у меня подмоги просит.

Ну Степан все-таки настоял на своем.

Отесал дед Иван стояк, под матицу в летнике подвел. Настасея за беляком за поскотину сходила. Обмазала стены в летнике, стекла в оконце протерла, по подлавкам накидала сон-травы от плесневелого духа и поклонилась Пантелею:

— Не моя вина... Прости ты нас, грешных, на неловком деле.

Хорошо умел смеяться Пантелей Звяга.

— Этак-то,— говорит,— даже лучше будет. Теперь мне бессонная ночь не страшна. Уж теперь я поработаю!

Так и сказал. И крепко потер худыми ладонями. Но Степан скоро опять зацепил Настасею:

— У тебя что?... Лавка скобяная?... Али сама керосином торгуешь? Почему ж постоялец цельными ночами лампу не гасит? Где это я тебе должен на керосин добывать?

— Побойся бога, Степан,— взмолилась Настасея.— Ему жить-то осталось всего с ползари, а ты для него свету пожалел.

— Свет — не обед... Пущай больше спит, целей будет.

Однако сколь ни строг был Степан, а Настасея на этот раз его ослушалась; понесла она Пантелею свой зимний платок, чтобы он окно ночами-то плотнее занавешивал.

А Пантелей опять смеется.

— Увольте,— говорит,— Настасея Макаровна. Сделайте милость. Мне,— говорит,— от лампы керосиновой сильно угарно... Я уж и сам думал: не лучше ли будет лучинок наскубать?

Ой и плакала тогда Настасея за пригоном!

Степан возжу в сенях со стены снял, вчетверо сложил... да у пригона остановился. Постоял у пригона-то Степан с тяжелой головою, бросил возжу на землю и быстро, чуть не бегом, ушел со двора.

Урядник в свое время приехал с проверкою: как у вас тут фатерант себя держит? Чо поделывает? Не подох еще?

В летник пошел, к Пантелею. Оглядел все внимательно, ощупал и головой на Степана качает. Сокрушается, значит.

— Ой, Степан, Степан! Говорил же я тебе, наказывал: смотри! А ты куда смотрел? Ты хоть понимаешь, чем твой постоялец тешится? Что у него тут понаписано? Ни черта ты, Степан, не понимаешь. Стихоблудство тут. Он против всей законной власти свои стихи ставит. Хочешь, он и про меня сейчас писанет? Эй, Пантюха! Писани-ка против меня! Молчишь, шкура барабанная! Забирай, Степан, всю эту писанину, волоки во двор!

Вытащили они со Степаном из летника цельную охапку тех пантелеевских стихов и посреди ограды запалили...

Настасея об эту пору из пригона с подойником в руках вышла. Покуда дошло до нее содеянное, бумаги те черными колечками закручиваться уже стали. Настасея как держала полный подойник, так и ливанула все молоко в огонь. Потушила...

Урядник, глядим, кирпичный сделался. Будто огонь с бумаг на его лицо перекинулся. Пятернею железной скрутил он Настасею за волосы, повалил тут же на гарь бумажную — и сапогами... Степана ж прямо заморозило! Стоит белее бумаги и мелко весь трясется.

Пантелей-то как услыхал в летнике Настасеин крик, откуда сила в нем взялась! Пулей вылетел во двор! Как саданет урядника по шее и собою Настасею заступил.

Лучше никому не видеть бы тех Пантелеевых глаз... Жгут они всем душу, как вспомнят...

И ведь подумать только! Здоровый дуб отступил перед желтым листочком! Потушил Пантелеев огонь урядниково самодурство.

Все молча разошлись по своим углам. А когда Степан провожал урядника до ворот, то запросил его:

— Убери ты подале от греха со двора моего письмовода этого окаянного. Жандарм я, что ли, при тебе? За каким фактом ты на меня его навязал?

— Торгуешься? — остолбенел урядник.— Ладно уж, так твою в дышло! Доведу до приказа... Выдадут тебе от казны...

Плюнул тогда Степан в закрытые ворота — пропади ты все пропадом! — И в первый раз за все годы обоюдной жизни увидела Настасея из окна, как Степан на крыльце сапоги вытирает.

А Пантелей с того самого дня слег в постель и больше не поднялся. Знать, последние силы вытянуло из него тем вихревым огнем — прогорел.

И потянулись люди на Пантелеево пожарище, будто единой бедою обнажило им головы, сделало равными их заботы.

Раньше бы Степан, глядя на эти сходки, сказал бы так:

— Во! Собирается шатия! Тюха да Матюха, да Колупай с братом. Опять языками до утра мантолить будут. Пойду шугану эту шайку-лейку.

И разогнал бы всех.

А теперь нет... Теперь пристроится на лавке у окна и молчком долго глядит в ограду. Потом откуда-то книжку с картинками принес. Стал по ней пальцем водить. Водит да шепчет чего-то себе под нос.

Настасея ходит по избе кошкою. А дед Иван с печи все головой крутит, все удивляется: «Чего это со Степаном?».

Так миновало лето.

Последние дни, перед Пантелеевой смертью, Настасея уж и не трогала Степана — сама по хозяйству управлялась, как могла. Дед Иван, чем мог, помогал да все шептался с невесткою:

— Неужто сподобился Степан? Дошло, видать, до него человеческое. Ить когда тебя дома-то не бывает, он все Пантелеевы, недогоревшие в тот раз, бумаги разбирает да складывает стопочкой. И прячет куда-то... Уносит ли куда... Я в ограде искал, нигде не наткнулся...

— Господи, прости и помилуй,— крестится Настасея.

...Стонет ветрами простоволосая осень, проливными дождями плачет изношенное небо, шуршит-шуршит у окна Настасеина самопряха... Вышуршивает самопряха потаенные думы на место сегодняшних забот. Тошно, хоть гадалку зови.

— Не могу боле...— бросает Настасея веретено.— Пойду, приведу Пантелея в избу. Неровен час, помрет один в летнике.

— Стой-ка! Погоди! — окликает ее Степан у самого порога.— Сам пойду... Тут мужикова сила нужна...

Заскрипел Степан сеношной дверью, а дед Иван на печи своей чуть не заплакал:

— Матушка-владычица! И вы, светлые ангелы спасители! Я ж думал, старый пес, что плевый Степка у меня... Я ж думал, пакостника на свет произвел... Я ж теперь, Настасеюшка, помру улыбаясь...

И пришла в тот день смертушка, да не за дедом Иваном. А внес на руках в жилую избу Степан мертвого Пантелея Звягу.

Показалось домашним, что стоит в дверях один мертвец, держит у груди другого мертвеца. Будто на самом краю жизни обнялись они наконец-то и разошлись в разные стороны: одного сила смертная повела на покой, другого — дума глубокая поманила в даль неведомую...

И надо было теперь прятать веревки да гужи...

— Чтобы черти,— плакала Настасея со страху,— не утянули за собою Степана.

— Ежели им надо,— сокрушался дед Иван,— они к людям со своею веревкою приходят. И кудай-то Степан все пропадает?

— Как уйдет, так и нету его по цельному дню,— вторит деду Ивану Настасея.— Не может же человек один убрести в лес, да зимой, да просидеть там на пеньке с утра до ночи. Еще вертаясь домой, делает видимость, что и спрашивать его не надо...

— Не может,— соглашается дед Иван.

— Господи Боже мой! — вздыхает Настасея.— Приходил бы пьяный! Так не-ет...

— То-то и страшно!..

В ту зиму погода многонько снегу настругала. До ставней было не добраться поутру, вечером — не пробиться.

Вот Настасея взяла лопату и айда снег от окон отгребать. Гребла, гребла да и загляделась на снег. Льется он с лопаты голубым бисером, горит на луне голубым огнем, звенит...

Стоит Настасея, любуется на красоту земную, и слышится ей — вроде как потаенный скрип снега за углом избы: кто-то под окошко подбирается. Вот, слышно, хлестнуло по стеклу мягко, будто веткою под ветром.

Настасея тоже себе... подкралась и глянула за угол.

Эвон! Афоньки Маслакова морда светится перед самым окном. Чего бы ему в чужое окошко глаза пялить? Давно ли Афонька из острога на поддавках выехал? Давно ли бедная Маслачиха, уреванная, выхаживала сынка непутного от хворобы? Смотри-ко ты! Неймется ж туполобому!

В избе она переоделась и сказала Степану:

— Пойду к Маслачихе, упрежу наперед, чтобы свово паразита крепче держала. Еще, гляди, корову со двора уведет.

— Сдалась ему твоя корова! — удержал Настасею Степан.— Сядь. Не суетись. Не овечье это дело, капканы на волков ставить. А и не видела ты Афанасия... Не видела... Вот! Афанасий тебе вовсе не вор какой, не разбойник. Ключик он, Афанасий, в чужих руках... пока... Прошлый раз его не в тот пробой сунули... Вот и застрял парень. Помогнуть ему надо свое найти, а ты «докладу»! Тоже мне, докладальщица нашлась... когда поймешь, бросишь сердиться... Подай-ка вон лучше шапку.

Так вот просто, без прощаний и заветов ушел Степан из дому. Может быть, и ждала бы Настасея с дедом Иваном скорого его приходу, когда бы не нагрянул тем же утром в их двор урядник. Вразумил он Настасею насчет мужа нагайкою вдоль хребта, да и деда Ивана крепеньким словцом просветил:

— Ха-ха! Что думали! Улизнул от меня Степан Иванович?! Врешь! Не улизнешь! Не задавишься, так явишься! Ишь понаслушались тут звягинских сочинениев. Грамотеи, мать вашу в дышло! Полдеревни с ума посходило! Я вам тут напишу свою поэзию. Я вас тут всех в пепел сотру!

— Сотри, сотри...— хмыкает дед Иван.— Чему сгореть, то не потонет.

Орал, орал урядник, а толком-то ничего не сказал. Может, и сам еще о главном недокумекал... Может, от Степана ему и хотелось узнать-пронюхать: об чем это мужички толкуют вечерами, там да сям собираясь? А когда не нашел Степана на месте, тут его и озарило: не на Пантелеев ли огонек мужички сходятся? Не сам ли Степан раздувает тот огонь?

Вот он и стал в том летнике, где Пантелей Звяга умер, каждую ночь засиживаться.

Снег от ставней Настасеи отгребать не велел, чтобы Степану в окно не стукнуть, а сразу на крыльцо идти. Крыльцо-то как раз спротив летникова окна стояло. А народу днем говорил, будто сам он Степана в уезд за большим делом послал, а вот теперь назад дожидается.

Некоторые парни смеялись:

— Дожидайся, дожидайся. Дождешься ты на свой зад...

Дурак, Господи прости! Будто люди не знают, об чем волки плачут. Будто на правду можно защелку поставить.

Сиди себе, сатана тебя задери! Хоть до страшного суда...

С неделю полуношничал урядник. Вся деревня устала от его глаз, а ему хоть бы хны. Настасея с дедом Иваном прямо замаялись: ни выйти им ночью, ни дверью стукнуть, ни света зажечь... Турецкая осада, да и только!

Долго ли урядник еще-то бы в том летнике казенными штанами лавки протирал, леший его знает. А только одною, самой морозной ночью мерещится сторожевому тому, будто тень по двору прошмыгнула. Урядник мигом огонь в лампе увернул и весь в окно влип. Видит: играет по двору студеный ветер. То воронкою совьется, то рассыплется, то по ограде волнами поземку погонит... И вот кажется уряднику, что кто-то белый ползет к избе. Вроде как сугроб ожил и направляется до крыльца.

— Ах, ты ж, каналья! — ухватился за усы сторожной.— Ну, я ж тебя полюблю за хитрость!

Выскочил урядник за двери, к тому месту подбежал, где ему живой снег почудился, а там все как должно быть:

— Фу ты, голова садовая! — ругает себя урядник.— Переглядел малость. Блазнится уже...

Вернулся караульщик на прежнее место, а огонь в лампе совсем погас. Темно в летнике, хоть за скобку держись. От двери шагнул урядник к столу, где лампа должна быть,— под ногу что-то попалось. Согнулся пощупать, а оно поползло, поползло в сторону... вроде кошки... и заплакало ребенком. Урядник — к лампе... Хвать, хвать по столу — нету лампы. А потом в углу, куда лохматое поползло, засмеялось хохотом... Урядник — к двери! Заперто... Нету выхода. Он тогда по раме оконной кулаком... Высадил и полез на улицу. А с улицы ловят его худые, длинные руки. Тянутся прямо ниоткуда...

Выпал урядник сырым мешком из окна на снег и ноги врозь. Еле-еле живой дух в нем теплится. Сидел, сидел — в себя приходить стал от морозу. И чует, будто кто-то рядом с ним дыхает. Скосил урядник глаза в сторону и застонал... Морда синяя, борода — козою, бельма — поперек рожи... Не приведи господи, кто рядом сидит! Повалился урядник сатане тому в ноги и давай поганому лытки слюнявить... Тот и сунул ему в зубы копы-

том. Уймись, мол, недоедок! Вспомни об себе маленько! Поцелуйщик немного от боли очухался, а сатана и гундосит:

— Приставлен ты людей сторожить? Сторожи! Но покуда ты будешь псом, велено мне быть твоим хозяином. А теперь — пшел вон!

Подхватился караульный и ходу по деревне. Шпарит урядник по улице, ажно вихорек сзади снег подхватывает. Пойди поймай...

Не то чтобы ловить, а в избу его тою ночью никто не пустил. Как сговорились люди. Вот какая деревня оказалась.

Так и пришлось уряднику морозною ночью до другой деревни скакать.

После того случая ушел урядник со службы. А потом врал, что, мол, в летнике-то его сам Пантелей Звяга напугал.

Но кто бы ему поверил, чтобы такой человек стал с нечистой силой связываться? Кто-то с ним, с урядником-то, другой, у-умный, поиграл.

МАЙКОВА ЯМА

Догадывались люди, но сказать точно никто бы не сумел, отчего это занялась полымем крепкая изба Егора Майкова? Жил Егор тихо, на отшибе от деревни, за перегустым ельником, у топкого Комарьего болота. Шибко не богатился тот Маёк перед народом, но гордевал!

Не успели оттеплиться уголья недавнего пожара, а уж на погорелом месте новые стропила в небо коленки уставили. Откуда у простого мужика такой достаток? Ведь не по добытку еда — видима беда...

И сразу встрепенулась вся округа. Стал народ говорить открыто о Егоре Майкове. Будто выходит он сумерками на дорогу в самую распутицу либо метель, зазывая к себе во двор умотанных непогодою путников, добрым хозяином отворяет перед ними ворота...

Со двора же выпускает Маёк своих ночевальщиков только вперед ногами! Будто бы опаивает он гостей чем-то больно зыбким, а потом прячет в чертовом окне топкого Комарьего болота. Той же ночью угоняет Маёк в город осиротевших лошадок да там и сбывает их кому-

то, не менее осторожному, чем сам. А что телеги да брички — так ни одна печка еще огнем не подавилась.

Хоть и побаивалась деревня Егора Майкова, но ведь не шалыга какой-то мимо его двора пробежал да пустил в ограду красного петуха? Кто-то свой нашелся — смелый, чтобы показать козлу зеркало. Закрутился Маёк, а бодать-то и некого...

Вот и стал он куда как чаще прежнего в деревню захаживать, с людьми останавливаться говорить. Должно, выискивал того смельчака. Только с бедою чаще всего получается так: ты ждешь ее из-за лесу, а она из-под навесу. Сам же ее в дом и привез Егор Майков.

Жениться-то ему уже давно пора миновала. Только не нашлось, видите ли, пары в своей стороне. Задумал он искать ветер за морем и поехал в извоз по навоз. Привилась к нему на чужой стороне бойкая бабенка, такая ли хваткая — об четырех сторон крючья. Прям, не вымешана да выпечена.

Вжилась эта Прилада в Майково хозяйство, как въелась! Все работы по достройке дома на себя взяла, все затраты расписала грамотно! Скоро уж Маёк у нее, считай, в приказчиках бегал.

Покуда мужик достраивался, об своем месте в доме раздумывать времени не хватало. А вот когда улегся с молодайкой на мягкой перине, тут ему сон и слизнуло тревожною думкою.

Видать, не из последнего Маёк избу поднял. И хотя молодайка его такою ли сонницей прикинулась, что и не перехрапишь, однако стал Егор подозревать, что пчелка эта не спать в поле прилетела. Долго ли собаке учуять паленое?

Скоро и Прилада заметила, что хозяин ночами только одним глазом спит, давай и себе ото сна отмаргиваться. И ведь укараулила гадюка аспида! Когда Маёк ночью полез в подполье да откопал там увесистую суму — уже в который раз перепрятать, молодуха на то дело подумала с улыбкой: «Теперь можно и выспаться хорошенько».

Но не нашла она утром сумы заветной на загаданном месте, только перехватила тревогу в Егоровых внимательных глазах. Однако и виду не подала, что жарко ей сделалось. Притихла до времени и стала так крепко Егора любить, что тот принялся в зеркало смотреть да гадать: «Хрен их, баб, разберет, за что любят?».

И все-таки поверил комар носу — сел на ладонь!

Разнежился Маёк на пуховиках, бабьим теплом грётых, все открыл своей зазнобе: и пошто вынужден прятать суму, и каким путем эта забота нажита. Весь растелесался! Открытая же тайна — как дырка в кармане. Тут-то он и вовсе лишился покоя! Самуё Приладу не хотелось ему во зле подозревать, а вот языка ее бабьего стал шибко опасаться.

«Ах ты, голова садовая! — ругал он себя.— Для чо я перед нею потрохами-то трес? Не дай Господь, выхвальнется где! Тогда — каюк!» Обсуровел мужик, захмурел: в дело ли, в безделицу — все прискребается к бабенке:

— Чего ты надысь по дворам жигала? Об чем с бабами на лехе гутарила? Шкуру спущу, халда!

Ну а молодайка была не из тех, кто к упряжке приучен. Стала она на дыбки вставать, брыкаться:

— Я те не овца,— говорит,— стригчи меня подённо. Как пришла своею охотою, так и уйду не твоими хлопотами. Только проводы гармонить погоди! Ведь я, за сердце к тебе мое бабье да черную от тебя ко мне неверу, увяжу в узелок, возьму в дорожку дальнюю погань твою тайную. Не сгодится в беде, так помогнет в нужде...

— Э, нет! — ломает ее Маёк.— Врешь! Снесла б гуска вола, да гузка мала. Твоя путь-дороженька только одним мною теперь будет прорублена. Вот и ключик,— орет,— от той самой калиточки, за которой она выстелилась.

И выхватил из-под лавки топор.

Но на ту пору торкнулся к ним дорожный человек. Здоровый детина! Полтора Егора в нем будет! По белу дню дело то было. Примай, хозяин, гостя незваного, коли дверь незакланная.

И такой ли брехливый мужик оказался — и молотит стоит, и молотит. Спасу нет!

Покуда Егор языком крутил с тем проходным говорухою, молодайка и сгинула со двора. Полное лето цвело кругом, а летом каждый кустик ночевать пустит. Беги теперь, ищи ветра в поле...

Побегал Маёк по лугам, погукал по лесам — нету!

Что делать? Ветер не скажет, где баба спряталась.

«Еще хорошо,— думает Маёк,— что места не указал, где добро зарыто. Досталась бы мне от сумы веревка».

Однако не довелось Егору долго радоваться: в аккурат на Илью кто-то запохаживал по ветренице[1] — тоньтонь и умолкнет! Будто бы найти кому-то надобно в потолке сквозную дырку да поглядеть, чем это хозяин в избе занят? Почему так долго сочится на улицу сквозь плотные занавески нещедрый свет? Да еще под праздник? Да еще в грозовую погоду?

И хотя Егор на этот раз только и делал, что сидел в думах на лавке, ухватившись за голову, все-таки поспешил задуть лампу. А тут что-то ка-ак хряснет поперек матицы, ажно весь избяной костяк дрогнул, глина с потолка посыпалась, икона и та глаза вылупила! И, словно над ее испугом, громовым раскатом грохнул во дворе дикий хохот.

Ах ты, святой Маркел — епископ Римский[2]! Упаси Бог кому такую стужу на спину принять! Бороду Маёк не может до груди прижать — топорщится, набитая страхом.

Упал мужик на колени и загугнил, на икону пялясь:

— Пресвятая дева Мария и ты, вседержатель-заступник, поглядите на меня! Вот вам крест и посула: посвету полдобра отволоку на горушку, ко батюшке Феодору. Пущай он раскидает православным нажитое и добытое мною во спасение грешной души моей. Да пущай окропит он святою водой сатанинские подступы ко двору моему. Не выдайте, заступитесь! Дайте сбыться благому умыслу моему!

Целую ноченьку Егор века с веком не свел: молился да прислушивался, как кому-то на ветренице то плясалось весело, то оралось бесовскими голосами. А когда в оконце засветилось раннее утро, увидел Маёк, что целых пятеро чертей поскакало луговиною до Комарьего болота. Вона!

И сразу другая молитовка опутала Егорову душу: «Когда черти не задавили меня впятером, значит, прибегали они только повеселиться у золота. И то! Зачем лохматым деньги? Штаны да шубы им на ярмарке ж не покупать? Нужен им, поди-ка, только золотой звон, чтобы веселей плясалось».

Эта думка заставила Егора по-новому распорядиться нажитым: «Куда бы мне подале от двора закопать чертову игрушку? Что как подсунуть ее анчихристовым

---

[1] Ветреница — чердак.

[2] Молитва сотворена с перепугу.

внукам вместо балалайки прямо в болото? Пущай себе веселятся! Какой умник и догадается, в чем дело, так в трясину не полезет. А черт не баба, деньгу не разбазарит. Натешится и отстанет...»

Сряжено — слажено. Откопал Егор суму свою, уторкал ее в большой глиняный горшок, сковородкою плотно закрыл, края варом наглухо залил. После того сунул горшок в рогожу, закрутил пеньковой веревкою и на долгой удиле кинул в Комарье болото, прямо в чертово окно. Другой конец удилы, прикрутивши к лозине, измазал грязью и пошел довольнехонький к себе домой.

Да! Спешил зяблик за весною, а догнал стужу[1].

Маёк думал, что звонкою игрушкою ублажил бесово отродье, но только сильнее разворошил болотный улей. На другую же ночь — по двору хохот, по застенью вой! В двери ломятся, в щели ставень сверкают адовым огнем, через трубу ругаются по-плохому.

И все-таки пересидел бы мужик чертово озорство, да главного не мог он предвидеть, что щука знает, как ерша глотать!

Перекинулась болотная свора на деревню, стала орудовать с понятием — в каком дворе или рядом побывал Егор днем, там ночью шабаш затевается. Ребятишки в деревне на нет перепуганы, старики, которые совсем слабые были, в неделю перемерли. Может, и побежал бы Егор, вытянул из болота игрушку ту, да бабы каждодневно с иконами на болото затеяли ходить.

А черти знай себе шабашат!

Стали люди от Майка, как от прокаженного, шарахаться: мальцы с визготней в подворотни лезут, молодайки открещиваются от его сглазу, кабацким захожалам и тем в каждом лике Егорова образина грядет... Спьяну-то они суют один другому кукиш в нос да волтузятся между собою во имя отца, и сына, и святого духа. Самому кабацкому наливайке сколь разов кидали в загорбок. Не зря же он, завидя на дороге Егора, дверные створы на засов стал закладывать.

Надумал все же Егор выудить золото, отнести во храм, как первый раз обещался, да с богом помириться. И пошел! Куда денешься? Богу ведь не скажешь — ступай сам вытаскивай.

Подошел Маёк к болоту в самое межвременье: ба-

---

[1] Народная примета: если зяблик прилетает весною вперед жаворонка, значит быть холоду.

бенки с иконами уже домой убрались, а чертям еще рановато вылазить со дна. Вот и видит мужик, копошится кто-то у лозины!

«Ворюга! — понял Егор.— Ишь ты! Не пасено, а припасено! Щас я тебя в болотный кисель-то окуну!».

Тихарем докрался Егор до лозины — мать честная! Разлюбезная его стоит у самой топи и патлами трясет.

Так весь дух затаенный из себя и выпустил Маёк.

Дернулась Прилада, обернулась на выдох да и шемонит в темь:

— Ты, что ли, Ефрем? Где там остальные-то? Пора уж обряжаться в чертей...

«Ах ты, дура-голова! — ругнулся в себе Егор.— Вот ведь от какого черта напасть моя ведется! Как я раньше до этого не додумался?»

Кинулся он вперед да ка-ак шугнет свою зазнобу, и смахнул ее с кочки в самое пекло вонючее!

Барахтается бабенка в топкой лохани, цепляется за осклизлые ее краешки. И подвернись ей под руку Майкова удила. Ухватилась чертовка за ту удилу, обратно на кочку лезет. Егор веревку от лозины отмотал — сперва хотел совсем упустить, да пожадовал богатством и начал бабенку удить: то дернет удилу, то ослабит...

Как ни цеплялась косматая за скользкую веревку, а все-таки ушла с головою под рясковый настил. Егору бы подождать, когда ей болото само руки-то разожмет, да послышалось ему, что кто-то зовет бабенку знакомым именем. Заторопился удилок — силой дернул веревку! Забыл, что стоит не дома на полу. И повезли скользкие подошвы хозяина следом за его милашкою.

Только теперь Егор Майков чистосердечно раскаялся в своей страшной жизни. Но и развернуться бы он успел в чертовом окне, успел бы, может, и уцепиться за кочковые похламки. Только шалишь, паря! Наперед разуму рукой водишь!

Из месива из болотного вдруг вылезла хваткая пятерня и поздоровалась с Егором за его протянутую руку. Крепко поздоровалась! Соскучилась, видно, хозяйка болотная по добру молодцу. За собой потянула гостя дорогого потчевать на радостях вонючей кулагою. Не успел Маёк даже глянуть на дружков своей зазнобушки, прибежавших к чертовому окну поглядеть, какой добрый картуз оставил им Егор на память об себе. Да еще на глаза вырвался из болота здоровенный пузырь и щипанул сердито...

Слышали в деревне люди, как до самой зари перекликались на Комарьем болоте тревожные голоса, кто-то все звал кого-то, аукал.

Доаукался, нет ли? Но с той самой ночи бросили черти по дворам прокудить.

С годами болото усохло, на месте чертова окна легла тряская ямина. Забыли люди и об самом Егоре Майкове, и вот впадину ту болотную и по сей день Майковой ямой зовут.

СОБОЛЕК-КОРОЛЕК

Раньше частенько приходилось слышать, как семейного кормильца отрывали от дома. В рекруты ли забреют, за малую ли вину упекут в казенные работы. С купеческого извозу, случалось, не вертались мужички. Тогда семье один конец — пропадай!

Мыкается-мыкается бабенка с голодными ребятишками, покуда господь ее к себе не возьмет, и останутся гнездовики желторотые у жизни под ногами...

Может, люди бы и рады разобрать их по своим семьям, да чтобы чужому дитенку дать хлеба кусок, надо было своего по миру посылать.

Всякое случалось: и с голоду помирали сироты, и живьем замерзали на зимних дорогах, и за малую кроху покорствовали перед всякой человеческой поганью...

Спасение от сиротства было чуду подобно.

Вот и хотелось бы порадовать добрых людей таким чудом, хотя и осознать нельзя, как могло обернуться настоящим придуманное счастье.

Остались в одной деревне трое ребят безо всякой опоры. Мать ихняя померла последними родами. Не минуло и шести лет, как отца, Михея Пораева, приходской поп батюшка Калистрат спровадил в уезд искать бедняцкую правду. Да где ж было суметь нетесаному, сучковатому бревну переплыть земскую бумажную реку? И Михей не то на мелководье застрял, не то угодил в самую стремнину. Еще до Лукерьи-комарницы[1] как ушел Михей со двора, так уж и бабье лето на носу, а о нем ни слуху ни духу...

---

[1] Лукерья-комарница — 26 мая. День святой Гликерии.

Ведь за что привязался к Михею батюшка Калистрат? За то, что как-то попенка полоснул мужик крепкой вожжой. Тот, дурак, Михееву первенку, девчонку лет двенадцати, столкнул с мостков в еще ледяную воду и выйти на берег на дает.

Этому поповскому обалдую никакое другое занятие не приставало, кроме как изгаляться над заботами простых людей.

Батюшка Калистрат куда только не отсылал своего недопарка ума набираться. И в гимназию старался спихнуть, и в какие-то корпуса добивался. Однако порченое зернышко — хоть в райские кущи. Ему, сказывали, долбят про римского владыку, а он, что сытый мерин, знай ржет да гарцует. Любою оказией, с приписками да сожалениями, присылали попенка обратно.

В сердцах, бывало, батюшка Калистрат нагвоздит ему встречных, прополощет до реву наставлениями; матушка попадья рыло слюнявое выкормышу своему подотрет да и прогонит с глаз долой. Он и пошел по деревне вытворять, что ему заблагорассудится. Силища-то в нем выдула — ломы гнуть, а укороту никакого.

Парней деревенских попенок задирать боялся: они бы поговорили с ним по душам — то по шапке, то по ушам. Девчат, у которых братья в бороду пошли, али тех, что успели ухажерами обзавестись, тоже огибал. Что же перед безбрательными полудевками — выкобенивался, хоть плюнь, хоть разотри...

Те, как могли, остерегались его, а Михеевой девчонке и в голову не западала еще осторожность-то. Делает и делает свои дела, суетится, не прячется. То на речку — белье полоскать, то гусят в низине собрать, то по черемшу раннюю пробежаться. Мало ли что?

Вот поповский остолоп, увидевши ее на мостках, взял да и выкатал в весенней грязи стираные рубахи. В обиде она и замахнись на него вальком — и тут же в воде оказалась. А Михей Пораев как раз шел от заречной слободы с вожжою в руках и все это видел. Так полоснул недоросля, ажно вожжа вокруг обвилась!

Но где пекло, там и черт...

На ту беду у батюшки Калистрата гостевал заезжий лекарь. Долго смотрел он слепыми глазами в расписанный Михеем остолопов зад, щупал красный рубец, а потом составил бумагу и велел Михею явиться в земскую управу.

Ушел мужик и пропал с концом. Видно, у земских губошлепов лысые головы без подарков не соображали. А где Михею Пораеву столько денег взять, чтобы им всем ума подсыпать? Вот они с самой весны уставились на мужика бесстыжими глазами и сидят. А время идет!

Девчоночка Михеева замаялась с ребятишками. Да хозяйство еще — тоже рук просит. Как-никак, семья жила не с чужого стола. Овечки, куры, лошаденка... Они же землю глодать не станут. Соседи уж и так... И сена им тайком от отца Калистрата поставили, и подкармливали ребятишек, чем могли. Но ведь своих рук им не отдашь?

Особенно с маленькими была забота: пошлет сестра братьев за реку, травы нарвать ягнятам, глядишь — заигрались. Не то про траву, про день забыли. Она их найдет с горем пополам, исполосует заднушки хворостиною, сядет да ревет вместе с ними. А как вспомнит, как хорошо ей жилось с отцом-матерью, и вовсе ульет слезами весь передник.

Когда Пораиха была жива, она дочку все Малиновкой называла. За матерью и вся деревня повторяла то же самое. Девчоночка и правда была схожа с малиновкой: пела она при матери, не переставая. А то примется выдумывать разные небылицы. Деревенские ребята были готовы ее слушать до зари. Вот и собирает всякое, и придумывает. Вроде чепуху говорит, а прислушаться — и большому трудно отойти.

После того, как мать померла, не столь часто, но все же садилась Малиновка сказывать свои выдумки. Когда же Михея отослали в уезд, забыла девчоночка сказки. Ко всем бедам, поповский недопарок вовсе распоясался — еще черти в кулачки не бьются, а уж он у Пораева двора крапиву топчет. Грозится Малиновке, что Михея никогда домой не отпустят.

Одно спасение у сироты: собачонка во дворе. Такая умница! Понимает, что хозяйке частый гость не по нутру, все норовит повиснуть на его суконных штанах. Скоро собачонке попович понравился так, что, на краю деревни завидя, нахлестом шла, будто волк на кабана.

— Это что же творится в твоем приходе? — стала долбить попадья отца Калистрата в куриную грудь.— До коих пор собаки будут командовать поповскими сыновьями? Запомни у меня: всучу я тебе кочергу — будешь мне по деревне ходить, сына от собак отбивать.

Спорить с попадьею отцу Калистрату грешно — стал Малиновку стращать:

— Посади собаку на цепь! Не то придется из-за тебя божью тварь погубить.

Что оставалось Малиновке делать — хоть из дома беги.

Один раз подумалось так, другой раз помыслилось, и засобиралась девчоночка в город, батюшку выручать.

— А что? — одобрили соседи ее намерение.— Пусть поглядят в управе, кого они осиротили. А о хозяйстве не думай — доглядим.

«Ну, а ежели счастье нам навстречу не пойдет,— собирая утром братьев, думала Малиновка,— так, может, легкая смерть догонит».

Проселочной дорогой девчоночка пойти побоялась — кабы поповский недоумок не догнал, пошла таежной тропинкой.

Неуспанные ребятишки сперва квасились, а потом ничего — разгулялись, принялись по кустам бегать, дурачиться. Малиновка же, заботой измаянная, идет и не видит ни унизанных росным бисером паучьих тенет, ни всполохов ягод спелой рябины... Грустной думою затуманило ей глаза: что, как не найдет она в городе отца? Тогда хоть выбирай в тайге сосенку да карабкайся с веревкой до первого сучка... А братья?!

В страхе глянула Малиновка на высокое дерево и замерла от удивления: на сосновой ближней веточке белый соболек устроился, выстелил по ветке хвост и, головенку свесивши, смотрит на ребят. Глазами с Малиновкой встретился, фыркнул озорно, хвост задрал и пошел по стволу. С высокой маковки еще раз фыркнул и пропал в густоте хвои.

У девчоночки вроде потеплее на душе стало, как-то надежней. Заторопила она братьев. Но как ни подгоняла их Малиновка, а время настигло ее в лесу. Братья приустать успели, закуксились, запыхтели. И опять легла печаль на маленькое сердечко.

Шумнуть бы Малиновке на ребят — отпугнуть громким голосом заботу. Да только горя громким голосом не испугаешь.

Тогда Малиновка вспомнила, как, бывало, сказывала она небылицы деревенским мальцам, как самые озорные из них становились тихими и послушными.

Вот и запела она ласковым голосом:

Все идем-ка мы идем
по кусточкам-ельничку,
по тропинке мягонькой,
по дорожке заячьей.
А кто по лесу густому
ходит тихонько,
тот придет-попадет
к тетке Дремушке.
К тетке Дремушке
да ко Сну-Дядюшке.
Они ласковы, приветливы,
понятливы.
До ребяток-сироток
они добрые.
И накормят, и напоят,
в баньке выпарят.
И уложат, и споют
колыбельную:
«Как во том во бору
стоит дом-изба.
Стоит дом-изба
всё дубовая.
Слюдяны оконца в ней
переливчаты,
на конечке — петушок
Золото Перо!
Припеваючи живет
в той избе медведь
со своею косолапой,
со медведицей.
С ними детушки —
косматы медвежатушки.
Серый волк при них
игривее козленочка,
рысь глазастая
им сказки все мурлыкает...
Забегает к ним порой
зверь невиданный!
Весь он изголуба-бел,
будто первый снег.
А во лбу его звезда
о семи лучах.
Он хитрее шута,
добрей глупого.
Соболек-королек
прозывается.
Что тот редкостный зверь
заговоренный.
Заговоренный он,
заколдованный!
Кому сам со звездою
покажется,
знай, заветное желанье
исполнится!
На всю долгую жизнь
Будет счастлив тот

все простым
человеческим счастием:
ни хозяин лесной
не сомнет его,
не обидит вовек
ни судья, ни поп...

Заслушались братья Малиновку, идут, рты разинули.

Вот уж и позднота стала цепляться им за пятки тенями густых елок. Девчоночка шагает, собирает невесть что, а сама прикидывает: где бы ей ребятишек на ночь поудобнее в лесу пристроить?

Углядела сваленный годами старый кедр. Разлапистое корневище его шатром нависло над просторной ямой.

Оставалось только поверх корней накидать лапника да устелить дно ямы мягкою травой — и заходи живи хоть до самой зимы. Вот Малиновка с ребятишками и давай на скорую руку ночлег оборудовать.

Улеглись мальцы, как дома. Прикрыла их Малиновка своим головным платком и рядом села придумывать дальше ласковые небылицы. Скоро занялись курносые дремотой, губенки распустили. Однако не умолкает Малиновка. Уж и не братьев она заговаривает — судьбу свою горькую заклинает, чтобы не была такой скупою на ее простое бедняцкое счастье.

А ночь выдалась непомерно теплая да лунная. В Сибири часто к Стратилатову дню[1], а то и от первого Спаса кумушка-непогодушка начинает крутой зиме квашню заваривать: то дождичком польет, то струганым ледком посыплет. Да так ли закрутит веселкою северного ветра, что и прятаться не найдешь куда.

А нынче какая благодать держится!

Только рябина в лесу да густые тенеты не дают забыть о скорой осени. Но не хочется думать в лунную погожую ночь, что на носу Федорин день[2], когда уйдет всякое лето и нагрянут долгие нудные дожди. Разведут они по дорогам непролазную грязищу. В тайге толстозадый топтыгин не вынесет Федориных проказ и полезет в теплую берлогу, отведав прежде веселых ягод крушины. Сползутся под трухлявые пни, переплетутся клубками полусонные змеи, и в ледяной тишине заснуют белые мухи. Насядутся белые мухи стаями на могучие плечи сосен, сровняют в лесу пни да муравейники, и до самой

---

[1] Стратилат-тепляк — 1 сентября.

[2] Федорин день — 24 сентября, конец лета.

весны только ветер залетный будет петь заснеженной тайге свою голодную волчью песню.

Сидит Малиновка под кедровым корневищем, слушает, как посвистывают носами братья, и покажись ей, что в лесу посветлело. Перед нею на таежной еланке былинку всякую видать, даже ту, которую днем-то пройдешь не заметишь.

И вот дрогнула на молодой елке ветка, будто ее кто озорной сильно пригнул да разом и выпустил из пальцев. Видит Малиновка — с елочной хвои на густую траву скатился светлым клубочком зверек небольшенький и кольцами-петлями стал набегать поближе к валежному кедру. Посреди еланки остановился, шустрый, столбиком сел на хвост и огляделся — важный, что барин перед народом. Тут он углядел под корневищем девчоночку, метнулся на ближний смородинный куст, закачался на тонкой веточке, лётом перемахнул на совсем близкий от Малиновки подъелок, там прыгнул на сосну и вьюном пошел к самой ее маковице.

«Ой! — узнала Малиновка. — Соболек давешний».

— Ишь, белый! — радостно шумнула она наверх. — Спускайся сюда.

В ответ у нее в ногах хлопнулась сосновая шишка и отскочила в сторону. Другая ударилась о корневище и упала девчоночке прямо в подол.

— Озоруй мне! — засмеялась Малиновка и погрозила собольку пальцем, да подумала: «Должно, рядышком где-то гнездо, вот и прогоняет».

Третья шишка угодила Малиновке прямо в темечко, хотела девчоночка вернуть озорнику его подарок, да не успела: вот уж соболек сидит на нижней ветке сосны и посверкивает глазами на Малиновку. А сам то голову наклонит, то вскинет, то спину выгнет колесом, то хвост дудкою поставит... Да цвыркает на Малиновку, да потявкивает, будто разговаривает и сердится на ее непонятливость. Ишь ты!

Потом вовсе на землю соскочил и давай перед Малиновкой кренделя выписывать, будто озорной парень на гулянке.

Хохочет Малиновка, а соболек выкамаривает...

Сперва девчоночка в ладоши хлопала, а потом сама пошла ногами перебирать...

Соболек все Малиновке под руку подворачивается, только тронуть себя не дает — отскакивает. А Малиновка за ним тянется — погладить охота.

Когда набегалась Малиновка, запыхалась, передохнуть остановилась, увидела вдруг, что шалаша-то рядом нету! Кругом такая глухота да рям, такой подлесок, что между кустов собаке не проскочить! Только одинешенька сосна высится перед девчоночкой. И самого соболька нигде не видно.

Большого страха Малиновка не почуяла: не столь долго она с озорником играла, чтобы шибко далеко от братьев убежать. Да и выросла она в тайге. Знает, что об эту пору ни один зверь человека не тронет. А вот на соболька маленько осерчала. Но заметивши в сосне дупло, догадалась:

— А вот ты где! Счас я тебя за белый хвост вытяну! Покажешь мне свою звездочку о семи лучах...

И тут же подумала: «Опять ерунду горожу».

Сунула девчоночка в дупло палку — нет никого! Полезла рукой — пусто! Нет соболька! Только ореховая мелкота раскатилась между пальцами тяжелыми камушками. Малиновка щепотью захватила тех странных орешков и на ладонь себе рассыпала.

Ма-мынь-ка! Видит Малиновка при луне — лежат у нее на ладони крупные золотые бусины...

— Лишеньки мне! — шепчет Малиновка. — Где ж это видано, чтобы золото самородками рождалось?! Должно, чей-то грех тут упрятан да ко мне в руки просится. Господи! Неуж своего горя у меня мало?

Ссыпала Малиновка золотые бусины обратно и заторопилась прочь. Но, побегавши по зарослям, вдруг опять оказалась на том же самом месте.

«Ну те! — подивилась со страхом девчоночка. — Как такое вышло, что закрутилась я?! Надобно луны держаться...»

И снова принялась кусты раздвигать.

Что ты скажешь! Опять перед нею сосна!

Видать, другая дорога той ночью была ей заказана, поскольку Малиновка и в третий раз оказалась на нечистом месте.

Села девчоночка поодаль от сосны на трухлявую коряжину, уронила руки и собралась помирать. Нашла на нее такая отупень, что ничегошеньки-то ей не надо, никого-то ей не жалко — все у нее хорошо, и виноватых нет...

Уткнулась Малиновка головою в худые колени свои, покачалась на коряжине и задремала.

В дремоте чует — кто-то ее по голове погладил! Вскинула она испуганно глаза: «Ой!» Отец перед нею стоит и улыбается.

— Батюшки! Родимый ты мой! — заревела в голос Малиновка да, повиснув на отцовской шее, хлюпает, спрашивает: — Откуда ты взялся?

— С того света, — смеется Михей. — Не веришь! Вот те крест! А ты пошто в сторонке от шалаша дремлешь? Вона какой ловкий наладила! Спала бы себе вместе с ребятами.

Заикнулась было Малиновка о собольке сказать, да увидела, что и впрямь шалаш рядом и братья в нем посыпехивают лежат. Должно быть, ни разочку не просыпались.

А Михей удивляется:

— Так вы что тут одни?! Без народу?! Орехи, что ли, втроем наладились бить?

— Не-ет, — замялась девчоночка, чтобы не огорчить родимого скорой заботой. — Место пришли смотреть.

— А что! — одобрил Михей, разглядывая утренние уже кедры. — Ты гляди, какое место! Шишек-то сколько! Чтой-то я раньше не знавал этого кедрача! Неделей надобно сюда вернуться.

— Тебя как отпустили-то? — в нетерпении теребит Малиновка отца.

— Чудом! — опять смеется Михей. — Истинно чудом. Я и сам до сих пор не верю! Давай-ка сядем потолкуем, покуда ребята спят.

Устроились они рядком у шалаша, и обсказал Михей дочери о странном своем избавлении.

— Меня, — говорит, — до суда в пересыльной держали. Я у них там за подметалу состоял. Днем суета этапная мешала работе, а ночами самое время убирать...

Вот вышел, значит, Михей, с вечера к тюремным решетчатым воротам, начал метлою сор подхватывать. А на часах у ворот стоит такой же мужик, как он сам, только одет в казенное. Хороший мужик — не понукает...

Откуда ни возьмись, бежит тюремный смотритель, чтобы скорее ворота отворяли. Дескать, гости едут, встречать тороплюсь. Глянул Михей на дорогу — вот уж он, возок расписной, к воротам подкатывает. Часовой Михею маячит: дескать, отойди подальше.

Сыздаля-то не было у Михея возможности разобрать, о чем толковал с перепуганным смотрителем хозяин бо-

гатого возка. Только видно было, как удалой возница все подмаргивал ему, поигрывал тонким прутиком да посверкивал с белой шапки дорогою звездочкою.

Так хотелось Михею крикнуть тому вознице, что не бандит он, не убийца какой! Нечего смеяться над чужим горем. А смотритель между тем исприседался перед гостем, исприглашался пожаловать к нему в дом. Но в ответ только хлопнула сердито дверца возка, и возница крутанул над смотрителевой головою тонким прутиком.

С великой досады смотритель влетел в ворота, как сатана в пекло! Михею ажно почудилось, что тюремный двор сажей подернулся, а от казенника искры летят.

Попятился Михей со своею метлой подальше от греха, тут его смотритель и поймал, как волк глупого зайца.

— Хто? — кричит да тычет Михею пальцем прямо в лицо. — Этапный?!

— Не-е, — отвечает Михей, — тутошний я, деревенский. Третий месяц суда жду.

— Какое за тобой дело? — опять орет.

— Попенка вожжою огрел...

— Пошел вон! — визжит смотритель. — Что стоишь, вылупился...

А Михей столбом стоит, ничегошеньки понять не может — хоть убей!

Тогда караульный метлу из его рук выхватил, да метлою, да метлою его по спине...

— Не поймешь, дурак? Пошел вон, говорят! — и пинка добавил.

А уж за воротами шепчет по-доброму:

— Слыхал?! Новый губернатор к нам прибывает — смотреть будет, как да за что православных по тюрьмам томят. Ты ступай себе, иди спокойно...

Поклонился Михей доброму караульщику земным поклоном и — прямо домой!

— Ночь прошагал — ничо, — объясняет Малиновке отец. — А утром чую — устал. Передохнуть не мешало бы. Тут и шалаш увидел. Сунулся в него — вот те раз! Мои наперстки лежат, еще и платком твоим прикрыты. И ты, гляжу, близко сидишь, дремлешь. Ну скажи ты мне: это ли не чудо чудное, диво дивное? И от тюрьмы даром отделался, и с вами в глухом лесу не разминулся. Бывает же такое на свете!

У Малиновки от отцовского рассказа сердце затрепетало, однако заговорить о собольке не насмелилась.

КИРЬЯНОВА ВОДА

ТАЕЖНАЯ КЛАДОВАЯ

ВЕДЬМА

МЕДВЕДКО

НЕДОЛИН ДОМ

ФЕДУНЬКА-САМОДРЫГ

СОБОЛЕК-КОРОЛЕК

МИЛЛИВОНЩИЦА

«Вот еще, — думает, — полезу к батюшке в радость со своими придумками. А все-таки странно, что у кучера на белой шапке звезда сияла!»

Вовсе по свету повел Михей Пораев огольцов своих с дочкою обратно в деревню.

На подходе к околице Малиновка вспомнила:

— Платок в шалаше оставила!

— Да Бог с ним, с платком,— утешил дочку Михей. — Вернемся за орехами — подберем. Кому он в лесу нужен?

Стали Пораевы в деревню входить — народ увидел.

— Ты гляди, что на свете делается! — кричит одна баба другой. — Отпустили Михея-то!

— И то!

— Слава те, Господи!

— Уж не по этой ли нужде нарочный из уезду вечор до батюшки Калистрата приезжал?

— А холера его знает.

— А пошто бы матушке провожать-то его со слезами?

— А холера ее знает.

— И обалдуй ихний что-то не показывается.

— Да черт с ним!

— Ой, чо будет, чо будет...

— Ничо не будет. Приструнят Калистрата. Не одного ить он Михея обижал.

— Дай-то Бог...

Когда Пораевы, перекланявшись со всею деревней, отворили запертую избу, Малиновка первой ступила на порог. Ступить-то она ступила, да заробела у косяка: уж так чисто в избе, так светло, будто три солнца в окна глядят. Когда же решилась дальше пройти, увидела: платок, ею забытый утром в лесу, лежит разостлан по столу, а на самой его серёдке горит яркой звездочкой дорогая брошь.

МИЛИВОНЩИЦА

Тому, кто бывал в верхнем Приобье, рассказывать не надо, насколько тамошние речонки порожисты да перекатисты. Не без серьезности толковали старые люди, что когда Господь прокладывал их по тайге, так сперва

ломиком понаотворачивал камней, а выбрасывать их — лопата сломалась. Пошел он к себе новый черенок насадить да, видно, за другими делами закрутился. По сей день ждут реки его возврату, бесятся от нетерпения в каменистом русле, все волнами всплескивают. А сколь не плещи, до Бога не добрызнешь.

Этими-то реками и сплавляли, бывало, мужички по осеням спелошный кедровый орех — ядреный, урожайный! Но самый крупный, самый сладкий доставался тому, кто добывал его в кедрачах за черною скалою, прозванной Миливонщицей.

Черных скал в Верхнеобье до чертовой матери. Но та, о которой чаще всего поминали старики, пела якобы в сумерках печальным девичьим голосом. Одни уверяли, что скала отпугивает от себя охотничков до сокрытых в ней миллионных богатств, другие — что томится внутри девица невиданной красоты и зовет она голосом своим избавителя. А охотники да кедровики такую историю у ночных костров рассказывали.

Живал когда-то в этих местах Евдоким-бобыль. Человек он был столь добрый, столь затырканный простотой, что и в примаки-то никто не хотел его взять. Уже ко Христовым годам подкатила его жизнь, а Евдоким все в одиночку по тайге ходил, все живицу собирал да малой охотой промышлял себе на пропитание.

Не было у Евдокима на земле ни единой души, с которой мог бы он разделить свою печаль-кручинушку. А хватило бы у Евдокима этого добра да на три жизни.

Вот как-то принес бобыль на сданье живицу, взял у молодого тогда лавочника нужного припасу, поскидал в мешок и мимо дворов, напрямки, пошагал себе в тайгу. Только бы выйти ему из деревни — на тебе! Прям-ка за последним двором, в коноплях, уловил Евдоким — пищит ктой-то живым писком. И так ли скребно пищит, будто по шестку ножом водят.

Бобыль сунулся в конопли, развел их на стороны — эко ли! Видима была бы такая страсть, да не нашими глазами! Корчится в коноплях девчоночка молочная, ножонками сечет.

Не мог же Евдоким схлестнуть обратно конопли да в лес кинуться. Принял он пискунью на свои широкие ладони и увидел, что комарье успело обкусать девчоночку — чтоб им всем носы винтом позакрутило! Стянул бобыль с себя рубаху исподнюю, скулемал Найденку, как получилось, и вернулся обратно в деревню.

Сбежались на это диво бабы, ругаться принялись:

— Ты нам, Евдоким, саму ту шлюху приведи, что ребянчошку под коноплю свалила! Разве ж эта баба! Разве ж это мать!

— Так ить, могет быть, что девчоночку не зло подкинуло, а горе? — толкует Евдоким. — Может, померла мать-то?

Притихли бабы, поумнели. А одна и советует:

— Вернись, Евдокимушка, до лавочника, спроси Степана Матвеича — не оставит ли он девчоночку у себя? Жена-то его, хотя и толста матушка, и красива, а только уж третий год не может хозяину ребенчишка выронить. Не то поле солончаковое, не то зерно солоделое... Она уж, сердешная, какого только зелья от знахарок не напринималась. А все хужает и хужает. Последнее время вовсе слегла. Завчора Степан Матвеич сам лекаря привозил, да не допустила она к себе никого. Дайте, говорит, помереть спокойно. Отнеси-ка ты девчоночку туда. Может, взбодрится лавочница от детского тепла?

Евдоким и поперся в лавку.

— Еще не лучше! — встретил бобыля Степан Матвеич. — Ты чо, паря, опупел? Сколько их, сирот-то, по белу свету?.. Этак можно целую артель натаскать!

— Куда ж мне ее теперь девать-то? — чуть не плачет Евдоким. — Собакам же не выбросишь?

— А уж это дело хозяйское, — отвечает лавочник. — Господь тебе ее на руки поклал, его и спрашивай. А я так думаю: ты в своей судьбе один, и Найдена твоя такого же начала. Вот и возьми ее к себе. Конечно! Хватишь с нею горького до слез, но уж под старость будет тебе утеха.

— Когда бы мне бабою стать, я бы и разговору об этом не затеял бы, — отвечает Евдоким. — Или бы, на худой конец, коровенку иметь. Как же мне кроху такую поднять безо всего? Тебе языком-то хорошо говорить — возьми. Языком-то бы можно и звезды облизывать, кабы ноги дотянулись...

— А я те, паря, козу дам, ежели у тебя все дело в молоке. Коза молодая, первого окоту. Ну? И мыла дам, и бумазейки...

— Антересно бы мне знать, — дивится Евдоким, — чем ты с меня за такую щедрость шкуру будешь снимать? Ножом? Али вдер стянешь? Каким таким золотом стану я тебе платить?

— Так, окромя рук, чем ты мне еще-то заплатишь?

Опять же руками. Найдена подрастет, вместе и отработаетесь.

— Соглашайся, Евдоким! — подогревает бобыля лавочный приказчик Васька Чубарь. — Какая-никакая, а теплиночка рядом пощебетывать будет. Ну! Одному-то и песня долга.

— А! Была не была! — сосватался бобыль. — Давай козу!

И пошли они со Степаном Матвеичем смотреть Найденину кормилицу. Все козы в кошаре пуховые, все белой масти, а одна среди них аспидно-черная, и глаза, что у черта,— зеленым огнем горят. Да худа коза, да голосистая!

«Щас мне Степка дохлятину эту подсунет», — подумал Евдоким, увидевши Чернуху. Так оно и получилось.

— Ах ты ж, блоха собачья!— даже обругался бобыль на лавочника. — Разве ж ты христианин? Тебе не живого дитенка захотелось пожалеть — от козы с выгодой избавиться. Ты еще в путевого хозяина-то не вырос, в каково хитришь! Одним махом по двум ряхам целишь? Еще и отрабатывай тебе за такого дьявола порхатого! Да ведь она у тебя, поди-ка, заместо молока помоями доится?

— Не бери, — отвечает лавочник. — Корми девку редькой.

Покуда они так толковали, коза изловчилась да ка-ак шпаранет хозяина рогом ниже спины, и заблекала, и хвостом затрясла. Степан Матвеич от боли ажно подпрыгнул да башкою об куриный насест! Все куры на него...

А коза блеет, будто хохочет, и у Евдокима кишки со смеху свело. Лавочник в досаде орет:

— Бери сам! Али боишься?

— Не уди меня, хозяин, на червяка, — смеется бобыль, — я те не карась. А вот коза мне твоя теперь понравилась: ежели молока не даст, заместо собаки держать можно.

И потянулся Евдоким широкой ладонью ко Чернухе. Наступает потихоньку да приговаривает:

— Матушка-кормилица, помилосердствуй, рогатая. Помрет моя Найденушка без тебя.

— Ме-ке-ке, — отвечает коза и в теплую ладонь бобыля суется губами. Суется да все поблекивает, будто разговаривает.

— Мать честная! — удивляется Степан Матвеич. — Умеешь! Эдак ты медведку подоишь, не то козу!

И деревня потом долго удивлялась:

— Вот лавочникова коза отмочила! Своих близко никого не подпускала, а за чужим мужиком потянулась, как на короткой веревке.

Как ушел в тот раз Евдоким в ночную тайгу, так и ушел. И год его ждали, и другой гадали, и пятый на дорогу оборачивались...

Прошло и десять лет, и больше, а по-над таежным прилеском лишь туман осенний стелется или жаркое марево колышется, а то и лохматая зима белой солью щедро посыпает пустую дорогу. Как бедует Евдоким с чужою девчоночкой, каково достается ему бобыльное его отцовство — один Господь ведает.

Гадают люди, пошто это живишник не идет? Может, в тайге, заодно с дитем, хворь его какая одолела? Может, подальше от страха держится — не отыскалась бы непутевая Найденина мать? Кто его знает.

И забыла бы потихоньку деревня Евдокима, да Степан-лавочник ни в какую не перестает губами жевать, когда кто приплетется к нему голову от нужды клонить:

— Ты вот, паря, просить-то просишь, — тычет он каждого, как мордой об лавку, — а ведь не подумал, ко мне идучи, в какое положение ставишь меня. Молчишь! А ведь сам, поди-ка, знаешь, каково с вами, голодранцами-то, дело иметь доброму человеку — все руками вам отдавай, да все ногами выхаживай. Ты вот мне скажи: как я теперь должок с Евдокима-живишника верну? Ищи ветра в поле, куриные ваши души!

— Ой, да Степан Матвеич, кормилец ты наш безотказный! — ни за что оправдывается просильщик. — Да нешто я в своей деревне приблудный какой? Да нас тут, Аримейкиных, каждая собака наперечет знает. Ты чо меня с Евдокимом-то равняешь?

— Ну конешно, коне-ешно... — издевом исходит лавочник. — Ну, ты у меня агнец розовый. Все вы одним миром мазаны! И у тебя на лбу не выступает, об чем ты в себе думаешь!

— Правда твоя, Степан Матвеич, — торопится согласиться просильщик. — Что так, то так. Человек — не яйцо, его на свет не разглядишь. А каждый Калистрат на свой лад смекат...

Долго бы еще лавочник счет времени вел не от рож-

дества Христова, а от Евдокимова ухода, кабы его самого не пощекотала беда.

Жена Степана Матвеича не померла в тот год, поднялась.

Но за все прожитые годы так и не сумела лавочника сделать детным. А Ваську Чубаря, лавочного приказчика, сумела! Может быть, венчаному своему она и дальше бы сажала тех приказеночков за стол. Кормил бы Степан Матвеич Васькиных кукушат да еще бы гордился — какие они у него кречеты! Так ведь Чубарь от нетерпения хозяином лавки побыстрее стать такое отдуроломил, что вся деревня ахнула! Он, вишь ли, разом хотел из одной жменьки и напиться, и умыться. Но не всяк, севший на коня, уже и Кутузов!

В день, как тому случиться, послан был Чубарь Степаном Матвеичем в дальнюю волость по торговым делам. До этого справлял такие дела сам лавочник, а тут расхворался. Не то чтобы ехать куда, а в лавку пойти не смог — жену отправил. Лавочница пошла и мальчонку с собою взяла — время скоротать.

Лавка у Степана Матвеича рублена была не в одну крышу с домом, а выходила за ограду, на улицу. Потому не только дневать, но и ночевать приходилось в лавке.

Ну и вот. Укатил Васька Чубарь с вечера за деревню, в прилеске гдей-то меринка спрятал и потемками вернулся обратно, думая, что в лавке ночует хозяин. Дело у него было недолгое: только дверь подпереть да огонек выпустить, а рыжий сам знает, что ему делать.

Подпалил Чубарь лавку и поскакал себе в волость развевать кудреватым чубом по шалому ветру. Гори она, та лавка, вместе с хозяином! Скоро встречать его выйдет зазноба! Распахнет она перед ним закрома да кладовые! А там добра столь накоплено, что Степан Матвеич, царство ему небесное, проталкивался боком в узких проходах. Эгей! Живи Василий Иванович! Царствуй!

Так, должно, думал бойкий приказчик, торопя вперед меринка. Да уж лучше бы конь его в болото обронил...

Когда лавочницу еле живую вытащили из огня, да одну, да без мальчонки, она, в избытке боли, распахнулась душою. Все свои грехи, как гадальные карты, разложила перед Степаном Матвеичем. Оказалось, что и девчоночка, которую живишник подобрал в конопле, тоже приказчиков недокормыш. Одного только не могла принять на себя лавочница — Васькиного поджога.

— А ить он это подпалил, — клялась она перед смертью. — Все годы боялась я в грехе открыться, чтобы не принять от тебя ранней смерти. А получается, что человек от праведной кары по кругу бежит...

Тем же днем, когда лавочницу поклали под белую простыню, Чубаря хозяйские посланцы привезли домой и поставили перед Степаном Матвеичем.

— Запереть в амбаре, — только и сказал вдовец, остальным же людям пояснил: — Властей звать покуда не стану. Без того полно греха. Пущай посидит, покуда сорок дней покойникам не отойдет. А там видно будет, что делать.

И приставил Степан Матвеич в досмотр ко злодею кривоногого басурманина.

Однако не суждено было минуть и второй седмице, как из ближнего прилеска на проселочную дорогу вышел крепкий мужик да с ним рядом девка стройная, да за ними вприскок поспешала черная коза.

Вся как есть деревня выплеснулась со дворов навстречу Евдокиму. А тот никак не мог сообразить, за какие такие победы выпала ему всенародная встреча. Оттого и насторожился бобыль, и Найдена, видя такой переполох, маленько испугалась. Прижалась к отцову плечу и смотрит оленухой.

А народ, нежданно оказавшись перед особой девичьей красотой, забыл и про Ваську Чубаря, и про Степана-лавочника. Да и кому бы хотелось ясною весною вспоминать осеннюю похмарь. Ведь когда глаза радуются, язык не стреляет. Одна только баба, бедами, видать, настеганная, вдруг заторопила Евдокима, когда к толпе направился сам Степан Матвеич:

— Уходил бы ты отсюда, Евдокимушка...

— Я те уйду, береста гнилая! Я те, раздергану твою мать, уйду! — и лавочник предстал перед Евдокимом столь дородным, что бобыль усмехнулся, вспомнив его прежним стригунком.

За пройденные годы накопил торговый хозяин что тела потного, что гордости своенравной. И настолько людей отодвинуть от себя сумел, что теперь, видно, никакой длинной рукой его не достанешь. Вон как по-есаульски вошел он в круг! Каким стояком предстал перед Евдокимом. А Найдену так ли облил чесночной одышкой, что Евдоким отвел дочку осторожной рукой за спину.

Неизвестно, что бы сказал на такую смелость Степан

Матвеич, кабы не коза. Черная и теперь нацелилась на лавочника рогом и заблеяла, будто заругалась.

Народ захохотал, а кто-то сказал в толпе:

— Вот шельма старая, узнала родню!

Видать, не шибко стремился Степан Матвеич, чтобы Чернуха принародно чесанула его рогом ниже спины, потому и скомандовал Евдокиму:

— Пошли, а козу пусти на траву.

До самого позднего вечера никакого дела в доме Степана Матвеича новым работникам не определилось. Хозяин все водил их по кладовым, показывал богатства, будто они к нему торговать явились, а не в ярмо впрягаться. Да все жаловался лавочник на свое собачье житье да на горе свое недавнее:

— Кому оставлю?! — спрашивал он слезно бобыля.— Ты, Евдоким, счастливей меня оказался. А мне вот никтошеньки теперь не утрет слезы горючей, никто не услышит, как стону я стоном каждую божью ночь...

«Куда он гнет? — ходит, спрашивает себя Евдоким.— Пошто стелется дорогим товаром? Уж не ко мне ли в зятевья просится, старый прыщ?»

Будто бы в тихой воде увидал бобыль Степановой души отражение...

Вовсе к ночи зазвал хозяин гостей в белую избу, за стол усадил возле себя, угощать принялся. Сказать бы Евдокиму чего смелого на хлебосольство его тошное, да сунься-ка языком в эку пропасть, а там паутина натянута. Ишь какой сидит Степан Матвеич! Что твой самовар — полный да спелый, будто в нем соку человеческого нацежено под самую конфорку.

Вот и говорит хозяин гостю:

— Ежели, Евдоким, оказал ты себя таким праведным, что через семнадцать годов не забыл об своем долгу, так уж, я думаю, какой бы из тебя приказчик получился?!

— Хто его знает, — отвечает бобыль, — может, оно и так. Только я, Степан Матвеич, не того гнезда выпарок. Я ить не одного тебя, я и остальных людей обманывать не могу. Разве ж такая тебе торговля нужна?

— Ладно, — соглашается лавочник. — Ну, а ежели, скажем, твоей Найдене я честь определю? Что на это ты скажешь?

— Так ить чужая честь — барыня. Она кататься любит: не в гужи сунет, так в ярмо...

— Тогда пущай сама Найдена окажет мне честь,— гнет свою линию Степан Матвеич.

— Ну чего ты мозолишься? — не стерпел Евдоким.— Вижу ведь: не золото у тебя внутри плавится. Все одно поднимется на глаза.

— Эко ты несусветное городишь, — сморщился Степан Матвеич. — А ить я не как-нибудь, не на заимку возить ее стану. И не так, чтоб ни стуку, ни грюку — поволок, как суку... Я по-христиански! Минет моей жене сорок дней... Поп — человек свой, застольный. Он не станет ерепениться. Все будет как у добрых людей! Не мытариться же девке век по белу свету? А тебе я за нее весь должок вычеркну, и ступай себе в тайгу вольным человеком...

Найдена от этих слов со степою слилась, а Евдоким со скамьи поднялся и спрашивает:

— Ты чо? Опупел, паря? Ты кому такое говоришь? Али не видишь, что перед тобою дите сидит? Поди-ка опростайся!

— Чо-о?! — поднялся и Степан Матвеич.

— А то, — не испугался Евдоким. — Хомут ты тертый — вот чо! Али думаешь, что я ей лютый враг, чтобы твое сватовство благословить? Как-никак, я ей кормилец...

— Какой ты, растудыт твою душу, кормилец! — заорал вдруг Степан Матвеич. — Может, совсем считать разучился? Сядь! Сядь, говорю! Да положи-ка на ум, сколько за полтора-то десятка лет Чернуха моя молока тебе нацедила?

— А нисколько, — опять шумнул Евдоким. — Она у тебя никогда окотною не была.

— А куда ты зенками глядел, когда брал?

— Я ить думал — душа у тебя. Искал в дерьме изюминку.

— Думал! — хмыкнул Степан Матвеич. — Ну, так потом ягнилась!

— Да ни разочку за все годы...

— Ето уж ты сам виноват,— захохотал лавочник,— а мое дело знать, что от козы — козляточки, от козлят — дитяточки. И все они той самой породы, которая молоко дает. Ломать нам с тобою головы до утра и то не подсчитать твой должок. Ты вот тут сейчас поклади чистый миливон, я еще подумаю: взять его у тебя или обидеться. И за всю свою щедрость прошу-то я у тебя чужую девку!

— Не чужая я ему, — хотела вступиться Найдена, но Степан Матвеич так рявкнул на нее, что та подпрыгнула на месте:

— Нишкни, пригульная! Вона где родня-то твоя кровная! — и он показал пальцем в отворенную дверь, где во дворе на приступочке амбарной сидел узкоглазый татарин.

— Эй, Рахим! — крикнул Степан Матвеич. — Веди сюда Чубаря.

Хотел было Чубарь сесть на лавку, но Рахим безо всякого труда, одним толчком в шею выстелил его плашмя у ног хозяина.

Степан Матвеич склонился над виноватым, спросил в затылок:

— А знаешь ли ты, Василь Ваныч-ч, хто тут со мною за столом, кроме Евдокима, сидит?

Приказчика на полу покорежило.

— Сдогадываешься, выходит? — ухмыльнулся лавочник. — Правильно сдогадываешься! Она! Твоя кровиночка, на всем белом свете единственная. Ты на нее поглянь — какова удалась! Всего тебя переняла. Ты, когда в конопли-то ее, как кошшонку, бросил, не подумал, поди-ка, что когда-никогда сгодится она тебе на выручку? А ить седни самое времечко наступило...

Чубарь не ответил, только плотнее прижался к полу.

— А помнишь, как со мною в голос уговаривал ты Евдокима принять Найдену на свои руки? Вот и Евдоким не даст соврать. Но ведь ни она, ни Евдоким до сего часу не знают, что ты, стервец, мать ее в лавке спалил.

— Собака-а, — взвыл Чубарь.

— Супротив тебя-то?! — удивился Степан Матвеич. — Да супротив тебя я ж — пречистая дева Мария! Тебя ить только пальцем тронь — часу не проживешь, так ты ядом пропитался. С тобою ить одним воздухом дышать боязно. Только не от твоей смерды болит у меня нонче голова — настало время, хоть без особой с моей стороны охоты, а спеть с тобою одну песню в два голоса.

Васька чуть повернулся ухом ко Степану Матвеичу.

— Как кровный отец волен ты или не волен дать благословение своей дочери? — спросил лавочник, заглядывая в сторожный глаз приказчика, и тут же сам себе ответил: — Волен! За то и я, своим чередом, волен отпустить тебя ко всем чертям.

Приказчик и вовсе повернулся и сцепился злым сомнением с хозяйскими глазами.

— Чо высматриваешь во мне? — не стерпел Степан Матвеич и отвернулся, но говорить не перестал: — А ты поверь. Я ить тебе тоже верил когда-то. Да и не жену я у тебя отнимаю. Это я должен на тебя змеем-то смотреть. Лучше встань да за стол сядь — пожри! Только об меня не задень.

Послушался приказчик, на лавку приткнулся. Но есть не стал и глаза от пола не поднял. Ему, должно, не хотелось понимать, что делается за столом. Лучше бы и не знать этого, а бежать подальше, глаза завязавши. Но куда тут побежишь? В дверях татарин стоит — от злости уши прижал, в ограде молодцы — рожи круглей лохани, за окнами быстрые тени мелькают...

— Ну чо, Васька?! Об чем думаешь сидишь? — не дотерпел до Чубарева ответа Степан Матвеич. — Снимать образа, или тебе амбар мой шибко поглянулся?

— Сымай.

Евдоким было кинулся к божнице, да быстрый татарин подсек его умелым пинком под колени и руки завернул до самого затылка.

Ну, а что бы изменилось, поломай Евдоким икону? Другую бы принесли — только и дела. Было этих святых досок тогда больше, чем столешниц.

Вздумал бобыль отбиваться, но Рахим тут же уговорил его кулаком в темя и выволок вон со двора.

Временем позже, когда Евдоким отлежался на холодной земле, лавочник наставлял его у ворот:

— Чо ты ерепенишься? Долги все одно платить надо. Считай, что я Найдену у тебя за недоимку взял. И уходи отсюда подобру-поздорову. — А калитку за собой прикрывши, еще добавил: — Задумаешь Найдену выкупить — приноси миливон!

И захохотал, запрокинув голову.

Далеко от лавочникова двора Евдоким уйти не сумел — забился в репейную густоту под чьим-то забором да там и опустился на землю. В тихой ночи колотятся неугомонные кузнечики — кто кого перекует. Но зря стараются зеленые. Ничего-то Евдоким не слышит: черною кочергой согнулась в нем душа и оглохла.

Деревня угомонилась, спит. Одна только полоумная сорока расстрекоталась на чью-то погибель.

Когда Евдокима шурнул кто-то под бок, не сразу понял бобыль, кому он еще на этом свете понадобился. Но разглядевши в темноте зеленые глаза, понял, что рядом Чернуха.

— Чего тебе, старая? — спросил Евдоким и добавил: — Не трогай ты меня. Дай помереть спокойно.

Коза, однако, не отошла. Опять лезет. Потянулся Евдоким обнять ее, да никого рукою рядом не уловил. Глянул в сторону, а у забора черная старушонка стоит, почти с ночью слилась. Только хитрые глаза горят.

— С нами крестная сила! — перекрестился бобыль.

Старушонка же захихикала:

— Чо, батюшка, спужался? А ить тольки помереть хотел? Али я не так тебя поняла?

— Так, баушка, так! — опомнился Евдоким.

— То-то, что так! — вздохнула старая да спросила еще: — Пойдешь ли со мною, куда поведу?

— Пошто бы не пойти, — отвечает бобыль. — Бояться мне нечего. Хужей того, что со мной стряслось, тебе не натворить.

— Тогда подымайся.

И повела старая Евдокима-живишника за деревню. Руслом чистого ручья спустились они с крутояра и охладным берегом реки направились прямо к Черной скале. Идут ощупочкой, молчат от осторожности.

Дойдя до самой скалы, присела бабка на валунок — передохнуть. Евдоким ждать остался. Но сколько не стоял бобыль, не видит, чтобы старая куда-то еще торопилась. Осерчал живишник:

— Ты чо меня, старая, сюда на реку глядеть привела?!

Бабка опять засмеялась в ответ, будто коза заблеяла.

Не по себе стало Евдокиму, думает: «Язви ее! Из огня да в полымя! Уходить надо!»

Повернулся уйти, видит — Черная скала перед ним надвое разошлась, светлая горенка внутри. Убранство в горенке простое, крестьянское: стол под льняной скатертью, лавки в полавошниках, половики тканые, у стены простенький сундучок поставлен...

— Житье ты мне тут, что ли, определяешь? — оглянулся бобыль на старую. Однако никого рядом не увидел.

Вроде бы и некуда деваться бабке! С одной стороны скала высокая, с другой — река глубокая. Постоял живишник, погадал об новой странности и все же покорился случаю, вошел в горенку.

«Должно, хозяйка хочет, чтобы я тут ее подождал»,— подумал Евдоким.

Опуститься на чистые полавошники Евдоким не ре-

шился, а приткнулся было на простенький сундучишко. Но не успел он путем сесть, как хрустнуло что-то под ним и тонко зазвенело.

«Еще не лучше! — подскочил бобыль. — Поломал что-то!»

Однако зря он пугался. Видно, замок щелкнул, потому как сама по себе отворилась сундукова крышка.

Евдоким ажно попятился — там и монисты яхонтовы, и кокошники, жемчугами усыпанные, и чеканного серебра утварь — пиры пировать. Только успевай гляди... Одним клинком в плетеном окладе можно, поди-ка, Найденушку вызволить. Ишь, как рассиялся самоцветами, как рассыпался чистой зернью перед Евдокимом! Только не скажет: «Бери меня, чего медлишь?»

Да ведь не свое же это добро! А Евдоким сроду чужого не брал.

«Да и принеси такую благодать Степану Матвеичу,— ко всему думает бобыль, — он же станет пытать — где взял? А я врать не умею. Разорит лавочник Черную скалу и хозяйку прибьет! Мне ли быть бедою такой доброте? Вишь вот, ушла... Хоть весь сундук забирай».

Так ничего и не взял бобыль. Только вон выйдя, поклонился пустоте да сказал:

— Спасибочки тебе, хозяйка, на добром деле. Но не приму я твоих подарков. Лучше в деревню вернусь, упаду в ноги Степану Матвеичу — пущай забирает меня в работу за одни харчи. Все при Найдене жить стану.

Сказал так Евдоким и повернулся уходить. Шаг-другой ступил живишник, тут за его спиной и пошатнуло землю грохотом! Даже сел бобыль и голову руками прикрыл.

Но не ночное небо над ним раскололось, то наглухо закрылась Черная скала. Да так ли сумела она заровнять каменную стену, что никакой видимости не осталось о сокрытой внутри горенке. Бобыль даже по стене козанком пальца постучал. И услыхал — отзывается скала, да не каменным голосом. И не стена вовсе перед ним, а ворота лавочникова двора...

«Довольно с меня чудес», — подумал Евдоким, но калитку все-таки отворил.

А на лавочниковом на дворе вовсю сияет погожее утро! Басурманин сидит у амбара, на сабельку дышит да подолом поддевки протирает ее кривое лезвие.

Поклонился Евдоким татарину низким поклоном: проводи, мол, до хозяина.

Ничо. Рахим согласился, только велел подождать в передней избе, а сам нырнул в сонную глубину многих горенок.

Хорошо жил Степан Матвеич, богато. Что стены, что потолок, что пол. Стоять боязно! Широкий стол посредине. А на том столе, вовсе не к месту, плохонькая тряпица лежит, веретеном скрученная...

Вот и хозяин, слышно, идет, Рахиму говорит:

— Он чо, миливон принес? — посмеивается.

Татарин лопочет какой-то ответ.

Важно войдя в переднюю избу, остановился Степан Матвеич перед Евдокимом, сопит. Живишник погорбился перед ним. Тогда лавочник и цоп со стола тряпицу ту скрученную. Не успел бобыль рта разинуть, как выкатился из тряпицы клинок, что не посмел Евдоким взять у Черной скалы! Оторопел живишник пуще Степана Матвеича, пуще татарина — чуть мимо стула не сел.

Долго молчал лавочник, выная и вкладывая клинок в изукрашенные самоцветами ножны, долго и татарин цокал толстым языком да крутил широкой головой.

Хоть и таращился на все это бобыль полными удивления глазами, но не сумел уловить того момента, когда Степан Матвеич переморгнулся с Рахимом. С верткого маха татарин так ли саданул Евдокима по темечку, что стул под ним подломился и уронил бобыля на пол.

Очнулся бобыль в том самом амбаре, где еще вчера клял свою судьбу Васька Чубарь. Это за ним не была убрана с полу вонючая солома. Собрался было Евдоким подняться да сесть, но замок дверной клацнул, и татарин Рахим вкатился на коротких ногах в дверной солнечный просвет с полною чашкой просяной каши.

Чашку Рахим поставил перед амбарным на пол, сам сел напротив и вдруг залопотал, быстро зыркая на дверь узким глазом:

— Твоя, бобылка, совсем балда! Кому ножик давай? Мине ножик давай нада...

Он хлопнул себя по груди, склонился к самому Евдокимову уху, зашептал:

— Тогда твоя дочку тайгу забирай! Дурак твоя бобылка.

Евдоким только руками развел — что татарину объяснишь? Но скуластый подсунулся куда как близко и опять заторопился:

— Степашка велела тебя ночкой контрами... Чубарика контрами уже готово... Тайга давил! А моя знай нада,

где твоя ножика красивый брала. Никато ножик такой не потеряй! Говори, Евдокима!

И подскочил Рахим радостно, и мигом пропал за дверью, приметивши хитрым глазом робкое согласие на лице бобыля.

Не слукавил, не соврал скуластый: стоило угомониться деревенским собакам — заговорил с пудовым замком осторожный ключ. Татарский шепоток позвал:

— Ходи на меня! Тихо ходи!

И повел татарин Евдокима за деревню, где в молодом прилеске уже поджидала отца измученная Найдена.

Ступая в темноте по знакомой дороге, Евдоким думал: «Куда иду? Зачем? Ведь не званы мы никем, не прошены... Захочет ли отвориться перед нами Черная скала?»

Но не в Черной скале надо было сомневаться Евдокиму и не хитрого татарина бояться. Хитрее хитрого оказался Степан Матвеич.

Не стала Черная скала таить от незваных гостей добра своего. А Рахим, увидевши в горенке отворенный сундук, и про бобыля забыл, и про Найдену. Вылупил глаза, кинулся вперед, руки распахнул и... рухнул коротким телом на чужое добро.

Не сразу Евдоким с Найденою сообразили, что выстрел был. Когда же обернулись, то у края стены каменной стоял Степан Матвеич и ружьецо перезаряжал. Пороховой же дымок из ствола восходил кверху седою прядкою. Сказал Евдокиму, когда дело закончил:

— Ты гляди, как люди умеют бедными прикидываться. А я-то, дурак, гадаю: за каким тебе ляхом самому ко мне батрачить приходить, а? Ты же для разбойной хитрости казанской сиротой прикинулся! Хотел втесаться ко мне в доверие да ограбить?! И куда тебе столько добра-то? Жадность одолела? Да! Жадность — она и алтари рушит!

— Чо болтаешь-то? — хотел остановить живишник Степаново балобольство, но лавочник его и слушать не стал.

— Теперича мне, — перебил он бобыля, — и миливона с тебя мало будет. Стяни-ка Рахима с сундука на пол да крышку прикрой! Я на твое добро дома нагляжусь...

— Вот уж не-ет, — мотнул головой бобыль. — Я этой горенке не хозяин и богатству здешнему не наследник. Сам брать ничего не стану и тебе не дам!

— Дашь! — поднял ружье Степан Матвеич.

— Стреляй, — не моргнул Евдоким. — Все одно я тебе в этом деле не подсобщик.

— Нет! — крикнула Найдена, когда лавочник стал целиться, а заступила собою отца. — Сперва меня убей!

А что? И стрельнул бы Степан Матвеич безо всякого Якова. Но в каменную горенку со звонким блекотом вдруг влетела черная коза, поднялась перед Степаном на дыбки и тут же обернулась махонькой старушонкой.

И все! И сел Степан Матвеич на землю, и ружьецо из рук выпустил.

Подобрал бобыль ружье, командует:

— Подымайся — пойдем!

И увел лавочника в ночную тайгу. Как увел, так и сам в тайге пропал. С того самого дня никто их обоих больше не видел. Хотя молва велась, что якобы удалось лавочнику увильнуть в чаще от живишника. Но, кинувшись в деревню за подмогою, закружился он по звериным тропам.

Так и бродит Евдоким-бобыль по таежным урманам да уремам, ищет с ружьем сторожкого Степана Матвеича. Скала же Черная, которую люди прозвали с той поры Миливонщицей, все хранит-оберегает в себе Евдокимову дочку, все ждет Евдокима-живишника, поскольку отвориться ей суждено только перед ним. И подает Найдена из скалы голос свой печальный, чтобы поскорей отыскался на родимой земле ее горемычный отец.

АКЕНТЬЕВО ОЗЕРО

В таежном углу Среднего Приобья столько озер, сколько у рябого пятен. Тут и Кривое озеро, и Тухлое, и Глубокое, и Раздольное... Господи! И Лешево озеро! Рукой махнешь... Но только к одному Акентьеву озеру была прилеплена дорогая марка — волшебное!

Лежало то озеро среди векового леса, по всему окоему заболочено и кувшинкою заметено. А середка чистая, синяя. Какой бы шальной ветер ни хватывал тайгу за вихры, Акентьева озерка ни одна струя не задевала. Словно кто-то умелый дохнул как-то один раз на воду и усыпил ее на веки вечные.

Никто не доставал в Акентьевом озере дна. А спорщики отыскивались хваткие, удалые! Бесполезно. Ни один хват ни у кого не выспаривал.

Высоко над озерным берегом поднимался с поддонной глубины белый камень. По верху он был ровнехонький, что пень, срезанный пилою. И хватало того срезу ровно на одно подворье.

С белого камня до самой дымки земной видел человек перед собою тайгу и тайгу...

На том озере даже комара не водилось. Ничто не мешало человеку чуять, как вливает в него природа здоровье свое, как разговаривают между собой земля и солнце.

Ой, благодать!

И хотелось тогда верить, что открывается озеро перед человеком! Но когда? Каким днем? Каким часом?

Старики успоряли, что были такие удачники, которые своими глазами видели, как однажды поднялась озерная вода выше тайги, потом упала разом и оставила на ровной середине дворец несказанной красоты! Располохнулись в том дворце светлые двери: проходи кому хочется, бери добра, сколько надо. Однако докладали, что хозяин озера до жадных больно строг!

Среди окрестных простаешей никто на легкую наживу не надеялся, потому и посмеивались над стариками — ну откуда бы в таежном озере взяться дворцу?

— Пущай не верють, — больше других обижался на чужое сомнение дед Воркуток. — Только волну чохом не собьешь. Могет быть, не дворец... А все-таки ктой-то живеть на дне, в самой глыбокой низине. Только об этом до времени никому знать не дано, и я не скажу...

Но к Воркутковой тайне мужики все же сумели подъехать тем, что привезли ему из дальнего извоза турецкого табаку. Затянулся Воркуток заморским зельем, стрельнул кашлем на всю улицу, перевел дух и удивился:

— Эко, холера! Не хужей самосаду.

Подарком этим он долго потом угощал стариков да каждый раз посмеивался:

— Чо?! До кишок продрало? С этого с турецкого дымку вы у меня само заморье увидите!

Не отпихнулся тогда Воркуток от мужиков, а принявши подарок, сказал:

— Айда, однако, робя, посидим на белом камне, пождем да послухаем, чего нашебаршит нам Акентьево озеро.

Ежели старый Воркуток, царство ему небесное, и набрехал тогда, то славно набрехал!

...Еще до времени великого переселения, когда потянулся из Расеи народ в Сибирь да стал обживаться в межозерье, на белом камне уже стояла убогонькая халупа старого Акентия.

Не за потраву посевов, не за падеж скота, не за какие другие горести нарекли поселенцы Акентия того колдуном. Видом своим уж больно не сходился он со всяким другим человеком.

Был Акентий тунгус — не тунгус, алтаец — не алтаец. Может, китайцы либо монголы в свое время тут побывали да обронили в тайге сибирской каплю крови своей?

Коли сравнивать, то монголы от земли высоко не всходят и выше себя не растут; алтайцы — те безбороды; а что про китайцев сказать, так эти в своей основе дробненьки да сухоньки, хотя множатся скорее других.

Никому из них Акентий-колдун во внуки-сыновья не подходил. Бог его знает, какого корню отросток, но только был он и строен, и высок, и бородища седая в пояс — будто полощена хозяином в синем озере! Нос орлом, брови моховы! Колдун да и только!

Ежели бы не раскосые глаза, можно было бы принять его за родовитого, но опального русского боярина. От Акентьевых же глаз тянуло какой-то степной дикостью и тайной.

Одним словом, являлся Акентий какому-то старому роду закатным лучом.

И еще в Акентии была загадка: немтырь его поборол. Люди считали его безъязыким и придумывали то, чего знать не могли, а хотели.

— Дык, это ж ему ватажье, поножовные брательники язык-то остригли, — говорили пугливые.

— От вра-ать! — вставали за Акентия смелые. — Сам он его скусил! Чтобы никомушеньки, при случае, не открывать великой тайны!

— Ы-ы-ы... Дура! Тебе скусить! Дикость вековая кляпом в горле у человека застряла, — оправдывали старика третьи. — Думать надо башкой, чо говоришь...

И летами, и зимами, и в солнцепек и в сузморозь ходил Акентий с непокрытой головой. А кто видал его на охоте, тот докладал:

— Так вот и полощет сединою по сквозному ветру.

Акентий не вот перед расейскими поселенцами пожаловал жить на Синее озеро. Должно, веками стаивали

на белом камне прадеды его и пращуры. Веками глядéлось им с высоты за темные леса, куда в снеготаянье тянулись на летование стаи терпеливых крылунов.

Походило на то, что с Акентием обрывалась его родовая жила, и теперь один-одинешенек высматривал он вдалеке последние свои дни.

Скорым летом стал Акентий ходить каждодневно по улицам новой деревни: идет вдоль домов; туда-сюда поглядывает. Глазами тянется за ограды, ощупывает встречных немым вниманием. А людей, понятно, знобит от его глядения. Кланяться-то они старику кланяются, но у каждого в груди жилочка поганая трепещется — чур меня! Иди-ка ты, нечистая сила, мимо. Тот, о ком ты соскучился, не в нашем дворе живет.

И ведь не напрасно тревожились поселяне — не зря ходил Акентий по деревне. Выбрал старик изо всех людей самого что ни на есть бесталанного парня — Кондратия Мешкова.

Хоть в больших дураках Кондратий никогда не состоял, но ездили на нем люди, веселясь, поскольку была в нем та самая простота, которая хуже воровства. Жил он между людей беднее обобранного, как верстовой столб на дороге: и не обласкан, и не прикаян, и в тулупе наг, и в пиру тверез. Люди только диву давались:

— На тебя, паря, и смеху не хватает, и жалости недостает.

Когда старик поманил Кондрата на Синее озеро, тот и спрашивать не стал — зачем? Распахнул глаза, лишь бы не споткнуться, и пошагал за колдуном.

Следом побежали ребятишки деревенские глянуть, что же Акентий с парнем делать собирается?

А те оба-два поднялись на белый камень, остановились рядом. Тут-то, обнявши парня за молодые крепкие плечи, Акентий вдруг заговорил простым, ласковым голосом:

— Это место, брат-Кондрат, хорошего человека любит. Кроме тебя, некого тут оставить. Так что будь моему дому хозяином и никому белого камня не уступай.

Впоследствии ребятишки, переживая заново страх да удивление, много раз повторяли — не отдавай-де белого камня!

Тогда и Кондратий от неожиданности тоже было попятился, отказаться от Акентьева подарка хотел, да не успел. И не один он, а и ребята видели, как метнулся

колдун с высокого белого камня и пропал в озерной глубине.

С потерей Акентия деревню будто вытряхнули из теплого мешка прямо в непогодь, будто в летнем саду взял кто-то злой и сломил самый лучший цветок. Людям стало ясно, что проглядели они прекрасного человека. А теперь хоть кукушкой взлетай на ветку да изливай земле сиротскую тоску.

Однако жить надо. Куковать-то кукуй, а про гнездо маракуй.

Стали жить дальше.

Большого счастья Кондрату белый камень не принес, но Акентьево подворье сгодилось парню — народ стал серьезнее на него смотреть — хозяин! А когда и невесту себе Кондрат в деревне присмотрел, вовсе признали. За добрым словом стали к нему ходить.

Но не успел Кондрат прожить человеком зарю да зорьку — вот она беда! Приехала кривая на косой. Поглянулось Синее озеро толстосуму — Савелию Брюхову.

Савелий богатый дом в уезде на самой широкой улице держал. А на белом камне захотелось ему соорудить охотничью заимку. Не столь, поди-ка, для охоты, сколь для барского выгула. И в Сибири тогда хватало всякого такого добра. Финтифлюшки, прищебетники, лизунчики — помогали баровьям чужое проживать.

— Этого нам в деревне только и не хватало! — сокрушались больше остальных матери невест, — на распутство нами только еще не глядено... Не уступай, Кондрат, белого камня!

— Не уступай, — вторили и остальные селяне. — Ежели что, мы за тебя всею деревней пойдем.

А Савелий не отстает от Кондрата:

— Я тебе столько денег дам — два дома поставишь!

— Нет! — уперся парень. — Сам я тут живу на птичьих правах. Что как Акентий возьмет да и воротится?

— Какой Акентий?! — беленился Савелий. — Ты чо, сдурел? Ты слыхал когда, чтобы с того свету людей отпускали земные споры судить?

— А ты? Нешто видел Акентия на том свете-то?

— Так ить все говорят, что колдун в озеро канул!

— Озеро — не тот свет, из него и выплыть можно.

Савелия Брюхова такой разговор только заквасил: обидою барин запыхтел, досадою через край полез. И то-

пал-то он, и деньги совал, и криком краснел... Кондратий же тихой водою капает свое:

— Нет, нет и нет!

Не вытерпел Савелий Кондратова упорства — хлестанул несговора ременным кнутом от уха до плеча. Кровь брызнула. Уж настолько Кондратий Мешков был некипятной парень, а и он огнем вспыхнул — схватил вилы, подогнал хлестальщика к самому краю белого камня, и ничего не оставалось Савелию, как только сигануть в озеро.

Кондратий думал, что напугал барина, да ить клещ рогов не боится. У того еще и одежка путем не просохла после купания-то, а уж он явился на Кондратьево подворье со двумя стоялыми холуями. Втроем-то они прижали Кондратия к стене: либо уступай место на белом камне, либо мы тебе черный на шею повесим!

Вынудили-таки Кондратия сорвать со стены охотничье ружье...

Сами трое только за деревней опомнились!

Однако барская правда на деньгах пасется. А на том выпасе мурава сытная. Завсегда правда такая пересилит бедняцкую.

Скоро казенные сизари прилетели и на глазах у всей деревни забрали Кондратия с собой. Хмурых же мужиков еще и по носам постукали: не вскидываться у нас!

Упекли Кондратия Мешкова скорым судом на дальние рудники, рубить кайлом неистощимую породу. Савелий же очистил от Кондратьева скарба озерный камень, все можное спалил, скотинешку никакую роздал своим угодникам и... уже работники-плотники пилят, рубят, строгают, мазальщики глину месят, тесаря — камень белый долбят, стараются. А баринов приказчик бегает по деревне — скупить мужиков норовит, Савелию подмогнуть.

Но ни один простак даже не подумал ухом повести в сторону зазывалы — хоть кучу денег сули, хоть две. И бабенки как сговорились: все повязались черными платками, будто глубокой печалью легла на них Савельева радость.

Понял Савелий, что под ним его же навоз загорелся; ежели так продолжать, то и волдырями недолго покрыться.

Стал он перед деревней улыбаться бегать. Но мужикам-то видно, что из-под Савельевых улыбок всякий раз

готовы клыки прорезаться. А там, гляди, и щетина поднимется на загривке. Ой, во-олк!

И все-таки построился Савелий на белом камне. С богатого своего подворья выдолбил он в камне лесенку прямо к озерной воде, от нижней ступени отвел к берегу откидные мосточки, чтобы можно было их убирать перед незваным гостем. Прежний пологий скат обрубил от камня долбежкою, и стала Брюховская заимка неприступной крепостью.

— Думали, что без вашей подмоги мне не построиться? — как-то спросил на улице Савелий мужиков. — О! Глядите! Скоро новоселье, а вы, дураки, приработок такой упустили.

— Ну что ж, — ответил Савелию из толпы бойкий человек. — Не спели на радостях, подтянем на веселье...

Не пустое молвил Савелию бойкий говорун. Его обещание вспомнилось в укромном местечке удалыми ребятами:

— Посветить бы надо Савелию нонешней ночью. Пущай к новоселью готовится.

— Как ему посветишь? В дом он нас с тобою не приглашал и не собирается. А ежели ему снаружи светить, так уж больно долгая свеча нужна.

— Хо! Есть такая свеча! — порадовал шептунов тот же бойкий мужичок, что с Савелием на улице перекинулся. — У белого камня лиственку долгую помните?

— Ну?!

— Ежели умело ее подпилить, она вершиною в аккурат на Савельеву крышку ляжет.

— И-и-и! — подивились сговорщики такой простоте. — Умно! Смола! Она, лиственка, будто в керосине варена. Хорошо гори-ит!

— Жалко! — сказал кто-то с обидою в голосе. — Помрет хорошее дерево.

— Ничо не поделаешь, — ответили ему со вздохом.— Другого выбора нету. Как мы еще-то Савелия доймем?

На том уговоре и согласились удалые.

Сошлись они к ночи, кто прихватил пилу, кто кресало, а кто и керосину для верности. И отправились к белому камню безо всякого шума.

На подходе видят мужички: стоит кто-то в тени лиственницы! Стоит и смотрит на савельевские окна. Вот нечистая сила!

— Брюхан караульного выставил, — ляпнул кто-то,

— Ну да! — не согласились с ним. — Кабы он о чем сдогадался, скорее бы дерево спилил.

— Твоя правда, — поддакнул третий. — Не одни, видно, мы заботимся о Савелии.

Стали они присматриваться.

— О! О! — поразились удалые, когда сторож повернулся к ним бородой. — Акентий!

— Господи, помилуй!

— Живой!

— А-та-та-та-та... Допрыгался Савелий Брюхов!

— Не зря его Кондратий колдуном упреждал.

— Не зря...

— Теперича и нам тут делать неча.

— Как это неча? Поглядим, что дальше будет.

Остались удалые глядеть.

Скоро на савельевском подворье затихла всякая канитель. И приозерный лес вроде стал похрапывать под ясной луною, и смотрельщики запозевывали, крестясь,— хоть ложись да руки под голову клади. Но когда Акентий отлип от лиственницы и неслышно стал огибать белый камень, чтобы подойти поближе к воде, глядельщики не то про зевоту, про осторожность забыли.

Однако Акентий даже не оглянулся на ясный шорох позади себя.

— Он чо, спиною видит? — подивился один смотрельщик.

— Понимает, видно, пошто мы тут оказались, — надоумил другой.

— Тихо вы, дьяволы! — шумнул третий.

Остановился Акентий у самой воды. Постоял, послушал ночной покой и потянулся руками вперед, будто, наскучавшись по милой сердцу вотчине, хотел обнять озеро по всему окоему. И засветилась навстречу ему озерная вода, и начала полниться под его ладонями радостным светом...

Чудилось удалым, будто бы кто-то живой сидит в черной глубине и одну за другой зажигает цветные свечи. Вот уж полыхнуло из воды и рассыпалось до звезд несказанное сияние. Колдун же, не отрывая глаз от сквозной глубины, подгребнул перед собою руками пустой воздух и подбросил его, будто вызывал из озера неведомые силы. И вот побежала от Акентьевых ног по тихой воде мелконькая зябь, восходящей волной докатилась до середины и стала подниматься горбом!

— Вот страх-то! — потом говорили другим изумлен-

ные глядельщики. — Щас, — думаем, — пойдет на берег вода стеною — хана! Всю деревню зальет! И знаем, что бежать надо, только ноги к земле приморозило.

Скоро вода стала опадать и расходиться на стороны неторопкой волной. Не успела она дойти до берега, как на ровной озерной глади увидели мужики светлый дворец. Да такой, который не нашими руками строился! Кабы можно было его пощупать, тогда бы глядельщики поняли, из чего сотворена была красота такая, что и смерть перед нею оказалась нестрашной.

Тут на дворцовое крылечко выпорхнула из двери махонькая девчоночка, будто рыбка золотая, заискрилась она своим сарафаном да кинулась бежать по воде, как по заливному лугу, прямехонько к старому Акентию.

Вот уж обхватила девчоночка его шею, смехом радостным звенит. А старик нагнулся к ней, шепчет что-то на ухо да показывает на темечко белого камня.

Должно быть, девчоночке-то не первый раз Акентия понимать — мотнула она головенкой и побежала к тому месту, где долбленая лесенка в озеро окунулась. Скоро уж эту стрекозу мужики наверху увидели. Весело помахала она колдуну рукой и скрылась в савельевском доме.

Шибко долго она не заставила себя ждать: вот уж ведет за руку прямо к воде самого Савелия Брюхова. А тот как спал, так и вышел на луну босой да в рубахе выше колен. Только на голове поштой-то шапка нахлобучена. Спросонья, должно, понимал, что одеться следует, да не сообразил до конца.

— Щас утопит, — шепчутся глядельщики.

Но не-ет! Ничего подобного. Повела девчоночка Савелия по воде, как сама только что шла. Сперва он все вздрагивал, но скоро осмелел и пошел босяка вытаптывать — может, думал, что сон видит. Девчоночка впереди торопится, а он приотстал, топотит. Когда же увидел, что она успела уже на крылечко взбежать, да еще и ларец ему навстречу вынести, — галопом попер.

На берегу Акентий-колдун даже засмеялся.

Взлетел Савелий на дворцовое крылечко и завертелся у ларца. Хвать-похвать! Ни карманов нету, ни пазухи. Хотел было длинную рубаху с себя стянуть — девчоночки постеснялся. Под рубахой-то у него одни родимые пятнушки были.

Ах ты, мать честная!

Давай Савелий тогда из ларца в шапку нагребать.

Девчоночка ему о чем-то толкует, а он знай хватает. Нагреб целую шапку, на пузо взгромоздил и бегом по воде домой! — успеть бы повторить этакую радость.

Но оказалось, что шапка не пухом набита. Савелий ее и на плечо вскинет, и на голову вознесет, и обратно на живот вернет. Даже с берега видать, как мужик уработался.

Где-то посередине пути Савелий сообразил, что не донести ему до берега ношу свою. Остановился он в досаде, оглянулся — назад вернуться, отсыпать маленько добра-то, но понял, что и обратную дорогу ему не одолеть. Да и светлый дворец стал уже под воду уходить: девчоночка с крыльца Акентию машет — прощается.

Глянул и Савелий в ту сторону, увидел колдуна, и повалилась из его рук шапка. Ударилась шапка о водяную гладь — покатился звон до самого леса. Хотел Савелий шапку поймать, да следом за ней и нырнул в поддонную глубину.

Напоследок вынырнул, заорал — в деревне люди слышали, но спросонья не поняли, в чем дело.

А над водою озерный туман поплыл. Затянул туман непроглядною пеленой недавнее сияние, канул в гуще его и камыш, и прибрежный сосняк, и Акентий-колдун...

Глядельщики сунулись было уходить, да куда ни ступят, всюду у ног береговая топь. Пришлось повременить. Когда же туман полег росою на приозерные травы, оказалось, что небо уже вовсю зарится, звезды зажмурились от раннего июльского солнца.

— Глянь-ка, робя! — шумнул один из мужиков. — Не то Савелий плывет?!

— Иде? — кинулись к берегу остальные.

— Да вона! Вон! Видите, вода усами расходится?

— И то! — теперь уж и слепые приметили темную точку на воде.

— Эт, твою судьбу мать! Подай-ка палку — щас я его встрену по башке, — встрепенулся самый бойкий.

— Погоди ты, стой! — успел охладить его ближний. — Ет же не Савелий! Помереть мне, не Савелий!

— Хто тогда?!

— Да нихто. Шапка Савельева плывет...

— Правда, шапка!

Покружилась шапка, будто живая, между кувшинок и, как щенок, сунулась в берег, где поспособнее было ее взять. Потянулся кто ближний, наклонился, причалил ее

к сухому месту. А она полна золотого добра — только через край не сыплется.

— Как же не потонула?!

— А ты у Акентия спроси...

Хотели бы мужички разом поднять шапку, да не тут-то было! Больно тяжела! Не то в воду — в землю можно провалиться от такой тяжести.

— Ого! — помянули мужики Савелия Брюхова. — Крепкий был барин — вода ему пухом. Не изработанный.

Всею деревней на то Акентьево золото выкупили селяне с каторги Кондратия Мешкова. Далеко успели загнать бедного. Так далеко, что и с этакой деньгою еле до него дотянулись. Вернулся Кондратий, женился и стал в откупленном у казны доме на белом камне жить.

Больше Акентия-колдуна никто не видел. Но памятку об себе ухитрился он людям оставить!

Когда у Кондратия Мешкова, после двух сыновей, появилась дочка, да когда она маленько подросла, так мужики, что были на озере в ту памятную ночь, распознали в ней знакомую девчонку. Как две капли воды схожа она была с тою, что увела Савелия Брюхова в Синее озеро.

ЗОЛОТАЯ ВОРОНА

В ту зиму застрял охотник Сувсей Пега на Лосиной заимке. Остыл, кашлем извелся. Какая уж тут охота? Теми днями на зимовье к нему и забрел тоже озноблённый крещенским[1] морозом скуластый чернокудрый малый.

Сперва Сувсей подумал, что скуластый лукавит, именуя себя Кузеваном Лихачем. Когда же тот отошел в тепле да посбрасывал с себя полушубок с поддевкою, рубец, что сползал от его затылка за широкий ворот рубахи, дал Сувсею заруку, что малый не врет.

От охотников Пега уже знал, каким манером оставил Кузевану такую толстенную подпись лохматый шатун, поднятый из берлоги не по-сибирски ранней оттепелью.

Был Кузеван дальнего села удалец, и хотя Сувсею

---

[1] Крещение — 19 января. Богоявление — небо открывается для молитвы; молись да исполнится.

раньше встречаться с ним не доводилось, о его охотницком умении наслышан он был до зависти. Страсть как хотелось Сувсею сойтись с Кузеваном на охоте да помериться удальством. Ему все казалось тогда, что Лихач не только в ловкости перед ним ущемлен, но ко всему еще и рыжий, долголицый да лопоухий. А тут предстал перед Сувсеем этакий коренник!

Все дело в том, что теми годами упивался Пега собственной сноровистостью в таежном ремесле. Так что Кузеванова слава стояла ему поперек горла.

Ну а что тут поделаешь? Всяк тянется, да не всяк растет.

Однако тайная его зависть не помешала Сувсею тогда, на Лосиной заимке, поразиться, насколько основательно приложился медведь к Лихачевой спине!

— Это чо, — отмахнулся Кузеван от Сувсеева изумления. — От медведя загинуть не грех. А вот ежели охотника да ворона заклюет!..

И Кузеван хохотнул столь невесело, столь крепко сцепил сильные пальцы, что в их громком хрусте почуялось Сувсею дело недоброе! Голову его вдруг опалила догадка: уж не Седая ли Охотница подкараулила молодца во безлюдье?

И разом припомнились ему наказы давно умерших стариков — предостерегали они молодых добытчиков, чтоб не ходили в тайгу поодиночке.

«Не приведи Господь напороться на ту охотницу!» — строжились знатохи. Силой ли, хитростью, вынуждает старуха всякого человека покориться ее воле, а покорив, оборачивается ведьма золотою вороною! И уж тогда, влекомый несусветной жадностью, ломится охотник следом за птицею по софрам да урманам. Загонявши глупого до полусмерти, ворона выклевывает у человека глаза, и тот погибает в тайге. А старуха через чужую смерть якобы вновь обретает молодость, а с нею и несказанную, всесильную красоту! И нет от ведьмы иного спасения, кроме как устоять против всех ее хитростей и соблазнов...

Очнулся от воспоминания Сувсей потому, что Лихач, сидя на чурбаке у печного тепла, ударил себя в колено кулаком. Надо было видеть тогда его лицо, кривящееся от невыносимого страдания. Но тут же он прикрылся от Сувсея широкой ладонью, крепко потер глаза и, поднявши их, сказал, будто выстрелил:

— Она это была — Седая Охотница!

И поведал тогда Кузеван о том чуде, к которому и сам Сувсей Пега вскорости оказался причастен.

Тем же предзимьем шагал Кузеван Лихач по правобережью Вагая. Ему надо было добраться до загаданной излучины, где на охотничьей заимке ждал его верный друг, старый ханты Кыпча. Пройти ему предстояло тайгою никак не меньше полусотни верст, и, хотя большую долю пути он уже успел отмахать, отделаться от остальной дороги завтрашним днем Кузеван не надеялся. Болота и урманы изматывали охотника неимоверно. Однако его подгоняло то, что по тальниковым заводям да камышовым низинам отлетная птица в любой момент готова была сорваться со студеной воды и решительно уйти в клин.

Как ни опасался Кузеван добраться до Кыпчи к шапошному разбору, однако дневной путь сильно уморил его. Невольно стал он приглядываться да подумывать, где бы ему обмануть приставшую к пяткам ночь. Выбравши некрутой ярок, спустился Кузеван паводковой промоиной к реке. Под береговым навесом оборудовал себе постель и, не евши, не разжигая костра, улегся на покой.

Уж было и задремал парень, когда охотничьим нюхом уловил дымный натяг по береговому галечнику. Смешанный с зыбким туманцем, дымок наплывал с верховья реки. А поскольку путь Кузеванов лежал от устья, поскольку никакого костерного отсвета им в дороге не было замечено, надо было глянуть, не пожар ли в тайге занимается?

Кто его знает — всякое может быть!

Подниматься на ярок Кузеван не стал, а запрыгал вдоль воды прямо по скользким камешкам. И тут, за кустарниковой извилкою крутого берега, пыхнул ему в лицо полным цветком молодой костер!

От внезапности Лихач даже вскрикнул и чуть с берега не оступился.

Хозяин костра, в аккурат черпавший воду из тихой до весны речной заводи, вздрогнул всем телом, но на Кузеванов голос не повернулся. Согбенно и тряско зашаркал он старыми ногами к огню, кряхтя, сел на валунок, спиною к незваному гостю. Кузеван же остался стоять, досадуя на свою неловкость.

— Отец, — виновато позвал он старика, — прости ты меня, дурака. Не хотел я тебя пугать.

Однако хозяин как сидел затылком к парню, так и

остался сидеть. Кузевану была видна неторопкая старая рука, что доставала из берестяного туеса свежие куски мяса и опускала их в котелок. А на Лихачевом месте будто бы стоял голый пень, а то и вовсе бестелесный дух, о котором старик даже не помышлял.

Нехорошо стало Кузевану, маятно.

Он уж собрался было уйти не солоно хлебавши, но вдруг обуяло его неодолимое желание запомнить настрого столь жадного таежника, что не нашел места у своего костерка для доброго человека. Запомнить да сказать другим охотникам, чтобы вперед глядели, кого они принимают в тайге у живого тепла!

Решивши так, Лихач обогнул костер, глянул хозяину в лицо и обомлел... В дымных лоскутах высокого пламени увидел он круглые, безвекие глаза грязной, патлатой старухи!

«Ведьма!» — сердцем понял Кузеван и разом вспомнил все разговоры о Седой Охотнице. Лихачевы же ноги сами по себе уже пятились от жаркого костра.

Одобривши разум ног, крутанулся парень бежать, да с маху чуть не угодил в огонь другого костра! — точно такое же пламя неожиданно вскипело перед ним прямо из-под земли, и такая же точно старуха впилась ему в душу сквозь дым желтыми глазами.

Ни сомневаться в своей догадке, ни надеяться на легкое избавление от ведьмы у Кузевана не оставалось никакой причины. Бежать было некуда — крутояр поднимался над заводью отвесно, а песчаная займа была отсечена от остального мира дымным пламенем костров. Разве что кинуться в Вагай да плыть на другую сторону? Но и подумать Кузеван об этом не успел, как расцвел перед ним, теперь уж из воды, яркий цветок огня! А за его полыхающим венцом трясла в хохоте седыми патлами все та же лупатая старуха. Ей, кашляя и задыхаясь, вторили остальные бабки.

Сколь ни смел, ни дерзок был Кузеван Лихач, а под стонливый хохот трех старух оробел, на месте затоптался. Изначальная же ведьма озорно ударила в ладоши и пропела масляным голосом в лад Кузевановой потерянности:

— А топы, топы, топы — да чо наделали попы...

— Радуешься — поймала? — озлился Кузеван.

— А чаво ж? Радуюсь! — согласилась бабка. — Середка довольна — краешки играють...

— Да ты погодила бы щуриться, покуда солнце не взошло.

— А мне годить ни к чему. Я ить не погодой сыта, а закромом.

— Бывают и закрома полны, да ключи у жены.

— Так ведь замок — вору не зарок.

— Слушай, старая! — надоел этот перебрех Кузевану. — Не пугай ты Полкана, не будет юбка драна. Еще ить до воды-то — три беды, а уж ты губы вытянула...

— Ну вы поглядите на дурака! — осерчала и старуха. — Ему кулак в рыло суют, а он об него нос вытирает.

— Правильно, — одобрил Кузеван бабкины слова. — Дурак, он глупостью смел.

— Ну, а коли ты смелый такой, чего передо мною топтуна пляшешь? Ступай своей дорогой...

И увидел Кузеван, что у заводи горит всего один костер и одна бабка следит за ним желтыми глазами.

«Только-то и всего?! — чуть было вслух не сказал Кузеван. — Стоило ли крышу разбирать, чтобы на месяц глянуть?»

Махнувши ведьме рукой — оставайся, дескать, лавка с товаром, — Лихач зашагал в темноту.

— Э-эй! — шумнула ведьма вдогонку. — Куда торопишься, куда спешишь? Спех-то — не смех, а вот наспех — на смех. Погляди сперва, каким уходишь.

Парень и сунулся к заводи — царица небесная!

При неярком отсвете костра увидел он в воде горбатого старика. Да так ли много было на его загривке того горба, что выглядывал он из-за плешатой вислоухой головы. А само лицо оказалось перекручено такими складками, что вспомнилась Кузевану помойная тряпка. От тошнотной слабости Кузевановы колени затряслись.

А старуха позади шеборшит:

— Не покоришься воли моей, таким на всю жизнь оставлю!

Вот когда выпало Кузевану: хоть в топь, хоть в трясину — кругом болото!

— Чо тебе от меня надобно? — повернулся он к бабке.

— Так-то, — усмехнулась старая. — Это уж другой разговор. А то куда там! — из куля в рогожку. Подойди сядь лучше! Потолковать надо. Может, и поладим.

— Ха! — не двинулся Кузеван с места. — Ладил серый в кошаре — до сих пор овец ищут.

— Еще раз дурак! — подосадовала ведьма. — Сам подумай: кому ты теперь такой-то нужен? Тебя ить даже мать родная и та во двор не пустит. А у меня к тебе надежною дело имеется. И не дергайся, а послушай. Я чо хочу сказать-то: слыхал, поди-ка, о моем богатстве? Так я золоту своему нового хозяина ищу.

— Зачем?!

— Время, батюшка, подпирает. Помирать мне пора.

— Вона! — сразу ободрился парень. — А грозилась меня стариком навеки оставить? Ежели тебе помереть, так и колдовство твое с тобою уйдет.

— Э, не-ет! — охладила Кузевана ведьма. — Не уйдет от меня моя сила, покуда не будет пристроено богатство мое. Так что один у тебя, голубок, выход — оставайся. Либо с добром оставайся, либо с горбом.

— Да-а, — не столь весело, сколь громко протянул Кузеван.— Значит, ты меня в хозяева своему золоту прочишь? Хм! Однако! Подумать стоит...

— Он еще и думать собрался! — подскочила ведьма. — Да ты хоть погляди, на чем стоишь-то.

Глянул под ноги Лихач — мать честная! Весь берег усыпан золотым песком, самородками усажен! И закипела в парне несусветная жадность. Так закипела, что обильной испариной выступила на лбу и стала заливать глаза да уши! Нутро высохло от нестерпимого жара, снизу же прожигало Кузевановы подошвы проклятое золото!

Желая отступить, подался Кузеван назад, да всею спиною и грохнулся в воду...

Когда же вынырнул Лихач из Вагая да руками гребанул, чует, — не плывет он вовсе, а волозится по земле. И тут он сообразил, что лежит на том самом месте, на той подстилке, что с вечера под яром себе наладил. Вот те раз! Ни ведьмы, ни золота, ни горба — ничего! Рядом веселой быстриной пошумливает Вагай. Большой зари нет, но звезды уже запотели. Наклевывается скорое утро.

Хорошо стало Кузевану, ажно детство вспомнилось с его такими же глупыми страхами.

Удивляясь да похмыкивая, принялся Лихач в дорогу снаряжаться. А долго ли голому собраться? Котомку подхватил, ружьецо на плечо вскинул — и уже в стременах.

Поднялся Кузеван паводковой промоиной на чуть сбрызнутый светом ярок, втянул утреннюю прохладу и

засмеялся тайге — вот, дескать, оно, мое золото! И передразнил свистом раннюю птаху. Но тут радость его осадил какой-то невнятный шум все за той же кустарниковой извилкою. Лихач прислушался. Только Вагай в рассветной тишине продолжал петь свою неуемную песню.

И все же Кузевану стало не по себе. Даже повернуться спиною к извилке зябко. Но дорога звала, и Кузеван покорился ей. Однако и трех шагов не успел он ступить, как тонкий детский крик взвился над рекою и захлебнулся в хрипоте. Полному томительной боли хрипу вторил довольный птичий клекот.

Все забыл Кузеван — и недавние свои страхи, и осторожность!

Теряя ношу, рванулся он враспашку к чужой беде, как лосиха на зов сосунка, и за излучиной на мокром песке увидел в предрассветном сумраке мальца лет четырех-пяти. Захлестнувши головенку руками, лежал он ничком и даже не вздрагивал. А кругом невыносимо густела злая тишина. И хотя никем больше не была обеспокоена, Лихачу казалось, что кто-то невидимый дышит ему в затылок, норовя проглотить живьем.

Кузеван принял мальца на руки и торопливо покинул поганое место.

Миновавши кустарниковую извилку, он малость успокоился. А когда ожили да потянулись к его шее детские руки, отстранил от груди мальчишку и глянул ему в лицо...

Глянул и захолодел!

С чумазой мордашки смотрели на него в упор желтые глаза старой ведьмы. А между ними креп и заострялся золотой вороний клюв.

Швырнувши прочь от себя этакую жуть, Лихач кинулся до ружья, но уже готовая птица догнала его и впилась когтями в шею.

...Чуя в птице силу неизбытную, ловкость несоизмеримую, слабел Кузеван и скоро осознал, что не продержаться ему до близкой зари. И перед столь нелепой гибелью вдруг завопила в нем сама природа. Даже тайга вздрогнула от Лихачевой боли. Вздрогнула тайга и отозвалась. В ответном крике с яру распознал Кузеван голос верного своего друга, охотника Кыпчи:

— Э-э-эй! Золота ворона! Давай ходи на меня — стреляй не буду... Бери мои старый глаза, молодой жалко!

И ворона оставила Кузевана.

Шум Вагая мешал парню разобрать, что делается на яру, а необоримая слабость не давала ему подняться на ноги. И все же, где на коленях, где ползком, Лихач добрался до промоины и наверняка поднялся бы на яр, не подвернись ему под руку шаткий валунок. Скатился Кузеван обратно и от свербящего нытья в плече отворил глаза...

Как и в первый раз, лежал он под ярком на мягкой подстилке, ныла занемевшая рука, ворковал под ранним солнцем довольный жизнью Вагай, обок покоилось с вечера оставленное ружье.

— Пфу! — плюнул парень садясь. — Черт те чо! Не то здесь какой больной дух из земли выходит? Отроду снов не помню, а нынче — хоть деньги плати.

И все же Лихач не пошел займою, как бы ему хотелось, а, упрямо поднявшись наверх, досконально оглядел весь яровой прилесок. Не обнаруживши ничего для себя заботного, Кузеван еще раз плюнул на ночные страхи.

Добрался парень до условленного с Кыпчою места уже глубокими сумерками. На подходе к заимке все больше нарастала в нем зябкая тревога. А память все настырнее повторяла суетного на обрывке Кыпчу и золотую птицу, яростно к нему устремившуюся.

Скоро Кузеваново сердце било в грудь, как в колокол.

Голова гудела. Этот гуд растекался по рукам и ногам хворобной тяжестью.

Сколь ни уверял себя Кузеван в нелепости предчувствия, однако на последних шагах окатила его такая немочь, что он привалился к сосенке.

Долго оставался Кузеван стоять поодаль от леснухи, все надеялся дождаться, когда Кыпча хоть чем-нибудь обнаружит свое присутствие на заимке. Однако ночь густела, и леснуха молча утопала в ней. Надо было что-то делать.

Волей-неволей направился Кузеван к избушке, да в темноте у поленницы березовых дров и наткнулся на лежащего человека.

Дольше долгого не мог Кузеван сообразить, пошто это Кыпча спит на холодной земле, когда рядом надежная изба? Наконец, приглядевшись к лицу дорогого друга, обнаружил на месте его глаз две глубокие пустоты...

С той поры повседневно терпел в себе Лихач неуемный спор душевной боли и здравого смысла. Ведь мог же

Кыпча потерять жизнь и другим манером? В конце концов, любая ворона могла его изувечить уже загибшего. С другой же стороны, такая страшная путаница сна и яви никак не давала Кузевану войти в себя.

— С кем ни заговорю о ведьме, — пожаловался он тихо Сувсею, — всяк принимает меня за полоумного.

— Да-а, — протянул Пега в ответ, только тем и умея выказать Лихачу свое понимание.

Собравши с полу остатные поленья, Кузеван поссовывал их в печь и, озаренный скорым огнем, сказал:

— Оно, конешно, мертвого не спросишь. А живая душа, может, и впрямь знает, чему вперед быть...

— Во! — хотел Сувсей поддержать в Кузьме умное рассуждение. — Ты же сам думал, что на Вагае нездоровое дыхание земли голову тебе замутило?

— А! — досадливо встрепенулся Кузеван, поднялся с чурбака и сердито промолвил: — Повело дугу в хомут! Страх-то... он и матери родной не верит.

Сувсей было вернулся ответить Лихачу на обиду, но покуда искал весомые слова, тот уж растянулся на нарах и сказал улыбчиво:

— Ну тя в болото! Не серчай. Просто не след человека передумывать. Давай-ка лучше спать.

Совсем было задремавши, Сувсей вдруг очнулся и сел на нарах. Кузеванов намек на его трусость, знать, достиг самого сердца, и Сувсей, прямо не евши, подавился. Однако, ничего не придумавши для покою, прилег обратно. Но сколь ни заверял он обиду свою, что утро вечера мудреней, это действовало на нее, как плевок на пожар.

И чего только не лезло Сувсею в голову.

Вот ведь дурь человечья: чем гаже, тем слаже...

Пришел он в ум, когда в зимнике стало зябко. От порога тянуло холодом. Было заметно при лунном свете, что толстые дверные доски продернуло инеем. Знать, январь взялся не на шутку. Надо было подниматься, оживлять в печи огонь. Но вставать и выходить на мороз не хотелось. Напялив полушубок, Пега остался сидеть на нарах, следя за Кузевановым беспокойным сном. Смотрел он и чуял, что в нем наклевывается непрошеная к парню жалость: непонятно как потерять дорогого сердцу друга, да еще маяться сознанием, что в странной его гибели в коей-то мере повинен ты сам, Сувсею бы не хотелось. Не зря же Лихача всего подергивало на нарах,

сводило и растягивало, словно с него живьем сдирали кожу, а он только всхрапывал и молчал.

И вдруг Сувсею стало понятно, что вряд ли выпадет иной случай потягаться с Кузеваном удальством. Да и не соперника вовсе ищет Лихач в тайге, а выслеживает самуё Седую Охотницу!

«А не пойти ли и мне искать старуху? — осенило Сувсея. — Найдем, не найдем ведьму — дело второе. Главное — я в себе определюсь. Хотя и Охотницу отыскать не мешало бы».

И опять он вспомнил, как старики говаривали, что сумевшему погубить седую ведьму перейдет пожизненно все ее богатство! А хранит она в подземных кладовых своих все золото таежного края.

Легко сказать!

Сувсей даже забыл, что в заимке сидит, — так его захватила нужда барином стать. Чего уж тут мороз?! Выкатился он из зимника распахнутым — волею дыхнуть! Луна во все небо! Снег под луною ажно дымится — горит! Пега его пригоршнею подкинул, а уж тот обратно на Сувсея золотом посыпался...

Бог ты мой!

— О-го-го! — заорал он что есть мочи.

И вдруг на Сувсеево сумасбродство отозвалась тайга нескончаемым эхом. А в ответ, за близкими соснами, кто-то разразился громовым хохотом!

Ноги Сувсеевы чуть на морозе хозяина не оставили. А у самого зимника отказали — пришлось ползти. Только через порог перевалить, кто-то Сувсея ка-ак жахнет в седло! Вытянулся он во весь пол, но силы в нем все-таки хватило дверь на засов заложить.

Не запомнил Сувсей, сколько держало его на полу такое расстройство. Когда же маленько отпустило, сказал он Богу спасибо, что Кузеван не проснулся, и, крадучись, стал пробираться до нар. Однако черт его дернул глянуть по дороге во щурное оконце зимника.

Видит Сувсей: шагах в пяти от окна стоит облитая лунным светом невыносимой красоты девка и грозит ему пальцем...

ОНЕГИНА ЗВЕЗДА

СКАЗОВАЯ ФАНТАСТИКА

ОТ АВТОРА

Фантастика — это нечто сродни желаниям различного рода магов проникнуть душою в миры неведомые. Однако фантаст не желает хранить своих открытий, в тайне.

Ко всякой степени мистификаторам я относилась весьма осторожно, если не подозрительно. По натуре своей я человек с потребностью все как есть «пробовать на зубок».

Но однажды чудо, которое доступно якобы людям немногим, посетило и меня. Иначе, как общение с Космосом. назвать я это событие не могу.

Судите сами.

Писала я сказ «Память выдумки». Алатырь-камень, вернее, сознание о нем в народе, меня завораживало с давних пор. Желание соприкоснуться с его историческим наличием в нашем мире зрело во мне исподволь. И вот настало время, когда моя душа вплотную приблизилась к желанию осмыслить обрывки тех преданий, которые и поныне хранятся в так сказать корневой системе человеческого разума.

Судя по доставшимся мне от людей проблескам былого, а именно:

...Как летел Алатырь —
море пенилось.
Как упал Алатырь —
Земля хрястнула...

Или:

...Алатырь-камень лежит,
без огня камень горит.
Кто его изгложет (т. е. изучит),

тот жизнь свою измножит.
Кто скрозь него пройдет,
тот сам себя найдет (т. е. познает)...

Одним словом, я произвольно разрешила Алатырь-камню упасть примерно туда, где и поныне лежат Васюганские болота. В ходе работы я обращалась ко всякого рода справочникам, словарям, историческим документам. В котором-то из них я обнаружила, что в определенном мною для падения месте некогда обитало племя Чудь. Не от Чудского озера, не от его народа, допустим, перебравшегося на житие в Сибирь, поименовано было племя. От слова — чудесное, необычное, исключительное.

Чем исключительное?!

Тревога эта заставила меня искать далее. И вот я налетаю на открытие! Оказывается, племя Чудь поклонялось Алатырь-камню!

Не чудо ли!? Не перекличка ли это с Космосом?!

Еще позже я узнаю, что при нашествии Ермака племя было напугано явлением иной веры. Потому оно тайно сотворило подкопы, тайно ушло под землю и похоронило себя заживо.

Воображением своим я не довела дела до трагедии. Через Алатырь-камень я пропустила чудесный народец в иное существование. Однако упомянутый сказ написан мною не о том. В нем другой сюжет. А именно — история появления на Земле исключительного народа.

Ко всему сказанному хотелось бы добавить еще одну особенность, связанную с этой работой.

Сказ был только что дописан. В нем параллельно образовано было два сюжета: событие мною домысленного стихотворного предания и ткань моего собственного произведения. Оставались некоторые доделки стилистического плана, как вдруг звонит ко мне Андрей Полунин (человек, изучающий старославянские заветы) и говорит;

— Я вот тут отыскал несколько досок шестого века; хочу проверить мои толкования на твоей интуиции.

И начинает мне читать двенадцатистишье первой доски. По сути своей оно вдруг полностью совпало с тем моим стихом, каким начат был сказ.

Чувство, близкое к ужасу, охватило меня перед глубиною нового чуда. Я не смогла продолжать телефонный разговор. Андрей, конечно, ничего не понял и повесил трубку.

Я же до сих пор никак не приду в себя от случившегося.

Подобное было со мною и при написании иных сказов, но об этом — когда-нибудь...

Таисья Пьянкова

ЛЕТАСА ГНУТЫЙ

В ночь на Ивана Купалу, когда деревенская молодь с хохотом да перекликами упевалась-уплясывалась на просторной пойменной луговине, уплескивалась в чистых струях реки Сусветки, когда в озорном ликовании полыхала она через высокие купальницкие костры, вдруг да разгрозилось небывалой грозою ясное небо.

Ну, чтобы не шибко больно врать, не совсем ясное. Просто в какие-то считанные минуты опальные ангелы приволокли из своей преисподни дурную гору только что испеченной тучи. Навалили они ее, горячую, живую, на хрупкие маковицы застарелой деревенской церквушки, сами унырнули в ее кипящее молниями нутро и резанули оттуда по избам, по-за околице, по заливной луговине так-таки адовым сплошным огнем, хлестанули золотыми во всполохах грозы струями ливня. Затем они со святых крестов шаткой храмовины сорвали вдруг черную громаду, ухнули напоследок многоствольным раскатом грома и ускакали на ней, будто на стае диких кобылиц, за леса-тайгу.

Столь великого неболома даже деревенской ведунье, бабке Куделихе, отродясь видывать не приводилось, хотя на мир Божий плутовские свои глазыньки отворила она, по словам ее, ажно при самом царе Горохе!

Когда очумелое эхо небесной катавасии перекатывалось где-то за тайгою, когда отмытые ливнем от пыли предгрозового вихря одноглазые звезды, а с ними и луна, повысыпали на чистейшую синеву небес да стали разглядывать обстрелянную молниями землю, тогда...

Тогда Ульяна Пересмехова, мельника Изота единственная дочка, и кинулась с Облучного яра в еще пенистые волны реки Сусветки.

Не-ет. Нет, нет. Топиться она не намеревалась: мыслимо ли вытворить над собою такую беду в шестнадцать от роду годков? В таком разе, пожалуй, надо быть поку-

санной всеми бешеными собаками сразу. А задумала Ульяна просто бежать из родимого дома куда глаза глядят.

И опять же — нет.

Не от отца-матери лютой, не от сраму какого наветного сполохнуло девку с крутого яра в пенистую после грозы реку. Кинула ее на гривастые волны последняя надежда, хотя бы таким путем спасти свою головушку от любовных притязаний ни с какой стороны не нужного ей ухажера.

Был в Чекмаревке, в деревне той, один, как говорится, ухо-парень, Генька Купырной. Тот самый Генька, сын церковного старосты, который с высоты больно легкого ума глядел на односельцев своих так, ровно бы видел перед собою захламленную всякими отбросами пустошь.

Оно, конешно, было, было чем этому губодую чваниться перед селянами. Не из его хилости, не из недороста состряпал ему народ увесистое прозвище — Кувалда. Генька не то что иные кряжистые мужики, которым от Бога было дано кулачищем в гуменце ронять на колени ярого быка — он открытой ладонью того же бугая, по тому же самому темечку с копылков напрочь сбивал.

При этакой силище, понятно, что с Геньки Купырного никто большого разума требовать не смел. Оттого-то Кувалда и распоясался до неприличия. Прямо сказать, ни перед каким в округе самым большим человеком кушака не затягивал. Разве что перед одной Ульяной Пересмеховой, да и то лишь с недавнего времени, торопился он брюхо свое подбирать.

Незадолго же до Юрьего дня, который во святцах падает на начало мая месяца, Генька доподбирал брюхо до того, что и ремень крепко затянул, и картуз чуть ли не на глаз навесил, и вот тебе — явился не запылился! Сам-один приперся он до мельника Изота в розовой своей рубахе просить за себя Ульяну.

Когда же потерянный Изот зазаикался перед Генькою, ровно перед грозным отцом шкодливый парнишка; когда стал он ласково отнекиваться от дуролома; когда взялся он уверять Кувалду, что для свадебной выпечки невеста, мол, еще не поднялась, Купырь набычился, постоял, поразмышлял, пошел и своротил с оси в речную падину намывное мельничное колесо. И осталась Изотова мукомольня мертвым призраком маячить над Сусвет-

кою, пригодная разве что русалкам для подлунных посиделок.

Неделю побегавши, Пересмех уговорил-таки семитку подходящих мужичков, выудили они ему, как говорится, с чертями пополам маховило из подколесного омута, на долгих веревках к берегу притянули. А вот насчет того, чтобы его разом насадить на прежнее место, тут уж никакая семижильная дружина пособить Изоту и не захотела бы, и не смогла.

Вот и выпала мельнику забота этакую-то многолопастную чертовину расклепать теперь чуть ли не до последней заклепки, чтобы после того мелкими частями собрать прямо на оси. Да ведь на ось-то Пересмех воробьем не вскочет. Для работы такой опора нужна. Потребуется в речное дно сваи вбивать, подмостки мостить. Выльется Изоту Кувалдино сватовство в копеечку. А сколько времени уйдет. Не успеешь оглянуться, страда подкатит, а там и обмолот зашумит. И повезут односелы пшеничку-рожь да на чужой правеж...

Ой, беда, беда!

Кроме того, у Пересмеха не было никакой отстрастки тому, что Геньку Купырного не принесет нечистая сила со сватовством своим и по второму, и по третьему разу.

Тут гадай-перегадывай, кидай-перекидывай, а все выходило у мельника: хоть мордой об лавку, хоть лавкой по морде...

Разор! Полный разор!

Стал задумываться Изот, стал смиряться в себе с тем, что не обойти ему с дочкою, не объехать лихой судьбы. Но нежданно Господь Бог услыхал горькие мельниковы вздохи да Ульянины горячие молитвы. Вдруг да нагрянули в деревню государевы посланники, похватали всех кряду неженатиков, поотправляли в дальние рудники — золото мыть. Генька, однако, успел через отца своего переказать мельнику, что, ежели тому вздумается за время его невольной отлучки выдать Ульяну за кого другого, пущай возврату его Пересмех лучше не ждет: воротится Кувалда и всю мукомольню по бревнышку сплавит в океян-море. Все!

Однако же, чтобы прыгнуть, надобно еще ногами дрыгнуть.

Отошел маленько Изот от страха, сказал себе: чему быть — время покажет, а как быть — сами постараемся придумать. Да только судьба-злодейка не отвела им и доброго месяца на придумку. Вскорости прямо из ухо в

ухо поползли два слуха. Первый через людей донес до Пересмехов то, что якобы на прииске золотом в догляде над руднишными надзирателями оказался родной брат чекмаревского церковного старосты — то бишь кровный Кувалдин дядька. Второй же доложил о том, чтобы Ульяна не мешкала, а поторопилась бы готовить подвенечный наряд: суженый, мол, ее должон возвернуться в деревню аккурат на Иванов день.

А Иванов-то день получался не далее как завтра.

Вот почему, когда на огневых веслах молний небесная гроза ухлестала в небыль, а земная, для Ульяны, рокотала где-то на восходе нового дня, девичье сердечко не пересилило горького предварения и кинуло хозяйку с крутого яра на вольные волны реки Сусветки.

Не знала беглянка, не ведала, что тою же самой минутою, когда река приняла ее в свои ласковые ладони, встречь ей из непроглядного заречного пихтовника вышел человек. Хотя насчет человека — надо бы немного погодить называть его так, поскольку из пихтовника на омытый ливнем песчаный берег Сусветки вышел невыносимого вида горбун. Казалось бы, что перед ужасом возможного с Кувалдою венца все прочие земные страхи для Ульяны успели померкнуть, однако и она, увидевши при луне выходца, замешкалась на плаву, перед самой береговою кромкою. Потом решила: уж лучше к черту в лапы, чем к дураку в руки. И вышла из воды...

Ежели б да имел тот горбун при себе кошель со звоном, вряд ли бы он случился ночным временем одинодинешенек в ночной, непроглядной тайге. Ежели б да умел тот горбун плавать, вряд ли бы он, судя по его умным глазам, решился бы видом своим пугать среди ночи кого бы то ни было. Ежели б да способен был тот горбун сказать Ульяне хотя бы одно внятное слово на гортанном, безъязыком своем языке, он бы сказал ей по-людски, что ему край как необходимо оказаться теперь же по ту сторону реки Сусветки, а не стал бы выгибать перед нею длинные пальцы ды тыкать ими во все стороны.

Нет, нет и нет! Ни деньгами, видно, которые пособили бы убогому еще до темноты отыскать надежное пристанище, ни умением плавать, ни простым человеческим словом несчастный горбун не владел. Да ко всему еще был он глух как пень. Сколь Ульяна ни старалась отнекаться от его мольбы, он все бил себя в грудь, все показывал через реку, все корчил молебные мины. А уж ка-

ким он, кстати сказать, оказался с лица, так легче, как у нас говорят, спихнуть с крыльца. Глядя на таежного этого выходца, можно было бы подумать, что его вот только что спекло молнией из корявой сосны, оживило пролетевшей бурею и выпустило из темноты пугать земных грешников.

Ульяна Пересмехова никаких особых грехов за собою не знала, потому и имела она душу чистую, отзывчивую. Душа ее звонкая и не дала ей воли отказать в помощи убогому человеку. Вздохнула добрая, кивнула согласно головою и поплыла через Сусветку обратно — за лодкою.

Когда Ульяна плыла вспять, подумывала все-таки: а может, и не стоило горбуну уступать? Может, не надо было жалеть этакую Божью фигу? Может, за какую за провинность непростительную столь безжалостно наказан человек небом? Но, когда она направляла плоскодонку в сторону своего милосердия, дума ее была уже настроена совсем на иной лад. Тут Ульяна рассуждала так — не след, дескать, земной твари да с небом ровняться: Богу гневиться, а людям смиряться...

Покуда Ульяна затихающую воду реки Сусветки туда-сюда бороздила, молодое веселье, упорхнувшее от грозы под кусты да навесы, вновь выпорхнуло на пойменную луговину, заполыхало озорной суетою, заново подняло высокие костры. Вот тут-то девки-парни и узрели на темных волнах Сусветки да на лунной ее дорожке лодочку-плоскодоночку. Тут-то они и признали в лодке Ульяну Пересмехову. Тут-то они и набежали к воде, зашумели, заокликали подруженьку:

— Кого везешь, Ульяна?

— Не с печки ль таракана?

— Да не царя ль Салтана?

— Не жениха ли пана?

— Да вы, чо ли, девки! — вдруг спохватилась в толпе какая-то шибко памятливая веселуха.— А и вздумайтесь-ка хорошенько. А и вспомяните-ка, чего Ульяне бабка Куделиха под нонешнее Рождество нагадала? А? Она же ей тогда нашептала вот чо: налетит, мол, погода через полгода, ливнем прольется, соколом обернется...

— А-а! И то... Ноне-то чуете,— враз полгода!

— Вона да... И ливень пронесся...

— И соколик в лодке...

— Эко диво!

Но стоило при свете костров горбуну в причаленной

лодке во весь рост подняться, как все шутки-озоровки, все угадки в единый миг забылись. И опять какая-то из девок не выдержала, охнула:

— Вот те пан! — из трубы упал...

И сразу же ее удивление, из-за перепуганной этакой невидалью толпы, досказал во весь голкий рот сам Генька Купырной:

— С шестка сорвался — гнутым остался.

Досказал и, довольный внезапностью появления своего, загрохотал по-над всею Сусветкою тряским хохотом. И получилось для Ульяны так, будто бы Генька и в самом деле приволок за собою новую небывалую грозу.

Да не только ей, а и всем остальным стало понятно то, что никакая гроза-молния все одно не испечет на земле такого таежного идола, видом которого можно было бы пусть не напугать, но, хотя бы временно, сшибить с высокого гонору Геньку Купыря.

А Генька, да в своей розовой рубахе, да в новых сапогах с лаковыми голенищами, да в картузé на одном глазé. Ох ты!

Прошастал гордый мимо девок-парней, остановился у кромки воды, на край лодки ногу поставил. Оглядеть Ульяну нужным не нашел. Озрил с головы до ног одного лишь горбуна, досмеялся:

— Ишь ты... соколко! Ажно в боках колко... А ну, головешка гнутая, мотай отселева! Быстро! Это я ноне,— покосился он неприкрытым глазом на толпу,— для Ульяны моей ливнем пролился, соколом оборотился. Моя година нагрянула судьбу свою с нею тешить. Сщас-ка я ее и прокачу туда, где невесты льют свои последние невинные слезы...

И еще целый воз мякины намолол Генька, покуда вальяжничал перед горбуном да рисовался перед всеми остальными розовой рубахой своей, картузом с пипкою да лаковыми голенищами...

Торопиться ему было некуда: все было решено, и точка поставлена... с его же кулак величиной.

Вот так!

К Генькиному несчастью, смотрели на его вавилоны не только удивленный горбун да насмерть перепуганная Ульяна — зорко следила за его выдурью и вся молодая деревня. И примечала она, видела: зря Генька выпендривается — не слышит его, не понимает таежный выходец. Хотя глазами уже щурится: видно, смех человека давит.

Ой, что будет!

Наконец и до Кувалды дошло, что ищет он на вехе орехи, что наступила, как говорят, пора дураками кидаться. Он и ласкани лопатней своей ручищи горбуна по высокому загривку: кыш, мол, отсюда, козявка гнутая, мельтешит тут перед глазами летунец всякий...

Он даже не посчитал нужным хлопнуть чужанина как следует: так себе, можно сказать, только гладанул его снисходительно. А уже те парни на берегу, в которых угода выше рода, успели на губу очень жирную хихикалку выпустить. Однако пришлось им тут же ее слизнуть да обратно вернуть, потому как хлопнутый не шелохнулся даже.

Это что же такое?!

Странно.

Генька собственным глазам не поверил, даже руку свою оглядел. Потом краем глаза по удивленной толпе скользнул. Потом изумление на лице Ульяны увидел.

Этого Генька даже Господу Богу простить бы не сумел.

Развернулся Кувалда — девки на берегу зажмурились. Ульяна застонала: пропал человек.

Но не довелось Геньке домахнуть своим молотом до цели. Горбун вдруг засмеялся. Да так ли славно, так беззаботно он захохотал, вроде бы Генькины наскоки показались ему забавной игрою. Веселясь, он перехватил Кувалдину руку, легко отмахнул ее в сторону и одним пальцем толкнул задиру в розовую грудь.

И вот те на — на брюхе спина...

В мокром да мелком береговом песке от Кувалдиной тяжеленной посадки великая выемка случилась. Пока он ловил по́рхнувший с головы его картуз, выемка успела наполниться водой. Кувалда ощупал себя, кликанул, точно подстрелянный ворон, и, вываливая свой толстый зад из столь позорной купели, зачадил матерью сквозь бешеные зубы. А когда он машинально определил на прежнее место кепочку да поднялся на ноги, все увидели, что от гашника до колен весь он мокрехонек, вроде младенца. Однако сойтись с таежным идолом на прямые толчки Генька больше не решился. Он быстро нагнулся, блеснул сырыми штанами, ухватился за край плоскодонки, чтобы единым махом перекинуть ее. Но горбун и на этот раз опередил купаного. Мигом рогатиной ног уперся он в днище лодки и таким ли винтом крутанул ее, что та ажно из воды на берег выпорхнула. Дьявол этот

горбатый одновременно изловчился поймать на руки Ульяну, не то бы она, в легкости своей, чего доброго на другую сторону реки упорхнула.

Что до Геньки, так его ли столь мотануло от берега, что он улетел на самый стрежень...

Выбрался дважды купанный из Сусветки там, где его ни в какой мере не доставал свет купальницких костров.

Все! Все и все. Кончились, отыгрались его никем прежде не пресекаемые выкрутасы. Вот она когда закипела на пойменной луговине безудержная радость. Вот когда:

Эй, дед-Столет —
в сорок шуб одет,
с припечка слазь —
веселуха началась!

Ой, хорошо! До утра времени — лопатой греби...

Гуляй, робя,
пока час не пробил...
Затевайте, девки,
новые припевки...

А как, вы спросите, Ульяна Пересмехова?

У нее, у бедной, от внезапного счастья маленько в голове помутилось и в ногах послабло: не до плясок-хороводов. Глупой телушкою ходит она за своим избавителем, в добрые глаза его заглядывает, корявым, что скорлупа старой сосны, лицом его любуется, по рукаву его гладит. Стоит ей только подумать, что чудо спасения может оказаться лишь короткой передышкою, как начинает она боязливо вздрагивать и жаться до чужанина. А тот смеется: доволен, видно, сторонним счастьем; рад тому, что ко времени оказался в нужном месте. Даже пытается вроде бы на своем ломаном языке успокоить Ульяну. И, что главное для нее, никуда больше не торопится. А ведь, будучи на том берегу, сильно поспешал. Словно бы только и торопился, чтобы Купыря перевстретить. Словно бы наперед знал, чему быть. А вот теперь дело сделал и похаживает себе по луговине, смотрит на молодые забавы. Похоже, что зрит он деревенское веселье да в первый раз. Все удивляется, все головой качает. Да так ли славно посмеивается — просто диво!

Ой, как все хорошо!

Но пора наступила — заалела на восходе зорька. Хоровод поредел, а скоро и вовсе рассыпался. Песельники стали настраиваться по домам. Тут Ульяна горбуна за

руку ухватила, не желает отпускать. Сама ему толмачит: пойдем, дескать, до нас — жить оставайся. На пальцах ему поясняет, сколь он ей, да и всей деревне, необходим. Втолковать надеется — не откажи! Отец, мол, у меня — отменной доброты человек. За кого захочешь, за того и останешься в нашей семье: хоть за дядю, хоть за брата, хоть за братова свата...

Вдалбливает Ульяна как умеет защитнику своему понятное желание, а девчата остатные да парни добрые стараются ей подсобить. Поддакивают, головами кивают: не брешет, мол, девка — правду истинную говорит...

За уговорами-толками берегом реки Сусветки не заметили молодые, как и до бескрылой Изотовой мельницы дошли. Отцу Ульянину, который проснулся от гомона да на крыльцо вышел, растолковали в чем дело. Пересмех и себе давай горбуну поклоны бить, руками давай изображать: позарез, мол, нужен ты нам, добрый человек, семье нашей беззащитной. Пойми ты нас, ради Бога...

Понял. Сообразил, наконец, что люди в беду попали. Головой согласно закивал.

Так и остался.

И у всех остальных просящих маков цвет на душе расцвел.

Минул Иванов день.

Новым утром, чуть свет, оторвались мужики-парни от крепкого сна, потянулись, почесались, поднялись, повскидывали на плечи острые литовки и пошагали-подались глядеть-пробовать дальние покосы, приноравливать руку до скорого теперь сеностава.

Вот ли шагается им идется да аккурат мимо Пересмеховой мельницы, и что же им там видится? А видится покосникам то, что Изот, на пару со своим гнутым постояльцем, уже и вешняк на высокой мельничной плотине успели поставить — воду в запруде поднимать.

«Оно, конешно, хорошо,— подумали себе покосники.— Очень даже славно. Не придется теперь-ка нам, с новым-то зернышком, по осеннему бездорожью до Кологривенской мукомольни — сорок верст киселя хлебать...»

Славно-то оно славно, но только еще и странно. Ведь травокосы не от какого-то забеглого брехуна, а от самого Изота Пересмехова узнали, что помощник его горбатый, сам-один, без каких-либо подмостков, прямо с пло-

тины, взял да и навесил на мельничную ось этакую махину наливного колеса!

Вот уж где «ух» так «ух»! Хватит на всех старух...

Они-то, старухи, и взялись потом больше всех остальных ладонями всхлестывать да удивляться:

— Это ж с какого-такого чугуна-железа надо быть человеку выкованным, чтобы мельничным колесом ровно пёрышком пуховым по-над омутом играться?!

— Ета ж какая наша удача, што Господь Бог души ему да ума больше моготы определил,— добавляла всякий раз к разговорам таким бабка Куделиха.— А ежели б Создатель горбуну, да как Геньке Кувалде, из дурного мешка сыпанул?!

Да ведь и правда. Что было бы, когда бы чужанин этот стосильный маленько бы головой недозрел? Избави Бог!

Но нет. И делами, и, особенно, глазами добрыми вселял он в людей полное к себе расположение. Только не в Геньку, конечно, дважды купанного. А что сказать, к примеру, о Павелке Дрёме, о недавнем выпивохе-подзаборнике, так тот вовсе было потухшими своими моргалами вдруг да разглядел себя в горбуновом взоре нужным на земле человеком. А ведь никто из Павелкиных односельцев уже и сомнения в себе не держал, что скорый, распоследний в своей жизни денек, Дрёма этот, некогда перворазрядный каретный мастер, завершит в какой-нибудь свинячей лыве.

А что после горбуна сотворилось с пропивохой?

А сотворилось с ним то, что напрочь растерянное по кабакам ремесло вдруг осознал он не только в руках, отвыкших от работы, но и в прокислом от беспробудного похмелья разуме.

Это все так. Все правильно. Только тут попробуй уяснить себе, что же с Дрёмою сотворил таежный выходец? Казалось бы, ничего особенного он с ним не делал. Просто шагал как-то горбун мимо ивана ёлкина[1] и увидел — собаки человека обложили: гляди, обхватают! А тот — ни тяти, ни мамы... Только мычит да слабо руками водит — похоже, отмахивается. А мужичье вокруг пьяное потехою взято. Ажно взопрело — хохочет.

Порасшвыривал горбун собак, подхватил потешного, за собою поманил. Остальным пригрозил — не ходить следом.

---

[1] Иван ёлкин — кабак, шинок.

Увел он Павелку за недалекий от пересмеховской мельницы Облучный яр и там принудил испоя долго-долго смотреть себе в глаза.

Этой смотрельней Дрёма уработан был так, что забрала его немочь почище любого хмеля — мертвецом-таки на землю свалился.

Когда же очухался он на предзакатном ветерке, тогда и осознал в себе одну лишь добрую сторону жизненного своего предназначения. Все наносное, срамное, виноватое подчистую было из него выбрано, выскоблено, вымыто, и половики новые постелены...

Сам же горбун в тот раз еле-то еле до Пересмеховых добрался. Обессиленный свалился он на лежак в боковухе, которую отвел ему Изот, и взялась его лихоманка трясти. С неделю, бедный, мотался в бреду, все что-то клокотал на немом своем языке, корчился от боли так, словно горели в нем и никак не могли сгореть Павелкины грехи. А то вдруг взмахивал он руками, подавался грудью вперед, готовый как бы улететь, но падал на спину, выгибался и стонал. Можно было подумать, что горб его нарывал, как громадный чирей.

Деревня была обеспокоена горбуновой немочью. И хотя люди не желали ему смерти, однако же были забедованы тем, каким таким путем удалось горбатому чужероду навести полный порядок в Павелкиной натуре? Сам Дрёма на этот вопрос ничего понятного ответить не сумел. Пытался он, правда, доказать людям, будто бы горбун поменялся с ним душою: отдал Павелке свою, мечтательную, крылатую, в себя же принял Павелкину, изъеденную грехами, навроде червивого гриба. А тело, дескать, горбуново, не привычное до гнили, взялось противиться перемене такой — вот и горит оно, и выгибается. И гореть будет, покуда худая в нем Павелкина душа не переродится в чистую.

Люди слушали Дрёму, да не верили:

— Ври, но знай меру,— говорили.— Как это может статься, чтобы душа человечья воробьем порхала. Сам ты ничего путем не понял. Проспал. А потому не сочиняй.

Поверить-то Павелке никто не поверил, но получилось так, что именно с его фантазии стали именовать горбуна Летасою — на теперешнем языке, выходит, мечтателем. Затем как-то само собою добавилось к этому имени Кувалдино изначальное определение, и получился из таежного выходца Летаса Гнутый.

За то время, покуда Летаса Гнутый вспорхивал руками — порывался улететь с горячей своей лежанки неведомо куда, Кувалда торопился разгуляться по улице по деревенской. Туда идет — поближе ко дворам одной стороны держится, обратно — другую только локтями не задевает. Руки у Геньки на пояснице под широким пиджаком сцеплены. На морде прямо-таки царский указ написан: кому-де охота узнать, какой в указе смысл, ступайте ко мне поближе — мигом растолкую...

Разве тут не начнешь думать о Летасе, как о человеке, посланном свыше? Разве тут не станешь бояться, что горбун и в самом деле может оставить грешную землю да упорхнуть в небо?

Но так думали одни селяне. Другие же говорили обратное:

— Господь за добрые дела не карает. Это черти Гнутого вяжут. Задолжал чего-то им дьявол этот страшный.

— Не-ет,— успоряли первые.— Ежели б да Летаса состоял во дьяволах, тогда доложите нам, сделайте милость, с каких это пор, с какого времечка на земле нашей развелось такое сатанье, которое подвязалось бы загибших людей на человеческую дорогу выводить? Не-ет! Тут дело похитрее будет. Об нем надо бы думать оч-чень сурьезно, да и не нашими головами...

Оно и в самом деле: таежному мужику-тугодуму завсегда было привычнее делом размышлять. Не зря же он сам об себе и по сей день говорит, что русским глазам не верится — дай руками пошарить. Только и расшариваться-то больно долго не было у него поры: заботы со всех сторон тянули да рвали его, точно дурные собаки. А разумению, чтобы до смекалки добраться, покой нужен да тишина. Но ведь смекалка — штука нетерпеливая. Без дела она быстро закисает. Тут и подворачивается ей какая-нибудь несуразица. И начинает она на кислятине свою стряпню заводить — из чужих круп да нашу кашу варить. И такое, порой, свинячье едало выстряпывается, что разборчивому человеку никак невпроглот.

Ну так ведь... разборчивому.

А наш Федот и голик сожрет.

Как при таком деле не вздохнуть да не дакнуть? Как? Ведь за чужой хлеб терпением, за чужой ум согласием платить надо. От жизни такой на совести большая оскомина образуется; не оскомина — жернов!

Об этот пронзительный нарост и прилетает птица-молва точить свой поганый клюв. При этом душа в человеке криком кричит, а все! — не увильнешь. Сплетня — ловчиха имкая.

Ну, а в случае с Летасою Гнутым? Тут кому шибко сильно заохотилось свинячей стряпнею людей накормить? Разве надо объяснять? Разве и без того не понятно, что засучил на это дело рукава Генька Кувалда? Занемоглось ему изо всей, насчет Гнутого, недодуманности соорудить себе подставочку на ту верхушку, с которой так просто спихнул его Летаса.

И взялся Генька обидою своею, словно присоском, прилепать до всех. Взялся намеки строить: рановато, мол, братцы, на полатцы; горбунова, мол, заступа еще покажет вам рожки с хвастиком... Уж тогда-де вам подсыплю я жара — на три пожара...

Все верно. Ежели подумать толком, то и в самом деле: Летаса — человек пришлый. Упадет ему мезга[1] на мозга, он поднялся и подался. А тут стой — не брыкайся.

Вот уж когда Кувалда напустит деревне угару — тошно станет безо всяких чертей.

Не только грозными посулами смущал Генька не больно-то надежный покой односелов. Могло ж и такое случиться, что Летаса в тайгу не уйдет. На этот случай и надо было Кувалде убедить людей в том, откуда ж все-таки в горбуне такая невероятная сила? Кто и зачем передал ему столь хитрое умение — из дерьма человека лепить?

И вот.

По буковке, по запятой, по долгой строчке добрался Кувалда до точки. Состряпал он и для себя, и, в первую голову, для людей такую отгадку: а ну-ка, присмотритесь, мол, повнимательней, разве не замечаете вы, что загорбок у Летасы Гнутого, после случая с Павелкою, подрос? Разве не соображаете, что чужое избавление от грехов ему самому горбом выходит? Кто и за что Летасу столь страшно наказал? Не догадываетесь? А я понимаю.

Одним словом, изо всех догадок вокруг Летасы обрисовалась такая картина: все та же нечистая сила, под видом горба, присобачила до загривка Летасы Гнутого этакую суму из человечьей обычной кожи. И столь хитро сума прилажена, что никаким острым оком не то про-

[1] Мезга — каприз, необъяснимое поведение.

рехи, стежка малого не отыскать. Оч-чень тонкая работа! Молодцы, черти пузатые! Умеют портняжить.

А повесили они на Летасу живой этот мешок в наказание за то самое к людям добро, которого горбун никаким путем не может в себе побороть.

Откуда оно в нем завелось?

Об этом бы надо сбегать чертей спросить.

Но главное для Летасы наказание не в том, что его огорбатили, а в том, что, с каждым добрым делом, заплечье его полнится, тяжелеет. И ежели Гнутый не прекратит пособлять всяким изгоям, то тяжесть горба скоро прижмет его до земли. Тут и налетит косматая братия, и распотрошит горбатого, ровно дохлую курицу... Ить черти не могли придумать ему наказания без пользы для себя. Так вот, ежели опередить чертово племя, да загодя вспороть Летасово заплечье, то, перерожденное из человеческого дерьма, песком потечет чистое золото! И хватит его да всей деревне на сто лет. Еще и на то хватит, чтобы на Зазоевском горище храм Божий поставить. Деревенная-то церквушка, гляди, завалится...

Так-то.

Ждать, когда золотое заплечье прижмет Гнутого к земле, никак нельзя. Опередить надобно подземную артель. Хорошо бы для того навалиться на Летасу всем миром. Поскольку ему не дано делать людям зло, вынужден он будет отбиваться осторожно. Тем временем хотя бы Кувалда к нему со спины подскочит да и чиркнет по горбу...

Ну, насчет того, чтобы всею деревней обложить Летасу, Купырь покуда мыслил в одиночку. Знал, что селяне вряд ли поторопятся такое исполнять. Тогда Генька взялся прикидывать другим боком: не надежнее ли будет выкрасть в соседней деревне Урванке плотника — Сысоя Бузыканова. Сысой тот носил на себе ту же самую лихую славу, от которой горбун избавил недавно Павелку Дрёму. Был Сысой из пьяниц пьяница: прямотаки на худом кармане дырка. А поскольку жена Сысоева, Панева Бузыканиха, была бабой доброю, то и жалела Летасу-то, боялась просить его насчет своего окуска. Кроме того, бабенки ей осторожно говорили:

— Мало ли от кого через горбатого лекаря передается человеку благодать! А вдруг да придется квитаться? Потерпи пока, может, чего и прояснится...

Однако же Генька, уверовавши в свою золотую выдумку, решил дело с Бузыканом обделать не мешкая.

Скрасть Сысоя. Приволочь его хмельного до Изотовой мельницы и поставить Летасу перед безвыходностью. Самому ж укараулить, когда горбун обессилеет, чтобы взять его голыми руками.

Э-эх! Мать честная! Все мы в наших мечтах при звездах. Кабы такое да въяве удерживалось, сколько бы генералов на свете развелось! Один бы другого генералистей!

Что до Геньки Купырного, тот бы прямо в первый ряд вышел. Однако сбудься выдумка его насчет Летасы, он бы, скорей всего, наглухо в избе своей затворился — мерил бы золото. Ить сколько бы кружек насыпалось! А ежели ложками мерить?! А наперстками?! С ума сойти!..

Сойти окончательно с ума не дозволяла Кувалде величиною со скалку опасливая заноза: что как преисподняя артель невидимо сторожит горбуна?! Ведь вот и люди... До кого бы Генька ни сунулся насчет Летасы, всяк находит причину отговориться: дескать, нашему коту какая беда ловить дрозда — он и мышами по горло сыт... И еще... Ежели, мол, да всем в тузы, кто будет ломать картузы?..

Но и теперь имеются среди нас такие люди, которым говоришь — здрас-те, они же в ответ — некуда класти...

Вот и Кувалда не нашел в себе места принять на душу разумные слова. Даже наоборот — злиться стал: ышь, мол, осмелели-то как — в советчики лезут. Ну, погодите у меня... Уж и погляжу я скрозь выгоды свои, сколь оно будет чисто — ваше нынешнее душевное солнышко, когда я на него победителем уставлюсь. Так что... не боись мне, Бог, дать с кулак горох — все одно раскушу...

И раскусил... заяц волка.

Плевать Кувалда хотел на всякие там бабьи толки, на мужичьи советы. Он даже Дрёму не задумался из своего дома шугануть, когда Павелка пришел было упасть до Геньки в ноги: хотел просить-умолять, чтобы тот и в самом деле не натворил бы сдуру над Летасою Гнутым беды.

А зря шуганул.

Зря не захотел он маленько да чуток послушать Дрёму. Ежели б он посидел, потолковал бы с каретником, узнал бы от Павелки то, что горбун никакого самородного золота в себе не носит. За эту правду Павелка отдал бы голову на отсечение. Отдал бы он ее еще и за

то, чтобы никому не открыть настоящей Летасовой тайны.

Относительно тайны Дрёма даже заикаться не собирался перед Кувалдою. Только Генька и первого-то откровения выслушивать не захотел. От упоминания одного только имени горбунова в голову ему ударила кровь, и каретник опомнился уже за оградою...

Ну что ж... Чему, говорят, быть, тому и морем не обплыть... А чтобы неминуемое случилось, надо все творить так, как душа требует. Ей же, распоясанной, самое милое дело поглумиться над кем-нибудь. И не дай Бог, ежели нет рядом подходящего кого. Она же своему собственному хозяину в кровь сердце изгложет.

А ведь больно.

Ну вот. Что делать Геньке? Воли своей ни на кого теперь не наложишь — зла не сгонишь. А тут Сысой Бузыканов, запойный плотник из деревни Урванки, с ума нейдет.

Настроился-таки Кувалда уворовать Бузыкана. И уворовал.

Со стороны леска, будыльником высоким до Сысоева огорода стервец долез, дождался в закате, когда Бузыкан за стайку выскочит, и помаячил ему из-за прясел баклажкой-милашкой. А тому-то дураку... радости — чуть из порток не выпрыгнул. Огород перескочил, ботвинки не согнул.

Утемнили они оба-два лопухами да чернобыльем, в лесочке ухоронились, там и налил Купырь Сысоя как есть до самых ноздрей.

Вскинул он этого, бутылкою раненного, к себе на хребет и попер прямиком до Чекмаревки. Потемками до Изотовой мельницы подкатил, кинул запойного только что не на крыльцо Пересмехам, сам дремотой уже деревнею поскакал за своим цепным кобелем...

Хотя Сысой был в стельку пьян, а сообразил — както бы защитить себя надо. Стал омахиваться, кобель, понятно, разъярился. Утробным буханьем собрал с деревни всех вольных собак. Поднялась свара...

Пока Пересмехи проснулись, пока разобрались, кто кого на берегу Сусветки дерет при звездах, пока Летасу растолкали...

Тот, правда, в один миг позашвыривал косматый самосуд в кипящую луной Сусветку. Когда же наклонился над обхватанным собачнею Бузыканом, не мог не застонать.

Помогли Изот с Ульяною обмыть испойному измазеканное кровью да грязью лицо, руки ему сполоснули. Летаса велел помощникам ступать домой, спать ложиться, сам поволок Бузыкана все за тот же Облучный яр.

На яру же, в кустах черемушника, уже сидел караулил горбуна Генька Купырной.

Тем временем в деревне Урванке Панева Бузыканова Сысоя хватилась: куда хозяин подевался?! Мужик, понятно, мимо рта ни свою, ни чужую чарку не проносил. Однако убегом от жены праздника себе никогда не делал. Всегда, как путный человек, скажется Паневе: я, дескать, пошел. Но чтобы молчком — никогда! И потом... какой бы сопливой козявкою Сысой ни отваливался от застолья, домой обязательно приползал. У него, должно быть, внутри рычажок был какой-то поставлен, который отпускался с крючка только в своем дворе.

Тут же... на вот! Никуда мужик не настраивался, только за сарайку завернул. А в преисподнюю у них там дверки нету, чтобы взяли черти и уволокли Сысоя.

Сперва Панева ходила, из-за ограды выглядывала мужа, потом побежала рыскать по крапивам-коноплям, по канавам заглядывать. Бог его знает, может, благоверный ее уже и до подзаборной степени допился? А когда потемки деревню накрыли, вынуждена была Бузыканиха по избяным оконцам стучать, спрашивать:

— Егор, ты мово бражника не видал ли?

— Корнеюшка, милостивец, сусляк мой тебе на глаза ненароком не попадался?

Когда это Паневе посчастливилось отыскать того человека, который спросонья, почесываясь да позевывая, сумел упомнить да сказать ей:

— Навроде видал... Навроде кто-то кого-то ташшил... Навроде Кувалда твово кулика[1]...

— Ой, да что жа ето такое?! Да разве от Геньки можно добра ждать,— ударилась в голос Панева и понеслась берегом Сусветки до Чекмаревки.

Не добежавши чуток до Облучного яра, Бузыканиха вдруг споткнулась о сонного человека и признала в нем Сысоя. Взялась было руганью да толчками опамятовать свого зюзяку, но только тут разглядела она поодаль Летасу Гнутого. Разглядела и все поняла. А понятным ей стало то, что горбун только вот только завершил над ее Сысоем свое исцеляющее колдовство. Потому-то и та-

---

[1] Кулик — пропойный человек.

щился Летаса по береговому песку нога за ногу. Заплечье ж его вздулось настолько, что голова горбуна была пригнута чуть ли не до колен...

Дотащился Летаса кое-как до прибрежного окатыша, присел безо всякой воли на тот камень, схватился руками за голову и... зарыдал.

Панева — баба была из добра добрая. Захолонуло в ней сердце. Не смогла она кинуться до несчастного человека, хотя бы пожалеть его. Чужое отчаянье обезволило бабенку. Она тихо опустилась рядом с беспамятным Сысоем и себе заревела. И тут Панева услыхала, как под яр, из кустов черемушника, посыпалась шепотливая, злая матерня Кувалды.

Впервые петухи пропели, когда Летаса поднял от ладоней тяжелую голову. Панева ждала, когда горбун побредет в сторону мельницы — собралась скрытно проводить его до Пересмехов, чтобы Генька и в самом деле не натворил с ним беды. Но горемыка, поднявшись, покачался на слабых ногах и вдруг потащился прочь от жилья.

Не приметив унырнувшей за яр Паневы, он проволокся мимо похрапывающего на песке Сысоя, дотянул до брода, перехлюпал на ту сторону реки и подался прямиком в густой, непроглядный пихтовник.

Может, намеревался, до наступления полной лихорадки, травку какую лечебную в тайге для себя отыскать? Кто его знает.

А немного погодя узрела Панева, как ниже по течению завсплескивала вдруг Сусветка лунной волною, как метнулась тем берегом Кувалдина тень, как слилась она своей темнотою с лохматой непроглядностью тайги.

Хорошая была у Сысоя-плотника жена. Хотя и шумливая. Только и со своим шумом всегда уместная, как весенний ливень.

Махнула Панева на своего благоверного беспечной рукою: никто-де сокровище мое не умыкнет, и понеслась будить Изота с Ульяною. Так вот прямо и запалила она весь пересмеховский дом стуком да криком:

— Какого лешего спите развалились?! Ето пошто ж вы такие беззаботные? Пошто заступника своего на произвол пустили? Ить, случись с ним беда, Кувалда не меня рядом с собою под венец поставит. Ну, что глаза вылупили?! Бегите, спасайте Летасу. Ить горбун теперь-ка и от воробья не отобьется...

И хотя вконец переполоханная Панева кричала много лишнего, однако Ульяне хватило и того, что, о Летасе говоря, она не забыла и Генькино имя упомянуть да не помедлила при этом показать рукою на заречный пихтовник.

Быстрее птицы-ласточки полетела Ульяна смурным лесом-тайгою. И ведь, скажи на милость, ни разочку она не споткнулась в темноте, ни одного предела в поспешности своей ногой не зацепила. Вроде бы даже коленчатые да ползучие корневища вековых лесин заувиливали перед ее полетом, пни-колоды расползаться взялись. Ни единая веточка даже не подумала ухватить ее за косу девичью.

Только лишь пихточки-подросточки, шаловливые Ульянины однолетки, осмеливались погладить сверстницу на бегу, а потом долго махали ей вслед мягкими своими лапками...

Похоже, что сама Ульянина судьба торопилась-бежала поперед хозяйки; похоже, что она, услужливая, и не дозволила тайге замутить Летасовой выручке горячую голову да хотя бы на малую малость отклонить ее от взятого направления. А ведь с Паневою Бузыканихой да Изотом Пересмехом тайга особо не миндальничала, строгого норова своего не меняла. Мало того, что поиссадила их, пообщипала, точно лиса курят, так ведь закружила-увела чуть ли не в другую сторону. Как такое могло случиться? Вроде бы и луна была старательная, только что на нос им не садилась. Ведь, ей доверяя, можно было бы до самого Китая добежать не заблудиться. А вот поди ж ты! Бывает, что и веник стреляет. Зато Ульяну, повторяю, будто бы кто за руку вывел на просторную среди пихтача прогалину.

Она еще путем-то и не успела на ту елань выскочить, а уж молодыми глазами разглядела Кувалду. Вот он с той стороны поляны вылазит из чащи лесной; пыхтит, волокет одним захватом чуть ли не целый воз дрому. Здоровый все-таки бугай! — хоть роту пугай. Свалил сушняк кучею посреди прогала и повторно в трущобу полез. Хоть и без того навалил ворох — черту не перепрыгнуть.

Зачем сушняк понадобился Геньке? Уж не с Летасою ли рядышком решил он посидеть у костра, по душам потолковать? А вот Летасы-то как раз где-то и не видно!

Опушкой елани, где зайцем, где лисой, заторопилась

Ульяна оглядеть прогалину скрозь — тут ли где горбун, или куда подевался?

Так вот же он! Вот! Никуда не девался. В траве лежит, словно смертью напоенный. Запнулся ли в немочи своей да так и не поднялся? Генька ли догнал его да оглушил? Что же Кувалдою тогда задумано? Быть не может того! Господи! Это ж подумать только, какой может быть в человека да кощей зашит!

Догадалась Ульяна, что Кувалда намеревался предать Летасу огню. Это чтобы и следа не оставить от злодеяния своего. Скажет после того людям: в тайге, мол, разминулись с Летасою; ступайте, мол, поищите, куда ваш покровитель сбежал. Нешто Кувалда не выпотрошил горбуна? Видать, дотумкал все-таки кощей, что золото в человеке не может рождаться. А то и сразу понимал...

Все это думала Ульяна уже тогда, когда рывками старалась оттащить Летасу подальше от поляны — упрятать его в лесной глуши. А там, глядишь, и отец с Паневою подбегут. Каков Генька в душе своей темной ни князь, а большого шума и царь боится...

Тащит Ульяна Летасу, задыхается, дрожит в ней каждая жилочка, а дело не больно подается: тяжел горбун, ровно бы и в самом деле чистым золотом набит.

Тащила, оглядывалась — не наскочить бы на пень, а тут вдруг и уткнулась во что-то. Не разгибаясь, глянула за себя — ой! Сапоги лаковые посреди лесу стоят, поблескивают. Поверх голенищ порты добротные навыпуск. Еще выше — рубаха розовая. А там и картуз набекрень...

— Чо? Не узнала? — стоит лыбится Генька.— Зачем пуп-то надрываешь? Мне ить,— говорит,— жена плодовитая нужна. А ну, пусти — пособлю...

Отшвырнул он Ульяну от Летасы, будто кошшонка малого, баграстой пятернею зацепил беспамятного за шиворот, перевернул и на горбе, как на полозе, поволок его обратным ходом.

Что могла Ульяна сделать? Отчаянье, правда, толкнуло ее забежать вперед Геньки.

— Пойду,— кричит,— за тебя своей волею, только оставь Летасу ради Бога!

— Нашто мне твоя воля? — отвечает зверь.— Ты мне супротивная-то куда как слаще.

— Тогда,— задохнулась Ульяна,— слушай последнее мое слово: сгорю заодно с Летасою, а тебе не достанусь.

— Фю-ю! — свистнул Купырь.— Во как! — налился он кровью да хвать девку за косу.— А ну-у...

Мигом располоснул на ней сарафан, широкой лентой подол от него отсек, ловко прикрутил Ульяну до старого пихтача и руки за лесину загнул.

— Гляди! — сказал.— Сщас я с твоим горбатым разделаюсь, а уж потом сама понимаешь... Уж больно я изголодался по тебе...

Да-а! Посреди елани таежной сушняка целый омет. У Кувалды до гашника огневица прицеплена: тут и само огни́во, и серничек, и трут. Все предусмотрено, все на месте. И ведь хотя бы какая-нибудь поганенькая тучка на небо набежала. Не-ет. Луна выкатила такая расщекастая, будто на убой кормленная. Заплыла жиром и никак не может понять, что же делается на лесной поляне.

А на поляне... вот уже Генька поднял Летасу, вот уже закинул на кучу дрома, вот уже насовал меж хлыстов сушняка смоляных веток пихтовника, вот уже и огонь на них посадил...

Ульяна бедная обвисла на своей привязи. Когда бы не исподняя на ней холщовая рубаха, сарафаньи гужи кожу б наверняка просадили — так врезались они в тело.

Померла ли девка?

Нет. Не померла. Сердце-то совсем еще молодое.

Глядит, как может.

И видит Ульяна. И Генька тоже видит. Летаса Гнутый поднимается посреди уже заупокойного завывания пламени. Встает легкий, словно из костерного дыма сотворенный, и, всем телом искрясь, начинает извиваться заодно с высокими языками плотного огня. Как бы подставляя жару то один, то другой бок, он отходит в огневом танце от своей горбатости, разгибается все прямее, подбирается все осанистее. Могучий его заплечный нарост прямо на глазах растекается по всей спине...

Вот, словно прокаленная жаром головня, весь Летаса берется ярым огнем, да не сгорает, хотя сильно курится. Густой чад взвивается над ним, но сразу не рассеивается, а образует над костром смутные тени: не то уродливые, неказистые духи ночи, очищая от себя горбуново тело, в черной злобе своей еще пытаются кого-то напугать, не то надеется перед небылью как-то бы сохранить себя та тьма грехов человеческих, которая, немного, и прижала бы навсегда Летасу Гнутого до сырой земли.

Дымные тени лишь на короткие минуты задерживаются над пламенем. Жаром костра они тут же подхватываются и уносятся в лунную высоту, а там верховым ветром развиваются в полное ничто.

Вокруг же Летасы бушует прямо-таки водопад огня. Он явно принуждает горбуна убыстрять извивы тела, корявая кожа на котором начинает трескаться и отпадать кусками, словно скорлупа железной окалины. Из-под нее все проглянее проступает чистое, молодое тело.

Последним в огонь отвалился от Летасы панцирь, прикрывающий горб. Рухнул целиком. Тут же всплеснулся над костром целый взрыв огня и... огромные, отливающие чистым золотом крылья выхватили Летасу из пламени, подняли над таежной еланью. Ликуя, он взмыл к самым звездам, живительным смехом своим облил тайгу, но опомнился, спохватился, быстро сложил крылья, стрелою ринулся с высоты прямо на костер. Не долетел, чуть распахнул позолоту удивительных парусов своих и уложил их за спиною лишь тогда, когда ноги его мягко коснулись земли.

И тут у Кувалды побелели со страху глаза. Быстро-быстро заработали колени. Лаковые сапоги понесли Геньку прочь от елани. В тайгу. Во мрак. Далеко б, наверное, ускакал он, да трусость подвела этого семипудового зайца. Не дала она Геньке заметить того, как под ноги ему кинулось старое, но крепкое корневище. Со всего маху благословился Кувалда челобешником о близкий ствол пихтаря. Башки, правда, не раскроил, только и ума у него не прибавилось. Но, как говорится, и смерть на что-то сгодится. Забыл Генька, навсегда забыл, что когда-то жила в нем лихая воля над людьми куражиться. Стал он после того ни мерин, ни телега...

Но в тот раз, в пихтовнике, показалось ему, что не только его голова, а и небо заодно лопнуло.

Не зря показалось.

Панева Бузыканиха да Изот Пересмех, выбегая из тайги на огонь костра, тоже увидели, как располоснулся небосвод прорехою летящего света. Однако дохнувшая прямо из зенита непроглядная туча в момент расклубилась над землею и поглотила собою все: лунную высь, таежную прогалину, костер на ней и самих глядельщиков.

В полной темноте Бузыканиха с мельником услыхали шум огромных крыльев и улетающий в высоту чистый, счастливый смех.

Затем ветровой порыв сорвал тучу с тайги, вернул на небо луну, и Пересмех с Паневою обнаружили у пихтаря Ульяну. В одной исподней рубахе она все еще была притянута гужами до корявого ствола. К ногам ее было положено огромное настоящего золота перо.

ЧЕРНАЯ БАРЫНЯ

Ах ты, смерть,
ты хозяйка радушная,
всех ты, смерть,
привечаешь, всех жалуешь:
и старых, и малых,
и болявошных,
и скупых, и глупых,
и стоумовых...

Причет на похоронах

Ну и что же? А то, что, бывает, и черт помогает. Наступило времечко — отдала сатане душу вдова купца Сигарева, Алевтина стал-быть Захарьевна. Да не беда, что померла, беда — страху навела. Ох же и досталась ей смертушка лютая — сохрани нас и помилуй, царица небесна!

А вспомнить?

Какой раскрасавицей заявилась эта Алефа в село Раздольное! В то самое село, которое и доныне прислушивается ночами, не черная ли барыня бродит под окнами...

Перед Алефиной красотою даже собаки рты поразевали. И никто из ротозеев не опомнился тогда спросить-узнать, из какого такого теста, чьим таким неземным умением сотворена да выпущена в мир божий столь колдовская пригожесть, что и вздохнуть-то при ней глубоко казалось опасным: вдруг да атласная белизна кожи ее отпотеет да померкнет?! Ой, какая большая досада получится! Не лучше ли маленько затаиться да потерпеть?

Но не больно-то долго выпало селянам любоваться Сигарихиными прелестями. Скоро им самим глаза испариной позатянуло — настолько сквозно понесло от красавицы студеным ознобом. Недели путевой не минуло, а народ уже успел понять, что берестяная белиз-

на Сигарихина тела натянута на ледяную болванку ее души.

Как она попала в Раздольное? В Раздольное доставил ее уже упомянутый купец Сигарев, Кузьма Никитич. Женою доставил, а не какой там шабалою[1]. Он же раскрасавицу свою Алефу умудрился на свою голову отыскать где-то ажно под горою Белухою, что высится посреди синего Алтая.

Близ той Белухи, по приискам, Кузьма Никитич всею куплей-продажею заправлял. Он вообще-то, купец Сигарев, от самой Катуни до Сосьвы, и ниже Сосьвы, пользовал товарами все Приобье. А она, Алевтина Захарьевна, не будь дурою, взяла и охомутала богатого мужика. Сигарь к тому времени вдовцом ходил. Хорошую жену похоронил. Страдал как умел, Алефа его и приголубила. Новой, однако, Сигарихе было желательно ходить под Богом состоятельной вдовою, нежели под взглядом захворавшего великой ревностью Кузьмы Никитича каждодневно изображать полное смирение.

Да-а. Баба захочет, и Господь не отстрочит.

Так оно и получилось.

Вечор купец Сигарев жил-здоровал, а поутру купца да воробей склевал. Был да сплыл Кузьма стал-быть Никитич. Будто бы спорые до дела руднишные старатели взяли да смыли его с лотка в протоку пустой породою.

А подкузьмила Кузьму его же любимая забава. Нравилось Сигарю заводить в парной бане гулянку.

И ничего тут не поделаешь. Ведь исстари подмечено, что всяк своей охотою дурак. Она и у Кузьмы Никитича имелась, своя шаль. Накатывала шаль на купца всякий раз да в жаркой бане. Пар, что ли, ему густой на бешеное место давил? Обычно тороватый Сигарь вдруг да начинал хорохориться перед голыми гостями, схватывался за ковш — кипятка черпать... Сыпались тогда сорюмашники его через порог да оборванными бусами скакали-рассыпались по задворному бурьяну. Хозяин же вдогонку им разбойно свистал да горланил во все горло:

— Э-эй! Шерстоногия! Не зацепитесь...

Ну и дальше чего-прочего советовал. Такие порой наказы выдавал, какие не всякому слушать полезно.

Разгонит этак Сигарь хмельно компанию, сам воро-

---

[1] Шабала, шебальница — потаскушка.

тится в парильню да свалится дрыхнуть на высокий полог. И не приведи тогда Господь сунуться кому до Кузьмы Никитича с делом каким неотложным — захлестнет, имечка не спросит!

Обычно отходил он от «парильни» своей жаркой только лишь поутру. В просторном предбаннике полным черпаком заливал в себя загодя припасенной медовухи, хакал так, ровно слегу через колено ломал, затем одевался, топал прямиком на кухню, где ждали его дымные щи да круто заваренный чай. После щей да чаю долго сидел купец, отдувался с короткими смешками встряхивал косматой головою; похоже, выгонял из нее память о вчерашней потехе...

А на этот раз, когда случилось непоправимое, уже и медовуха в предбаннике скисла, и щи в кухне ледком подернулись, и чаек сдох — Кузьма Никитич все не поднимается с полка, все не хакает над пустым ковшом, не встряхивает буйной головушкой. .

Что же затишье это самое значит?

Как же затишье это самое толковать?

— Господи, помилуй и пронеси, — шушукается по углам испуганная дворщина.

Алевтина ж Захарьевна, не перетерпев ожидания, вдруг да посылает увертливых приказчиковых двойнят заглянуть в парильню:

— Прошмыгните-ка, быстрые, узнайте. А я вам по денежке подарю...

Побежали шустрые, прошмыгнули-глянули. И повело у них у обоих глаза враскос. Оказалось, что лежит Кузьма Никитич врастяжку, не дышит — спекся купец на сырой полке.

Засуетилась, забегала дворщина, запричитали бабы, загудели мужики:

— Очадел наш батюшка Кузьма Никитич. Угорел, кормилец. Осиротил молодую женушку...

Да чтоб бы вы полопались от жалости!

«Сирота», конечно, не высказалась вслух. Она лишь только глянула на скорбящих жутким своим глазом, но все сразу же услыхали, как жикает по двору осенняя мухота...

Ну а потом?

Потом обнаружилось, что банная труба завалена дерниною. И место, где чье-то злое усердие острым заступом вырубило подходящий для трубы пласт, отыскалось. Тут же, сразу за пригоном.

Только прок-то какой с того, что отыскалось? Рук-то своих за пригоном злодей не оставил. Ну, а без улик и корова — бык. Выходит, что поймали — охапку ветра. Вот и суди тут, гадай, хоть пень бодай. Толку-то.

Купец Сигарев, будучи когда не первым, то уж далеко и не последним на сибирской стороне торговым хозяином, случилось, за немалую жизнь свою наследников не заимел. Потому-то полновластной хозяйкою накопленному покойным Кузьмою Никитичем богатству и становилась отныне красавица Алевтина Захарьевна.

Не бойтесь. Неожиданно свалившаяся на Сигариху этакая золотая тяжесть не придавила ее. И убиваться над столь ранним вдовством она, понятное дело, не стала. Чуток да маленько погодила, плечиком белым дернула, губки свежие надула, повела гордой бровью...

И все это проделала она, глядя на родовой, давно тронутый прелью сигаревский особняк. Затем Алефа чихнула на него основательно и, усердным проворством наемных мастеров, за недолгий срок отгрохала себе такие ли хоромы, какие не у всякого князя отыщутся. Только лишь просторных горниц оказалось в доме нагорожено столько, что сосчитать их было невозможно с одного захода. Тут чужому человеку надо было бы ходить как в тайге — зарубки делая. Более двух десятков голландских печей для угреву да три высоких чувала[1] для фасону холодным временем года с таким прожорством заглатывали поленья, что Алефин истопник Кирилл Нетопырь, прозванный так за крайнюю тугоухость, перебарывал в себе молчуна да жалобился косноязыко дворнику Ермолаю:

— Ни-ка-ко-го просвету... Рупи, пили, сапрякай-понукай... Минуты не выпатает лоп перекрестить...

Хотя новый Сигарихин дом отстоял от Раздольного верстах в полутора, хотя построен он был среди густой зелени березовой рощи, однако пристальное к нему внимание держалось в народе постоянно. И самый основной людской интерес прикован был вовсе не до Алефиных горниц-светлиц, не до ненасытных чувалов и даже не до бархатов-шелков, не до прочего пышного барахла, первозимком поплывшего обозами до Сигарихиной усадьбы,— а до каменного ее подполья, выложенного подо всею барской хороминой.

Стены того глухого подземелья кладку имели ажно в

---

[1] Чувал — камин.

пять кирпичей! И все как есть это тайное недро было поделено опять же каменными стенами на отдельные клети. В каждой такой клети не имелось будто бы привычной для человека двери. Когда же Сигарихе было необходимо, стены те перед хозяйкой сами будто бы расступались. Кроме того, разгородки эти могли, ежели случился в подземелье кто-то посторонний, своей охотою сотворить для него ловушку и замуровать на веки вечные.

Вот оно как!

Была ли эта сказка правдою, или сама Сигариха для отстрастки придумала страшную жуть, никто понять не мог. Но всякий знал, что подземелье ее каменное никаким выходом на широкий двор не открывалось. Поговаривали селяне, что лесенка в его недро этпускалась откуда-то изнутри дома и уходила она туда из какого-то потаенного закута, нисколь не приметного для любопытного глаза.

И еще люди говорили, что сотворить этакий каземат пособили Алевтине Захарьевне какие-то, похоже, иноземные, юркие мужички. А руководил ими чуть ли не сам сатана. Оно и в самом деле: крутился при постройке дома вкруг Алефы какой-то пучеглазый живчик. Хотя и дохленьким он был с лица, и синеньким, чуть не фиолетовым, но страсть проворным. Он-то и заправлял делами, когда подземелье орудовалось; все лопотал с Сигарихою на ином языке. А когда пошли в рост бревенчатые стены дома, пропал. Будто бы его хозяйка обидела чем. Артель его юркая сруб под крышу подвела и тоже разбежалась. Ну и черт с ними. Были б денежки, найдутся и девушки...

Ну. Это ее забота.

А вот для народа самым интересным оказался такой вопрос: как бы это хотя б одним глазком заглянуть в подземелье да узнать, сколько ж Сигариха в надежную, каменную темноту от великой изворотливости покойного Кузьмы Никитича золотишка засыпала?

Да-а. У нас всегда... охота до пота, забава до слез.

Конечно. Случись вопрос этот разрешимым, желальщикам заглянуть в Алефины закрома выпало бы не один день простоять разинувши рот.

Принять на себя хлопоты торговых дел, заменить собою приказавшего долго жить Сигаря Алевтина Захарьевна не пожелала. Потому она магазины, все лавки, склады с товарами и прочую купцову движимость-не-

движимость пустила с молотка, а сама окончательно осела в Раздольном.

Ну и вот.

Кроме Кирилла-истопника да Ермолая-дворника была Алефою нанята в новую усадьбу еще целая орава прислужников. Хоромы ее барские надо было кому-то в порядке держать, стряпней заниматься, подворье доглядывать.

Но вот какая странность: долее потемок Сигариха никого в доме своем держать не хотела; работники ее, разве что кроме Кирилла Нетопыря, расходились в закате по своим дворам. И от этой особенности в людях также накапливался голод удивления.

Мучимые им, селяне придумывали Бог знает что. Поговаривали, что красавицей-барыней обычный земной сон никогда не владеет и потому ей вид спящих был невыносим. А кто обратное предполагал: вроде бы Алефин сон настолько живой, что, будучи сонной, она может подняться, к любому человеку подойти и выболтать сокровенное. Понятно ли такое? Ну, а еще... Еще перешептывались о том, что якобы с заходом солнца Сигариха принуждена чуть ли ни всякую ночь спускаться в каменное подземелье свое и там... Там Алефа колдует, выкрикивает заклятия, вызывает из ниоткуда всякую погань земную, которая ради золота готова поить ее своею нечистой кровью.

Ой, Господи!

А ведь молва уверяла: пьет! Пьет стаканами!

Чтоб ты захлебнулась!

И чем больше наливается Алевтина Захарьевна дьявольским этим хмелем, тем проглядней становится ее тело. В какой-то миг оно делается столь прозрачным, что даже через самое толстое платье можно увидеть, что внутри Сигарихи живет махонький, да черновяной, да весь морщинистый гаденыш. И научен природой он якобы своею ловко перебирать Алефины жилы. Этим самым умением он и принуждает ее делать все, что ему потребно...

Такою страстью Сигариху будто и наградил тот самый дохленький мужичонка, который бегал-командовал сооружением каменного подземелья. Не за обиду в отместку наградил — по сговору. Сама она, добровольно, согласилась послужить гаденышу скорлупою, покуда тот доспевает до нужной добы. Ради него она и кровопийцею стала.

И все это в обмен на долгую молодость, неустанную красоту и вечный достаток.

Вот какое жуткое сочинение сложилось в народе на основе Сигарихиной скрытности.

При кипении домыслов, подогретых общей тревогою, в народе образуется особое чутье. Оно-то и способно быть всевеждою.

Да и не бывает вершка без корешка.

К докладываемой поре Алевтина Захарьевна была уже не первой весны ласточка. Однако же перед ней зафрантились не только спелые женихи, но и недоросли и синегубые вдовцы-перегарки, те самые, которые, точно косарь в засуху, готовы были выкашивать даже пустыри. Запоезживали до Алефы и семьями уже заказанные вертопрахи.

Чем черт не шутит...

Все эти легостаи перед Алевтиной Захарьевной прямо-таки и думать позабывали, что когда-то они были рождены на белый свет людьми-человеками. Во храме Божьем и там (прости ты меня, Господи, грешного) крестились они не на образ Христа-спасителя, а на гордый затылок красавицы-вдовы.

А той хоть бы хны.

Сигариха никогда не отказывала себе в удовольствии поиграться прихвостнями своими, словно задористый пацан бараньими бабками.

Частенько заводила Алефа потеху на широкой прогалине посреди березовой своей рощи. И чего только не загадывала она прихвостням! И вперегонки-то она их стреноженными пускала, и петь-то она им вразнобой повелевала, и пляс на четвереньках они у нее отчубучивали...

И чем срамнее у кого выкамуривалось, тем занятней утеха складывалась для Сигарихи, тем заливистей хохотала она...

А вот как она хохотала?

От этого от ее смеха, должно быть, и зародилось в людях подозрение, что в Алевтине Захарьевне кто-то сидит, потому как смеялась она только одним нутром. И хотя в момент веселья Алефа старалась прикрыть лицо ладонями, однако же кем-то было замечено, что утробное ее веселье доставляет хозяйке невыносимые муки.

И все-таки от затей в березовой роще красавица-вдова никогда не отказывалась.

Но самой основной забавой служила Алевтине За-

харьевне такая придумка: время от времени назначала она своим приспешникам состязательство...

Пожалуй что нет на земле человека, который бы не знал, что кукушке впору все гнездушки. Да вот только не всякий способен ответить: отчего эта серая бездомница в одно место никогда второго яйца не кладет? Всякий раз новое ищет.

Точно так, для примеру, поступила и Алевтина Захарьевна.

В назначенное ею состязательство, от начала до конца, входила сплошная драка. По первому дню Алефины воздыхатели сходились стенками, по пяти человек с каждой стороны. А уж на другой день ломали друг дружку отборные дураки.

Добровольные эти мордобои многих состязателей доводили не только до потери любого края, но и до утраты, порою, всякой возможности попытать столь сомнительное счастье по другому разу.

Названным счастьем считалось то, что Алевтина Захарьевна изо всей оравы потасовщиков подбирала для себя временного, если так можно сказать, супружника. А чего уж она там ночами да в пустом своем доме с ним делала, и до нашего времени осталось загадкой. Однако же от работников, которые наводили в хоромах лоск, люди всякий раз узнавали, что ни утром, ни днем добудиться до Алефиного хахаля было никак невозможно; под ним, говорили, даже кровать храпит. А ежели кто из них и просыпался на короткий миг, то, кроме пьянки, ни шиша не помнил...

Что до Сигарихи — она бодрствовала как ни в чем не бывало.

Когда же Алефа утоляла тайные свои страсти да когда избранник ее допивался до такого состояния, что переставал узнавать самого себя, Сигариха снабжала его огромными деньгами и отпускала на все четыре стороны. Условие было для всех одно: никого из них и никогда Алевтина Захарьевна видеть больше не желала.

Условие это было оговорено загодя. Потому, безо всякого дополнительного спроса, истопник Кирилл валил орущего песни испоя в крытый возок, понужал сытых лошадей — и все. И возвращался Кирилл обратно очень нескоро. Возвращался, докладывая хозяйке:

— Дело сделано.

Такой исход опять же настораживал людей. И все-таки притязателей на Алефину ненадежную руку не убав-

лялось. Но, похоже, пылкость свою сочиняли они в себе не столько до самой красавицы-вдовы, сколько до ее большого золота. Такая любовь действительно неугасима. Вот и липли до Сигарихи обожатели, ровно мухи до недельного мяса.

Когда все названные затеи Сигарихе надоедали, она вдруг назначала день — принимать всякие необычные подарки. Оценкою старания на этот раз служило то, насколько сильное в Алефе удивление вызовет любезное подношение.

Ох и старались угодники! Многие тянулись из последних сил, точно лещи за красной наживкою.

Но как-то по весне, когда ожидался большой прием, когда с подарков уже сдувались последние пылинки, лещам этим хлыщам пришлось вдруг вылупить рыбьи глаза да зашлепать в обиде гнутыми губами:

— Что ж это Алевтина Захарьевна? Из памяти нешто выбилась? Нам в стремена велела, а сама? Снова да опять ускакала одноверха. И все до Яровой носит ее.

— И у меня к тому полный короб интересу. Затеяла ездить кланяться перед каким-то холопом. И чего бы это ей от бражного стола да побираться?

— Дык с того с самого, — влез в громкий у Сигарихиных ворот разговор дворник ее Ермолай, — что ить старый-то и розан не по глазам, а молода-то она и крапива красива...

— Ты б нас лучше надоумил, какая такая прям-таки розовая крапива вдруг да выросла в зачуханной деревёшке?

— Большо ли дело подумать да самим вам сдогадаться? — отвечал Ермолай. — С осени хто до Гаврилы Красика в работники прибился?

— Демьян Стеблов?!

— Быть не может! В дерьме рощен, помелом крещен... — затараторил, ажно покраснел, один из «розанов» и привязался до Ермолая: — Не хочешь ли ты сказать, что породистого рысака да смердова телега объехала?!

— Так это... смотря какой рысак, — ухмыльнулся дворник, а потом хохотнул. — Бывает и тако, что и в ложке глубоко. Иной кочеток и кречетка за вороток...

— Но-но! Ишь ты! Поехала... бабка за пригон. Всякая скотина и туда ж — до овина...

— Допекло нешто? — с издевочкой спросил Ермо-

лай. — А чо тогда срамишься? Демьян Стеблов эвон какой стояк — не тебе свояк. Он зимою у покойного теперь Арефиня за два глядка всю кузню перенял. Только ты не думай, что Алевтина Захарьевна поезживает до парняги в молотобойцы напрашиваться. А то лаешься стоишь... Собаки-то наши эвон... на всяку ночь брешут, а не единой темноты покуда еще не прогнали. Терпют. А куда денешься?

Легко сказать — терпеть! А ежели от терпежа да по всему сердцу швы расползаются? Тогда как?

Вот они зафыркали на ветер и запрыгали чуть не выше головы...

Да ты хоть до неба прыгни, а все одно погоды задницей не прижмешь. Алевтина Захарьевна и в самом деле повадилась до Демьяна не гвозди ковать. Понятно, что заскреблось в ней нутро втянуть молодого кузнеца в игру свою поганую. Только новая-то Алефина «игрушка» оказалась с бо-ольшим секретом: никакими стараниями, ни с какой стороны не находила Сигариха в Демьяне места — запустить пружину.

И еще.

Подбирать до загадки подходящий ключик мешала красавице-вдове Настена Красикова — дочка бедняка Гаврилы, до которого Демьян поначалу-то и приблудился.

Теперь уж все кругом знали, что не из жадности денно и нощно колотится в кузне молодой кузнец; уговор у него с Гаврилою был заключен. По тому уговору Демьян должен был до свадьбы с Настеною хотя бы какой-то домишко поставить. Ведь кроме Настены в Красиковой семье целый выводок подрастал-оперялся.

Любая другая вертихвостка давно бы уж поняла, что достучаться до Демьянова сердца нельзя, только зря козанки обобьешь. Любая другая, но не Сигариха! И хотя кузнец при каждом появлении названной гостьи не единого раза даже молотка в сторону не отложил, красавица-барыня отступиться от затеи даже и не подумала. Душа ее, как говорится, сплошь была гнеда — ни пятнышка стыда...

— Покорись, — твердила она Демьяну, — золотом осыплю. Уступи, не покаешься.

— Не покаюсь — в рай не попаду, — отвечал кузнец.

— В царствии небесном и без тебя тесно, — заверяла Алефа. — Спустись, глупый, на землю...

— Не резон.

— Это почему?

— Да потому... Ить наши с тобою земные наделы больно широко размежеваны — единого поля никак не получится.

— Уж не Настена ли Красикова меж нами тем широким разделом пролегла?

— Да причем тут Настена? Охота ведь и через батьку прыгает. Пойми ты, Алевтина Захарьевна, — пытался несговора втолковать Сигарихе,— ни единый же волк в пристяжных не пойдет, хотя бы орловский рысак в коренниках стоял. Ну какая мы с тобой пара? Сдвоили рыло да кулак — и у нас так...

Однако вор не умом спор, а сноровкою. Вот и красавицу-вдову сноровило, после изложенного тут разговора, прямиком заявиться до самого до Гаврилы Красика.

— А и здрасьте вам,— сказалось ею.

— А и здрассте, — ответилось.

— А и до вас я... по делу.

— А и мы... гостей — по чину. Проходите в передний угол. Садитесь — не запнитесь. Слушать станем — не оторвемся.

— Некогда мне, Гаврила Ипатыч, в угол твой забиваться, — отказалась Алефа. — Недосуг мне скамейки твои подолом протирать. Досуг торги торговать...

Говорит Сигариха складно, а сама туда-сюда бесстыжими глазами — только зырк, зырк.

— Потеряли кого в нашем дворе? — забеспокоился хозяин.

— Потерять не потеряла, а ищу, да не вижу, — не стала красавица-барыня перед Гаврилою финтюлить.— Дочка твоя Настена далеко ли забежала?

— А и далеко, да близко, — отвечает ей Красик, — потому как воля ее завсегда в моих руках. Так о чем же Алевтина Захарьевна Настену мою спросить желает?

— Желаю знать, не пойдет ли она ко мне горничной? — заказала барыня Красику тяжелый вопрос да сверх того еще и нелегкую задачу задала: — Не так, не поденно, как прочие, а безвыходно: с дневкою и ночевкою?

Не надо быть Гавриле семь пядей во лбу, чтобы сообразить: потребна Сигарихе Настена как собаке репей. А завела красавица-вдова разговор этот касательно одного лишь только Демьяна Стеблова. Оттого-то и на-

строился было Красик дать сумасбродной бабенке решительный отказ. Однако рубить маленько погодил, пожелал получше приноровиться-послушать, какой еще урок приготовила ему Алевтина Захарьевна.

Сигариха же, приметив, что подговорщик ее не больно-то рвет постромки услужить ее капризу, маленько подхлестнула нерадивого:

— Самолучшие наряды твоей Настене заведу. Столоваться со мною будет с одной скатерки...

— Да на кой лад собаке сват? Наря-ады чужие, скате-орки, — осмелился Красик передразнить Алефу. — Наша Фрося и ватолу[1] снося, а наш Федот и каблук сжует...

Но красавица-барыня уже закусила удила.

— Еще бы стала я да понедельно в твой карман, Гаврила Ипатыч, по червонцу класть.

Вот тут и подумалось Красику, что Демьяну Стеблову до исполнения уговора потребуется еще никак не менее полугода. А то и целый год. Чего тогда Настене зря время терять? Можно и послужить. И семье пойдет на пользу, и себе самой — на приданое.

Алевтина ж Захарьевна стоит-постегивает.

— С полмесячной, — сулится, — доплатою по четвертаку радужной[2].

Да за такую-то за деньгу любой на селе хозяин не одну дочь в услужение, а и семью всю и себя в придачу б отдал...

Но Сигарихе нужна была только Настена.

Вот и пустила красавица-барыня Демьянову невесту безвыходно бродить по безлюдным, бесконечным закутам своего страшного дома.

Гаврила же Красик, при горячем с кузнецом разговоре, заявил так:

— Чо ты ерепенисся, чо? Будешь тут распоряжаться, вовсе Настену не увидишь. А то еще не поймал, а уже обдирает... Ишь! Ты ее, Настену-то, сумей сперва под венец поставить, потом выгинайся передо мною. А покуда я хозяин! Послушайся я тебя, забери ее от Альфы, разве ты мне убыток покроешь? А ить деньга, такая, сам понимаешь, на дороге не валяется. Давай-ка так договоримся: я тебя счас низко попрошу, а ты, сделай милость, потерпи. Не век Алевтине Захарьевне ду-

---

[1] Ватола — самый грубый холст.

[2] Радужная — сотенная бумажка.

рить. Придет срок — упадет листок; нечего его обрывать. И не вздумай мне вызволять Настену силою! Не дам тогда вам своего благословения. Так и знай! И хватит. И на этом точка.

Ну? А вы? Что бы вы стали делать на Демьяновом месте? То-то и оно! Выходит-получается: кого просить, от того и сносить.

Демьяну, однако же, от терпения такого жить стало невмоготу. Еще и злые которые смеются над ним:

— Увели невесту из-под носа? Гляди, кузнец, как бы Сигариха, на золотой-то лодочке, Настену твою совсем бы куда на сторону ни сплавила...

Сигариху и в самом деле с каждым новым Демьяновым отказом черти все больше распаляют. Да и понять ее можно: время идет, деньги плывут, а удовольствия ни на мизинчик.

Крепится Демьян, терпит: селяне ждут, что будет дальше; Настена надеется: опомнится красавица-барыня. Только Сигариха вроде бы даже потешается: с каждым месяцем все набавляет плату. Красик богатеет и жаднеет; подумывает в недобрые минуты: как бы это случилось так, чтобы Демьян поставил хату, а она взяла бы да и сгорела...

Вот она — деньга! Самая страшная на земле колдунья. В кого только она не перекидывает человека! Ей только дозволь над собой командовать...

Понял такое дело кузнец и забоялся, что невесте его никогда не бывать его женою. Никакого другого выхода не получилось у Демьяна из предоставленного Алефою житья, как только взять грех на душу: дозволить своему топору выдать красавице-барыне окончательное решение.

А потом?

Потом Демьян Стеблов уверен был, что Настена пойдет за ним не то что на каторгу — в пекло следом кинется.

Безвыходность эта накатила на парня бессонной ночью. И тут в его халупенку при кузнице раздался стукаток.

«Вот оно,— подумалось Демьяну.— Прикатило воротило... всю Москву загородило...»

Подхватил кузнец топор, распахнул дверь, а никакой Алефы за порогом нету. Стоит перед ним тот самый дохленький мужичонка, который пособлял Сигарихе дом с подпольем ладить. Стоит и маячит Демьяну: ты, дес-

кать, хозяин, не бойся меня, впусти, жалеть тебе об этом не придется!

Впустил. И хорошо сделал...

Поутру Алевтина Захарьевна не замедлила опять верха припрыгать. Вся нетерпением так и горит. Видать, что дурь ее окончательно созрела. Даже в кузницу лезть не стала. А как Демьян вышел к ней навстречу, так прямо на улице и повалилась ему в ноги. Повалилась и завыла. Так завыла, хоть пристреливай. Воет, паразитка, а сама стращать кузнеца не забывает: все золото, дескать, в жадный карман Красика перекладу, а не допущу тебя до Настены. Ни мне радости, ни тебе счастья...

— Ну, тогда ладно, — вдруг да отозвался на угрозу Демьян.— Тогда, Алевтина Захарьевна, считай, что ты меня шибко испугала. Ух коли ты да столь круто взялась месить, придется и мне подмогнуть тесто твое разделать как следует. Жди меня с подарком ко своим февральским именинам. Поглянется тебе мое подношение — твоя взяла. Не поглянется — моя беда...

Вот и считайте: сентябрь, октябрь, ноябрь, весь декабрь, январь и февраль прихватим порядком — без малого полгода Демьян Стеблов, можно сказать, не выходил из кузницы. Не столько сам от людей прятался, сколько того синенького мужика охранял. Потому и в кузню никого не пускал; всякого человека торопился перевстретить еще на подходе. А работа, слышно было, вовсю шла.

Какую беду пособлял творить Демьяну дохлый мужичок, Бог его знает.

Настала пора — засуетилась Алевтина Захарьевна именины справлять. Редкие подарки принимать наладилась.

Накануне того дня Демьян Стеблов, один, без помощника, доставил на санях до Сигарихина дома что-то уж больно увесистое, упеленованное в рогожу.

Когда поклажа была перенесена в дальнюю угловуху, дворник Ермолай, пособлявший в том кузнецу, ажно занемог. Всю ноченьку напролет хватался за поясницу, тяжестью сорванную.

Не только Ермолай не спал до рассвета. Демьян точно так же в занятой угловухе века с веком не свел. Чем-то он там потихоньку позванивал да постукивал. Не спала и Настена, упрятанная Алефою в глухом внутреннем покое. Как ни глуха была ее каморка, а

кляцанье проникало и сюда. Настена прислушивалась к нему, подрагивала и бледнела, ежели стукаток надолго затихал.

А Демьяну к тишине дома прислушиваться было некогда. Он что-то доделывал, занавесивши окна в угловухе до самого потолка. С зарей колотня его не затихла, а звякала да стукала свои отложил он в сторону лишь тогда, когда уж взялись наезжать на Сигарихин двор пыжливые гости. Обеспокоенные, однако, не больно лестным соперничеством, они прямо с разбегу приступали одаривать хозяйку всякими удивлениями. Затем спешили до угловухи, нагло торкались в нее, строили через запертую дверь над неотзывным Демьяном разные насмешки. Многие из них пытались найти хоть малую какую щель — поглядеть, чего такого занятного можно прятать столь ревностно от любопытных глаз? Двое все-таки умудрились, один на другого влезши, проникнуть с улицы нетерпеливым интересом в просвет оконной занавески.

— Ни хрена не понять, — тут же отчитались они перед назойливой оравой набежавшего интереса. — Стоит какое-то чучело у стены, прикинутое рогожей...

На все домогательства раззадоренных Алефиных прихвостней Демьян из угловухи отозвался всего лишь раз.

— Приходите в полночь, — только и сказал он.

Пришлось отступиться. Не станешь ведь в чужом доме высаживать дверь.

Вот сели гости за столы, вот выпили-закусили, вот спорить вяло взялись — каждый свое достоинство выпяливает. Однако же никто не может забыть того, какая заноза в кичливости их увязла. Потом ничего, распалились, расшумелись, полезли уже через стол чуть ли не вилками тыкать друг в друга. Тут настенные часы и ударили по их расходившейся спеси полуночным боем.

Все разом смолкли, все разом уставились на хозяйку: веди, мол, красавица; показывай, чем таким изрядным намерен удивить всех нас твой новый фаворит? Не насмешит ли он нас до слез?

Повела Алевтина Захарьевна смешливую рать.

Идет передом. Сама делает вид, что не больно-то поспешает ублажить свою душу, хотя в уме она десять раз уже сбегала до Демьяна.

Гости за хозяйкою следом катятся — волной шумят.

А дверь в угловуху уже распахнута.

Вкатилась волна. Полукругом перед Демьяном остановилась.

Ну-у! Показывай, дескать, кузнец-молодец, излад свой столь уж взыскательный.

Демьян не больно-то торопился исполнять понукание; дождался, когда смотрельщики перехихикаются да бросят кидаться в его сторону всякими подковырками, только тогда, сорвал с чучела рогожу...

И-и... А-а-ах!

Прямо выстрелом по высокому нагорью прокатилось великое удивление. Некоторые из гостей настроились было тут уже улизнуть из угловухи, да не осилить оказалось им внезапно накатившей слабости...

Все ахнувшие, все ослабевшие увидали разом, как от стены отделилась сама Алевтина Захарьевна! Она, в мучительном танце, ломала свои тонкие руки, корчила на лице больные улыбки, кругами наплывала на гостей кованным из вороненого железа телом...

Без какой-либо отлички от настоящей Алефы, железная эта барыня не сходилась с хозяйкою лишь только мастью. Сплошная ж ее чернота отливала на гостей этакою жутью, ровно бы от живой Сигарихи взяла и отделилась ее грешная душа и теперь, на чужих глазах, корчится она в страшных муках больной совести...

Все шире расходился круг ее мучительной пляски, все больше теснила черная барыня ошарашенных страхом гостей...

Тишина в угловухе гробовая. Слышны были только лишь мерные удары внутри кованого тела, будто бы в нем бился маятник тех самых часов, которые неумолимо отсчитывают последние минуты перед страшным судом...

Никто больше не смел ни охнуть, ни за сердце схватиться. Только все, шаг по шагу, теснили друг дружку, отступали к стенам.

Кто знает, ни принудила ли бы всех их черная барыня полезть на стены, если бы да кому-то не посчастливилось нащупать за собою дверную ручку?

Будучи уже за порогом, счастливец этот вдруг заорал в такой раздёр, что Ермолай-дворник, который, после бессонной ночи, малость придремал в своем закуте, с лавки свалился. И почуял тогда Ермолай, что у него даже под коленками вспотело, зато надсадная боль от спины отлегла...

Много чего в ту февральскую ночь было перебито да переломано в Сигарихином доме. Много повысажено

дверей, повыхлестано высоких окон. Правда, спасибо очумевшим гостям за то, что они, ненароком, высвободили из-под замка Демьянову невесту, Настену Красикову. Однако ничего не понимающую свободуху ошалевшая толпа тут же закрутила, завертела и прямо раздетой вынесла вон из дому на февральский буран. Хорошо, что Настену какой-то кучер узнал, да в тулуп свой закутал, да в Яровое доставил. А то бы девка вряд ли в Сигарихин-то дом пожелала воротиться.

До крайности задуренные многими в Алефиных хоромах переходами, темными да глухими закутами, гости в ту ночь настолько порастеряли мозги, что и неделю спустя никто из них путем ничего не сумел ответить властям. Зато все в один голос твердили, что будто бы к переполоху в доме добавились еще какие-то завывания да крики, которые явно исходили из каменного Алефиного подполья...

Почему, спросите, власти ввязались в этот случай? Да потому, что пропал Демьян Стеблов. С тех самых Алефиных именин кузнеца никто больше не видел.

Настена от такого горя вроде бы не в себе сделалась. По дворам начала ходить, о женихе у всех справляться. А то и безо всякого спроса шла заглядывать в стайки, в кладовки... даже в колодцы. В ней было столько много горя, что даже собаки и те на нее не рыкали. Эта самая псовая терпеливость и подняла что в Яровой, что в Раздольном нешуточный ропот: дескать, собаки и те страдают за невесту, а отец, чуть ли не главный виновник дочерней беды, сидит сложа руки...

Волей-неволей, а подняться Гавриле Красику пришлось. Пошел он до властей. Ну и что? Покуда у него звенело в кармане, топтали законники Алефин двор, дом Сигарихин сизые молодчики обшаривали, но сколь ни лазили, входу в каменное подземелье так и не нашли. Выспрашивали об нем всех работников, и вместе, и порознь. Те отвечали-указывали: Мартын, как говорится, за овин, Егор за бугор, а что Евмен-егоза — за темные леса... Настена и та ничего определенного насчет подземелья сказать не могла, хотя разговаривала с властями умно, даже рассудительно. Когда же исправник заговорил с нею впрямую о пропавшем кузнеце, она вдруг насторожилась, подумала да и воскликнула себе:

— Чего же это я? Ищу где попадя. Его же только Алефа спрятать могла...

На этом выводе и зачикнуло Настену. Тут она и оп-

ределилась в том, что ей непременно надо проникнуть в Сигарихин каземат.

За время Демьяновых поисков дом красавицы-вдовы почти совсем опустел. Поденщики в нем работать отказались. Особенно после того, как Алевтина Захарьевна упросила Ермолая-дворника разобрать затихшую в угловухе черную барыню. Она хотела кусками посбрасывать Демьянов подарок в глубокий омут. Только Алефина просьба оказалась невыполнимой. Стоило Ермолаю лишь прикоснуться до железной красавицы, как черная вновь ожила и схватилась ловить дворника по всему дому.

После пережитого страха Ермолай неделю поудивлялся над своей увертливостью, а потом и сам взялся всех подряд ловить да орать на всю Сигарихину усадьбу:

— Я — черная барыня! Ха-ха!

С этим диким «ха-ха» Алевтина Захарьевна была вынуждена отправить Ермолая в приют для дураков. А Демьянов подарок так и остался в ее доме. После случая с дворником до черной барыни никто даже и прикоснуться-то не смел. Да и некому было касаться. Сколь ни щедрой сделалась Сигариха, задержался при ней лишь один истопник Кирилл Нетопырь. Да и тот, наверняка, лишь потому остался, что сглуха не мог понять, что же такое в доме творится...

Деревня Яровая располагалась в трех верстах от Сигарихиной усадьбы, однако же это не было гарантией тому, что Настена Красикова, полная отчаяния, не улучит момента да не уйдет туда из-под семейного догляда искать своего Демьяна.

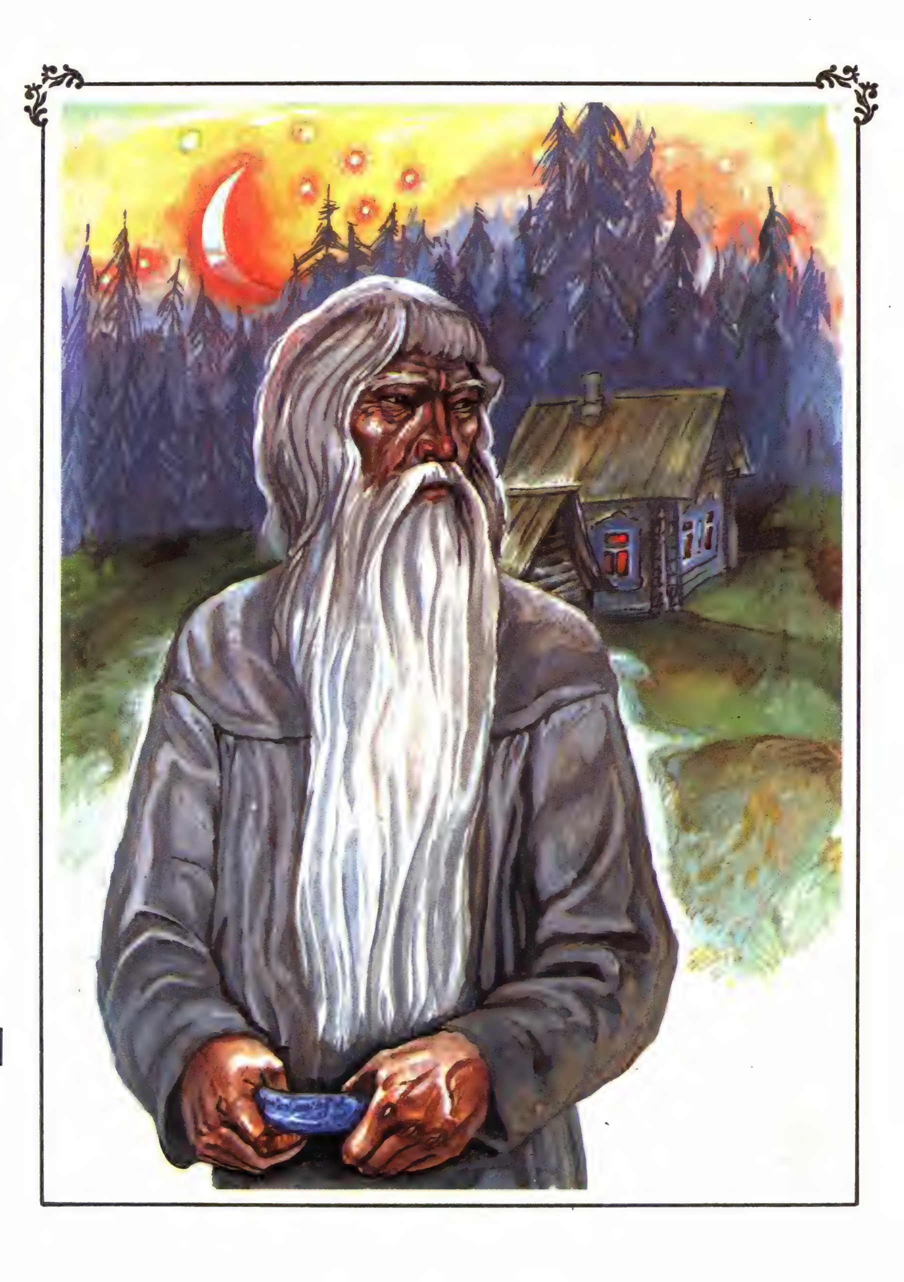
Кроме спущенных впустую денег, Гаврилу Красика принуждала каяться еще и эта забота.

Да. У всякого кота своя маята: одному мышей ловить, другому блох кормить...

Алевтину Захарьевну, знаем, тоже печаль не обошла. Заговорили в народе о том, что беда ее запустением в хозяйстве не кончилась. Будто бы железная барыня вскорости взялась оживать при одном только появлении Сигарихи, а потом и вовсе, по запаху, стала охотиться за Алефою.

Вот где страсти!

А мужик один хожалый, так тот голову на отсечение давал, что когда мимо Сигарихиной усадьбы шагал да стукнул в окошко дома, то увидал: плотная за-



АКЕНТЬЕВО ОЗЕРО

ЗОЛОТАЯ ВОРОНА

ЧЕРНАЯ БАРЫНЯ

БЕРЕГИНЯ

ЗЕМЛЯНОЙ ДЕДУШКА

СПИРИДОНОВА ДОСАДА

ОНЕГИНА ЗВЕЗДА

КУМАНЬКОВО БОЛОТО

навеска за стеклом раздернулась и на него, на мужика, глянуло вороненое лицо железной барыни! Однако уверял он, что глаза у нее были живые! А когда он остолбенел от страха, черная барыня захохотала, разинувши огромную звериную пасть...

О батюшки-святы! Со стороны рассказывать и то — мурашки по телу...

Но, может, все-таки посмеялись бы люди над мужиковым рассказом. Могли бы подумать: приврал маленько с испугу. Только вот на другой как есть день истопник Кирилл принесся в полном безумии в Раздольное, с криком «ведьма» ляпнулся посреди улицы и... душа вон.

Осталась Сигариха в своем зловещем доме с глазу на глаз с железной барыней.

Что до раздолинских, что до яровских селян — они не то что мимо самого дома, рощею Сигарихиной боялись ходить. Только по дыму из одной высокой трубы и угадывалось ими, что Алевтина Захарьевна все еще терпит тюрьму, все еще не собралась, не укатила к чертовой матери, следом за своими когдатошними любодеями...

— А почему? — возникал в людях вопрос. — Какая беда-забота удерживает ее в логове черной барыни? Не допускает ли железная кукла красавицу-вдову до ее золота? Принуждает ли Сигариху терпеть лишения тот гаденыш, что сидит во чреве? Или права Настена? Не покидает Алефа дома своего потому, что столь уж сладко ей пытать Демьяна, упрятанного в каменном подземелье?

В подозрениях своих люди больше всего сходились с неутешной невестою, потому и боялись за нее, потому и остерегали:

— Ой, не вздумай, Настена, идти до Сигарихи! Уж коли власти ничего в доме ее не нашли, где тебе там что откроется? Чего доброго, нарвешься на черную барыню — задавит!

— Нет. Не задавит, — уверяла и всех и каждого кузнецова невеста. — Не может Демьянова работа принести мне беды...

В том же самом Настена старалась убедить и отца, да только Гаврила повторял всякий раз:

— А вдруг?!

И все-таки не доглядели за нею ни семейные сторожа, ни доброхоты сторонние. Каким-то мартовским пред-

утрием выбралась Настена из разоспавшейся хатенки своей, легко перехрумкала по льдистому снегу край улицы, выбежала за поскотину и в дымке рассвета уж оказалась в Сигарихиной роще.

Холодно еще. Зима не кончилась. Среди берез снегу по пояс.

Но что? Полезла Настена топкими сугробами, добралась до навеса дровяного, там узкой тропкою направилась до парадного крыльца. Оставалось ей только за угол повернуть.

Повернула. И увидела сыздаля, что на притоптанном у крыльца снегу стоит-приплясывает девчонка лет пяти-шести, не больше. Приплясывает девчоночка, сама поет тоненьким голоском:

Сей лен, ячмень
в Оленин день[1]
во широком поле
на все доли:
на старых, на малых
и на девок озорных...

Поет девчонка, принаряженная в одно лишь только ситцевое платье. Вроде бы для нее на дворе не тот марток, когда надо надевать семеро порток, а полный июнь — одуванчик сдунь.

Настене-то и на ум не пришло, откуда бы у Сигарихина дома столь прыткой веселухе взяться? Одно лишь ее озаботило — прозябнет певунья!

— Ты чего тут голышом хороводы водишь?! — шумнула она да заторопилась на ходу снять теплую жакетку — укутать ситцевую резвуху.

Но та резко обернулась на ее голос, увидела Настену, да через крыльцо кинулась в сени.

— Стой! — насмерть перепугалась заботница. — Воротись! Черная барыня поймает!

Где там!

Покуда встревоженная Настена добегала до крыльца, покуда взлетела на его многоступенчатую высоту, веселуха уже успела протопотать сенями и... только подол ее ситцевый мелькнул за порогом страшного дома.

И все.

И затаилась девчонка где-то в сторожной тишине гулких переходов: ни шороха, ни скрипа...

Ни души!

---

[1] Оленин день — 3 июня (сеют ранние льны).

Крадется Настена пустым домом. Уже понимает, что ситцевая веселуха неспроста выплясывала на морозе. Это, скорее всего, Алевтина Захарьевна устроила непрошеной гостье встречальный праздник. Знать, в окно разглядела, что Настена правит до ее дома, испугалась — не прошла б стороной, да и выслала вертунью— заманить ее в дом. А вот откуда замануха такая у Сигарихи взялась — это вопрос. Может, случайная родня нагрянула? А может, наваждение? От кого оно исходит: от черной, от белой ли барыни?

Подумывает так Настена, ступает тайком знакомыми ей на сто раз узкими переходами да просторными гостиными, а тут... чужая комната! Откуда? Что за притча? Сигарихин дом Настена за время своей в нем тюрьмы скрозь изучила, а этого места не знает. Тепло в комнате по сравнению с остальным домом, но сумеречно и душно. А кругом что-то булькает, и шевелится, и дышит. И, самое страшное, смотрит! Хотя чем? — непонятно. Зато Настене уже ясно, что она никакой не человек, а так себе — завязь, семечко какого-то великого существа, которого еще нет, но может быть, если Настена отдаст себя его возрождению. Ей только остается до конца осознать свое предназначение и покориться...

Но вот досада: ей помешал тоненький девчоночий голосок:

Сей лен, ячмень
в Оленин день...

Надо бы с песнею немного было потерпеть; подождать, когда в Настене распадется ее суть. Поторопилась чужая радость победу праздновать...

Да-а. Торопка — крутая тропка; торопись, да не оборвись... Повернулась Настена на тонкий голос уже, как показалось ей, подернутым пушком будущих перемен лицом — и дрогнула. Опала пелена наваждения. Вместо девчоночки стояла за ее спиною Алефа! Хотя в изнаряженной вдове непросто было с ходу признать Сигариху. Вроде бы и прикрытым было ее тело, а вроде бы и нагишом. Как лентами какими цветастыми от самых ступней до подбородка внатяжку была обмотана Алевтина Захарьевна. Волосы вкруг головы, разобранные прядями, похоже, навазеканы были клейстером, поставлены иглами да высушены так. Морда мелкой сеткой занавешана. Зачем?

Вот чучело!

Настена даже фыркнула. Но тут же подумала, что черная барыня, видать, и на самом деле охотится по дому за Сигарихой; оттого-то красавица-вдова и вынуждена столь шибко уродовать себя, чтобы той глаза отвести.

Дело, конечно, хитрое. Только у Настены не было времени хитрость эту перегадывать. Иная забота одолевала ее. Но все-таки невеста не удержалась, спросила:

— Чой-то ты, Алевтина Захарьевна, вырядилась... дура дурой? Али надеялась, что и я тебя такой не распознаю? А ну отвечай, куда Демьяна спрятала?! Не то я тебе кудлы-то твои сушеные быстро повыдергиваю!

Шагнула она решительно до Алефы, даже руки протянула к ней... А только рук своих и не увидела. На их месте успели когда косматые лапы образоваться.

Мамонька! Да что же это?!

И поняла Настена, почуяла, что и вся она перед Сигарихиным страшным взглядом покрывается плотной шубой. Даже собственным хвостом она уже пошевеливает перед Алефою: не то злится на вдову, не то покорство выказывает.

Не-ет. Злится!

Вот уже и оскал громадной кошки обнажила Настена, вот и когти в гнездах мощных лап проверила, и спину напрягла. Но Сигариха нежданно повалилась ей под ноги и вытянулась на полу мертвой старухою, собранной, можно сказать, из одних только мощей.

Забыла тут Настена, кто она — человек или зверь. Отпрянула в страхе прочь. Но старуха зашевелилась и поползла за нею следом, пытаясь ухватить ее за подол крючковатыми пальцами.

Не успела Настена ни закричать истошно, ни кинуться опрометью вон. Через шаг-другой сорвалась она вниз и полетела в каменное подземелье...

Слава Богу — не разбилась. Нет. Удачно приземлилась Настена. Однако же каждая крутая ступенька, ведущая в Сигарихин каземат, оставила на ее боках по щедрому кровоподтеку, а то и по ссадине.

Когда Настена одолела боль, когда сумела подняться на ноги, Алевтина Захарьевна, успевшая принять первоначальный свой вид, свесилась головою в подполье, захохотала обычным смехом, заговорила:

— Ну что? Допрыгалась?! Вот теперь и поищи тут своего Демьяна. Коли найдешь, выпущу на волю обоих.

А нет, так уж не обессудь: не выбраться тебе отсюда и после смерти.

Должно быть, от недавней кошки придержалась в Настене звериная прыть. Вот уж чего Алефа от нее никак не ожидала — всем избитым телом пленница рванулась ввысь...

И ухватила-то Настена красавицу-вдову всего лишь за одну тонкую прядь волос. Но Сигариха, знать, сама перестаралась в наклоне. Какой-то миг — и она уже валялась у ног Демьяновой невесты. А в гулкой тишине подземелья, по многим его закоулкам и проходам покатилось громкое Алефино «о-ой!»

Да. Хлестанулась Сигариха основательно. Куда как надежней Настены. Даже ленты на ней цветастые кое-где собрались полопаться. Видать, отшибла не одну только печенку. К тому же еще и ногу подвернула. В таком состоянии не до фокусов ей оказалось.

Но Настена не захотела переждать, когда красавица-барыня отлежится; затеребила расхлестанную:

— Чего разлеглась?! Вставай! Показывай, где мой Демьян! Не то сщас быстро тебя распеленаю! Свяжу по рукам-ногам, людей побегу звать. Они с твоим казематом быстро разберутся...

От посулы такой Сигариху передернуло, как от касторки, — не понравилось. Поднялась. О стены опираясь, заковыляла в темноту исполнять повеление. Передом пошла. Настена последовала за нею.

Чтобы ведьма ненародом не улизнула от нее в тайный какой закуток, Настена держала ее со спины за волосы, точно за вожжи. Сыграй с нею Алевтина Захарьевна прятанки, из подземных путаных коридоров никакие бы старания ее не вывели.

Сигариха же с умыслом, знать, меняла и меняла направление: то вправо завернет, то влево, а где так и вспять закондыбает. А то вовсе остановится, дыхание затаит, ждет. Чего ждет? Погоню ль выслушивает? На подмогу ли чью надеется?..

Не менее получасу дергала Настену. Наконец, привела: тут стена, тут стена, а тут кирпичная кладка. Дальше идти некуда — тупик. Сама, видать, заплутала красавица-барыня.

Это бы ничего, Настена нашла бы в себе упрямства заставить Сигариху поправить ошибку. Только вот догадно ей стало, что Алефа не в себе вроде: шарит по каменному простенку быстрыми руками, а сама то бормо-

чет, то вскрикивает. Да все приказывает кому-то не нашим языком. И торопится, торопится.

Головою, знать, основательно хлестанулась Алефа о крепкий настил подполья!

Вот когда Настена струхнула не на шутку. И еще к ее тревоге добавилась страсть: из глубины каземата послышался явный шорох. Кто-то настигал их в темноте!

Но что-то щелкнуло под Алефиными пальцами, загудело, и вдруг каменный простенок поехал в сторону, непроглядный свет резанул Настену по глазам, Сигарихиной силою развернуло ее вперед спиной и она, брошенная, повалилась навзничь. Но не ударилась путем, поскольку не выпустила из рук Алефиных волос...

Сколь они там барахтались — Бог считал. В клочки все поизорвали друг на дружке. Но вдова все-таки оказалась сильней: заломила Настене шею так, что остаться б той без головы... Да только вдруг черные руки перехватили Алефу в локтях, оторвали ее от пола и крепко обняли...

Успела Настена и увидать и услыхать, как в дохлой уже Сигарихе кто-то вдруг затрепыхался, заверещал дурным голосом. На том слух ее притупился, яркий свет подземелья померк, настил закачался зыбкою, а затем и вовсе куда-то уплыл...

В Яровой еще не успели хватиться Настены. Сама Красиха только что корову подоила, стала цедить по кринкам молоко да подумала: «Заспалась чой-то моя старшона. Будить жалко. Да квашня подоспела».

Шагнула она до полого закута, где обычно спала ее главная помощница, но не успела отдернуть его — шум на улице: брехливая собачня сворою пронеслась мимо двора, покатила злобу свою в край деревни.

Припала Красиха до окна, глядит: метется со стороны Раздольного степным целиком очумелая тройка, пенится вкруг нее алый на восходе снег, огневой на солнце кнут так и рвет конские шкуры. За высокими всплесками грив не разглядеть возницу. Правит тройкой прямиком до ее хаты...

Покуда Красиха вдевала пимы да одевку на плечи кидала, тройка у ворот осадила бег. А пока она с крыльца кряхтела да оградой семенила, бешеным вихрем гривастую унесло в уходящую ночь.

Но со спины Красиха все-таки успела разглядеть на козлах того самого мужичка, который пособлял соору-

жать Сигарихин дом. В санях его просторных сидела черная барыня.

Однако же самым главным удивлением для Красихи представилось то, что на щербатом сугробе у ворот рядком лежали беспамятные Настена и Демьян...

Радость была большая, особенно когда люди узнали об Алефиной смерти.

На том, быть может, вся эта история и притихла б, и забылась, и все. Только близкими днями вдруг да застонал Сигарихин дом, морозной жутью загулял по роще березовой нестерпимый вой.

Разве на такую беду уши заткнешь?

Ребятишки, побывавшие там, домой принеслись вконец перепуганными. И яровским и раздолинским мужикам пришлось подниматься да идти, добывать разгадку. На месте поняли, что муторная тягота исходит из каменного каземата.

Никакими подкопами, никакими ломами кирпичную кладку взять не могли. Пришлось сверху пробиваться, половицы дубовые срывать да раскатывать двухслойное листвяковое перекрытие.

И что оказалось?

Оказалось, что по глухим каменным клетям порассажены бывшие Сигарихины любимцы. Все как есть. Но поведать о том, как они очутились да что делали тут, никто из них не сумел. Всяк из себя корчил нечто великое, чему никакой меры нет...

Тогда-то и отыскалась в подземелье и Алевтина Захарьевна. Вернее, валялась в подземном закуте одна только шкура ее, без нутра... Долго боялись, не придет ли ведьма искать по дворам свою кожу. Не пришла.

А теперь, кто шибко умный, пусть объяснит нам этот случай.

ЧУЖАНЕ

В тот год сильнющий боровик уродился, особенно высыпал он по суходольям. Бабы-девки по три раза на дню полнехонькими кузовьями успевали его из красного леса[1] домой таскать. А которые из грибниц попровор-

---

[1] Красный лес — чистый, молодой сосняк.

ней да побойчее оказывались, так те и до Спасова угорья добегали. По тому по Спасову угорью, когда бродил борами битый этот кулич, поднимался он таким ли масляным, что ты его, белого, полосуешь ножом, а он тебе улыбается. Ох и гриб!

Одна лишь темная подробность смущала прытких бабенок. Она-то и не дозволяла им больно шибко раскатывать глаза на упомянутое угорье, чтоб безо всякой оглядки подбирать по нему дармовые коврижки.

А в чем дело?

А дело в том, что незабытым временем на том на увале провалился сквозь землю веселый охотник Аким Лешня. Не просто пропал человек в тайге, в урочищах которой немудрено заблукаться даже такому лесовику, каким слыл Аким, а вот именно провалился. Ну а ежели да к этому утверждению вспомнить то, как он появился в деревне, тогда и вовсе голова становится непонятно чем, потому как напрочь теряет она всякую сообразительность.

За десяток годов до своего на Спасовом угорье провала вышел Аким Лешня на деревню все из той же тайги. Хотя чему тут удивляться? Мало ли по каким дебрям гоняет жизнь человека. Мало ли до каких мест принуждает она его прибиться. Не выходом из тайги удивил тогда селян Аким Лешня — изрядливым видом своим. Бывают, знаете ли, мужики рыжие, даже меднобородые. Так вот они с Акимом не пошли бы ни в какое сравнение. Дать можно было Лешне одно определение— огненный! И то не подошло бы. Огонь — он желтоват, дымоват. А тут чистая зоревая алость. И при этом — что весеннее небо глаза! Да еще оторочено это незабудковое чудо густо-медным оперением ресниц да бровей. Ой, красиво! — когда приглядишься. А поначалу, от непривычки, долго никто не решался Акима того постояльцем в дом к себе пустить — чего доброго, полыхнет еще сухая построина от его огня. Так, разрешали ночь-другую где-нибудь в сарае или бане передремать. Да и то... Лишь потому проявляли селяне до Акима такую милость, что ведь вышел-то он из урмана не в одну пару ног — вывел он за собою из тайги сына своего, подростыша, Кешку. Иннокентия, значит, Лешню.

Кешка тот, Иннокентий, ничем от родителя своего не отличался. Сходился он с батькою всем видом настолько, будто муха муху повторила. Такое сходство меж отцом да сыном по земле рассажено опять же из ряда вон

редко. Повторяю, очень нечастое имели Лешни меж собою сходство. Разве что Кешка-Иннокентий самую малость был поулыбчивей отца. Но это, скорее всего, оттого, что ходил он еще в ребятах. Однако же и он не больно-то разбежался объясняться перед деревнею насчет прежнего их с батькою житья-бытья.

— Ну, чо вам, чо надо? Чего привязались? — сердился он, когда любознайки допекали его своими «кто» да «откуда». — Или мы не такие, как все люди? Чо у нас, по четыре ноги? А когда по две, так помолчать-то мы хотя бы вольны? Не злодеи мы, не воры — вам этого разве мало?

Не мало, конечно. Только мешок молчания завсегда целым возом догадок набит.

Кешка не только огневой мастью да белым лицом батьку своего скопировал, а и понятием, и норовом, и походкою даже. Но особенно тем, как умел он остановить небыстрый, зато уж больно цепкий глаз на любом встречном мужике или еще ком. Пропекал он недетским вниманием любого человека до самой до селезенки. Вроде бы и не глядел он вовсе, а насыпáл встречному полнехонькое подвздошье горячих углей...

Аким-то, сам Лешня, тот научился, видно, прятать в себе столь жгучее к людям внимание. А что до Иннокентия-подростыша, этот глядел еще вовсю. И вот какая беда таилась для него самого и в его пригляде: в ком-то он теплился — согревал душу, в ком-то горел — доводил нутро до белого каления, кого-то бросал в суету — неудовольствие. Оттого-то в народе и занимался всякого рода разговор, пересыпаемый спором да разными уверениями.

— Не зря Лешням така отменная масть налажена,— говорило в селянах беспокойство. — Оне же, глазья-то таки пронзительные, далеко не сподряд даже умным людям даются — по какому-то по выбору!

— Уж да, — соглашалось в них сторожкое нутро. — Прямо не глаз, а шило каленое!

— Вот из-за тех из-за глаз и уволокла нечистая сила Акима Лешню под Спасово угорье...

Последние слова сказывались людьми потом, позже. Это когда не стало Акима. И сказывались они не от пошлого какого-нибудь людского пустословья — шли от истинной правды. Тут и думать не надо, чтобы мужавелый да к тому времени полный охотник Аким Лешня взял да заблудился в тайге или же дал обмануть себя

лютому зверю. Не-ет, нет. Такая погода никак не могла запугать Лешню до смерти. Ведь он, как было то понятно людям, еще, похоже, в материнской утробе испрочитал вдоль и поперек всю книгу тайги.

Еще можно было бы подумать, что унесло мужика весенним паводком либо пожаром лесным захватило да в небо удуло. Так опять же — нет. Не выпадало на ту пору ни половодья безбрежного, ни высокого лесного пожара. А вот когда мужики искали по всем углам тайги пропавшего Акима, тогда они на самой хребтине Спасова угорья и наскочили на неотгаданное место. Была тайга на том месте да в огромный пятак выжжена. А может, и не выжжена. А только лоснилась среди красных сосен ровною лепехой спекшаяся в камень земля. И совсем рядом с тою с каменной лепехою был мужиками найден Акимов ягдташ!

Вот тебе и все.

И можно было, глядя на все это, рассудить так: ежели каменной лепехою да покрыт провал в преисподнюю, куда ж Акиму еще-то было деваться? Кто же на месте тех мужиков заторопился бы поднять адово творило да покричать пропавшего? Ты бы заторопился?! Вряд ли. Вот и они точно так же... поспешили... оставить в покое чертово место, да на всю округу доложить о такой оказии.

Потом люди сколько-то еще до-олго боялись ходить на Спасов увал. Даже мужики не сразу решились убедиться — не привиделась ли им таежная беда. Когда же сомнение допекло их, то не нашли они на угорье ничего даже близко похожего на каменную покрышку. Долго спорили они, бродили-искали место, где она лежала. Под конец согласились: должно быть, травою успела взяться, хотя сами отлично понимали, что быть того не может.

Многому на земле вроде бы не должно быть, а все-таки случается.

Вот и на этот раз. Случилось дальше такое, что никаким рогачом не ухватишь, не поднимешь. Так же вот в грибную пору прямо-таки бешеным гуртом принеслись в деревню со Спасова угорья бабы-девки. Да все без корзин, без лукошек да и безо всякого разума. А сами задыхаются, орут:

— Дьявол! Дьявол!

— Да где ваш дьявол? Да какой вам дьявол?

— Да там-ка, там — в Красноборье...

Маленько погодя взбудораженная деревня поняла наконец, что грибницам во бору привиделась как бы шаровая молния. По-другому огневую ту грёзу девки-бабы никак объяснить не могли, хотя молния не плыла по воздуху, как подобает таковой, а катилась двухметровым яйцом прямо по земле. И такая в ней сила, что трава на стороны стелилась, а сосны так вот и стонали на корню.

И еще!

Еще что-то живое темнело в ее середке! Да такое, которое шибко смахивало на человека...

Вот оно, что случилось на Спасовом угорье.

Понятно?

И это вскорости после того, как Аким Лешня провалился сквозь землю.

А Кешка? Кешка остался без отца. Многим селянам хотелось бы изжить парня из деревни. Только ведь вся эта дьявольщина, как раздумались добрые люди, никому, кроме Лешней, никакого урону не принесла.

Чего ж тогда прятаться, коль не к тебе едут сваться?

И еще подумали люди: понравится ли их злодейство тому, кого катила по Красному бору шаровая молния, ежели они прогонят из деревни сироту? Вряд ли. На том история эта до времени и притихла, хотя забыть о ней никто, понятно, не мог.

Чувствуя на себе людскую настороженность, Кешка-Иннокентий засмурнел. А подрастая, взялся, как бывало отец, уходить однова на дальние охоты. Потом он приглядел не в этой деревне красавицу Славену, полюбил ее, женился. И породили они сына Матвея — вылитого опять Акима, а значит, и Иннокентия.

Чуток подрастил отец сына, научил его таежным премудростям и... Что ты скажешь! Пропал! Пропал опять же на Спасовом увале, в тех самых годах, в каких заглотнула земля Акима Лешню.

Вот уж когда навалилась на деревню никаким умом неподъемная тайна. Вот когда упала на людей суета гадать-перегадывать, с ума на ум перекатывать: за что, за какую такую вину перед создателем уготована Лешням страшная неминучесть?!

— Ой-ка, ой! Всем бы нам сподряд заудивляться вусмерть, кабы полное изумление души нам не сковало, — каламбурили по этому поводу бабенки, чтобы и в

самом деле не остолбенеть от непосильной для скупого разума задачи.

Ну, слава Богу, не остолбенели. Перебыли и эти были; дальше наблудим — еще перебудем. А что про Матвея Лешню — и этот бедолага сиротой остался: весь один, как на сковороде блин. Разве что на этот раз оказалась при Матвее мать его Славена. Только не жить Славене на земле после Иннокентия осталось — сходить с ума от горя, да еще от того ужаса, который с каждым божьим днем все крепче стискивал ее материнское сердце. Боялась и предчувствовала Славена то, что полное сходство, доставшееся Матвею от отца с дедом, не успокоится на одном лишь только обличье. Похоже, что оно точно так же накинется в тайге на ее сына злою непонятностью.

То-то станешь сходить с ума на ее месте!

Покуда Славена, украдкой от Матвея, плакала да сушила на ветру мокрые от слез утиральники, сынок ее огневой поднялся выше притолоки и никаким иным делом, как только по-дедовски-отцовски зверовать да урманить по дальним углам тайги, перезаняться не пожелал. И вот тебе, ко представленному в этом сказе времечку, он уж мог любому зверовщику безо всякого лажу выставить вперед любой десяток очков, ежели дело доходило до охотницкого задора.

Тут, конечно, без оговорок ясно, что Матвеева сноровка некоторым гнилодушным таежникам крепко пощекотывала коросту честолюбия. Особенно молодым да ерепенистым. Кому-то из них хотелось бы, допустим, лишний раз прихвастнуть перед какой-нибудь лакомой до скорых радостей девахою своей отдельностью, исключением своим из числа таежников. А тут оно, Матвеево умение, да поперек языка ложится. Никак не сплюнуть, не счихнуть. И меркнет его похвальба, как при белом дне лучина. Вот и получается... кадриль без музыки.

Однако же бзык и без дуды — кадриль хоть куды! И вот тебе — напала эта самая скотовья радость на деревенского старчика[1], на Яшку Ундера.

Бедный человек!

Коростою легкой славы обметало Яшку столь густо, что ни лечь ему, ни подняться, ни в божьем храме постоять...

Может, кто собственными глазами в себя впитал, а

[1] Старчик — застарелый, не женившийся вовремя парень.

может, кому с чужого догляду на язык перекатилось, только заговорила деревня о том, что кто-то видел, и не один раз, как Яшка Ундер в бурьянах на Диком залоге[1] Господа Бога с колен молил: просил он царя небесного, чтобы в тайге не прометнул мимо Матвея Лешни того самого случая, которого так опасалась несчастная Славена.

Причиной Яшкиного пресмыкания была-оказалась Марфа-пасечница, Сысоя Рептухи дочка.

На деревне Марфа что красавицей, что пересмешницей, что озорницей слыла такой, каких свет не видывал. Была она, не в обиду будь ей сказано, сорвань из тех сорваней, которые в полную грозу на чертях по небу катаются.

За нею, за этой Марфою Рептухой, не только Ундер убивался. У многих парней, в погоне за шалой красавицей, были посбиты что каблуки, что сердца.

Раз уж в едином разговоре оказались собранными и Матвей Лешня, и Яшка Ундер, и Марфа Рептуха, думаю, что без долгих объяснений ясно, к чему клонится дело. Думаю, что понятно вам, из-за кого эта черт-девка не хотела выглянуть, чтобы рассмотреть Яшкины достоинства. Конечно же, из-за Матвея Лешни. Из-за него ни в какие раскрытые глаза не видела она Ундерова томления. Только вот, как за каменной стеною, за Матвеем девахе никак не везло укрыться. Любить-то Лешня Марфу любил, но никакой надежды на себя подать он красавице не мог. Считал себя не вправе мутить ей душу. Так прямо в глаза и говорил он ей:

— Ты, ладушка моя, больно-то на меня не рассчитывай. Кто его знает, не придется ль и мне, как деду моему да отцу, быть отданным провидением в полное распоряжение неведомым силам. Погодить мне надобно с женитьбою; опасную пору перевалить. Не хотелось бы мне потомство свое по сиротству пускать да и тебя несчастить. Ты же, меня дожидаючись, рискуешь в девках засидеться. Что как да заберет меня все-таки тайга — одна останешься. Одинокому что безногому — и нету ног, а болят. Ты даже не представляешь себе, какой тяжкой мукою может обернуться для тебя твоя ко мне верность. А я на свою мать насмотрелся...

— Да ты за меня не бойся, — как-то на разговор такой взяла и ответила Марфа, — ты погляди на меня внимательней: разве я пошибаю на тех, кто долго

[1] **Залог, залежь** — покинутая по истощении пашня.

страдает? Вот он — бережок крут, а вот и я тут... Всего-то и мучения терпеть, что до воды лететь...

Слова эти каким-то путем дошли до отца Марфы, до Сысоя Рептухи. Загоревал отец, забедовал пасечник: кому, ежели не ему, знать горячий да упрямый норов своей дочери. Ой, ой, ой! Можно считать, что потеряна для жизни Марфа. А Сысой втайне все-таки надеялся на то, что опомнится дочка, согласится пойти за Ундера. Он хоть — кулебяка с пригаром, да женитьбою, может, и пообрезался бы. Заторопился Сысой говорить с Марфою, уверять ее: прав, дескать, Матвей, сто раз прав. Не к чему тебе его дожидаться; вон как Яков за тобою помирает...

— Вот когда он помрет, да когда я на том свете окажусь, так, может, тогда мы с ним, встретившись, и потолкуем про венец...

Хорошо ли, плохо ли, а уж что ответила Марфа отцу, то и ответила. И пришлось Сысою эти самые слова передать Яшке Ундеру, когда меж ними случился не первый уже о породнении разговор. Однако Ундеру душевная заноза не столь, видно, была остра, сколь разлаписта. Во всяком случае, не просадила она насквозь Яшкиного сердца и на землю не выпала от такого полного ему со стороны Марфы отказа. Она только посильней расшиперилась и самые дурные струны Яшкиного нутра зацепила. Вот под эту музыку Ундер и запел:

— Эх, ты! Сысой Маркелыч! Отец ты дочери своей или не отец? Воля над нею твоя или залетного воробья? Вот ты ее, волю свою отцову, и накинь на причудницу! Силой вынуди Марфу пойти за меня! А дальше? Дальше? Дальше будет моя забота, какую упряжь на нее цеплять...

Была ли в ранешной частой приговорке о том, что стерпится-слюбится, какая-нибудь зачуханная правда? Наверное, была. Разве бы иначе люди на нее надеялись? Так и Сысою Рептухе ничего другого не оставалось, как только принять на душу лукавую суть этой народной придумки. Через тяжкие охи, через долгие Сысоевы вздохи, а все-таки дождался Яков от пасечника согласия на засылку до Марфы застоявшихся сватов.

— Чтобы все гляделось как у добрых людей.

А уж Яков давно подобрал на роль свахи самую въедливую, самую упорную на деревне бабу, Фотинью Толочиху. Об нем, об Толочихином строкоте народ говорил тогда:

— У-у! Фотька?! Да Фотька станет камыш глотать, а не бросит своего клоктать...

В подсобники ж к Толочихе напросился ее кум — Сорок Дум об чужом обеде. Так дразнила деревня Нестора Облого еще с его пацаньих времен. Да и как же иначе было его обзывать, ежели был он таким прожорою, что и не живал, когда не жевал...

Вот они оба—два широката, что сват, что сваха — пендюх[1] да маклаха[2], и настроились на Рептухову медовуху да на Ундеровы щедроты.

Но лишь только солдаты распустили животы, тут она и ударила — боевая труба! Ни медовать, ни щедровать «распустехам» тем не довелось. Хотя и умылось им чистехонько, и причесалось им гладехонько, и нарядилось им — напомадилось, и даже со значением большим выплылось на широкую деревенскую улицу, да не успелось им комедь сыграть. Только свысока оглядели они еще путем не подоспевший народ, как вдруг да внезапно, да с неба синего, ясного полохнула громовая молния! Хлестанула она огневым своим кнутищем не об заречный дол, не о Спасово угорье, не о Красный бор — грянула об дорогу деревенскую. Брызнула кустом искр именно туда, куда только что собралась ступить нарядная пара сватов.

Задеть она не задела собой ни того, ни другого. Просто взяла и уложила мытых-чесаных рядком на дорогу. А всяких любопытных мелким сором раздула на все стороны.

Полеглые сваты, перед страхом таким, не меньше чем на неделю от путевой жизни отказались; так и провалялись все дни глазастыми чурками. У себя, конечно, дома. Не оставлять же их, таких чистых да приглаженных, валяться посреди деревни. Только вот когда парням-мужикам пришлось растаскивать по дворам за руки, за ноги этакие до земли провисающие туши, они дали полоротым зевакам очень конкретное обещание. Заверили народ, что ежели еще кому вздумается взять на себя Марфы Рептухи сватовство, они смельчака такого доставят прямехонько на кладбище, чтобы по два раза не надрываться...

Шутки шутками, а молния все-таки была. И хотя ви-

---

[1] Пендюх — желудок, брюхо.
[2] Маклаха — сводня, посредница.

дела ее далеко не вся деревня, толковать о невидали ударился и стар и мал.

— Это как жа? Как жа это понять? Как растолковать зна́менье тако? Каким хвостом змеишшу огненну до ума привязать? Кому она послана? Марфе ли, Ундеру ли произведен такой небесный заслон? Какой в нем таится умысел?

— Похоже, что создателю не по душе Яшкино сватовство.

— Опять на Бога валим! А может, как раз сатана распотешился. Ить ране-то каки только грозы ни полыхали над землею, а таким умным хлыстом покуда еще не трескало.

— Так оно, так...

В неустанных подобных пересудах-гаданиях народ скоро договорился до того, что будто бы кто-то сыскался такой, кто сумел разглядеть собственными глазами, как в день Марфиного сватовства да летело по чистому небу то самое огневое яйцо, которое с черной середкою катило дораз по Спасову увалу. Даже видно было, как высунулась из яйца косматая пятерня, закрученная дулею. Она-то, мол, и стрельнула об дорогу нацеленной молнией.

Выходило, что и на самом деле дьявол соизволил дать людям понятие, что фига вам, мол, высватать за Ундера Марфу Рептуху — не по нюху табак...

— Что так, то так — нет, не по ремешку застежка,— поддакнулось людьми столь правильное толкование знамения.

Скоро всякий селянин сделал для себя какой-нибудь да вывод. Один только Сысой-пасечник ни в какую не мог взять в толк, какой интерес имеет дьявол отгораживать от Якова его дочку? Когда же он, через долгие прикидки, так ни к чему и не пришел, то махнул на темное это дело рукой, повесил голову и настроился ждать — будь что будет.

К его ожиданию быстрехонько пристроилась и вся деревня, кроме Яшки Ундера. Яшка поспешил хорохориться потому, знать, что порою этой Матвей Лешня был на дальней охоте. Вот он, Ундер, и суетился окрутить Марфу, вроде, тайком, хотя, как было уже сказано, Матвей ничьей воли не вязал. Потому-то, должно быть, и выдирало Яшку из рубахи поголовное к нему в людях равнодушие.

— Эх, вы! У вас у обоих башка из мешка, душа из

рогожи, — взялся он заново приставать до Нестора и Толочихи, не успели они путем на ноги подняться. — Какой вам дьявол? Кто его придумал? Да разве Господь допустит, чтобы дьявол по небу летал?

Когда же Фотинья да Облый наотрез отказались сделать до Рептухов повторный заход, Ундер привязался уверять их:

— Да ежели бы там богу или дьяволу неугодным покажется мое до Марфы сватовство, он ведь скорее в меня молнией шибанет.

— Что ж он сразу-то не в тебя шибанул?

— Промашка, может, случилась.

— Ишь ты... промашка — в чужой избе рубашка. Не-ет, дорогой, тут повадкою пахнет.

— А чо как повторно промахнется? — это уж Толочиха отвечала Ундеру. — Промашка-то ведь не пес, обратно не отзовешь...

Потолковали разумно Фотинья да Нестор с Яшкиным упорством, а когда осточертело, повыпроваживали прыткого жениха втычки да на скачки: катись ты к дьяволу! И двери за ним понадежнее захлопнули и вздохнули с превеликим облегчением.

Им-то очень хорошо стало. А каково Ундеру? Ведь он до этого, с небесной фигою случая, считался чуть ли не полновластным хозяином деревни. На этот же раз служить ему отказывались даже его большие деньги, которыми он взялся было взбадривать на Марфино сватовство чуть ли не всех кряду односелян.

Отказывались — и точка!

А стоит знать, что Якову, при безлошадных родителях, большое наследство от деда по матери, Спиридона Ундера, досталось. Спиридон-то Якова и на фамилию свою перевел, потому как внук жизненной хваткою в деда пошел. Так что было у Якова, какими деньгами фасонить перед людьми, вплоть до собственного отца с матерью. Только те, в свою очередь, как говорится, ни рылом ни тылом не собирались гостевать на Яшкиной спесивой стороне.

Кто-то Ундеру, при случае со сватовством, и напомни: чего ты, мол, перед своими-то кабызишься? Родители все-таки — можно бы и унизиться сходить.

— Не-ет! Никогда, — ответил спесивый. — В эту пропасть только разок соскользни — всю жисть катиться будешь...

Чо уж там. Об каком уважении к нему к такому

могла бы пойти речь. Ни об каком. Не потому ли, при его-то, вроде, высоком на деревне положении, Яков до крутой бороды все еще в «девках» ходил. Ну а с Марфою, видно, у него предел всякому фасону случился. Только и из этого тупика не пожелал он искать выход через родителев двор. Но зато уж чужие калитки все подряд пообхлестывал. Они ажно стонали в шарнирах от его злости — кругом отказ.

От Ундерова прихода вынуждены были хозяева затаиваться по хатам, стали делать вид, что вовсе дома никого нету — все уехали, уехали, уехали.

Уехали.

Да. Наступит время и Потапу сосать лапу. Случается, что и черт кается.

Но только не Яшка Ундер.

Никакой скорый Покров не подпихнул его до родителева тепла, как все-таки ожидал народ. Время лишь принудило Ундера хватануть однажды во злобе шапкою об землю да изругаться при этом в семнадцать столбцов!

Люди, которые оказались очевидцами тому, как строил Яшка посреди улицы этакую долгую лесенку, сообразили, что тем самым языкастый мастер поклялся себе: дескать, не царю, так не псарю!

Только так, и никак не меньше...

Поулыбались на Якову задумку люди: дай-то Бог нашему Козьме[1] поймать звезду в назьме. Однако же ни у кого ни единая думка не воспалилась подозрением, что клятвенник дойдет до такой точки, от которой куда ни беги, все на север...

Матвей Лешня не держал для охоты собак. От этого казался он народу еще бо́льшим охотником, чем, может, был на самом деле.

— На что ему собаки, — судил о Матвее всякий сход,— он и сам, что нюхом, что слухом, острейча любой борзой.

— А уж чо до глаз, так про Лешнево гляденье помолчать остается...

Но именно Матвеево бессобачье и толкнуло Ундера на великий грех. Нужда заставила его, как и других мужиков, подняться на охоту. Жили-то люди тогда в основном тайгою.

И вот.

---

[1] Козьма — в приговорках бесталанный человек.

Случайно ли, не случайно, а оказался Яшка по первому снегу в том самом углу тайги, где уж недели как с три зверовал Матвей Лешня. Дело было на закате. На ночь глядя Матвей разложил в Каменцовом речном размыве, что за Синтеповой излукой, небольшой костерок. В Каменцовом том размыве можно было бы укрыться от любой непогоды. А как раз ветер вдоль реки занялся такой, что сосны закряхтели. Да холоднящий, черт бы его побрал!

Яшка берегом забежал за Синтепову излуку да тут и увидел соперника своего у притухающего уже огнища. Вечеровал Лешня у налаженного для ночлега шалашика. Сидел он, поглядывал на догорающий огонь, изредка позевывал, светился в густеющих потемках ненавистным для Ундера лицом, белизну которого не смела портить никакая погода.

Яков, понятно, до костра не приблизился — не гостем, знать, пожаловал до чужого тепла. Притих он за краем излуки: утаился ждать, когда же сморит Лешню недолгий сон таежного человека...

Куда как нетрудно представить себе, с какою звериной осторожностью выползало из-за Синтеповой излуки Ундерово злонамеренье, как, под верховой свист ветра да постанывания сосен, подкрадывалось оно до Матвеева шалаша...

Ой, с каким мастерством, с каким умением настраивал в ту ветреную ночь Яков Ундер свой лук! С какою точностью направлял он самострел на выход из Лешнева приюта. Какою гадюкою ползал он по береговым окатышам, когда тянул через весь Каменцов прогал жильную струну-тетиву...

От самого от роду охотницкого, ни на одного хитрого зверя, ни один жадный добытчик не настраивал, должно быть, столь усердно смертоносную стрелу, как делал то Яшка Ундер. Ровно бы из шалаша таежного должен был выползти после безмятежного сна не Матвей Лешня, а сам Змей Горыныч семиглавый.

Вона как!

Даже в густой, ветряной темноте не могла она, Ундерова злоба, не увидать, не услыхать, с каким хрустом да по какую долю крепкой, густо оперенной спицы вошла его коварная стрела в широкую грудь Матвея Лешни...

В горячке-то Матвей еще вперед шагнул и только

потом рухнул просаженной стрелою грудью прямо на уголья все еще горячего под густым пеплом костра...

Эх ты, человек за краем излуки! Ни один зверь роду своему не сотворит похожего случая. Кому ты нужен... такой?

Яшка Ундер скорее да скорее давай следы ненужности своей заметать. Даже подскочил вырвать из Матвеевой груди стрелу, да она оказалась обломанной по самый корень. Только зря руку до самого запястья вымазал Яков в ошметьях спекшейся с золою Лешневой крови. Эта мазанина и ударила в Ундерову середку тошнотой-дуринушкой. И взялась дурнота крутить его по соснякам-ельникам. Взялась кидать она Яшку, перекидывать через пни-колоды, через высокие муравейники. Взялась цепляться крючковатыми сучьями за все ухватистые места...

Вконец загоняла.

Когда Яков, да на другой день, объявился в деревне, да ни кожи на нем, ни рожи,— солома на овинах и та от страха дыборем поднялась. Что же говорить тогда про Сувойкину Анну, которой выпало первой увидеть чуть ли не на животе ползущего из тайги Ундера? Такою белугой заревела Анна, что хмурая и в тот день погода сразу же разгулялась, будто бы ангелам с неба захотелось глянуть, кого это на земле черти пополам дерут?

За то время, пока Яшка через взбудораженную деревню до своего двора пробивался, небеса обратно затянуло хмарью. Полетели первые в этом году снежинки. А следом за ними вдруг да опять сорвался с высоты ветер, закрутила метелица и пошла она, разгульная, отплясывать по дворам свой свистящий, ледяной танец. Взялась взнахлестывать полы мужицких зипунов чуть ли не на маковку хозяевам, разлистывать на бабах на все стороны широкие юбки — лови только успевай...

Однако же от необузданного ее озорства никто из Ундерова двора по хатам своим прятаться не побежал; весь народ остался ждать Яшкиного объяснения, хотя тот за собою даже в сени никого не пустил.

Сколько он там, два, три часа, промариновал на холоде односелян — не было еще тогда по чему время определять. А когда он понял, что народ настроен ждать ясности хоть до весны, выкряхтел все-таки на крыльцо высоких ледовых хором и заговорил на погоде. Загово-

рил с долгими, как ветровые волны, пробелами в словах:

— Вы это... какого тут... хрена ждете? Сами, что ли... смыслить не умеете.

Ежели теперь докладывать обо всем рассказе с Яшкиными тогда передыхами, шибко долгий разговор получится. А когда попроще говорить, так ободранный Ундер вот что поведал народу: дескать, что вы стоите-думаете? Вы думаете, я с кем-то еще, кроме нечистой силы, сумел этак измутызгаться? И с кем же? Не-ет. Только с нею, с увертливой, и можно столь ухайдакаться. Чуть все лыко с меня, паразиты, не оборвали. А вы думаете, за кого я, за себя я, что ли, бился? Нисколечко, ни капельки! За Матвея Лешню бился я! За него, за несчастного, чуть было живота не поклал. Так ведь кабы тако дело не зря делалось, то и головы б не жалко было потерять. Ить все одно ж меня в деревне никто не любит. Только ведь с посланцами сатаны больно шибко не навоюешь. Видите, каково они мной наигрались? Бросили, когда подумали, что помер я. Подсунули меня под какую-то коряжину. А что Матвея Лешню — того с собой уволокли. Так что все: не ждите его, не надейтесь напрасно...

И ничего тут не поделаешь. Все произошло примерно так, как люди того боялись и ждали. И никто даже не подумал посомневаться в Яшкиных словах. Даже Матвеева мать Славена, и та не зашлась истошным криком. Удержалась. Только удержка эта к утру следующего дня вышла ей полной сединою.

Поутру-то и разглядел народ этакую беду! А ввечеру... Ввечеру он и сам весь чуть не поседел. Да и где тут было не перепугаться ему до смерти, когда вот он, уже подаренный чертям Матвей Лешня, как ни в чем не бывало, веселехонький да разбодрехонький, шагает себе из тайги. Несет Лешня за спиною битком набитый пушном охотницкий свой кошель; по всему видать — сейчас прямо-ка собирается он раскладать дома по кучам богатую добычу...

Во когда в деревне-то нужда голову подняла успевать-гадать: не то Яшка Ундер совсем с совести свалился, потому как врать с такою правдою способен лишь только покинутый Богом человек; не то Матвея Лешню, да за какую-то оч-чень знатную услугу, нечистая сила отпустила на волю. Ишь как он весело вышагивает вдоль дворов, как низко кланяется встречным се-

лянам. Похоже, думает: глядят на него во все глаза люди потому, что еще не доводилось им никогда видеть при охотнике столь туго натисканную суму. Однако селяне знают, каково охотнику будет «радостно», когда он перешагнет порог своего дома, когда увидит он да ахнет, что за одну-единственную ночь сотворила с его матерью лихая весть. Оттого-то еще сильнее пучит деревня на Матвея изумленные глаза.

И потом... Ведь, кроме Славены Лешни, и Марфа Рептуха слыхала Яшкин-то Ундеров «расправдивый» рассказ.

Ну и что из этого, спросите вы. А то самое... Ночью-то минувшей Марфа в петлю было залезла. Это еще хорошо, что Сысой Рептуха ждал от дочери подобной выходки — настороже был. Потому и не дал свершиться столь грешному дочернему намерению. И теперь ему сколь надо было сидеть над Марфою, чтобы та хоть немного отошла от отчаянья?

Когда люди прибежали сказать Сысою, что Матвей Лешня воротился из тайги цел-невредим, пасечник до того разошелся, чуя Ундерову брехню, что ажно рассвирепел, чего с Рептухою отродясь не случалось. Этой свирепостью непривычной его будто из тугой пращи метнуло до Яшкиных высоких хором. Понесло брехуну разэтакому башку дурную напрочь отвернуть. Только Ундерово недоумение от услышанного оказалось настолько неподдельным, что перед Яшкиной растерянностью Рептухина ярость маленько пригасла. К тому же Яков прямо-таки на коленях поклялся перед Сысоем, что он, под корягу чертями засунутый, видел, как нечистая артель на его глазах выпотрошила из Матвея душу и увела ее с собой, а тело бросила валяться не в столь от деревни далеком Каменецком размыве. А что не сказал Яков об этом селянам сразу, так уж больно страшно было...

Вот так.

По всему Яшкиному клятвенному отчету выходило, что в деревню заявилась либо одна только отпущенная чертями грешная Матвеева душа, либо (того хуже) сам огненный (помните?) сатана-дьявол вселился в Лешнево тело, принял человеческий облик и вот тебе... прибыл в деревню творить меж людей свои лихие забавы...

Что Сысою Рептухе оставалось? Оставалось Рептухе проверить Яшкины слова. Дело касалось судьбы его дочери, а значит, и его самого. Вот и надо было бежать

ему поспешать проверить за Синтеповой излукою Каменцовый размыв. Надо было удостовериться в правде ярых Ундеровых заверений да понять (ежели что подтвердится), с кем именно в лице Матвея Лешни ему вести за Марфу неравный бой?

И собрались они побежали оба-два: Яшка да Сысой. Задами побежали, огородами, топкими от осенних проливных дождей пожнями, притрусанными вчерашним необильным снегом. Добежали они до прилеска в три погибели согнутыми — не сразу придумаешь, кем. А согнулись они для того, чтобы вдруг да сатане было сыздали трудно догадаться, что в тайгу, в сторону Каменцова распадка, зачем-то поспешно побежали люди.

За елями-соснами они, конечно, разогнулись и уже заторопились по-путевому.

Вот они мерят широкими шагами тайгу и каждый в себе думает: «Башка ли, чо ли, у меня с места сдвинулась? — это об себе Яшка гадает. — Что ежели никакого следа в распадке не окажется?»

А Рептуха соображает:

«Ежели в распадке никакого следа не окажется, башку я Ундеру поставлю на место!»

И что?

Забежали они за Синтепову излуку — и оба окосели: тут оно, Матвеево тело. Тут! Никуда не делось. Как упал Лешня пронзенной грудью на горячее кострище, так и лежит. Только снежком его малость припорошило...

Ундер с Рептухою поначалу глаза-то на покойника таращили, а потом друг на дружку повели. Столкнулись они меж собою таким страхом, ровно каждый в другом разглядел вдруг живого Матвея. Так и заледенели оба! И стоять бы им замороженным до самого судного дня, кабы не возьми да не ухни на сосне ушастый пугач:

— У-ух!

Вот тогда и схватились Ундер с Рептухою выламывать по тайге колени — ажно стволье перед ними врассыпную! По колдобинам-буревалам прокатились они, ровно по зеркальному льду озерному. Только вж-жик... и вот уж леса нету. И вот уж собачьим брехом от деревни потянуло.

Остановились. Вспомнили оба, что они все-таки не кой из чего сделаны: не очеса щипок да не дерьма шлепок. Чего уж так на людей-то, и без того перепуганных,

лешаками из тайги налетать, переполох творить. Мало ли какой беды среди буйного страха проданная Матвеева душа натворить может. Нет, нет. С чертями шутки плохи.

Зашептались об этом Яшка с Сысоем, заподдакивали один другому. И согласились они на том, что, покуда солнце еще высоко, им следует воротиться в распадок, забрать Лешнево тело и скрытно доставить его до церковного батюшки Ларивона: пущай-ка святой отец решает за них, что делать дальше.

Не побоялись милые, воротились. Воротились они до Каменцова разлога и что ж вы думаете? Лучше бы им, бедным, на этот раз да проснуться каждому дома на печи, чтобы все ими увиденное оказалось бы только—натолько живым сном.

Нету! Нету в распадке Лешнева тела! Нету, как не бывало. Будто бы сто лет прошло с того дня, когда мужики наши его тут видели. Кострище есть, шалаш имеется, а тела нету. И даже место, где оно лежало, вчерашним снегом припорошено. Но самое острое для живописания умственных картин то, что поодаль от кострища, в глубине распада, чернеется огромная лепеха спекшейся в камень земли...

Сорок лет назад, когда черти первоначального Лешню забрали, ладно, холера с ним. И двадцать лет назад — тоже ладно: пропал в тайге второй Лешня — туда ему и дорога. Ни тот, ни другой селянам особой заботы не оставили. А вот нынешний! Этот-то ведь раздвоился! Для какой нужды? И вообще... Кто они такие — Лешни? Может, они вовсе и не люди?! Может быть, какому-то бесу понадобилось расплодиться собою через людей? Зачем, опять же?

Вот видите, и у нас с вами голову успело заложить всей этой чертовщиной. Каково же было Рептухе с Ундером, ежели тогдашние человеческие мозги на добрую половину были еще со мхом перемешаны? Вот и подумалось им тогда: вдруг да Матвеева проданная душа появилась в деревне только лишь затем, чтобы Марфу окончательно совратить да оставить в деревне после себя очередного Лешню?

Много еще чего налалакали тогда мужики на Матвея, покуда крупной рысью в четвертый раз за день меряли одну и ту же таежную тропу.

Это ничего, что бежали они до отца Ларивона с пустыми руками, — доказательством их правоты лосни-

лась за Синтеповой излукою в дьявольский пятак спекшаяся земля.

Теперь мужикам что остается проделать? Им остается немедля ударить в набат — собрать весь народ. Да чтобы непременно Матвей Лешня в церковь явился. И вот за аналоем да над святою иконою прихожанам все обсказать. Да пущай при этом и Матвей отчитается. А сейчас надобно поскорее до отца Ларивона добежать, согласия его получить.

Батюшка Ларивон с большим вниманием выслушал и Рептуху и Ундера, долго покачивал бородою, долго кряхтел, будто бы влезал на столь крутую невероятность, потом сказал:

— Давайте-ка мы великой суеты сегодня творить не будем. Поступим так: вы тут оба посидите у меня, подождите, а я схожу до Матвея. Ровно бы Славену пришел проведать на ночь. Потолкую с ним, пригляжусь попристальней: что там, какие в нем изменения произошли. Не может быть, чтобы без изменений... Не так это просто — душе от тела отделиться. Это ж не рубаху скинуть. Так что... вы тут подождите меня, а я скорой ногой...

И ушел.

А над деревнею уже день кончился. С молодым морозцем ночь, как на грех, случилась настолько глубокою, что даже меж самыми дальними звездами еще столько же пропасти оказалось, сколько было до них от земли. Возьми кто да выколи батюшке Ларивону глаз, он и не увидит даже. Не идет Ларивон по улице, а крадется. Боится он, кабы где да повдоль малоснежной канавы не выстелиться. Избы кругом спят. А ежели в каком оконце и теплится огонек лучины, так его света хватает только лишь на то, чтобы погуще темноту на деревню собрать...

А мысли-то в голове батюшки Ларивона далеко не святые: мысли-то с чертовщиною пополам.

Вот и зашевелилась в святом отце заячья жилка, и задергалась мелконькая. Ундеров с Рептухою недавний обсказ ожил перед слепыми в темноте Ларивоновыми глазами. И вот уж, вроде, кто-то дышит ему в затылок, вроде бы грозится и его душу из тела вытряхнуть. Вот уж, вроде, ловят его со спины черные руки. А когда поймают, не отпустят...

Ой-ой, как жутко!

Понесло же тесло[1], да вразмашку плыть... Ох ты, мать Пресвятая Богородица! Напала бы жуть на батюшку немного пораньше, он бы наверняка подхватил полы облачения да припустил бы домой. А тут уж чего? Вот она, Лешнева изба, рядом. Вот она, и калитка на Матвеев двор...

Калитка-то она, да только ноги немного как бы от Ларивона отстали. Привалился святой отец к заплоту — подождать, когда они подбегут, сам глядит — видит, отсвет из Лешнева окна по земле серым пятном вытянулся. Окно то и дело заслоняется кем-то — пятно меркнет, потом опять сереет. Похоже, что обеспокоенный Матвей по избе снует; может, с матерью все еще отхаживается? Вот он, хорошо слышно в тишине, со Славеною заговорил. Видать, и в самом деле не улеглось еще в ней вчерашнее потрясение. Однако ж кто теперь так просто сумеет убедить батюшку, что Матвей Лешня столь шибко взбудоражен лишь немочью матери? Не бесится ли он еще и оттого, что за долгий день не удалось ему оторваться от хворой Славены да исполнить, может быть, неотложные сатанинские задумки? Вот какие жаркие нотки срываются в ночь с Матвеева языка. Какими они щекотливыми мурашками падают батюшке Ларивону за шиворот и расползаются по святому его телу...

Ой, жутко опять!

Прямо морока отцу Ларивону.

А еще он слышит, что какой-то побочный звук втиснулся между Матвеевых слов.

Звук этот заставил ризника немного отвлечься от Лешнева настроения. И что же Ларивон услыхал? Услыхал преподобный отец, как из темноты, чуть ли не прямо на него, тихо-тихо пошаркивают об дорогу чьи-то до предела осторожные ноги. И такие они боязливые, словно бы еще раз да повторно до Матвеева светлого окна подбирается он сам, отец Ларивон. Господи! Не раздвоился ли и преподобный батюшка? А ежели не раздвоился, тогда кто же подбирается до Лешневой хаты? Может, Яков Ундер? А может, Сысой Рептуха не утерпел высидеть времени — дождаться вестей от попа? Кто ж это из них притемнил подслушать, какой у Ларивона со мнимым Лешнею разговор складывается?

Хотя ничего хорошего на душе у ризника и до этих

---

[1] Тесло — род топора.

шагов не было, однако же сделалось в ней и того хуже: не любил поп непослушания. Но окликать ослушника Ларивон не стал, не стал подзывать к себе да укоры ему строить. Лишь потянул от заплота шею — виноватого разглядеть. Тот, ни о чем не догадываясь, дошаркал до самого окна и внимательно взором уперся в самый свет...

Ретивое в преподобном Ларивоне зашлось прежде, чем успел он издать хотя бы малый стон. Не охнул, не квохнул святой отец — так молчуном и поплыл, как ему тогда показалось, с перевернутой земли да прямо в межзвездную пропасть. Там его и укрыла от нечистой силы беспамятная немочь. От той самой, которая со страшной жадностью глядела из ночи в окошко Лешневой избы.

А глядела она — сказать, не поверите, кем.

Глядела она да опять же Матвеем Лешнею!

Из далекого-далекого, надежного укрытия своего воротился батюшка Ларивон на землю — никто теперь не скажет, на какой день. А за то время, покуда он «порхал» меж звезд, внизу, в деревне, с Яшкиной неуемной суеты да с Рептухиного яростного поддакивания, Матвея Лешню заперли-заколотили в его же собственном доме. Готовая помереть за сына, и Славена, его мать ни в какую не согласилась покинуть внезапную тюрьму.

Да «тюремщики» больно-то ее и не уговаривали. Раза два-три сокликнули: желаешь, мол, так выпустим, а потом заложили окна горбылями, дверь замком да ломом, караульщиков наставили и сами недалече присели ждать, когда поп в себя воротится да объяснит им, пошто он под заплот свалился да какое в том Матвеево значение?

— Чем его Лешня так уж из себя выбил, что батюшка Ларивон очухаться никак не соизволит? — стали они, ожидаючи, гутарить меж собой.

— А ить душа-то Ларивонова тожить, должно, бродит гдей-то, шатается без хозяина.

— Ну, ты и сравнил... водку с квасом. Ить Ларивонова душа наверняка с богом теперь беседу ведет; должно быть, решается меж ними, как с Матвеем поступить...

— А вдруг да царь небесный батюшкину душу при себе пожелает оставить? Что делать тогда будем?

— Тогда чо, тогда быть Лешневой избе да под красным петухом.

— А со Славеной как? Вот сколь ее перевернуло-то, бедную, за одну ночь. Выходит, что она сном-духом не знала о сыновних с нечистой силою шашнях.

— Получается, что не знала.

— И кто ж тогда примет на себя такой грех — губить огнем безвинную?

— Иного выхода нет. Ить ее и трогать-то еще никто не трогал, а уж она заявила: посмейте хоть пальцем до меня коснуться — любого прокляну! Так что сколь медведю овса ни сыпь — не заржет...

— Все это понятно, и правильно, и простимо, — одобрил вывод такой батюшка Ларивон, когда его еле живую душу небесный владыка осторожно воротил хозяину. — Только огнем-пламенем и подобает из Божьего стада выжигать сатанинскую пагубу. Но еще правильней рассудили вы, когда решили подождать меня, поскольку случай с Матвеем Лешнею через край особенный! Отчего, вы думаете, свалился я тою ночью под заплот? Оттого я свалился, что живехоньким увидал второго Матвея Лешню!

— О-ой! Да чо же это такое?!

— Ой, бьет меня озноб — только крест не спрыгивает...

— Вот вам и «ой» — хоть реви, хоть вой. Потому и получается: сожги мы сейчас одного Лешню, а другой?! Как он на это посмотрит? А? Не примется ли он буйствовать? Ведь он не даст нам тогда никакого житья. Потому нам надобно поступить вот как: надо суметь выманить из тайги двойника, тогда только хвататься за огонь. Согласны?

У нас ведь, как у пацанья в игре: кто не согласный, у того нос красный... А кому охота быть нащелканным по нюхалке? Никому. Так что несогласных нету.

Когда же все оказываются такими сговорчивыми, какая нужда медлить? Айда, робя, удить... в зеленом океане рогатого ерша.

Ею и теперь-то, матушкой сибирской тайгою, блудить не переблудить. А в те задавние времена кормилица наша хвойная всеми краешками ажно под землю подворачивалась. Попробуй-ка выследи в ней, в необъятной, того, кто прячется; того, кому всякая сосна — стена, всякий кусток — закуток. Только ведь ум задору не отец. Не скажет — сядь, прижми хвост! И поднялась на это

жаркое дело целая война мужиков. Ну и что? Да хоть три гурта в стадо, все одно скотина. В горячке-то ум на ум не перемножишь? Прямка разбежался Лешнев двойник навстречу им — пойманным быть захотел. Сыскать бы мужикам, ватажить по тайге безо всякого толку, может быть, до той поры, покуда в деревне без них бабенки с ребятней не попередохли. Только, слава богу, не случилось такого разору. Не довелось мужикам допартизаниться до последней крайности. И вообще ни до какой войны дело не дошло. Нашумелись вояки у Ларивонова двора, настропалили себя — из-под земли, дескать, черта достанем, побежали по дворам: одеться потеплей, харчи да снасти какие собрать. Тут Сувойкина Анна, та самая, которая погоду криком разогнала, когда Яшка из тайги явился, опять реванула в три голоса:

— Дьявол!

Шквалом крик ее пронесся по деревне, избы пошатнул!

Экое землетрясенье случилось — весь народ наружу повыскакивал. Увидал — не зря Анна блажит. Вот он, идет! Вышагивает серединой улицы. И похож как две капли воды тот дьявол на Матвея Лешню. Такой же точно молодой, статный, огневой да синеглазый... Кто на улицу ни выскочит, тот и занемеет. Даже собаки. Ворона летела, и та рот раззявила да повисла в небе, как на ниточке. Чего там ворона — батюшка Ларивон выбегнул на паперть и зачаврел, будто муха на пристыве: бери его дьявол за бороду и уводи куда хошь — не трепыхнет. Однако же белолицый черт никого даже пальцем не тронул, только сторожей с Матвеева крыльца пришлось ему бережно на бревнышко во дворе пересадить, иначе бы они ему помешали к арестантам в дом войти.

Может, он так же вот спокойненько сумел бы обратно выйти и невольников за собой в тайгу увести — вряд ли кто шевельнулся бы даже. Только вдруг Славена в распахнутой настежь избе зашлась криком:

— Иннокентий!

«Какой Иннокентий? Какой там ей Иннокентий? — переглянулись меж собою сторожа на бревнышке.— Чего добрым людям голову морочить? Похоже, что и Славена не без греха, коль вздумалось ей дьявола перед деревнею за пропавшего мужа представить».

Такую вот догадку занемевшие караульщики друг у дружки на мордах разглядели, очнулись, спохватились

и успели... Успели запереть в глухой избе да всю полностью сатанинскую сходку!

Обрадовались. Давай руками махать, созывать людей: уже все, дескать, миновала опасность. Тащите хворост, да побыстрей! Кто там проворней, беги за огнем!

Завертелось все кругом, завихрилось. Ребятня и та охапками сушняк волокет-спотыкается. У кого-то уже и огонек в горсти воскрес, дымком задышал...

Поторопились, однако. Поспешили огонек-то раздувать. Пришлось его скорыми пальцами замять на фитильке. Получилось так, что в суматохе никто даже и не заметил, когда это успела Марфа Рептуха вскарабкаться на самый конек Матвеевой избы. Да еще и с топором в решительной руке.

— Кому жить надоело — полезай до меня, волоки меня с крыши...

Это она грозится с высоты.

Кто ж полезет за ней? Всякий знает, что с этой девкою шутки плохи. Даже Сысой, и тот не рискнул попытаться дочку снять, хотя Ундер и подтаскивал его до чердачной лесенки.

Сысой вообще... Только что бегал, как наскипидаренный — народ подгонял, а тут в ноги тому же народу повалился:

— Помилуйте...

Яшка Ундер тоже захныкал, затоптался, возгри распустил — помилуйте.

Чо уж так унижаться-то? Народ и без того — люди. Кому ж охота наскакивать на такой грех? Отступился от Лешневой избы. Правда, маленько еще погрозился перед Марфою, но никакой пользы от того не возымел да подумал: чего мне тут стоять? Меня ж никаким краем чертовщина эта не коснулась. Интересно ее Рептухе с Ундером решить, пущай решают. А я тут причем? Может, Марфа до весны на коньке прогарцует. И мне, что ли, стоять, башку задирать.

— Давайте-ка, мужики, сами с дурой своею как-нибудь договаривайтесь, — хмуро посоветовали Сысою да Якову селяне и разошлись по дворам. — Ужинать охота...

Ну, где ужин, там и ночлег. Повалились советчики в теплые постели свои. Отец Ларивон тоже стоять не ос-

тался; скинул рясу и запел носом до петушачьего подпева. Только и сказал он Ундеру с Рептухой:

— Покличьте меня, — сказал, — когда вы тут с Марфою уладите. А то я шибко еще слаб всенощную выстаивать...

И ушагал обратно.

Сели Яшка да Сысой в Лешневом дворе на бревнышке, головы до конька вскинули и стали жабами при луне глядеть на поживу да квакать от времени:

— Сла-азь, Марфа. Будет дурить. Сла-азь...

Вот тебе невысокая луна за небо упала, вот тебе и темнота непроглядная поднялась. Облила она черной смолою все небо — звезде не проклюнуться. А тишину накатила такую, что стало слышно, как за Уралом две бабенки одного мужика делят.

Интересно.

А в это время калитка Лешневой ограды отворяется, отворяется. И вот те... Входит во двор... Кто бы вы думали? Входит во двор опять Матвей Лешня!

Сысоя Рептуху до бревнышка ужасом прилепило, а Якова, наоборот, будто бы то же самое бревно — да краем своим под зад лягнуло. Видели б вы его взлет!

С криком «ой» кинулся Яков ловить нового Лешню. Но не довелось Ундеру даже пальцем дотронуться до Матвея. Увидел Рептуха Сысой и другим потом рассказал, как от Яшкиного касания заиграл Лешня ярым светом, молниями пошел...

Нет. Не жаром огневых струй опалило ловца. Обдало Яшку великим холодом. Таким великим, что в единый миг спекся Ундер сосулькою...

Тем морозом маленько Сысоя задело. Руки ему да лицо немного обожгло. Самого же за бревно без памяти завалило. Оттого и не увидел он, куда подевались Лешни заодно с Марфою.

Дома Ундер вытаял весь, розовой водицею изошел, только мокрая одежда от него и осталась. Пропал бы, наверное, и Рептуха. Во всяком случае, селяне в доме его бабку-лекарку оставили, попросили доглядеть, чтобы человек в одиночестве не помер. Сами разошлись по своим перепуганным семьям.

Но на том дело не кончилось.

День да ночь просидела лекарка над Рептухою, а утром, чуть свет, подняла деревню суматошным рассказом. Перед самым рассветом, оказывается, Марфа домой приходила. Да не одна. С нею заявилась вся троица

Лешней. Один к одному — молодцы! Разом приступили они пользовать живой водою умирающего Сысоя. А когда тот захрапел богатырским храпом, сказали старой, чтобы Рептуху неделю не трогали. Пущай, де, спит, пока сам не поднимется. Когда Лешни собрались уходить, Марфа над отцом маленько попридержалась. От нее-то лекарка и узнала, что представился ей не один Матвей в трех лицах, а приходили до Сысоя одновременно и дед будто бы Аким, и Иннокентий, и сын — Матвей.

Подумать только!

А еще Марфа велела сказать деревне, что и она теперь на долгую-долгую жизнь молодой останется, ведь там, куда забирают ее Лешни, время над людьми не властно...

И при этих словах Марфа показала на небо.

Вот и подумайте, кто были эти Лешни?

БЕРЕГИНЯ

Ступай черным бором,
плешатым угором,
болотом мочажным,
повалом корчажным,
медвежьим урманом,
куможьим туманом...
На сотый денек
увидишь пенек;
долбанись разок —
выскочит лабзок[1],
с него и сказ проси,
а с меня — Господь тебя упаси...

Такими вот примерно шутками-прибаутками отнекивались, бывало, от надоедливой мелюзги деревенские сказоплеты, когда те допекали их своими канючками. А случалось в прежние годы сказителей разных, считай, в каждой хатке по охапке, в каждой землянке по вязанке.

Шутка шуткою, а понимать потешки эти надо было так, что даже сквозное вранье и оно истиной кормится.

---

[1] Лабзок, лабзун — угодник, потатчик.

Ведь еще тогда, когда ничего на земле не было, правда уже была.

Правдою, видать, и удерживалась в народе эта запевка, с которой заведен теперешний сказ.

За черным бором, за Плешатым угором, за сопкой Авдейкой, за рекою Улейкой, в дюжине верстах от Белояровки когда-никогда вел годы свои изрядный скудельник[1] Леон Корнеич Самоха. Не в одни руки творил Самоха глиняные чудеса свои, не в одни глаза радовался им. И выходил он из гончарного сарая на чистый двор таежной заимки своей, и небу улыбался, и шагал меж елок тропкою, что вела от заимки до старицы, поросшей по берегам резунами да таловником, тоже не один.

Не бобылем жил-бедовал Леон Самоха. При нем внук его Дёмка суетился, уму-разуму учился, делу сноровлялся. А дело у Леона Корнеича сызмолоду было налажено тонкое, со всеми хитростями перенятое от давно покойного Якова Самохи. С Адамовых лет[2] передавалось в их роду от старого к малому умение из белой глины — каолина выделывать чудеса. Те самые, которые после прокалки да росписи колонковой кистью, обмакнутой в сурьмяную медь, да глазурью облитые, ценились купцами чуть ли не наравне с чистым серебром холодной ковки. Это о посуде. А что сказать обо всяких разных, из-под ловких пальцев выходящих мужичках хитрющих или там красавицах, обращенных якобы колдунами в полузверя, в полуптицу... Тут ценители в драку лезли — деньгу наперебой совали.

Творить такое чудо из подлопатной глины — дело мешкотное, прихотливое. Оно дурного глаза не выносит, уважает полный покой. Любит оно зарождаться во чреве тишины да умиротворения. Дружится с богатой выдумкой, со свободной игрою мысли...

Потому Самохи и утаивались на лесной заимке, которая сотворена была еще Леоновым прадедом за названной рекою Улейкой. Заимка теснилась среди нетронутого сосняка-ельника, перемеженного где черемушником, где березняком, где зарослями калины...

Извилистая тропа еловым подлеском провожала Са-

---

[1] Скудельник — гончар.

[2] Адамовы лета — начало земной жизни.

мох до упомянутого ёрика[1], заросшего по окоему тальником. Там она выпускала их на луговину, которая хрящатым[2] мыском вдавалась в сухорусло, отделяемое летами от основной реки песчаным перешейком...

Любили Самохи заимку свою и строго берегли от ненужного человека.

Теплыми вечерами усаживался старый Леон со внуком на бревнышко возле избы своей замшелой, непогодой осеннею либо вьюгой-завирухою придвигались они поближе к печному теплу и принимались один перед другим во всяких, придумках скороваться[3]. И нахохочутся, бывало, и наспорятся, и наудивляются тому, насколько извилисто может служить человеку его фантазия.

Не диво, что после таких вечеров Дёмке представлялось, будто бы знакомый лес полнился околдованными богатырями, кудесниками бородатыми, а в зарослях да буреломах шныряет пакостливая нечисть.

А вот еще что представлялось Дёмке. Представлялось ему, что с наступлением потемок, когда на земле засыпает даже караул, богатыри да царевны отряхивают с себя дневной сон и вступают в сокрытую от людского глаза борьбу с лихим племенем колдунов да чародеев.

Каждое приметное дерево в округе имело у Дёмки отдельное имечко. Столетнюю сосну на недалекой от заимки елани[4] величал парнишка Авдотьей Микулишной; тонкую березку над закатным, крутым огибом сухорусла называл ласково Еленой Светозаровной; кедра могутного — стража урманного одаривал званием Богатыря Великаныча; молоденькую ж ёлочку на взгорочке окликал Аленкой-сестренкой...

Тут у него был клен Семен, там рябина Катерина...

Всякому дереву радовался парнишка, с каждым кустиком здоровался он ровно бы со старым товарищем, до любого цветка долетала его ласковая улыбка.

Вот, должно быть, за эту ласку, за это внимание к лесному народу и полюбила Дёмку Самоху суровая тайга. Ни разочку не напугала она друга своего малого, недорослого; не подстерегла она в чаще такого случая, когда легко ей было замутить голову отчаянному блукарю-мечтателю, каким был Дёмка. Не напустила она на

---

[1] Ерик — старица, парусло, протока, сухорусло.
[2] Хрящ — крупный с галькою песок.
[3] Скороваться — соревноваться.
[4] Елань — лесная поляна.

него из чащи ни бродника[1], ни ведника[2], ни сергацкого барина[3].

Не вспомнилось бы Дёмке и такого случая, когда бы таежная глухомань неумно позабавилась и над его дедом, Леоном стал быть Корнеичем. А ведь приходилось старому не только топтаной тропочкой от заимки до сухорусла бегать. Выпадала ему забота по дебрям непролазным, по волчьим лягам зверя стеречь, по болотистым рямам птицу поднимать. Доводилось и кедрачи поздними листопадами ходить обстукивать, и в клюквенных моховинах ягодку из-под ледяной накипи брать.

Как только Дёмка из Белояровки от деда на заимку перебрался, так его ко всем своим заботам и стал приучать Леон Корнеич, хотя парнишка путем еще с палошного коня не соскочил.

— Ну дык чо ж теперь? До жеребчика тебя ли чо ли пестовать? — всякий раз приговаривал старый Самоха, когда приходилось ему ни свет ни заря поднимать с постели внука. — Привыкай, брат, мужиком быть. Привычкою-то человек, ровно закром, не с покрышки, а с донышка полнится.

На кишмя кишащую черногривым линем, пескарем да окунем Улейкину протоку так же точно не отказывался старый лишний раз прихватить Дёмку. Тут и вовсе, еще до вторых петухов[4] вынимал Леон Корнеич парнишонку из теплой постели.

Словом, не дозволял дед внуку належивать скуку.

— Ленивому Кондрат[5] — кровный брат, — приговаривал Самоха над редким внуковым непросыпом.

Но как-то раз случилось такое, что Дёмка ото сна поднялся уже при полном свете. Пустым занятием оказалось тогда искать старого в избе и в сарае, и по всему подворью. Нашелся дед на протоке. Он занемело сидел на суковатой коряжине, которую весенним половодьем вынесло на хрящатый мысок, смотрел пустыми глазами в сторону крутого берега, что темнел над заилевшим омутом, и даже, как показалось Дёмке, не дышал.

Дедова немота шибко напугала в тот раз внука: ажно задергал носом парнишка.

---

[1] Бродник — разбойник, бродяга.

[2] Ведник — колдун, нечистый.

[3] Сергацкий барин — медведь.

[4] Первые петухи поют в полночь, вторые — до зари, третьи — с зарею.

[5] Кондрат — кондрашка, паралич.

— Ну чаво ты всполошился? — оправдывался позже старый.— Чаво вспенился? Ить время ото времени ко всякому человеку приходит нужда побыть одному. Для души нашей одиночество все одно, что баня для тела. Пересиживать в ём, как в парилке, не след — угореть можно. А вот похлестать подлинность свою веничком продуманности — это человеку на пользу.

В то утро Леон Корнеич воротился со старицы просветленным, ровно и в самом дело промытым изнутри. И весь день глядел он на мир такими глазами, вроде бы сполна постиг беспредельность его, а себя в нем осознал не последней пылинкою.

Тогда и Дёмка до самого вечера видел вокруг себя одни только цветы да росные звезды.

А вот вечером... Вечером Леон Корнеич не удержался, признался:

— Нонче поутру я в таку думу ушел, что прислышалась мне песня. Ой, какая колдовская! Спасибо — ты прибежал: мне бы самому от нее не очухаться. Смерть, видно, меня зовет...

— Не ходи больше на парусло один, — попросил тогда Дёмка.

— Не пойду, — пообещал старый.

Однако ж на другой день Дёмка опять пробудился в сиянии спелого утра. Он спешно кинулся в порты и босым галопом покатил в сторону ёрика. Да не успел он и через прясло перемахнуть — вот он, Леон Корнеич. Катит старый от руслища обратно, несется, прямо сказать, на семерых трусливых...

Подслеповатый Самоха только сблизи разглядел внука. Тут он и опомнился, что молитву читает, но не крестится, а лишь клюет себя в середку груди тряскими перстами.

Осознавши несуразность вида своего, Леон Корнеич вильнул на тропе — хотел было в густом подлеске испуг свой укрыть. Но сообразил, что он уже пойман острым глазом внука, потому остопился, перевел дыхание и засеменил до заимки прямиком. На все Дёмкины вопросы он долго пожимал плечами, вроде не понимал, что хочется тому от деда узнать. Дома Леон Корнеич сразу же сунулся заняться привычным делом, да руки хозяина подвели. Взамен давно задуманного им хитреца-скомороха они, тряские, вылепили ему какую-то фигу, а потом и вовсе опустились. Тут старый вспомнил, что с ве-

чера не пил квасу; и ковшом-то не очень полным почерпнул он из дежи клюквенки, но лишь оплескал на себе рубаху.

Тогда уж Дёмка взялся теребить деда:

— Ты чего это? А? Кто тебя?!

— Никто, Дёмушка, никто. Ей-богу.

— Нешто утопленника на старице узрел?

— Никого не узрел, — даже серчал Леон Корнеич, но, подумавши, все-таки признался: — Хуже, Дементий Силыч. Хуже! Вчерашняя песня, оказывается, не во мне звучала.

— А в ком?!

— Так вот, понимаешь ли: вроде бы что и слышалось, а вроде и рассказать не о чем. Вишь какая штуковина получается...

— А что слышалось-то, дедуня?

— А то, внучок, чего и быть не должно. Верь, не верь, а послышалось мне, ровно бы малое дите из-под воды в омуте плакало. Не ором орало, не захлебывалось в крике, а тоненько, жалобно так: у-у, у-у... Похоже, забилось оно куда-то в илистую глину и выстанывает там тяжкую обиду свою. Поначалу-то я стон опять было за песню принял, а потом разобрался. Подумал еще: может, нечистый ребятню из Белояровки на старицу за легкою рыбою пригнал? Может, она мне, пугая, пениестоны разводит? Я и полез в рогозник[1]. Хворостину выломал. Да только зря армию комаров на себя поднял. Воротился на мысок, сел опять на каршу[2] — плачет! Еще слышнее прежнего. Вот когда меня морозом и продрало. Понял я, наконец, что ребячьим голосом стонет омутовая глубина! Что же это такое? Уж не водяной ли зовет меня к себе?!

— Почему ж он тогда ребятенком плачет?

— Кто его угадает? Должно, надеется, что так жальчее.

— Водяной кошкой орет, — убежденно заявил Дёмка и стал гадать: — Может, берегиня какая, русалка, в нашем ёрике поселилась? Может, ее половодьем с верховья принесло...

— Берегиня больше хохочет.

— Дай сбегаю, послушаю, — сорвался было Дёмка слетать до парусла.

---

[1] Рогозник — камыш.
[2] Карша — коряга.

Но Леон Корнеич застрожился:

— Я те побегу! Я те послушаю! Начирикал заботы,— тут же посетовал он на себя.— Кто меня за язык тянул?

Дёмке же он не забыл повторить:

— Только вздумай... побеги мне! И вообче... На протоку — ни ногой! Понятно?!

Ясно, что понятно. А то как же? Ведь кабы да не ад, так был бы и с чертом лад...

Вот с этим ненастным согласием, с этим слякотным послушанием и протащился Дёмкин день до самого заката. Вымотанный никчемными делами, завалился тот день во мшаник[1] густых сумерек. Заботливая ночь, дабы не тревожить покой изнемогшего, пологом облаков задернула небеса. Звездам велела она не больно-то высовываться наружу, не больно-то выпяливать красоту свою, чтобы завистливой неясыти не вздумалось ухать посреди тишины, углядевши в глубине парусла их отражение. Да чтобы ревнивая выпь на дальнем болоте не взялась кликать блудливого лешего, принявши спросонок звездный отсвет за хоровод озорных шутовок[2]...

От осторожности такой даже луна, еще на днях медовая, спелая, ссохлась на небе какой-то обкусанной плесневелой краюхою. Когда же она, робкая, посмела заглянуть в оконце самохинской избы, когда разглядела в умиротворенной дедовым похрапыванием темноте несонные Дёмкины глаза, то и себе давай строжиться. Не на звезды — на парнишку. Чего, дескать, тебе не спится?! Уж не замыслил ли ты среди ночи на старицу бежать? Смотри у меня, парень! Не то возьму да и высвечу для тебя на протоке то, чего и в самом деле никак не может быть на земле...

«Ну вот. Еще одно пужало, — в свою очередь подумалось парнишке о луне. — Саму-то вон как со страху сжулькало. А я не боюсь! Мне только деда всполошить жалко, потому и жду, когда он хорошенько уснет. Сщас-ка встану... пойду... не струшу...»

И ведь поднялся постреленок! Поднялся. По избе, по сенцам — на цыпочках... Вышел на погоду...

А луна!

Луна, оказывается, по-над сопкой Авдейкою только что восходила. Потому-то она, из-за рубчатого края тай-

---

[1] Мшаник — клеть, амбар, сарай.

[2] Шутовка, берегиня — русалка.

ги, и показалась парнишке такой обглоданной. А тут она образовалась перед Дёмкою крутобокой красавицей, которая так и расплылась перед его храбростью в полной улыбке. Будто бы и не луна всплыла над заимкой, а глазурованный мятный пряник. Очень уж, видно, ей понравилось Дёмкино упорство.

Кроме того, хозяйка ночного неба успела когда-то светом своим растопить облачную завесу, успела и на земле прояснить среди подъельника извилистую тропку. Вот и повела она, заторопила отчаянного парнишонку до ночной старицы, заказанной ему Леоном Корнеичем для наведывания даже среди бела дня.

Вот луна осторожно выпустила Дёмку из-за елок на хрящатый мысок, вот довела его до суковатой на берегу карши, вот спрятала его в тени той коряжины, наказавши внимательно слушать затаенную ночь. Сама тихонечко поплыла дальше, будто бы до ёрика ей нет никакого дела.

Вот Дёмка сидеть, вот ждать... Ни над водой, ни под водой... Тишина мертвая. Разве что коростелек в метляках[1] спросонок присвистнет, либо коровашек-ракитник[2] жалобно забормочет во сне, вспомнивши, до чего же глупо упустил он пойманного днем мотыля.

И вот как бы предрассветный туман занялся над старицей; даже не туман, а марево. Оно и с воды-то путем не поднялось, а выстелилось светлой дорожкой по ёрику... или в глубине его? Не понять. На лунное отражение не похоже. Да и при чем тут луна? Она плывет вовсе по другую сторону парусла...

Должно быть, что-то происходит-начинается?!

Потянул Дёмка из-за коряги шею — разглядеть наваждение, и тут полоснуло его по глазам лучом ослепительного света. Парнишка от неожиданности за каршу завалился. Проморгался чуток и опять выглянул из-за укрытия — световой дорожки уже не было на воде. И вообще кругом стояла полная ночь, поскольку луна и себе с перепугу завалилась за облако. Но вдруг! Плеснуло... Прямо на середине старицы. Вроде кто из камышей невидимой рукою запустил туда увесистый камень.

А под водою опять огонь факелом засветился.

Вынырнул факел тот на поверхность, маяком лучистым повел по резунам, по ракитникам, по хрящатому

---

[1] Метляк — метельчатый камыш.

[2] Коровашек, коровайка — кулик.

мыску... Вроде бы хозяин того света желал досконально оглядеть ночной берег, чтобы не случилось помехи, если ему понадобится выбраться из глубины на сухое место.

Затем огонь опять погас, погрузившись в глубину.

Свет его взялся мерно двигаться, определяя кому-то путь прямо до хрящатого мыска. За ним следом по поверхности ёрика вскипел бурунок.

Дёмка перестал дышать.

Водяной?!

Дьявол?!

Шутовка?!

Кто?!

Что делать?!

Дать стрекоча? Но Дёмка давно мечтал увидеть потаенную жизнь ночной тайги. Потому он бежать и не дернулся, а только прилип до коряжины, ровно блин до непрогретой сковородки.

А бурунок, в свете робкой луны, все кипел, все пенился...

Допенился бурунок до мыска, приутих, сравнялся с водою и огонь погас. Однако ёрик никакого водяного на песок не выпустил. Дёмка увидел совсем иное чудо: перепончатая, огромная лягушачья лапа высунулась из воды и осторожно выложила на галечник штуковину, длиной в аршин, похожую на железный пест, который был увенчан блеснувшим набалдашником. В это время пискнул в резунах коровашек-ротозей, реванула на болоте выпь, на высокой сосне лупатый филин ухнул от изумления и захохотал клёкотно на всю округу. Лапа дрогнула, уныряла в глубину.

А Дёмка?

Словно лихой порыв ветра подхватил парня на крыло свое и единым духом доставил его на заимку.

Уже из оконца избы, уже маленько отдышавшись, уже чуток одумавшись, увидел парнишка на небе во весь круглый рот хохочущую над ним луну, упал ничком на свой топчан и расслезился.

Вот тебе на! Был, говорят, герой, да убит кобурой...

От Дёмкиного хлипа пробудился на припечике Леон Корнеич. Поднялся, босо дошлепал до внукова лежака, тронул парнишку за плечо.

— Проснись, Демушка, — сказал полушепотом. — Пробудись. Ты чавой-то расхлюпался? Сон ли дурной до тебя пристал?

— Пристал, — вроде заспанным голосом соврал Дёмка и дале взялся сочинять: — Вижу во сне, будто на нашем ёрике огонь под водою плывет; будто бы кто факел запалил и до мыса направляется. А я за каршою, на берегу будто бы прячусь и все вижу. Подплывает водяной... волосатый! Космы на башке с тиною перепутались. Глазищи во! Горят. В одной лапе железная палица, другой воду загребает... Лапы зеленые, как у лягушки. Подплыл до мыса и выложил палицу на песок. А тут филин... да как захохочет... Я и заревел.

— Напужался?

— Небось напужаешься,— не стал Дёмка отнекиваться. — Он ить прямо над головой... да как ухнет! А потом и закатился...

— Это я — старый сверчок, виноват, — опять затосковал Леон Корнеич. — Наверещал сглупа страху. Разве ж могла омутовая глубина ребятенком или еще кем куликовать? Это же во мне самом старость моя плакала. Из-под воды-то никакой водяной не сумел бы голосу подать. Ему для голосу пришлось бы в камышах сидеть. А ведь я тогда всю урёму[1] обшарил. Никого на парусе не было. Старость моя плакала...

— А вдруг да не старость? — затаенно, точно его сумел бы кто-то услыхать, прошептал ответно Дёмка. — Ведь мне все как наяву представилось.

— Ну тебя, — осерчал Леон Корнеич и стал заверять. — За каким дьяволом водяному тут объявляться? Наше сухорусло больно мелко для него. А ежели омут, так он давно топляком забит. Туда и карасю-то доброму не пронырнуть. Негде ему тут гнездо заводить, негде. И русалкам тут никакого раздолья нету.

— Может, погостить прибыл? — не мог сдаться Дёмка.

— И гостить ему тут негде, — отрезал Леон Корнеич. — Что ты привязался среди ночи со своим водяным? Сон это, сон и есть. Мало ли кого он тебе подсунет, — вовсе забыл Леон Корнеич, что водяного Дёмке «подсунул» он сам.— Давай теперь перетолковывай все наживо. И вообче... Нету никаких на земле водяных, никаких русалок. Все это одне только бабьи сказки. Нам, мужикам, не пристало ихними мерками каждую недоумку мерить. Я на ёрике живу с той самой поры, когда сухорусло наше еще рекой выгибалось. Теперь и сам я скоро

[1] **Урема — густые заросли вдоль берегов.**

песком да илом затянусь, а чтобы из ёрика нечисть какая выскакивала да гонялась за мной — не было такого, и нет, и не будет, и спи!

— Ну ведь плачет. Ты же сам слыхал.

— Чтоб тебя мухи заели! — не утерпел дед. — Плачет. Плакать может и ключик, — вдруг придумал он и обрадовался своей придумке. — Может, родничок открылся на ёриковом дне. Вот и хлюпает, пузырится. Надо будет поутру оглядеть досконально все парусло и всяким страхам положить конец. А теперь давай досыпать.

Утром Дёмка путем еще и не проснулся, а уже принялся размышлять, что перепончатая лапа на старице и огонь подводный — все это и на самом деле могло привидиться ему во сне. Но подумать только, до чего же отчетливый сон. Однако дедушка прав: не мужиково это дело — верить во всякие небылицы. Сейчас вот он проснется окончательно и все вокруг него по-прежнему окажется понятным и надежным. Сейчас разбудит он Леона Корнеича, похрап которого чуть слышно трепещет в сонной избе; сейчас они соберутся с дедом и пошагают на парусло — глядеть ключик. Где вчерашним буруном вскипит вода, там он и открылся — родничок. Устроются они на суковатой карше, станут глядеть на певучий бурун, потом Леон Корнеич запоет тихонько на теплую погоду, на ясный восход, на спокойный среди тайги ёрик. Запоет очень даже молодым голосом:

Круто мое поле,
круто, невелико.
На нем ягод много
и спелых, и зрелых...

Дёмка подхватит тоненько, звонко. Будто прошьет чистую холстину дедовой песни золотым шнурочком:

И спелых, и зрелых,
сладких, духовитых.
Как по тому полю
красна девка ходя,
красна девка ходя,
Землянику щипля...

Придумывает Дёмка в полусне скорую радость хорошей песни, только взамен красной девки на земляничном поле видится ему Улейкино парусло, в приглядной же глубине его — зеленолапый да всклокоченный водяной. Нехристь этот совсем по-ребячьи трет кулаками глаза, хнычет, взглядывает из-под воды на Дёмку, шеве-

лит толстыми губами — что-то хочет сказать парнишке. Вот уж Дёмка вроде бы и слышит стонливый голос его: ску-ушно-о... При этом водяной тянется к поверхности ёрика пальчатой лапою. Парнишка вздрагивает и окончательно просыпается, даже похватывается на топчане.

В хатенке ранняя зоревая смурь. И без того, при единственном оконце, робкая, она еще занавешена старой дедовой рубахою; за рубахой — скорее летнее утро. По оконному стеклышку ползет мотылек. В глупой надежде прошибить стекло, чтобы вырваться на простор, он время от времени вспархивает, быстро колотит по стеклу крылышками. Этот трепет Дёмке больно знаком. Его-то он и принял спросонок за дедово похрапывание.

Еще не дозволяя себе поверить в обман, парнишка осторожно ловит мотылька, заключает его в горсть, чтобы во дворе выпустить на волю, и только потом различает в смурной избе, что Леона Корнеича на припечке нету. И это уже никакой не сон.

Дёмка не бежит, Дёмка выстреливается из избы. Ему некогда глянуть, куда летит с его ладошки мотылек. Он несется на сухорусло с такой быстротою, будто Леон Корнеич, не сказавши, покинул его навсегда.

А ведь Дёмка не помнил того случая, чтобы старый Самоха позволил себе сказать кому-то хотя б одно ненадежное слово. Однако же обидой дедов обман Дёмку не опалил. Понял парнишка: происходящее принимает столь крутой оборот, что дед вынужден таиться...

Дёмка свернул с тропы, полез напролом черемушником. При этом он умудрился ни сушняком не стрельнуть, ни горластую ворону не всполошить...

А тайга?

Тайга затаила дыхание: что будет?! Даже малая птаха нигде не пискнула, ветерок не пробежал по веткам, не подхватил на широкую ладонь самоцвет шелкопряда[1], не вскинул его на луч раннего солнца, не закружился рядом от радостной красоты...

Когда Дёмка пытался проглядеть впереди чащу, то в просветах виделась ему луна. Она висела на далеком небосклоне пустая и мертвая, будто от нее за ночь остался один лишь обглоданный череп.

Мертвая луна, мертвая тишина, мертвый ветер...

Может быть, уже и деда нету в живых?! А что? Зама-

---

[1] Сосновый шелкопряд — бабочка.

нила его нечисть в глубину омута, рясковым квасом опоила. Лежит теперь Леон Корнеич на глубоком дне, перегнулся старым телом через какой-нибудь топляк, не дышит...

От таких страхов в голове у Дёмки угар поднялся. В затылке заломило, затюкало в висках, в глазах тайга крупными волнами пошла. Не замеченная другом своим малым, рябина Катерина встряхнула удивленно кудрями. Да тут клен Семен поспешил кинуть ей резной листок, словно подал дружескую ладонь, уверил: не беспокойся-де, красавица, все станет на свои места.

Когда, наконец, запоблескивал меж подъелков заревою водою ёрик, парнишка из черемуховой чащи метнулся сквозь полосу чистого сосняка, ежом нырнул в подлесок, проюлил им чуть ли не до самого хрящатого мыска и вот уж нюхалка его высунулась из ракитника, взгляд кинулся до коряжины...

Дёмка сразу же разглядел своего очень даже живого деда. Леон Корнеич не сидел на карше, не вглядывался в покой сухорусла, а суетился возле. С помощью обломка старого весла он что-то подсовывал под суковатый пень, заглядывал с колен под него и опять старался. Потом туда же горстями покидал песку, заровнял, поднялся, отошел, убедился, что спрятанного не видать, подхватил обломок весла и закинул его подальше, в резуны. Затем Леон Корнеич подошел к воде, широко, троекратно перекрестил ёрик, направился до заимки. Но у подлеска остановился, обернулся и вдруг... погрозил паруслу злым кулаком.

Старый Самоха ушагал, малый остался.

Зачем?

Гадать об этом Дёмке было некогда. Он понимал, что дед сейчас хватится его, сполохнется искать, прибежит сюда, угонит хворостиной домой. И не узнает тогда Дёмка, что спрятано Леоном Корнеичем под суковатой каршою.

Потому-то парнишка, не успел старый Самоха путем за опушкою скрыться, уже сидел у коряжины и выгребал из-под нее песок.

Под суковатой колодою Леоном Корнеичем оказалась упрятанной та самая палица с набалдашником, которая ночью зеленой лапою была выложена из глубины парусла на хрящатый мысок. Основательно насаженный на железную рукоять набалдашник имел три грани.

В них сходились три лощеные плоскости. Под этой насадкою, ошейником, шло замкнутое кольцо.

Разглядывая пест, Дёмка думал, что Леон Корнеич понял его ночное вранье. Потому-то по заре он и поторопился на старицу — проверить внуков «сон».

И проверил.

А что теперь? Зачем он припрятал находку? Почему не кинул ее в глубину омута? Может, дед намеревался тайком договориться с водяным, а после убедить Дёмку, что виденное им ночью на ёрике и вправду всего лишь сон? А может, надеется старый, что все притихнет само собою и жизнь их, доныне такая спокойная, пойдет своим чередом?

Вряд ли! Никуда она теперь своим чередом не пойдет. Ну, даже побьет внука Леон Корнеич за ослушку, ну в клеть запрет... Но на цепь-то он его не посадит. Так что Дёмка все одно распознает, кто поселился в старице. Для чего выложена из парусла на песок эта увесистая штуковина, похожая на богатырскую булаву? Тут, видно, кто-то просит мира, коли добровольно отдает этакий тесак.

Наверняка так размышлял Дёмка, скрытый от старицы суковатой корягою. Он оглядывал, ощупывал булаву, особенно ее трехгранный набалдашник, что был выточен словно из мутного льда, внутри которого теплился голубоватый свет.

Свет тот мерцал, вроде как подмаргивал Дёмке...

За интересом, за разгадкою, парнишка не заметил того, что в обережных зарослях старицы завякала лягушка. Широкоротый запев ее тут же подхватила вторая веселуха, и вот уж полный взвод голенастых певиц, выпучивши от усердия глаза, вознес над ёриком хвалу наплывающей из-за тайги непогоде. Над только что тихим руслом загулял легкий ветришко, побежал по воде, растряс ее мелкой рябью, после озорно взвился над ёриком, запорхал по маковицам сосен, стал кидаться на вороньи гнезда, пнул на близкой лиственке шишку, хлопнул ею Дёмку по затылку. Тот глянул на небо, узрел понад соснами край наползающей грозы, подсунул палицу под каршу, присыпал ее песком, чтобы избавить деда от лишнего волнения...

Грозовая туча еще путем не вымахнула из-за тайги, когда порыв ветра рванул на Дёмке рубаху, поднял ее пузырем и по голой спине врезал здоровенной косою

каплей. Но Дёмка сперва охлопал ладошками копанину и лишь потом кинулся бежать. Однако покляпый[1] ливень резанул потопом, загнал его под ель, запрыгал вокруг, шальной, веселый — Дёмке хоть выскакивай на волю да пляши под его звонкие струны...

Раньше парнишка точно так бы и поступил. Но сегодня, теперь...

Лягушки, спасаясь от хлестких струй, попрыгали в глубину ёрика и там затихли, но взамен широкоротого их пения остался вдруг спорить с голосом ливня одинокий над старицей плач; он был полон обиды и безнадежности. Пробивался он до Дёмкиной души каким-то усталым криком. Плач перемежался то приглушенным стоном, то хлюпким бормотанием. Походило на то, что кто-то разумный угодил ненароком в чарус[2], выбился из сил и уже потерял всякую надежду на вызволение. Теперь он выдыхает остатную боль свою да пытается дочитать последнюю молитву. Но Дёмка знал, что вокруг старицы никакой трясины нет. Да и жалоба исходила не из тальниковой урёмы, а доносилась из-за только что оставленной парнишкою коряжины. Кто ж это и когда успел за нею спрятаться? Отгадка у Дёмки, как понимаете, была почти уже готовой. Осталось только заглянуть за колоду, чтобы увидеть там водяного.

Ха! Заглянуть... Легко сказать.

Заглянул бы архар[3] да хана, но не любит махана[4]. Да и на чёрта ли синице лев, ей и кошки хватит...

Но об этом обо всем подумал, быть может, кто-нибудь другой бы, но только не Дёмка. Помедлить он помедлил, но решился — была не была...

В напеве дождевых струй, легкой перебежкою, вот уже и оказался он у коряжины. Там навострил уши — плачет! Осторожно вытянул шею, затем и рот разинул — никакого водяного. На узенькой полосе хрящатого берега лежало, примерно Дёмкиной величины, долгонькое нечто, похожее на ящерицу без хвоста. Оно имело две пары перепончатых лап и костяной пластинчатый хребет. Безволосая башка, с крутым затылком и лобным над глазницами навесом, держалась на довольно тонкой

---

[1] Покляпый — косой, наклонный.
[2] Чарус — болотное окно.
[3] Архар — дикий баран.
[4] Махан — мясная еда, в основном из баранины.

шее. Лицом ли, мордою зеленая невидаль была уткнута в согнутые лапы и оттого имела вид убитого горем человека.

Хотя сердечко в парнишке плясало как петух на горячей сковороде, но коряжину он обогнул. Обогнувши, постоял над бесхвостой, присел на корточки, словно так ему было удобнее понять, в чем тут дело. Может, зеленое чудо свое лягушачье тело поранило? Может, в глубине ёрика наскочило на острую занозу? Должна же быть причина такому горю.

Никакой видимой причины Дёмка не обнаружил, потому стал подкрадываться поближе. Ну, а тишина подвох таит. Подвернись ему под ногу неверный камешек. Дёмка и хлопнулся в лужу — только песок чмокнул. Зеленая вскинула башку, вылупила громадные глаза, раздула жабристые ноздри и попятилась в воду. Окунутой по самое горло, она стала и себе разглядывать Дёмку. Глядела долго, внимательно. Затем сощурилась, вздохнула с облегчением и вроде бы даже гулькнула смехом девчонки, увидевшей Дёмку в луже.

«Ну! Вот еще! Будет тут всякая...» — подумалось Дёмке.

Он подскочил на ноги и сразу отметил, что ливень был только минутной забавой природы. Как налетела шальная туча на старицу, так и укатила за высокие сосны. А над паруслом осталось сиять неописуемой красоты таежное утро. И, странное дело,— виделось оно Дёмкою так, словно бы свет каждой капельки — его свет, тепло каждой травинки — его тепло, горе зеленой у берега невидали — его горе...

Но вдруг!

— Дё-муш-ка-а, внучо-ок... Ау-у-у...

С этим суматошным криком показался на тропе Леон Корнеич. Лица на нем и впрямь, как говорится, не было. Был только широко разеваемый рот да глазищи, каких Дёмка отроду у деда не видал. Со страху те глаза ничего перед собой, однако, не видели, потому что старый спотыкался, слепо хватался за подъелки, семенил тряско, неуверенно. Когда ж он все-таки различил на мысу внука, колени его подогнулись...

Немногим позже, когда внук пособлял деду доковылять до заимки, парнишке вспомнилось то, что кинувшись к Леону Корнеичу на подмогу, он таки оглянулся на парусло: зеленой головы над водой уже не было.

Душевная встряска старому Самохе даром не прошла. Доставленный Дёмкою до заимки, Леон Корнеич свалился на припечек пластом и только лишь взаполдень перестал хвататься за сердце и забылся. Пробывши в забытьи чуть ли не до заката, он отворил наконец-то веки, разглядел перед собою виноватые Дёмкины глаза, сказал со слабой шуткою:

— Во как бывает: робкий пуганых спасал — сам неделю воскресал. А ить ты, Дементий Силыч, ослушником у меня растешь,— не утерпел, укорил он внука.— Когда не велел я тебе ходить на паруслo, тогда уж не велел — кокетничать не умею. Ить я тебя, Дементий Силыч, и без того на привязи не держу. На один-то мой приказ можно было бы терпения набраться. А теперь вот гляди на меня повинно, жмурься. Ишь как устряпал... родимого-то деда.

— Так ить ты сам,— начал было оправдываться Дёмка.— Хватился утром — тебя нету. Страшно стало. Я думал... водяной тебя того...

— Таво, не таво,— передразнил старый малого.— От дома отойти нельзя... Может, мне зайчатины захотелось,— стал он выкручиваться перед Дёмкою.— В избу-то я из-за ливня вернулся, а тебя нечистый уже на сухорусло уволок.

— Дедушка,— не дал парнишка старому разовраться путем,— ить ты небылицу плетешь. Какого такого зайца ловил ты на берегу ёрика да под суковатой корягою? А?

Покуда Леон Корнеич, пойманный с поличным, хлопал глазами, внук припер его к правде окончательно:

— А ить я его видел.

— Кого? — не дошло до Леона Корнеича.

— Водяного твоего.

Старый приподнялся на локте, всмотрелся во внуковы открытые глаза и не посмел не поверить. Потому оторопел.

— Ну тебя,— сказал растерянно, затем спросил: — Как? Видел-то как?

— Вот так, как тебя. Шага на два подале.

— И чо? Худого он ничего не вытворил?

— Как видишь...

— И в омут не звал?!

— Никуда он меня не звал.

— Так вы чо? Близко-то так?.. Разговаривали о чем?

— Не успели,— с досадой сказал Дёмка.— Ты ж его криком своим спугнул.

— А еще прийти не позвал?

— Чо меня звать? Я и без того пойду.

— Так-таки и пойдешь? — опять встревожился Леон Корнеич.— Взял волю... Никуда ты один не пойдешь!

— Тогда вместе пойдем,— сказал внук деду так, словно разговаривал с меньшим братом. Да еще с легкой улыбкою добавил: — Только ты не блажи больше.

— Ах ты, шельмец! — влепил Леон Корнеич Дёмке горячий подзатыльник.— Я ить разве об себе блажил? Я ить об тебе глотку чуть не вывернул...

Дёмка не обиделся на затрещину. Он ласково припал щекою до дедовой груди, сказал виновато:

— Ну чего ты, дедуня,— шуток не понимаешь? Чего рассердился? Я ить и сам... Пошто я на ёрик-то кинулся? За тебя испугался.

Уже поглаживая внука по голове, Самоха, после доброго молчания, захотел узнать:

— Каков он видом-то — твой водяной?

— Не подходит он видом ни под лешего, ни под домового.

— Под кого ж он подходит?

— Не то под лягушку здоровенную, не то под ящерицу. А больше того под девчонку какую-то подводную.

— Не под русалку-берегиню?

— Может, и под русалку,— не стал успорять Дёмка.— Из воды выползла, башку на лапы уронила и давай горевать. Беда у нее, похоже...

— Славно ты рассказываешь,— улыбнулся Леон Корнеич,— надежно. Добрым человеком вырастешь. А что про Берегиню твою... Не хотел я тебе говорить, а теперь вынужден... Не спалось мне позапрошлой ночью. Поднялся я, во двор вышел — тайгу послушать. Чую — гудит! Где? Везде вроде. Потом над головой долгая тень проплыла, на луне серебром взялась и пропала за лесом. На ёрике плескануло что-то, и все умолкло. И только выпь на болоте, только саранча в траве... Может, небом-то змей какой летел? Может, он и лягушку твою Берегиню, из какого-нибудь моря выхвативши, в лапах тащил да в ёрик выронил? Мало ли в морях-океанах всякой невидали пасется... А теперь ей, бедной, пригоршня нашего парусла, против моря-то. Тьфу! Лыва. Тюрьма тухлая. Как тут не загорюешь? А соображения большого у нее нету — догадаться, что стоит ей мол пе-

реползти и вот она — река. А рекою-то в любой океан дорога отворена. Надо нам с тобою как-то бы приручить ее маленько: мы бы ее через перешеек на большую воду переволокли и дело с концом...

— Хорошо придумано,— сказал Дёмка, вскинувши голову.— Об одном только, дедуня, не спросил ты меня: что же это за лягушка такая бестолковая, которая способна перед людьми из глубины ёрика подарки выкладывать? Про палицу, которую ты под каршу уторкал, забыл?

— Забыл,— сознался Леон Корнеич.— Да-а. С палицей тою посчитаться, выходит, что Берегиня не столь глупа. Мы собрались ее приручать, а она, похоже, с тем же самым умыслом до нас подбирается. Ну дела! Как нам теперь быть-то? — спросил дед внука не без нового страха.

— Запереться дома и сидеть.

Не успел Дёмка новой шуткою поиграть, как старый повторно хлопнул его по затылку.

— Придержи! — сказал.— Ышь! Распустил вожжи... Смельчак отыскался... Кто ночью в подушку-то целую лыву наревел?

— Так уж прямо и лыву?

— Не лыву, так озеро,— уже с улыбкою поправился Леон Корнеич.

Дёмка обрадовался дедовой отходчивости и опять прижался к нему. Спросил:

— Когда пойдем-то?

— Поутру, думаю, и настроимся...

Настроились, пошли поутру.

Вот шагают. Вот дошли. Вот открылась перед ними утренняя сказка таежного парусла.

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть такое утро? Не доводилось?! Бог ты мой! Да что же вы тогда в жизни своей видели? Да зачем тогда вышли вы из вечной тьмы? Неужели только для того, чтобы удостоверить свое наличие в мире нашем отражением в зеркалах? И ради этого, угробляя равнодушием все и вся, производиться в детях?!

Опомнитесь! Оторвитесь от себя! Оглядитесь, пока еще есть на что глядеть. Спросите Землю, что вы для нее значите? Кому вы без нее нужны?

А! Черт с вами! Не отрывайтесь. Не я первая лезу из кожи вон, взывая к вам. Сколько добрых умов изошло в

простоту вашу, словно в черную могилу. А толку-то...

И все-таки... Может, кто-нибудь после моих слов сходит до матушки-Земли на свидание; поговорит с нею с глазу на глаз. Я думаю, что для такого сердцеобмена не найти ему более подходящего места, чем заревая, таежная старица. Природа тут внемлет человеку, словно мир вечности, принимая душу его всеми соками.

Вот посбежались до берега резуны, вон повытягивал из-за камыша долгие шеи свои целый собор ивняка; притихли по-над тем собором, крапленные ягодой, черемухи; сосны растопырили громадные уши, смахивающие на громадные ветки; выше них само небо вскинуло брови облаков; перепелятник плывет над белыми — слушает, хотя слушать ему тут нечего: надел его — заречная луговина... Точно такой же коршунок плывет в глубине ёрика, откуда опять же глядят тебе в душу облака, сосны, черемухи, осоки... Ты весь — доверие, весь — природа... И вот уже поет в тебе изначальная песня Земли. Желательно узнать, за какую такую заслугу перед жизнью подарена тебе эта благодать напевного слова твоей взаимности, совокупности со всем миром?

Не смей! Не вспоминай в этот миг, до какой последней степени искалечили мы этот напев продажностью своей на барахолке авторитета.

Не вспоминай — жилы вскроются!

Они у нас и без того на каждом шагу скрипят, изъеденные самомнением.

Давайте-ка воротимся лучше до сказа, пущай хоть он дозволит нам немного отдышаться от перегара нынешней суеты.

Ну и вот. Явились поутру Дёмка с Леоном Корнеичем на старицу.

Стоят.

Не знают, чего ждать.

Тут уж им не до сосен-черемух... Душа до горла теснится — убежать просится. Кабы они фасона друг перед дружкою не держали, тайге-то теперь и глядеть было бы не на кого. Глядеть да подумывать: чегой-то нынче от Самох ни привету, ни ласки? Явились и стоят, как перед казнью. Только и осмеливаются, что перешептываться:

— Ну? Где твоя лягушка?

— Хто ее знает... Боится, может. А то спит.

— Может, спит — эвонь какая рань. Комар еще спросонок не чесался.

— Тихо-о, ровно на том свете.

— Хотя бы окунек какой плеснул — все бы живее на сердце сделалось.

— Гляди! Вон! — дернул внук деда за рукав. — Плеснул.

— Где?!

— Вон! У перешейка.

— Далеко. Глаза-то у меня поношены — не доглядеться.

— Вон еще плескануло!

— Крупно. Теперь и я вижу.

— Гляди! Хребтом перистым поверху идет.

— Не карась, — сказал Леон Корнеич и стал доглядываться с прищуром до плавника, что рассекал ёрик долгой бороздой. — Когда бы принять все за правду, — решил он, — так это какой-то богатырский ерш гуляет. Видать, лягушка твоя гриву распустила.

— Она, — кивнул Дёмка, неотрывно глядя на ту сторону ёрика, где вдоль песчаного перешейка скользил перистый плавник.

Вот плавник развернулся, пошел кругами, заплескался на месте да и пропал в глубине.

И тут высунулась из воды как есть лягушачья башка, только здоровенная. Она повела глазищами, уставилась на деда со внуком, помедлила, повернулась затылком и, постепенно вырастая из воды зеленым телом, на песчаный мол вышла та самая плакуша, которую Дёмка видел за корягою. Она дала оглядеть себя со всех сторон, затем ловким движением лапы как бы резанула себя по горлу и... короб ее башки откинулся на спину. Зеленой кожурою сползла с ее тела лягушачья одевка, чулками снялись перепончатые лапы, и осталась стоять на песке тоненькая, улыбчивая девчонка.

И на таком расстоянии Дёмка с Леоном Корнеичем сумели отметить, что ее до пояса стриженные волосы красовались цветом медного купороса. Из-под жемчужной шапочки, мыском сходящей к переносью, они падали упругой волной. Плотный, искристый наряд выказывал все ее хрупкое тельце, отороченное ниже пояса короткой, пышной юбкою.

Чем не лягушка-царевна!

И ведь какая умница! Не выскочила вдруг из глубины ёрика, не окатила деда со внуком новым страхом. Сумела сообразить, что, издалека-то глядя, и медведь — дядя.

Ну вот. Постояла эта самая Берегиня и взялась опять

обряжаться в лягушачий кожан. Вдела ступни в перепончатые лапы, натянула голенища до бедра, извиваясь тонким телом, сама окунулась в зеленую кожуру, привычно накинула на голову короб башки и быстрым движением руки словно спаяла прореху у горла. Тут же распустила плавник, кинулась в ёрик.

И снова острый клин борозды взялся рассекать поверхность утренней старицы.

Не столь близко стояли Самохи у воды, чтобы на всякий случай попятиться от нее. Но не переглянуться они не могли. А переглянувшись, пришли в себя да и осмотрелись кругом — не сон ли им снится? И тут увидели вдруг, что, выпади нужда спасаться, бежать-то некуда: тропа на заимку занята. Стоит на той на тропе, прямо сказать, черт-те кто: ни лешак, ни лопаста[1], ни ведьма гриваста, ни шут с хвостом, ни поп с крестом... Стоит раскорячилась какая-то свекольной окраски каракатица. От самой маковицы до примерных колен занавешена она водопадом словно из дратвы надерганных волос. В неширокий пробор этих струй глядит единственный глаз. Зрачок его, величиной с целковый, налит огнем дикой крови.

Нечисть, смахивающая на двухметровую поганку, медленно перебирает десятком грязно-желтых курьих лап, покрытых какими-то струпьями. Под бахромою искрасна-черных волос угадывается просторная утроба. Она громко пыхтит. Дыхание смахивает на одышку загнанного долгим бегом мужика. Только оно колышет волосяную завесу не там, где положено быть груди, а сильной струей ударяет в землю. Отчетливо видно, как листья молодого папоротника, которому не повезло оказаться между чешуйчатых лап, плотно прижимаются до земли этими выхлопами и все гуще покрываются белым налетом не то бешеной слюны, не то иной едучей слизи. На только что чистой их зелени уже повскакивали волдыри ожогов...

Старый Самоха крестом себя осенил:

— Господи Иисусе...

Потом воскликнул:

— Эка нечисть болотная!

А дальше сказал быстро:

— Сгинь, сатана! Сгинь!

Только «сатану» ни с какой стороны не ковырнуло

---

[1] **Лопаста** — кикимора.

ни крестом, ни заклинанием. А медлила нечисть, знать, потому, что увидала на хрящатом мыске не того, кого ожидала увидеть. Но она, должно быть, решила, что сойдет и такая пожива, потому как в нескрываемой угрозе вздыбила волосьё и зачапала шелушливыми лапами по хрящатому мыску.

Когда Дёмка подумал, что можно бы успеть выломать для обороны лозину, нечисть ударила в землю мощным дыхом, взвилась черным воланом и спружинила в коленях точно там, куда парнишка успел только глаз положить. Тут, видно, и Корнеич помыслил, чем бы ему более весомым откреститься от нечистой силы. Помыслил и вроде как послал волосатого прыгуна в камыши — туда, где лежал огрызок вчерашним утром кинутого весла.

Ловко выдернувши из камышей обломок, космарь размахнулся запустить им туда, где поверхность старицы рассекал высокий плавник. Вся его свекольная утроба пыхтела откровенным злом.

Спасибо Дёмке: не о себе думал парнишка. Он мигом сообразил, что грозит Берегине, потому быстро нагнулся, гребанул горстью песка, подскочил до нечисти и швырнул им прямо в кровавый зрачок.

Космарь ухнул утробою, кинул веслом куда попадя, схватился двумя лапами прочищать око. Но ни Дёмке, ни Леону Корнеичу порадоваться избавлению не довелось. Пугало крутанулось и... с его обратной стороны уставилась на Самох точная копия поврежденного глаза.

Готовый предугадать любую неожиданность, космарь двинулся на старика с парнишкою. Он ступал по песку четырьмя лапами, в то время как пятая продирала ослепший глаз. Остальная же пятерка растопырилась, образовала собою нечто вроде загона.

И опять спасибо Дёмке. Отступая от захвата, он почуял, как в спину ему уткнулась сучком береговая коряжина. Тут его озарило. Он изобразил в уме полный страх, сполз на землю, молнией выхватил из-под карши палицу — подарок Берегини, и сунул ее в руку деду.

Космарь блеснул алым глазом, ударил в песок мощным дыхом, взлетел, распустил звездою лапищи и, в тяжелом падении, рухнул прямо на суковину колоды. Брюшина его оказалась распоротой чуть не до глаза. Но нечисть еще дышала, еще ворочала побелевшим оком. Лапищи подергивались, полнились песком и опять пустели.

— Щас я его... — решился Леон Корнеич и замахнул-

ся палицей. Да только зеленая лапа перехватила вдруг его замах.

— Не надо, — отчетливо поняли Самохи и, вроде как от невидимого костра, пахнуло на них от Берегини теплом. Оно обласкало, успокоило их, дало возможность понять окончательно — нельзя!

Столь же ловко пояснилось деду со внуком и то, что Мума — того самого космаря, что грязной лохматиной висел теперь на коряжине, так вот просто лишить дыхания невозможно. Эта пакость, ежели ее понятным путем захлестнуть, способна, оказывается, воскреснуть, а то и размножиться! Утопи ее, закопай, в огонь брось — себе только хуже сделаешь. Вот он какой — Мум!

— Как это понимать? — не маясь удивлением, спросил Берегиню Леон Корнеич. — Зверь он, дьявол ли какой? Имя-то, вроде, уважительное.

И оказался тот космарь ни зверем, ни дьяволом, а вроде как ходячей утробою. Сами его люди, на непонятно далекой земле, и сотворили, и вырастили, чтобы он отыскивал и пожирал всякие отбросы, хламье. Изо всего этого создавал бы он такое топливо, при котором, погасни солнце, человеку все также было бы и тепло, и светло.

Берегиня вообще-то не собиралась наведываться к Самохам. Она якобы плыла себе с друзьями на корабле, на котором можно плавать меж звезд, и никогда бы не оказалась на старице, не начни у них пропадать люди. Поднялась тревога, недоверие. Сумбуром этим и прибило их корабль до нашей Луны. И покуда не будет наведен на корабле порядок, отлепиться от нее им не суметь.

Для охоронки своей жизни Берегиня придумала спать прямо в лягушачьей одежке, потому как в ней трудно быть кем-то погубленным. И вот бы сквозь сон на корабле слышится ей шорох. Отворила глаза — Мум! Обступил ее лапами со всех сторон и давай обволакивать липкой утробой своей. Хворь с ним какая-то, видно, случилась. Взамен доброго, вроде нашей собаки, существа сотворился из Мума людоед!

Помнит Берегиня, как вокруг что-то булькало, шипело, но справиться с нею не могло. Потерявши терпение, Мум плюнул ею в пол. Тогда она подхватилась и бросилась будить остальных. Да с перепугу взяла не в ту сторону. Потому и оказалась в лодке, способной также плавать где угодно. Тогда ей надумалось покинуть корабль и поднять тревогу со стороны. Но Мум успел осед-

лать лодку. Он взялся колотить по ней прихваченной где-то палицей. Позвать на помощь Берегиня теперь не могла, иначе бы она лишилась Мума. А без него корабль не сумел бы воротиться домой — запалу бы не хватило. И понадеялась она на то, что друзья сами ее хватятся.

Пустивши лодку летать вкруг Луны, она прикорнула в усталости. Когда ж очнулась — лодку уносило к Земле. Тут она и спохватилась — какого страшного беса везет к людям!

Надо было посадить лодку хотя бы подальше от жилья. Берегиня приметила старицу, пустила лодку приземлиться недалече, сама же прыгнула в воду. Мум не поспешил за нею — в воде он не способен двигаться быстро. В злобе он лишь бросил вдогон трехгранный тесак...

Тут Берегиня наклонилась над распластанным по коряжине Мумом, присмотрелась к его глазу, сообщила:

— Надолго он себя уложил! Надо бы его увязать, пока не поздно.

Самохи все поняли так, как ожидала от них Берегиня. Доставленными с заимки гужами космарь был туго опутан по всем ногам. Леон Корнеич вырубил в чаще удобную жердину, что с одного конца расходилась рогатиной, продел ее под путы; одним штырем определил рогатину на плечо Дёмке, другим — Берегине. Сам вскинул противный конец, крякнул от весомого — ого! Определил:

— Вот это грибочек — на семь бочек!

Затем двинул компанию вперед привычным благословением:

— Ну! С Богом!

Таким-то клином и двинулись несовщики по тайге. Хорошо еще, что шагать пришлось недалече. Берегиня точно определила направление и сумела вывести помощников своих куда надо.

— Ничо себе лодочка! — подивился Дёмка, когда перед ними полным видом открылась махина, поставленная на попа среди таежной прогалины. Она куда как больше напоминала серебряный штык высотой с молодую елку, нежели лодку. — И ты с нею управляешься?!

Берегиня кивнула на Дёмкино удивление, а Леон Корнеич одернул внука:

— Не суйся с глупым интересом. Она и без того все, что надо, выложила. И рот не больно разевай — споткнешься.

Остопилась Берегиня против махины, вскинула голову, что-то произнесла; на боковине лодки образовалось овальное творило, которое отъехало вглубь, затем в сторону. Из проема, на рычагах, вывернулась и опустилась до земли площадка. На нее и определили Мума. Жердину откинули прочь, а площадка сама собою втянула космаря вовнутрь махины.

Берегиня вздохнула, как вздыхают спасенные, с минуту глядела в темный проем лодки, после тряхнула головой и повернулась до Самох. Быстро откинувши на спину короб лягушачьей башки, она удивила деда со внуком чистейшим, под стать волосам, взглядом голубых глаз, в которых стояли слезы.

— Ну вот, — бормотнул Леон Корнеич, — дите и есть дите... Брось, внучка. Пустое дело — нюни распускать. Давай отправляйся. Друзья-то, поди-ка, заискались тебя вконец...

Он говорил, а в горле у него вроде бы тоненькие веточки ломались.

Берегиня подошла к старому, припала к его груди, обняла. А вот Дёмка растерялся. Попятился даже.

— Ты чо дикой такой? — легонько подтолкнул его в спину Леон Корнеич.— Уважь человека. Она же не забавы строит — прощается!

Берегиня поняла Дёмкино смущение, улыбнулась, нырнула головой в короб башки, призналась:

— Никогда не забуду вас!

Тем временем лодочный проем повторно высунул язык площадки. Девочка взошла на него, прощально подняла пальчатую лапу и Самох опахнуло волною нежного тепла. Тут дед со внуком сообразили: как только махина затворится, им следует уходить.

Домой Самохи возвращались поздно: солнце уже веслами лучей загребало синеву закатной стороны неба, а тайга отдавала настоянное запахами дневное тепло. Птахи, намозолившие за день крылья, разгнездились, притихли. В тишине молчалось и деду со внуком — одолевало многодумье. Хотелось верить в то, что сейчас они не проснутся — не развеют чуда минувшей сказки...

Вот уже Дёмка с дедом дошагали до ёрика, сошли на хрящатый мысок... Старица покоилась, полная отражения. Ни всплеска, ни шороха. Комар и тот затаился — прижался до резунов, не до кого не просится в родню своим назойливым — куммм, куммм...

Но вот послышалось — вроде шершень где загудел.

Свербит в ушах. Откуда взялся? Гнездо ли на коряжине творит? Надо помешать. Не то не посидишь у воды.

Подошли Самохи до суковатой карши, а тут... лежит, гудит оставленная Берегинею палица.

— Забыла! — всполошился старый. — Может, успеешь еще? Беги, внучек!

Однако над тайгою вдруг занялся такой шум, что голос старика потонул в нем. По-над соснами медленно всплыло лезвие матовой махины, зарделось в лучах заката, взяло наклон и унеслось в сторону только что взошедшей луны.

И все!

А палица осталась. И гудение в ней осталось.

Дёмка постукал ею о ладошку, потряс, крутанул «ошейник» — умолкло. Но трехгранник затеплился голубым светом, и скоро ясные глаза различили Самохи в том свете...

Когда-никогда — свет погас.

Погасло над таежной старицей и само то время.

Однако думается вот о чем: удалось-таки Самохам оставить людям о Берегине память. И случилось это примерно так: взял как-то Дёмка и вылепил из глины умелыми руками, прямо сказать, живую лягушку. А чтобы людям понять — не простая она, увенчал ей голову короной. Тогда вот, глядя на эту красавицу, и придумал народ всем теперь знакомую сказку. Переиначенную, конечно. Да какое это имеет значение.

Главное-то память.

ЗЕМЛЯНОЙ ДЕДУШКА

«Самый ценный на земле клад в руках человека зарыт. В нем и радость бытия, и дух здоровья, и великое чудо необходимости своей. Ежели человек тароват, ежели он сполна владеет этим кладом, нет им обоим веку. Не в том ли и состоит полное чудо жизни...»

Так, бывало, рассуждал дед Урман, когда при нем заводили односельцы разговор о земляном дедушке, который нет-нет да и объявлялся якобы в тайге. Появлялся дедок, в основном, для того, чтобы урезонить своим озорством не в меру жадного охотника. Но случалось

изредка и такое, что подкидывал он талану тому, чьей сердечной доброты сторонилась глупая земная удача.

Да-а. Хорош сказ, да не про нас.

Однако же на пустом месте и пузырь не вскочит. Бывалые охотники уверяли еще в пацанах прадеда моего, что знавали они, как случилась от земляного дедушки награда и посущественней. Когда раздабривался он, так наводил достойного человека на такой клад, об котором теперь и в сказках не сказывается.

Многим желалось бы хоть одним глазом глянуть на таежного чудодея. Особенно, конечно, ребятне.

Ежели походить-поспрашивать по глухим селениям, так и нынче, наверняка, можно отыскать такого человека, который подтвердил бы, что на случай такой имелась даже песенка-призывалка. Когда желание увидеть чудотворца становилось навязчивым, некоторые, сглупа-то, пользовались ею.

Была она, похоже, такой:

Дедушка земляной,
появись за сосной,
улыбнись, подморгни,
за собой помани
не в болото, не в урман,
не на море-океан —
на восход, на закат,
на богатый клад...

А может, и не такой. Недоступно человеку в полной достоверности сохранить память о былом. Но все-таки. Все-таки перепало запасу и нашему Власу.

Я понимаю, что стародавнее это былье надо было толковать так: намеренно, по наитию ли тот загадочный старичок появился на пути таежного человека, а только выскакивал он прямо из-под земли все больше перед желальщиком легкой наживы. Выскакивал этаким озорником и принимался морочить жадную душу — манить ее за собою в самые непролазные дебри. И удавалось ему уводить лакомца порою туда, где по сей день жаба ворону родня, а мухомор взрастает выше малинового куста...

Однако же никакого непоправимого зла в чудачестве стариковом не было. Проплутает, случалось, горе-лакомец по ветровалам да по болотистым низинам, сколь ему выпадет, а там, глядишь, и выбрался на верную дорогу. В деревню воротился... не солоно хлебавши.

Молву о земляном дедушке не вот тебе сорока из-под хвоста уронила на язык полоротому, и не Сиверко пат-

латый надул ее, забавы ради, в ухо пустомелево. Разгорелась она, разыскрилась от живого, докладывали, случая.

Жила-была, ровно в сказке, в одной из таежных деревень крепкая да ладная деваха — Наталья Мохова. При переселении к нам в Сибирь, Бог ведает с каких там расейских земель, потеряла Наталья дорогою и отца-батюшку родимого, и кровную заступницу-мать. От кобылки будто бы от упряжной перекинулась на них на обоих злая болячка.

Похоронила Наталья слезных своих покровителей на таежной еланке и не захотела уезжать далеко от заветных могил. В первой же по дороге деревне и осталась она жить.

Зазвал к себе Наталью на долгий постой тот самый дед Урман, об котором в самом начале нашего сказа речь зашла.

Сам дед Урман, можно уверить, и не жил в халупенке своей. Не зря, видно, люди говорили, что его тайга родила. Летовал он и зимовал Бог знает по каким углам непроходимых наших глушняков. Опекал он там заботой своею борты и кузовья пчелиных семей, которые приносили старому вполне даже сносное житье.

Не успела Наталья в хатенке бортника Урмана путем еще печку выбелить да и повымести из углов дохлую мухоту, как закружились, завстряхивали чубами вкруг нее великим хороводом деревенские неженатики.

Оно понятно. На их месте и генерал бы усами задергал: Наталья оказалась невестою, только из-под руки глянуть! Ох, кабы она да на грядочке огурчиком выросла, хозяйка б ее, несомненно, на подоконничек бы положила — на семена вызревать. Да только вот первой же свахе-зазывахе эта невеста дала полный от ворот поворот.

— Есть у меня жених, — сказала она просто. — Когда батюшка с матушкой сюда меня повезли — надеялись оторвать от него. А когда к ним смерть вплотную подступила, они душою-то помягчали — благословили. Я ведь до своего Назара уже и весточку отправила. Так что извиняйте меня, сватушки, на неугодном слове...

Да Господи! Да чего уж тут. Кого тут извинять? Спасибо и на том, что правду сказала.

Когда же бабенки узнали, что Наталья задумала к завтрашнему утру пельмени лепить, то еще и черти в ку-

лачки не бились, а уж они повысыпали на первозимок: смотреть-судить, какой такой раскрасавец писаный пожалует до этакой завидной невесты? Кто тот счастливый человек, который достоин Натальиной пригожести да светлой ее души?

Следом за бабами и мужики потянулись, и ребятня повысыпала.

И вот, когда в утреннем еще дымоватом просторе залился безудержным весельем поддужный колоколец, селяне заторопились разулыбаться встречь размашистому бегу ретивых коней.

Было чему тут улыбнуться и помимо гривастой тройки.

Ямщичок сидел на облучке таким ли бравым гусаром, словно под ним были вовсе и не козлы, а играл нетерпением породистый жеребчик. А уж сколь был тот «гусар» востроглаз да чернобров, сколь искусно окаянный пощелкивал кнутиком!

Загляделась на него деревня! Напрочь выпало изо всех умов, на кого смотрельщики собрались тут попялиться. Хватились, когда сани уже мимо пролетели.

Двор деда Урмана был не так уж и далек. Возле него и нагнали звевороты возок. Нагнали и остопились. Остопились и подивились. Подивились тому, как новоприезжий перемогал недолгую тропу, что вела от саней до крыльца. Наталья, можно сказать, жениха своего на руках до избы доставила. Там ввела она болезного в тепло и дверь за собою затворила очень плотно.

Разудалый ямщик, поникший на своем облучке, надсадно при этом крякнул и сказал дрогнувшим голосом:

— Господи! Отними от меня половину, пошли этому золотому человеку...

Да только, видать, душевные ямщиковы слова до Бога дойти не поторопились. Только и успели Наталья с Назаром, что повенчаться на Рождество. А там венчаный взялся быстро чернеть и загибаться к земле, точно догорающая лучинка. Густая, еще по приезде, борода его до первой весенней капели исклочковалась вконец, а глазищи, сухие от нутряного жару, подернулись пеплом...

В частых меж собою разговорах деревенские бабенки старались даже не поминать о Назаре, жалели одну только Наталью:

— Ах ты, кака невезуха-молодуха. Подумать только! Об ней, видать, сказано — не родись красивой...

— Хотя бы дитенка успела завесть на утеху. Так ведь и приплоду Господь ей не послал.

— Чо ж тут поделаешь: злосчастному Фоме омут и в копне.

Всю долгую зимушку дед Урман в деревню не заявлялся. Лишь только на сороки[1] заскрипел уже щербатый снег под его широкими лыжами. Распряг Урман ноги у самого крыльца, вошел в избу и застал под крышею своей чистоприбранной халупы всем нам уже известную печаль. Вечером дед помылся в бане, поужинал с Натальей, посидел возле больного молчком, а потом и заговорил:

— Вот что, красота ты моя ненаглядная, — сказал он невезухе. — Имеется в тайге нашей такое место хитрое, которое Глухою падью зовется. Коренной тутошний житель его за семь верст обходит. Сказывает он, что нечистая сила там водится. Бортовал я недалечь от той пади. Не один год бортовал. И вот я приметил: со всей лесной округи хворое зверье собирается туда ненастье свое жизненное избывать. Заворачивал и я в Глухую падь, приглядывался: какая такая страсть в провале кроется, что люди его боятся? Чего нетрудно там отметить — земля сплошь взята рытвинами да ямами. Будто бы она какой-то страшной оспою изболелась. Однако же сосна по всей Глухой пади стоит крепкая. И что гриб там, что цветок прямо тройной величины. Не поверишь: лапоток в ней Венерин с мою пригоршню будет. Воздух же там в безветрии, настоян такой живительной силою, что человеком себя сознаешь не в один сегодняшний день, а на тыщу лет вперед! Может, и зверье точно так же чует в Глухой пади свою неизбывность, потому-то оно и здоровеет прямо на глазах? Но это говорю я о волках-оленях. Что до людей — не видал я ни одного такого храбреца, который пожелал бы в Глухой пади хотя бы одну ночь перебыть. Похоже, что и в самом деле не принимает эта логовина человека. Наткнулся я там на один его след. Пытался кто-то под ярком заимку себе соорудить. Избенку срубил, сараюшку, навес даже прилепил для запасу дров. Однако бросил затею. Не пожилось. Так что советовать впрямую, переселяться тебе туда с Назаром или отпустить его из жизни, не стану. Дело твое. Мало ли какая собака в Глухой пади зарыта. А вот

[1] Сороки — 22 марта, прилет 40 птах.

то, что подняла бы ты там своего суженого, знаю наверняка. Так что решать тебе самой этот хитрый вопрос. Можешь походить, народ поспрашивать — что они скажут.

Походила, поспрашивала Наталья деревенский народ: рассказали ей люди, не утаивали: века с три, дескать, прошло с той поры, как в этих местах никакой Глухой пади и в помине не было. А дышала вокруг ровнехонькая тайга. Да только вдруг загудели будто бы небеса нестерпимым гудом. Во весь простор взялись они сплошным огнем. Дрогнула и пошатнулась земля. И люди, и звери в едином стаде ломанулись через моховины да рямники — животы спасать. А когда напасть поутихла, рискнули воротиться обратно. Воротились и увидали среди прежней тайги огромную впадину. Со временем же к выводу пришли, что это не кто иной, как черт устроил себе гнездовину. А того позже гнездовина-выемка была названа Глухой падью.

— И вот уж как триста лет сравнялось — никому туда не являлось, — докладывали бабенки Наталье. — И еще того более пройдет — никто туда не пойдет, — уверяли они испуганными голосами.

— Ить по той по Глухой пади когда-никогда, а сам земляной дедушка бродил, да и тот, знать, к чертям угодил, — постаралась подлить к настою давнего страха добавочной крепости бабка Шуматоха.

Старица эта, занавешенная черным платком до самых глаз, никогда толком нигде не жила. Весь век свой паслась она по чужим дворам и всяк знавал ее бабкою, словно молодой она никогда и не была. А ведь помнили ее даже те, которые нынче помирать собрались. Во все годы была она такою же метровенькой, носохрюклой да языкатой черницею. Языката же была Шуматоха до той степени, что селянам приходилось уверять друг дружку: ежели, мол, вытянуть ее жало во всю длину, оно окажется куда как доле ее серпом согнутого тела.

Вот с этим языкатым жалом и прилипла к серьезному разговору бабка Шуматоха. Ровно бы ее сюда черти покликали. При виде старицы говорухи все разом о домашних делах вспомнили — отправились свои заботы разгребать. Глядя на них, и Наталья домой поспешила. Ровно бы и не услыхала она Шуматохиного заверенья. Но когда оказалась в избе, спросила Урмана:

— А кто такой земляной дедушка?

— Э-э. Вона! — заключил Урман. — Бабка Шумато-

ха объявилась опять. Это она навякала. Наши-то бабенки об том дедушке уже и думать позабыли. А Шуматоха Бог знает каким временем живет. Однако и я слыхивал от прежних людей, что живал в нашей стороне такой дедушка. Ведуном слыл. Ходил он, якобы, бродил по таежным угодьям; выбирал по своим колдовским приметам из обычного наносного кругляша камни с какой-то особиной. Для чего? А вот для чего. В простую пору был земляной дедушка человек человеком. Когда же наступал его так и не угаданный людьми час, убредал он тайно в Глухую падь и ловким кротом зарывался там в глубь земную. Был ли у него налажен под землею постоянный какой приют, или всякий раз сооружал он для себя новое какое вместилище, никто ответить на такую загадку не мог. Но стоило ведуну устроиться в берлоге своей поудобнее, как приступал он там разводить огонь. Вся Глухая падь наполнялась тогда угаром таким, в который не то что человек, зверь не совался, птица летела прочь. Поговаривали знающие, что земляной дедушка все намеревался из набранных окатышей выплавить для какой-то колдовской своей нужды каменную кровь! Да только был ли камень не подходящ, работа ли была ведуном налажена не тем порядком, а выпекались у него из камней вовсе ненужные колдуну самоцветы. И хотя, по людским-то меркам, не было тем самоцветам цены, земляной дедушка в продажу их не пускал. Хоронил он этакое богатство опять же в недрах земных да еще и завет на них накладывал. Пущай, дескать, дадутся его камешки рукам человечьим тогда, когда люди поумнеют настолько, что лишь радость от найденного обретут, а не пустят его во вред и себе и другим. Но порою дедушка земляной из правила своего делал исключение. То есть, одаривал радостью нежданной человека достойного. И не было его подарка надежнее и благодатнее. Ну, а потом? Потом вроде бы напасть на земляного дедушку в Глухой пади случилась. Будто бы кому-то понадобилось выжить его из подземной кухни. Может, кто себе наметил заняться там столь богатой стряпнею. Может, испугался, что старому когда-никогда, а повезет все-таки добыть каменную кровь. Одним словом, чадить Глухая падь перестала. Но и земляной дедушка о себе больше никому не напоминал. Люди могли бы подумать, что помер колдун. Только охотники, которые прежде, бывало, брали спокойно по тем местам зверя, стали прибегать из Глухой пади перепуганными и клятвенно заверять,

что больше сроду туда не пойдут. Но и меж собою даже не могли они определиться, что же их так сильно отпугнуло от Глухой пади...

— Сказки, должно быть, все это, — отозвалась Наталья на Урманов рассказ. — А ежели и не сказки, так я за Назаровым здоровьем хоть в пекло кинусь.

— Так уж в пекло, — подивился Урман. — Ты гляди, какая смелая! Ну-ну. Что ж тогда. Коли надумала податься все-таки в Глухую падь, тогда и тянуть нечего. Скоро в тайге снег-то на нет сойдет, каким тогда способом Назара своего до заимки доставишь? До пади-то наезженной дорогою не менее десяти верст, да по чащобе половина того будет. А покуда, снегом-то, можно хорошо дойти. Лыжи тебе дам. Санки у меня есть с широкими полозьями. Для Назара в самый раз подойдут. Могу и ружьецо уделить — мало ли в тайге какая нужда пристанет; отпугнешь, и то ладно. Так что — смотри... Собирайся, пока не поздно. Не то я днями, пока снег добрый, опять в тайгу уйду. Кто тебе подмогнет?

И Наталья решилась. Собралась.

На другое же утро наняла она у соседа лошаденку, уложила в широкие розвальни полумертвого Назара, временные какие пожитки связала, провианту собрала, прицепила до санного задка широкоступные салазки и... И вот уже дед Урман взгромоздился на козлы. Поехали!

— Сбесился старый! — не смевшие галдеть при Урмане, зашумели бабенки вослед саням. — Куда ты ее? Воротись, Наталья! Зря только Назара растрясешь... Чего доброго, сама в чертовом гайне здоровья лишишься. Никакой Урман тогда тебе не поможет. Помни, что и мы спасать тебя не кинемся...

На эту упреду старый Урман крепким кнутовищем бабенкам пригрозил...

Заимка под яром Глухой пади, об которой говорил дед Урман, оказалась вполне даже нерухлой, потому как срублена была из лиственницы. А для лиственницы и три века — не время. Рядом с бревенчатой этой леснухою, в сарайке, оказалось много чего необходимого для домашнего уклада. Даже дрова были сложены под навесом — полено к полену...

Расположилась Наталья, избу натопила, Назара определила на просторных нарах.

Стали жить.

Назар хотя и не вдруг расцвел розовым цветом, од-

нако пожухание приостановилось, а там дело со скрипом вроде бы и на поправку пошло. Весну со страхом перебыли, а к Стратилатовым[1] грозам больной, на хозяйку опираясь, мог уже из леснухи выходить, слушать скупое щебетание к этому времени большим делом занятых птиц. Мог уже улыбаться своей Наталье. Правда, не столь уж часто выпадало видеть ее возле себя — кормить-то надо было кому-то семью. Она хотя и не семь ртов разевала, а все равно не росой с листа была сыта. С деда Урманова ружьеца приноровилась Наталья к малой охоте. Скоро стала она с одного вскида брать что зайца-шустряка, что глухаря-дундука. Только вот радость ее тревожила такая странность: все ей казалось, что будто бы кто-то помогает ей на скорой охоте. То вроде бы зверя на месте попридержит, то на ружье курок щелкнет прежде, чем она догадается его наддать.

О подозрениях своих Наталья Назару не докладывала — боялась потревожить его медленно восходящее здоровье. Но приглядывалась она к тайге все тревожнее...

Так миновало лето. К осени Назар окреп настолько, что решил в леснухе подполье вырыть, поскольку у заимки был Натальей огород посажен.

— Лучше бы, конешно, погребок во дворе, — делился он желаниями с хозяйкою. — Выкопать бы погребок крынкою, возок бы дровец туда, подпалить бы дрова. Тогда бы стены погребка каменной корою запеклись — веку бы ему не было!

— Ничего. Сойдемся и на подполье, — отвечала ему Наталья. — Бог поможет зиму-лето еще перебыть, а там, глядишь, и до людей подадимся...

Сказала такое Наталья, сама вдруг до стены привалилась бледная. Но засмеялась счастливо, точно в ладошку звездочку поймала.

— Об чем ты? — не сумел Назар догадаться сам.

— Об сыне твоем, — отозвалась Наталья. — Ишь вот как, под самым сердцем переливается. Февралем-мартом запоет нам с тобою родную песенку...

— Да Бог ты мой! — растерялся Назар.—Да Наталья ты моя свет Ивановна! Да я ж теперь и помереть не испугаюсь. За меня ж кровиночка моя на земле останется...

Не хотела бы Наталья слышать от него таких слов, но, похоже, сердце Назарово чуяло перемену. И не бо-

---

[1] Стратилат — 21 июня.

лезнь вовсе подломила мужика — случилась беда, никакими догадками не объяснимая...

Землекоп-то из Назара не очень покудова кудышный был: на две лопаты только и опустил подполье, а уж запарился вконец. Прилег он в хатенке передохнуть, а когда Наталья за какой-то нуждою сунулась в леснуху, Назара-то и нет! Как нет?! Да так. Нету, и все. Как испарился.

Наталья туда, Наталья сюда — нету. Не видела она, чтобы Назар за порог выходил, а все кинулась логовину оглядеть. Потом взялась и ближнюю чащу таежную обследовать. В каждую ямину заглянула, каждую сосну-валежину осмотрела. Искружилась вся. Домой пришла, как из татарского плена сбежала...

Ночь наступила темная, страшная. Будто не август бродил по тайге, а расплясалась-разгулялась Параскева-грязница[1]! Распелась погода поминальная! Над Глухою падью шумит буря, брызжет в провал обильными слезами. По крыше струями секет. Наталье же слышится, вроде кто скребется снаружи. Сколь раз выскакивала она из леснухи на непогодь; смотрела-высматривала — нет ли кого в темноте.

Никого не было.

Только перед самым рассветом забылась Наталья короткой дремою. А когда всполошилась — над Глухой падью уже вовсю сияло распрекрасное утро. Тайга паровала под солнцем. Перезванивалась птица. Но и в этой радости не отыскался Назар.

Тогда обезумевшая от горя Наталья побежала в деревню. Зачем? Мужа спрашивать? А там бабы в один голос заявили:

— Так и знали! Уволокла нечистая сила мужика. Упреждали мы тебя... А теперь не бегай, не плачь — не отыщешь. Лучше об себе подумай: пока не поздно, в деревню переберись...

— Да как же так? — подивилась Наталья такому совету. — Оставить Назара чертям на потеху?! Самой спокойнехонько с вами об этом судачить?! Какая ж я тогда ему жена? Да будь я трижды проклята, ежели отойду от этой тайны!

Жуткая Натальина клятва сразу же сделала все бабьи уговоры бесполезными. Никому больше не захотелось соваться до клятвенницы со своими советами...

---

[1] Параскева-грязница — 27 октября.

Готовясь стать матерью, Наталья все ж таки перед самыми зазимками была вынуждена переселиться к людям. Бабы сразу же вознадеялись, что ради ребенка она и вовсе отступится от своего зарока.

Не обманула Наталья Назаровой надежды — в первый день весны родила сына. Да такого отвалила крепыша — еле справилась. Приходской батюшка Феофан благословил новорожденного на долгую жизнь и нарек его по отцу — Назаркою. С этим с Назаркою всю весну-летечко деревня тетешкаться бегала. До чего же добродушный пацаненок уродился — ни полслезы от него пустой, ни полкрика урсливого. Святое дитя, да и только!

Случаются такие, но редко.

— Это ей, Наталье, от Господа Бога подарочек за великое ее терпение, — дружно порешили бабы.

Только ни в горе своем неизбывном, ни в счастье превеликом не забыла молодая мать о данной ею клятве. Потому она и в жизни своей ничего не пожелала поменять, хотя за лето ее и в белошвейки до себя зазывала славная волостная барыня, и довольно богатый уездный бобыль сватов к ней присылал.

Отказала.

А с наступлением Казанской[1] засуетилась она воротиться в Глухую падь.

Тут уж не то бабенки, мужики не стерпели:

— Да куды тебя несет — ворошить чертово гнездо! Хоть народ пожалей. А ну, как нечистая сила с твоего неуемного старания да над деревнею выплеснется? Ты на подъем-то вона какая ласточка — схватилась да улетела, а нам тут век оставаться жить.

— А и на кого ты дите кинешь? — высунулись из-за мужиков бабенки.— На нас, что ли? Не-ет, матушка. У нас у каждой своих забот, хоть бей об заплот...

Когда же увещеватели услыхали от Натальи, что она и не собирается никого за сына просить, того тошней набросились на нее:

— Дьявол тебя поймет, что ты за мать такая! Из какого ты крутого яйца умная такая вывелась — дитенка малого в сатанинское пекло тащить! Да какого ж ты там человека из него вырастишь! Да пошто ты такая беспутная оказалась?!

— Ну вы! Путные-распутные! — охолодил их кипяток тем временем пребывающий дома дед Урман. — Мно-

---

[1] Казанская — 4 ноября.

го ли вами-то соколиков ясных в белый свет выпущено? Эвон сколько индюков пыжливых по деревне ходит-клюкает. Нешто их всех Наталья наклохтала?

Бабенки, понятно, поторопились тут же от Урмана отбрехаться. Пропажу Назара чуть ли не вменили ему в вину. Однако скоро остыли: шибко хорошим человеком был дед Урман. Только лишь бабка Шуматоха опять нежданно-негаданно подскакнула до гаму, как черт до сраму, хрюкнула:

— Когда уж ты, мать-красота моя, столь себядумна, то и ступай; подыхай на Глухой заимке своей. А на деревне нет таких дураков, чтобы спасать тебя кинулись...

Как бы там ни была черница та задворинка не любима селянами, а слова ее легли, как говорится, прямо в очко. К тому же они вроде бы даже огородили Натальиных доброхотов от лишнего беспокойства. Не потому ли со временем в Глухую падь даже из охотников, даже мимолетом никто не заглянул.

А вообще-то надо было бы хоть кому-то, хоть одним глазком увидеть, какие ладные ясельки соорудила Наталья в леснухе своей для малого Назара — высокие да крепкие. Это чтобы холод от двери не подхватывал сыночка. Из корья соснового, из мягкой древесины понавырезывала молодая мать дитенку своему игрушек разных, яркими тряпицами пообшивала их — праздник да и только!

В тайгу надо сбегать, — мать сына накормит, напоит, леснухину дверь засовом закладет и заторопится на широких, деда Урмановых лыжах, в лесную чащу.

Далеко от заимки Наталья не убегала, но и возле не приходилось крутиться: зверь-то не дурак; разве станет он пастись по услеженному человеком месту?

Назарка же в теплой избе наиграется и повалится на бочок. И посапехивает, лежит. Мать домой возвернется, а он и просыпаться еще не собирается. Когда глазенки распахнет, у Натальи уже все готово. Посадит она сына возле себя, сама там шьет или вяжет, да сказки сказывает или песни поет. За матерью и Назарка чего-то повторяет-лопочет. Вроде бы понимает, соображает. А, может, и понимает. Душа-то у человека, она же сразу большой рождается. Большой да понятливой. Надо только уметь с нею разговаривать. Так что хватало им друг дружки, и никакого иного собеседника покуда не требовалось. Тут бы и насмелься какой удалой прибежать за

заимку — проведать отшельников, только бы ненужную канитель привез.

Одно мешало Наталье сполна праздновать свое печальное счастье — настороженность тайги. Теперь молодой матери все казалось, что не только до нее доходит в тишине всякий надлом, всякая ветриночка, но и еще кто-то неотступно сторожит лес, а заодно и любой ее шаг, любой разворот...

Так минул Зиновий[1]. Нагнал он на молодой мороз снегирей-свиристелей. Переодел зайца в белую шубу. Взялся прошивать дятловой дробью малоснежный лес чище всякого солдатского барабана. Потом надумал сыпать порошею. Стал укрывать в тайге всякий и живой, и мертвый след. Тем и приговорил он Наталью лишь только выскакивать на погоду — слушать да прикидывать: скоро ли зима-матушка окончательно обживет сибирские угодья свои.

Скоро седая приступила не только щедро посыпать, а и круто замешивать свою завируху. На Матрены[2] она так задымила курой, словно бы у белой стряпухи изо всех сусеков разом шальной Сиверко повыдул всю как есть муку.

Только на Студита[3] улеглась вся эта хурта. Небо вдруг прояснилось чуть ли не весенней лазурью. Но, взамен ожидаемого Натальей мороза-крепыша, запошлепывало по тайге с хвойной высоты подталым снегом.

Наталья испугалась и того большей оттепели да решила пробежаться по солнышку налегке — почитать следовую книгу тайги.

Безо всякой поддевки, только лишь в одной душегрейке, вскинувши ружьецо на заплечье, встала она на лыжи, поднялась по уклону на кромку пади и пустилась неторопливым скользом по зимнему теплу. Пошла и пошла она меж сосен величавых, мимо шустрого подлеска. Миновала безлистый карачай[4] да негустой кедровник...

По следам, по снеговым сбоям Натальей понималось то, что зверья полон лес, да только похоже — вроде бы кто-то перед нею побывал в тайге, чуть не до смерти напугал все лесное живье.

Наталья прикинула, насколько пустою будет ее охота, и поворотила вспять. Да прямо тут вот, в десяти ша-

---

[1] Зиновий — 12 ноября.
[2] Матрены — 22 ноября.
[3] Студит — 25 ноября.
[4] Карачай — лиственница.

гах обратного ходу, споткнулась она о только что отшлепнутый оттиск рысьей когтистой лапы. Куцая шла явно по Натальиному следу.

Интересно! Очень даже интересно.

С каких это пор таежная шельма научилась ходить охотничьей тропою, да к тому же еще и когти держать наготове? А где же теперь затаилась эта рыжая чертовка? За валежиной ли за крутобокой прижала она к затылку злые уши, на сосне какой среди густой хвои схоронила она себя от охотницы?

Наталья оглядела ближний лес, где оморочья[1] рыжина должна была непременно высквозить для ее острого глаза. Вот она и в самом деле приметила на старой лесине желто-бурую боковину рысьей шубы. Сумела даже разглядеть, как под легким ветерком пошевеливаются ее шерстинки, и, не мешкая, вскинула ружье.

Во все стороны брызнула сосновая перхота. Затем на подталый снег свалилась здоровая ошметина старой коры.

— Ворона слепая! — обругала себя Наталья, перезарядила свое глупое стреляло и осторожно двинулась по тайге.

«Что же это за особенность за такая у рыжей бестии, — думала она, — следом за человеком землею ходить? По всем лесным законам всякому таежному жителю положено пользоваться только своими привычками. А тут? Тут явно получается нарушение обыденного...»

Вот и вновь попала Наталье на глаза сомнительная рыжина. Что-то явно таилось на крутом выгибе дородной сосны. Теперь охотница выпускать заряд погодила — тихонько заскользила на примету. И в это время ей на голову порхнула кисточка хвои.

Не будь Наталья настороже, не заметить бы ей такой малости. А тут она вскинула лицо и... обмерла. С могучей развалины древней сосны глядело уже готовое прыгнуть на нее гологрудое чудище.

Гривастое вдоль хребта, а по охвату поясницы и ниже покрытое бурой шерстью, чудище имело рысьи задние лапы и точно такой же обрубок хвоста. Лысая, как пятка, голова была снабжена стрельчатыми ушами громадного нетопыря[2]. Иссиня-черные, в пол-аршина каждое, они были распахнутыми на стороны, словно гривас-

---

[1] Оморочь — рысь.

[2] Нетопырь, кожан — летучая мышь.

тить свою неразумную мать, словно бы тот мог услышать ее на таком расстоянии.

— Сыновеюшка,— говорила она со слезами.— Кровиночка моя! Потерпи чуток...

Тревога да поспешность ее были столь велики, что вихрем влетевшая в леснуху, она не обратила внимания на то, что дверной засов был заложен совсем иным концом!

Но озадачиться ей все-таки пришлось: в таежке, считай, на полный день покинутой хозяйкою, оказалось теплым-тепло. Назарка сытый, ухоженный спал себе за огородкою высоких яселек. А в лампадке, на кем-то недавно скрученном фитильке, поигрывал веселый огонек...

В недоумении села Наталья, раскинула мозгами, решила, что какая-нибудь жалостливая бабенка все-таки не утерпела, явилась из деревни — проведать ее с Назаркою на диком зимовье. Да, видно, не дождавшись хозяйки, темноты скорой испугалась, поторопилась убраться из Глухой пади...

«Теперь бабы поднимутся,— лезло в голову Натальи.— По цельному, дескать, дню кидает дитенка одного. Чего доброго, всем гамузом корить налетят...»

Но мысли эти неприятные скоро оставили Наталью. Опять представилось ей таежное чудище в разлете черных ушей, в колком сиянии голубого алмаза. Вот чье появление на заимке было бы тревожным по-настоящему...

Однако ни бабы, ни таежная нечисть ни на другой день, ни на третий смущенного Натальиного покоя не потревожили. Не могла бы она прокараулить даже самого мимолетнего гостя, поскольку остро почуяла наступающую на нее остуду. Потому она сидела дома, хлебала травяной отвар, чтобы полностью не расхвораться. Только зря она надеялась на столь надежную, казалось бы, подмогу; в третий день к вечеру слегла. Знать, больно глубоко вдохнул в нее Сиверко морозный свой дух.

В ознобном беспамятстве Натальи порою наступала мутная полынья сознания. Тогда она порывалась подняться — досмотреть Назарку. Да только вся ее сила уходила на этот порыв. Затем Наталья вновь упадала в жаркое бездумье...

Когда простуда, наигравшись, оставила хворую лежать в безволии на нарах, да когда Наталья все-таки сумела поднять голову, чтобы оглядеться, изба вновь оказалась и чистехонькой, и теплою. Даже чайник на плите дышал кипением. А Назарка, в чью сторону еле живая

тый этот кожан собрался вовсе не оседлать Наталью, а воспарить над нею демоном. Пара кабаржачьих клыков торчала на обе стороны его хоботом загнутого носа. А глаза! Глаза человечьи смотрели так, ровно видели в Наталье давно желанную добычу. Цепкие обезьяньи пальцы были снабжены волчьими когтями. Во лбу чудища небесной голубизны огнем сиял огромный алмаз.

Все исходило жутью.

Но самым зловещим было то, что в гривастом нетопыре неуловимо сквозило что-то очень Наталье знакомое.

Потом уж, после всего, Наталья могла бы дать голову на отсечение за то, что в самый нужный момент ей, растерянной, кто-то сильно поддал под локоть. Ружье само собою взметнулось. Чудище утробно мяукнуло, потом кинулось через охотницу, спружинило на рысьих лапах и огромными, легкими прыжками пошло нырять по мелкому снегу за частые валежины...

«Боится!» — подумалось Наталье. Не стала она ни о чем больше размышлять — пустилась следом: вознадеялась, что куцая нечисть оступится, либо подхватится на лесину. Только лопоухая все шла и шла землею и, как вскорости поняла Наталья, не больно-то старалась отделаться от погони. Похоже, наоборот. Она, вроде бы, даже поджидала охотницу, когда той попадалось на пути долгое околье: крупная ли валежина, которую требовалось обойти, подлесок ли непролазный.

Дошла до Натальи глупость ею затеянной погони тогда, когда от нее повалил на окрепший ветерок индевеющий на лету пар. Пришлось остановиться.

Концом платка Наталья отерла потное лицо, распахнула душегрейку — маленько проветриться, беспокойными глазами поискала на посеревшем небе солнце. А когда не нашла его там, где надеялась увидеть, то и спохватилась времени. И по всем приметам получилось у нее, что не попасть ей теперь на заимку свою раньше скорой темноты. Вот когда особенно почему-то ясно представила она себе когтистые пальцы на обезьяньих руках чудища и зловещий голубой огонь алмаза...

Ломилась Наталья обратно дорогою так, что тайга стонала. Виноватила она за глупость свою и себя, и ушастого беса, и даже время, которое могло бы и не торопиться столь неотвратимо нагонять на землю непроглядную темноту. Вслух же она уговаривала Назарку прос-

Наталья и поглядеть-то сразу побоялась, ухватился розовыми пальчиками за край высокой огородки своей и стоит приплясывает да повизгивает — радуется матери.

Мать даже заплакала бы, да сил не хватило. Но не думать она уже не могла. Потому и подумала с благодарностью: «Это чья же добрая душа не испугалась бегать в Глухую падь, чтобы и за мною приглядывать, и дитенка моего холить? Дай ей бог здоровья! А я поправлюсь — в долгу не останусь...»

Потом думальщица как могла напряглась, села на нарах, посидела, пождала того, кому собиралась сказать сердечное спасибо, да и забеспокоилась: никто в леснуху не явился и во дворе также не было слышно никакого живья.

С великим трудом Наталья все-таки постаралась подняться, по стеночке, шаг за шагом, добралась до двери, с грехом пополам оделась и вышла на погоду. Ей не терпелось убедиться по следам, где же ее благодетель: успел ли он убраться в деревню и стоит ли сегодня мучиться — ждать его.

За порогом леснухи стоял не по святцам веселый декабрь. Он купал ярое солнце в молодых снегах, и оно, проказничая, брызгало во все стороны золотыми лучами.

Оно принудило Наталью прижмуриться. Улыбнувшись столь чистому на земле празднику, хворая огляделась кругом. Однако же, кроме белого половодья нетронутого снега, ничего не увидела. Нигде, никакого следа никто для нее не положил. Оставалось думать, что это она сама в бредовом беспамятстве столь исправно вела хозяйство, что, помимо избяного ухода, сумела когда-то и дровец наколоть, и снег от крыльца чисто откинуть...

Быть того не могло!

Потому Наталья еще пристальней оглядела вокруг заимки белую непашь да вдруг и различила поодаль, за парою отстоялых от лесной чащи молодых елей, изволок кравшегося по снегу зверя. Далее, к лесу, приметила она одну, другую, третью вмятину, оставленную мощным отскоком все тою же, понятно, живностью. Знать, была она откинута в хвойный сплошняк внезапным испугом.

Конечно. Не больно трудно было Наталье предположить, что у зимовья побывала куцая нечисть.

Расстояние до оставленного ею следа так просто Наталья бы не осилила, пришлось опереться на палку. Догадка ее не оказалась пустой: изволок оказался про-

печатанным задними рысьими лапами. Под этими вмятинами без труда угадались теперь Натальей следы когтистых рук. Как охотники говорят, зверь шел лапа в лапу.

«Она!» — сказала себе Наталья и поняла, что, видно, лопоухая и есть та самая нечистая сила, которая справилась с Назаром. А теперь, знать, чудище до нее самой добирается.

Когда Наталья воротилась в леснуху, перед ней вдруг встал еще один вопрос: кто хозяйничал на заимке, когда гривастая бестия водила ее по тайге? Кто доглядывал за нею за хворой? Кто Назарку без нее нежил? Кто?

Не могла на него ответить себе Наталья; решила, что надо поскорей выздоравливать: тогда, может, что и прояснится.

На более-менее терпимую поправку ушла у нее добрая неделя. Все эти дни Наталья старалась почаще выходить на погоду, ревностно оглядывала округу. Но на снеговой новине примечала она лишь пернатой мелкотою натрусанные кисточки легких, крохотных следов. Сорока кое-где, правда, оставляла после себя рытвины, когда с разлету окуналась по самые крылья в пену чистейшего снега.

Когда же сердитый морозец поприжал пичужью бойкость, тогда и сорока сообразила, что отошла ее радость нырять безоглядно в холодную кипень. Теперь, на хрупкий наст, садилась она как на белое пожарище, где можно ненароком опалить лапы.

Наталье достаточно было глянуть на сорочью осмотрительность, чтобы понять — идти в тайгу рановато: малый зверь по такому чиру[1] следа не оставит, крупный, вряд ли по ломкому пути настигнутый охотником, впопыхах только зря лодыжки поизрежет и загинет, чего доброго, попусту.

Требовалось дождаться мороза покрепче да к нему бы хорошо дотерпеть до щедрой пороши.

Дождалась Наталья путной погоды; дверь леснухи посадила на замок; направилась в тайгу. Да не успела она отойти от заимки и полверсты, загорбком прямо почуяла на себе пристальное внимание.

Ждала. Потому и почуяла.

Безотчетная сила кинула ее в сторону с таким проворством, что уже слетевшая на распущенных ушах с

---

[1] **Чир** — наледь на снегу.

крупной лесины гологрудая нехристь успела только зацепиться острым когтем за подол ее полушубка; расхватила паразитка одевку прорехою до самой подбивки.

Покуда Наталья разжималась да покуда вскидывала ружье, куцая ведьма оказалась для заряда уже недосягаемой. Она летела через валежины да рытвины таким скоком, будто бы ей из-за каждой лесины доставался кем-то посланный увесистый пинкарь. Должно быть, нечисть отлично понимала, что Наталья не пустится больше за нею следом, потому разлетной своей прытью ей давала понять, что на сегодня с нее хватит.

С больною от переизбытка всяких дум головою Наталья воротилась на заимку, беспокойно оглядела все подступы до леснухи. Ничего тревожного не отметила и только тогда отворила в таежку дверь.

Все было, как было, как оставлялось Натальей получасом назад. Лишь Назарка не гулюкал в ясельках, а успел когда-то свалиться на живот да так и уснул. Да так и посапывал он в блаженном покое.

Наталья скинула с себя располосованный ведьмою полушубок, направилась достать с полки чурок с нитками да иглу и тут попятилась...

На самой середине стола лежала кем-то забытая рукавица белого заячьего пуха. Кто-то, знать, больно торопился убраться из леснухи, сумевши непонятным образом учуять на расстоянии Натальино приближение.

Кто? Ну, кто? Следов-то никаких во дворе нету.

И тут пало Наталье в голову: уж не сам ли земляной дедушка бывает у них в таежке? Кому ж еще, как не ему, столь умело, столь скрытно делать добрые дела?

Неизвестно, сколько б еще стояла она посреди избы в полном раздумье, кабы внезапно да не потемнело в леснухе. Обернулась Наталья до малого оконца, и что же? А то, что все его глядельце залепила клыкастая рожа гологрудой нечисти. Лопоухая рыскала по избе кровожадными глазами, будто искала в ней и никак не могла увидеть хозяйку. А когда уткнулась в нее диким взором, то вдруг захохотала с человечьей издевкою. Так захохотала, что с потолка леснухи посыпалась труха, а за ясельной огородкою резано крикнул и закатился дурнинушкой перепуганный Назарка.

Если бы Наталья могла тут же кинуться на черноухое поганище, она наверняка повалила бы стену и придавила ею эту нехристь. Но покуда подхваченный ма-

терью мальчишка приходил в себя, гривастой нежити и след простыл.

Вот когда поняла Наталья, что не вольна она далее оставлять сына в столь прокаженном месте. Хочешь не хочешь, а пришлось ей прямо поутру собирать Назарку, усаживать его на те самые салазки, на которых она запрошлой весною доставила на погибель в Глухую падь своего Назара, да отправляться в деревню.

Куда же ей еще-то было податься?

Пробивалась Наталья снеговой тайгой и все прикидывала: до какой бы ей доброй души с нуждою своею сунуться. Если и поймут ее упорство деревенские бабенки да не станут над нею куражиться, то и тогда надо подумать, у кого оставить парнишонку. У Авдотьи, к примеру, Минаевой своей кашеедины, — хоть корыто бери да посередке избы ставь. У Лизаветы Корюковой? У той полна хата престарелого хворья; тут и без Назарки последний сон жалобами да стонами у кормильцев отнимается. Ежели до Сивалихи сунуться, так у нее, бедной, до того пластянка кривобока, что домовой, должно быть, в курятник ночевать бегает. Про тех же, которые в достатке своем денно и нощно токуют, Наталья и думать не стала: те все одно чужого горя не услышат....

На проселок успела выбраться думальщица, но так и не решила, до кого бы ей приткнуться со своей обложившей головушку заботой?

Однако жизнь наша — то сума, то чаша; то она свет, то она тень... и так всякий день.

На великую на удачу вдруг видит Наталья — дед Урман шикает разлапистыми своими лыжами повдоль заснеженного проселка.

Радость-то какая, надо же! Советчик ко времени.

— Не в деревню ли поспешаешь, дедушка? — взамен привета крикнула ему Наталья еще сыздали.

— Туда, красота моя ненаглядная. Туда, — со знакомою лаской отозвался Урман.— По людям стосковался. Старею, видно. Неделю как дома был и опять потянуло. А ты как?

— Бабы-то в деревне, поди-ка, все судят меня? — спросила Наталья, опережая ответ.

— Судят, должно, — отозвался старый, да и пошутил. — Судить —не бобы садить: за каждым разом сгибаться не надо.

Тут он, подойдя вплотную, оглядел Наталью со вниманием, узнать захотел:

— Пошто это тебя закрутило? Осенним прям-таки листочком свернуло? Али опять чего на заимке стряслось?

— Стряслось, — отозвалась Наталья. — Наскрозь проняло!

И доложила тревожно:

— Нечистая сила объявила себя наглядно!

— Да ну! — подивился Урман.— А я, признаться, думал, что Назар твой, почуявши смерть, сам в тайгу убрел — тебя чтоб горем не убить, надежду оставить.

— Не-ет. Душа моя знает — жив Назар. И не уберусь я из Глухой пади, покуда верю в это! А там, где есть вера, и век делу — не мера.

Обсказала Наталья все как есть.

Выслушал ее Урман. Со вниманием выспросил обо всем том, о чем мы с вами уже знаем, головой покачал, языком поцокал. Насчет рукавицы заячьей сказал:

— А может быть, вовсе и не в спешке забыта она? Может, кто с умыслом оставил ее на видном месте — себя обозначить захотел?

— Я и сама пробовала так думать, — призналась Наталья. — И оттого пала мне в голову мысль: уж не сам ли земляной дедушка бывает у нас в леснухе?

— Вот-вот! — подхватил ее догадку Урман. — А лопоухое поганище — не та ли это самая ведьма, которая будто бы никак не дает чудодею определиться со своей заботою в Глухой пади? Уж не надеется ли земляной дедушка на то, что повезет приструнить злодейку? Вот он и улавливает моменты, чтобы подмогнуть тебе, когда допекает тебя нужда.

— Похоже, что все это так и есть, — согласилась Наталья. — Только одного не пойму: чего бы тогда ему меня таиться? Пошто он мне-то не покажется? Не доверяет, что ли? Он же наверняка знает, что мне приходится над вопросом этим голову ломать?

— Бог его поймет! — пожал плечами Урман. — Ить у всякой тайности свои крайности. Надо тебе еще маленько потерпеть. А то, может, лучше, и правда, совсем в деревню вернуться?

— И не подумаю!— нахмурилась Наталья. — Мне бы вот только Назарку на время до кого-нибудь определить — тут же обратно ворочусь. Уж коль я уверена, что жив Назар, так как же я с уверенностью с этой в деревне останусь жить? Кем же тогда я буду перед собой?

— Ладно, ладно, — заторопился Урман успокоить

ее. — И без того вижу: крепко связала ты себя верой своей да клятвою с Глухой падью. Настолько крепко, что и мне теперь грешно умалчивать о том, о чем знаю, о чем в первый раз не досказал. Ведь до незабытого еще народом землетрясения в наших таежных краях никакого чудодея и в помине не было. Объявился он тут сразу после того, как образовалась Глухая падь. Должно быть, и в самом деле, только в этом провале земном находится то место, где умение его колдовское способно добыть из камня кровь.

— Зачем?

— Время говорит о том, что земляной дедушка вечен. И еще оно говорит о том, что жить он давно устал, но помереть может, только напившись каменной крови. Вот какая вечности его история. Надо тебе сказать, что земля наша матушка в необъятном мире господнем малым островком плавает. Кроме нее много в общем хозяйстве таких островков. Далеко не на всяком живность разведена, но случается. И вот на одной из таких удачных земель как-то взял и выродился такой умник, который домудрился до того, что сотворил для себя полное бессмертие. Торопиться ему стало некуда, бояться нечего. Оставил умник мудрые дела свои, занялся одними сладкими радостями. Прошло сколько-то времени — засахарился умник. Все ему стало приторным, оскомным и потому виноватым. Вот и стал он гасить сладость жизни своей всяким безобразием. Вскорости умник так осточертел сородичам, что те, за неумением избавиться от него, сговорились не замечать выродка, какой бы пакости он ни натворил. Много, много зла принял он на свою душу. Наконец отяжелел. Забился в одиночество. И от нечего делать вспомнил опять о мудрых делах своих. И тогда решил он отлучить от себя все содеянное зло и уничтожить его. Долго пришлось ему опять высчитывать да выдумывать. Все вроде бы учел. Одной только циферкой и ошибся. Отделиться-то зло полностью от него отделилось, даже свое собственное безобразное тело обрело, да только, вопреки желанию умника, сохранило в себе его столь надежное бессмертие. Однако творить кому-то стороннему большие беды оно уже не могло. И вот это умниково дурище всею злобой перекинулось на своего создателя. Можешь себе представить, какова у него вечная жизнь наладилась. Одного дня не проходило без отчаянья. И все-таки ухитрился он, при полном-то надзоре зла своего, выведать у природы, каким

ему путем вернуть себе смертность. И вот что подсказало умнику его миропонимание: убудет он из жизни кошмарной своей только тогда, когда напьется каменной крови. С ним пропадет и его зло. Вроде бы все определилось. Но ему опять пришлось схватиться за голову тогда, когда он узнал, что на родной его земле нужного камня нет. Вот уж когда распотешилось над хозяином сотворенное им чудище! И все-таки умник нашел выход: выведал у природы: подходящий камень есть. А уж как ему выпало добраться до нас, об этом нужно спросить самого земляного дедушку. Но ежели бы и пожелал он тебе об этом поведать, вряд ли бы ты его поняла. Да и на што тебе его доклад? Тебе б только понять, куда Назар твой девался, да как его вызволить? И вот тут, крути не крути, получается так, что тебе, Наталья, выпала нужда подсобить бывшему умнику добыть каменную кровь. А ведь поганищу, из его зла состряпанному, помирать-то не хочется. Потому оно зорко следит за дедушкою земляным. Чуть только потянуло из Глухой пади дымком, оно кидается разгрести подземную кухню. Видала, сколь в провале рытвин? Один будто бы раз этот ведун выварил из камня отраву. Только зло его успело пронырнуть в подземелье, напустить лесного воздуха, от чего каменная кровь спеклась голубым алмазом. Чудище схватило алмаз, втиснуло его себе в лоб и объявило: покуда самоцвет при мне, тебе, умник, не вспомнить порядка добычи каменной крови. Однако успел оговорить свое зло. Оставил он за человеком право отнять у поганища алмаз. Вот почему оно отпугивает людей из Глухой пади...

Покуда дед Урман все это обсказывал Наталье, оба они не заметили, как поднялись на взгорочек, с которого была уже видна утренними дымками исходящая деревня.

— Ты, вроде бы, сам причастен ко всей этой странности, — сказала Наталья Урману, когда тот умолк. — Вот слушаю тебя и всему верю.

— Не мудрено, — усмехнулся старик. — Не зря же говорят, что меня сама тайга родила. Выпадало мне видеть в ней не только зверя. Довелось как-то встретиться и с земляным дедушкой. От него и причастился. Поганище его и на смом деле не способно причинить человеку большой беды. А вот заневолить его может. Случись и с тобою такая неволя, сказать я тебе не могу, сколько она продлится, сколько придется сыну твоему

сидеть за чужим столом. Но ежели ты все-таки надеешься исполнить свой зарок, то положись-ка в Назаркином определении на меня — доверь мне своего сапуна. Я его лучше всякой няньки догляжу.

— Вот те раз! Ты же сам говоришь, что со мною может случиться долгая неволя. Куда ты тогда с малым-то с таким денешься? Года-то твои, поди-кась, Богом не один раз уж подсчитаны...

— Э-э, нет! Ты не гляди, что я стар, — весело заявил Урман. — Я еще тебя с твоими двумя Назарами переживу. Я ведь и правда тайгою рожден да на диком меду замешен. Да и не верю я в то, что ты дозволишь нечистой силе долго себя в плену держать...

— Ну, коли так... Гляди! — решилась Наталья. — Тогда что ж! Тогда принимай поводок...

Вот так вот. Безо всяких проволочек, оговорок и условий передала Наталья старому Урману бечевку от широкоступных салазок, на которых спокойно посапывал Назарка, развернулась на пригорке, скользнула на лыжах по ранней заре и скоро утонула в темной чаще тайги. И, конечно же, не мог видеть старый Урман, что творилось этим временем в ее материнской душе.

А творилось в ней то, что сцепились там драться беда с бедой — не разлить водой.

«Ежели все-таки взяться да развернуться, пока не поздно? К Назарке воротиться? Вряд ли кто осудит меня. Только ведь я сама себе покоя до самой смерти не дам. Ну, а вот так — идти на авось? Кабы плакать всю жизнь не пришлось...»

Не так, конечно, складно, не столь ясно думалось Наталье. Целый туман забот стоял над болотом ее горя. И все же успевала она видеть переливы зимнего рассвета: то сизое, то пепельное, то голубое серебро заснеженной тайги. И понимала она, что случись с нею долгая неволя, когда-никогда сын ее Назарка, полный мести, пойдет по этой же самой дороге. Сумеет ли он воротиться к людям? Будет ли он волен надышаться вдосталь земною благодатью или канет в вечную тайну Глухой пади?

— Нет, нет, нет! — голосом возражала Наталья жившему в ее уме чудищу. — Не мать я, что ли? Не жена ли я мужу? Не заступница ли я кровным своим?

Оказавшись по-над Глухой падью, Наталья не стала огибать крутояра — пустила широкие лыжи прямиком.

Внизу она хорошенько отляделась и медленно заскользила по тишине...

Небо уж пылало полным рассветом. Таежный провал дышал прелестью несказанной. Сосны на залитой солнцем стороне стояли теперь не в застенчивом блеске снегового серебра — горели чистейшим золотом. Этот утренний праздник бодрил Наталью, как бодрит молодого воина уверенность, что правом защитника волен дарить он людям земную отраду. И все-таки была она крайне насторожена. Так ходят лишь только по тылам врага. Однако же чутье свое напрягала зря: тайга, знай, меняла красоту на красоту, но ни разочку не дрогнула ни единой веткою.

Кромкой леса обогнула Наталья чуть ли не всю впадину: старалась она заглянуть в забитую снегом чащу — нет ли где какого тревожного следа? До заимки своей подвернула уже с другого края пади, пригляделась и определила, что леснухина дверь располохнута кем-то настежь.

Неужели это она сама умудрилась впопыхах оставить таежку полой?

Да не может того быть!

— А Бог его знает, вконец закрутилась, — сказала она себе и заторопилась к заимке, будто вознадеялась успеть прикрыть в ней хоть какое-то тепло.

Но поблизости опять засомневалась — не могла она кинуть избу распахнутой, не могла.

Вот тут и увидела она из-за леснухи топкий, тяжелый след. Он шел ко входу. По нему Наталья сразу же поняла, что на заимку пожаловал человек в немалых годах.

Земляной дедушка!

С этой уверенностью постояла она в стороне, пождала, не выйдет ли чудодей наружу. Тихонько подкралась до леснухи и заглянула в ее нутро. Увидела: кто-то небрежный отворотил в избушке пару широких половиц и теперь громко сопит в так и не дорытом Назаром подполье. Сопит с такой силою, будто бы кажилится поднять на загорбок всю таежку разом.

Это еще зачем?!

Наталья скинула лыжи, на мягких катанках шагнула в избушку и потянулась тайком глянуть в проем. И что увидала? В полутьме испода, пяти минут не дожившая до своей на тот свет очереди, пыхтела бабка Шуматоха. Она с такой невероятною быстротой рыла голыми руками землю, ровно торопилась поскорее добыть себе вто-

рую жизнь. Старица и не почуяла даже того, что кто-то нагнулся над проемом.

По всему увиденному Наталье стало догадно, что задворенка явилась в леснуху не за своим. За своим добром люди ходят спором, а не вором. И не суетятся они до той поры, что даже глаза потеют...

Подумалось так Наталье потому, что бабка Шуматоха отерла рукавом поддевки испарину со своего лица и...

Вот уж никак не ожидала Наталья, что развязка будет столь недолгой.

Бабка разогнулась, низкий платок съехал с ее лысой, как пятка, головы, черными лопухами распахнулись стрельчатые уши, во лбу сверкнул алмаз!

Наталья лишь только на короткий миг отпрянула от проема. Другим моментом старица, схваченная ею за загривок, уже дергалась на весу и верещала свинячьим голосом.

Другою рукою Наталья хотела выколупнуть самоцвет, да только тот вдруг потускнел под ее пальцем, задрожал ртутью, выкатился из гнезда, тяжело хлопнулся об пол, сквозь щели быстро просочился в подполье и пропал безо всякого остатка. Старуха выпустила клыки, завыла, рванулась следом, ляпнулась животом на половицы, стала рвать на себе одевку. Потом страшно мяукнула, подхватилась уже на рысьи лапы, одним скачком вымахнула во двор... Над леснухою громко заорала перепуганная ворона...

В полном безволии, в горе от того, что она ничего не успела узнать о Назаре, Наталья присела на нары. Посидела сколь могла. Не понимая для чего, поднялась и только теперь разглядела на столе никем не тронутую рукавицу заячьего пуха. И тогда ей подумалось, что она для земляного дедушки сделала все, что могла, теперь он волен прийти в леснуху, в которой ей самой оставаться больше незачем.

Вроде бы и не очень долго провозилась Наталья с лопоухой нечистью, однако же полдень когда-то успел перевалить через Глухую падь, и теперь небо теплилось на вечерней стороне. А выбраться из провала удалось ей и вовсе тогда, когда низкое солнце успело уже исполосовать тайгу длинными тенями сосен. Оно, знать, торопилось спрятаться за лес, потому что боялось заглянуть в Натальину душу.

Что же там такое невыносимое творилось в ее душе? Вязкая ли досада от прежней неясности, дурнота ли от увиденного, страх ли от предчувствия долгого опять одиночества? Того самого, от которого сходят с ума даже куры...

Пожалуй, что только забота о Назарке удерживала теперь Наталью от позыва кинуться неистовой тварью в бескрайние черни, ломиться по буреломам-кочкарникам туда, где исходят на нет любые страдания. Да, лишь ради сына не могла она допустить себя до такого предела, откуда срываются люди в вечный покой. Однако того пути, по которому она шла, Наталья не понимала и не отмечала его ни усталостью, ни временем...

Очнулась она тогда, когда не осталось никакой силы. Увидала вокруг полную ночь, глупо улыбнулась щекастой луне, которая до самого до пробора была нацежена разливанным светом...

Не сразу поняла Наталья, в каком углу тайги она находится. Когда же выбралась по глубокому снегу из-за сосен на луговину, то поразилась — стояла она аккурат против своей заимки.

Вот те раз — чертов пляс: из влумины[1] да в яму...

Когда она столь круто сумела развернуться в тайге, когда соскользнула с яра обратно в Глухую падь? Казни ее, не сумела бы Наталья ничего объяснить толком.

Что теперь поделаешь?

«Надо перебыть до утра в леснухе,— подумала она.— Мороз крепчает. Еще где-нибудь застыну».

Двинулась она до леснухи и скоро заметила, что лунный свет над избушкою колышется. Похоже, труба дышит теплом!

— Все-таки пожаловал... дедушка земляной, — сказала себе Наталья и заторопилась до крылечка.

Минуя светлое оконце, не утерпела, заглянула в леснуху. Так оно и есть! На плите чайник пыхтит-парует, на просторных нарах кто-то спит, укрытый шубою до самой маковицы.

И вот уже Наталья отворила дверь.

Вошла.

Сразу отметила, что на столе не одна — две рукавицы лежат. Потянулась сравнить их, да мимоходом, по привычке, глянула за огородку высоких яселек. Гляну-

---

[1] Влумина — яма, выбоина.

ла и обомлела, поверх мягонькой перины лежал Назарка.

Наталья ахнула, не сторожась более, кинулась ощупать сына — живой ли?!

Малый потянулся под ее руками и громко засмеялся во сне. Спящий на нарах поднял голову.

— Назар!

Ох и долго же не могла Наталья успокоиться. Она то плакала, припадая до груди мужа, то смеялась, обнимая крепкого его да здорового. Удивлялась-спрашивала:

— Где ж ты столько времени был?

— Рассказать — не поверишь, — отвечал Назар. — Совсем рядом был. В нашем подполье. Подкопать маленько, можно там дверку обнаружить. Там земляной дедушка живет. Ты ж его знаешь. Ты же сама ему нашего Назарку препоручила. А теперь он нас отпустил. А тебе вон подарочек переслал.

И показал Назар на рукавицы заячьего пуха.

Наталья приняла со стола подарок, вздела одну из рукавиц на руку; мешает что-то. Сняла. Тряхнула. Стукнулся об пол, порхнул во все стороны яркими лучами голубой алмаз...

Ну, вот и все!

Чего еще вы от меня ждете?

Да. Пробовали Наталья с Назаром погреб подкопать. Хорошее подполье вырыли, а дверки в жилье земляного дедушки так и не обнаружили. И оставили эту тайну для нас.

СПИРИДОНОВА ДОСАДА

Велико Байкал-море восточное,
широка Кызыл-степь полуденная,
перевалист Урал-хребет каменный,
а Сибирь-тайге и предела нет...

Беспредельность! Она полна зовом надежды, в которой таится дух отрады, чья благодать вседоступна, умей лишь причаститься к ней.

Человек, освободись от суеты, обиды забудь, жадность умерь, доверься вечному, и тебе станет ясным то, о чем шепчутся под землею корни, о ком вздыхают сто-

летние мхи, чей древний след на земле чуют мудрые звери... Ты поймешь голоса ветров, музыку солнечных струн, услышишь сказания осенних дождей; постигнешь такие были, от которых воспрянешь родовой памятью, и, даст Бог, сумеешь осознать, кто ты есть, кем и для чего ниспослан ты на эту и без тебя прекрасную Землю.

Ныне порядком наплодилось умников, до которых чесоткою прикипела немочь доказать ближнему, что души в нас не было и не будет.

Человек, приглядись к этому мудрователю, пожалей его: боль преждевременной изжитости глаголет в нем, разменявшем призвание свое на мелочь умыслов, раструсившем совесть по прилавкам сытости...

Случались и прежде такие умники; старые люди вздыхали им вослед, говорили:

— Многолико созданье Божье: в одном ангел тешится, в другом — кобель чешется...

Что мы есть без души? Какими представляемся Господу в грехах наших? Столь часто поминая нечистых, не грезим ли мы бездуховностью своей?

Человек, скинь личину исполина, побывай в тайге милым братом. Кто знает, не твоего ли гостевания ждет она, чтобы поведать о заветном.

Побывай. Запомни все, что доверит тебе она. После перескажи внукам; зачаруй их удивлением и любовью к человеческой душе, а за нею дело не станет...

Ну, а пока...

Послушай, о чем тайга поведала мне, и поверь, что все это было, было... А может, будет, когда нас не будет... Когда отомрет нынешний оборот жизни, и Земля попытается заново возродить для чего-то необходимого ей человека.

В неугаданные времена потерялся в тайге один очень нужный мужик.

Я говорю о Парфене Улыбине.

Необходим он был для едомян [1] тем, что умел дарить людям покой. Загорятся мужики злобою — бабенки не мешкают, за Парфеном бегут.

— Уйми, — просят.

Тот придет, слово скажет... и все. И мужики начинают расходиться по семьям, недоумевая: и чего это, мол, с нами только что было?!

Семейные распри тоже гасил Парфен.

---

[1] Едома — болото, едомяне — жители болотистых мест.

Не было во всем околотке такого человека, который ни разу не заворачивал бы до Улыбы со своей тревогою. И хотя все понимали, что творит человек святое дело, однако находились и такие фармазоны, которые шептались:

— Улыбе-то, пользителю нашему... ему ж черти пособляют людями командывать.

— Я вот покой от яво принял, а теперича думаю: вдруг да на страшном суде за ето с меня спросится?!

Едомяне долгие годы не знали неурядиц и потому им было не страшно потерять Улыбу.

Но когда Парфен перед зазимками ушагал в тайгу и не вернулся, — народ запоохивал. Особенно бабы:

— О-е-ей! Кем же теперь мужики представятся перед нами, без Улыбы-то?

Один лишь местный целовальник Спиридон Кострома не раз и не два слетал в эту пору на второй ярус своего самого высокого в деревне дома, чтобы там, в богатой спаленке, накреститься до боли в плече.

Как-то, наломавши спину, выскочил он довольнехонький на улицу и вставился в бабьи пересуды своею отравой:

— Так ему и надо, чертову послушнику. Не будет носом небо пахать. А то ишь... И сам-то он — Улыба... дерьма глыба, и жена его — Заряна... состряпана спьяна.

— Это ж какая холера тебя выворачиват? — осекли его скандальную усладу бабка Хранцузка, прозванная так за картавый язык.— Али надежду лелеешь, что Парфенова молодайка от горя-беды за тебя спасаться завалится? Ага! Подвинься да не опрокинься...

— Да у яво, как только привез Улыба свою Заряну с уезду, в тот же день стегна взопрели,— поддержала Хранцузку Акулина Закудыка. — Вот и сикует бедный...

— Так его, горбатого, — не суйся в щель, —засмеялся проходящий мимо рыжеватый мужичок. — Суди сопя, да не забудь себя...

За такими откровениями и смехом не забывали едомяне и Создателю напоминать о том, что Парфен им шибко необходим. Потому и тянули шеи в сторону тайги.

Но прошла седьмица, миновала другая, и третья потонула в глубине времени. Люди притомились держаться навытяжке, ссутулились, нахохлились, да вдруг и обнаружили в себе, что всякая надежда потеряна.

Надежда потерялась, но сомнения среди народа все еще крутились:

— Уж больно Улыба с тайгою сроднен, чтобы она выдала его лихому случаю.

— И я так думаю — не может того быть...

— Куда там... не может, — упорствовал Кострома, — не может только лошадь... и та косится.

Упорствовал Спиридон и все реже получал отпор, поскольку правда его с каждым днем становилась неоспоримей.

Но торжества своего целовальник больше не выказывал. Он пристроился до общей печали и стал сочувствовать. С этим сочувствием привязался он и до Заряны. В дом, правда, к ней захаживать не насмеливался, а вот своим соседством начал пользоваться вовсю. Дворы-то ихние одним лишь заплотом разделялись. Услышит, что Заряна во двор вышла, оторванную от заплота досточку в сторону отведет, морду свою долгозубую просунет и начинает... сострадать — куда крепше угадать.

— Смиряйся, — говорит, — милая. Не перечь судьбе: она ить старатся на твою пользу. Глянь-ка сюда, какой я тебе перстенек припас... А то заходи ко мне — королевой уйдешь...

А в другой раз начинает:

— Гляди не гляди в окошечки, ходи не ходи за околицу, вой не вой дикой волчицею — не выкричать тебе радости, потому как я теперь — твоя радость. Без меня ты навек сирота...

Как-то осмелился Кострома через перекладину в заплоте ногу перекинуть. Но смиренная, казалось бы, Заряна тут же взяла вилы наперевес.

Спиридон лишь ухмыльнулся на это, однако ногу втянул на свою сторону.

Следующим днем башка его лошакова опять обрисовалась в заплоте.

— Будешь так убиваться — глазыньки твои плесенью подернутся, личико заметет прахом, в головушке запекётся о смерти думушка...

Ловок был Кострома языком работать. Этим бы заступом да хрен копать, а он с ним в душу полез. Заряне столь кроваво на сердце сделалось, что и на прочих едомян не осталось в ней силы глядеть приветливо. И получилось у нее так: идет ли по воду, зовут ли ее зачем, до нее ли кто пожалует — она ровно в щель закатилась: и тут, и нет ее. Что до Костромы, так для нее у заплота вроде воробей чирикает. Только Спиридон об себе воробьем не думал. Он даже командовать пытался;

— Чего ты мне копыта... подставляшь? Я чо? Волк какой? Резать тебя собрался?! Любить хочу. Ты от Парфена такой любви и не чуяла. Повернись. Ну!

Зря Кострома голос бугаем настраивал: больше воробья в Заряниных глазах он так и не вырос. Этой вот жалкой птахою Спиридон как-то поутру и глянул из окошка своего высокого дома. Глянул да чуть и вовсе не лишился голоса. Сквозь протертое от морозной накипи стекло разглядел он, как сто раз похороненный им Улыба по декабрьскому снегу выбрался из тайги на дорогу, постоял растерянным человеком и направился к деревне.

Он обогнул поскотину, протопал вдоль изумленных дворов, повернул до своей калитки, взошел на крыльцо...

Костроме не было видно, как он вошел в избу, сколь крепко обнял Заряну, сказавши ей:

— Ну-ну. Все, моя хорошая, все! Не реви. Ты, похоже, и так на сто лет вперед наревелась...

Не видел Кострома и того, как Улыба опустился в доме на лавку, как задумался-затуманился... Зато Спиридон видел, как собралась у Парфенова дома толпа, как люди стали натискиваться в ограду, набиваться в избу. Он и себе заторопился туда же. Покуда народ осторожничал, Спиридон уже сопел от нетерпения, сидя рядом с Улыбою.

Короткий день декабря перекатил ленивое солнце на закатную сторону неба, однако в Парфеновой избе никто и не подумал о домашних делах. Люди ждали.

Тишина стояла такая, вроде бы она была обречена век терпеть свое молчание. Она лишь каким-то змеиным шипением встречала тех, кто изнемог от уличного ожидания, кто вознадеялся втиснуться в избяную духоту. Затем она вновь каменела и только безнадежный голос Улыбы изредка признавался:

— Нет. Не могу. Не вспомню. Как отрезало...

Наконец Парфен поднял на людей глаза, спросил:

— Сколь времени я не был дома?

— Так ить сколь уж... — ответил за всех Селиван Кужельник, умный и ласковый старец. — Тебя идей-то еще перед Покровом[1] унесло. А ноне, считай, Никола[2] на носу. Ажно два месяца получается.

---

[1] Покров — 14 октября.
[2] Николай зимний — 19 декабря.

— Со днями, — уточнил Кострома.

Улыба за голову схватился.

— Неужели! Это какое ж со мною затмение было?!

— Ты, сынок, больно-то в нервы не кидайся, — посоветовал Кужельник. — Ить там, где страсть пирует, память на дворе ночует. Ты успокойся, поразмысли, а мы пождем, хотя и нам не легше твоего. Неясность эвон сколь всех нас в страхе за тебя держала. Ты взгляни на жену свою молодую: твоя пропажа во столь глубокое горе опустила ее, что и с твоею подмогою вряд ли ей скоро оттуда выбраться. Она путем и реветь-то разучилась. Должно же на такие перемены оправдание отыскаться. Так что, давай вспоминай...

— Легко сказать — вспоминай, — горько усмехнулся Парфен. — У меня в голове ровно кто разбойный прошелся. Только того и не разграбил, что было до затмения.

— Тогда выкладывай ту сказку, которую ты до «затмения» сочинил, — вставился опять Кострома, но Парфену было не до подковырок.

— А сказка со мной со-чи-ни-лась очень даже странная, — отметил он целовальников намек лишь тем, что нажал голосом на подсунутое им словцо, и стал выкладывать. — В день ухода иду я по тайге, ситуха моросит, снежок посыпает. Помню — зазнобило меня. А уж отмахал я — лешак скоком не измерит. Поворачивать поздно: чую — лихорадка пеленать меня начинает. Скорей бы, думаю, до Журавков[1] дойти — там землянуха. И вот, по времени, пора бы мне к месту прибиться — ан нет: не та вкруг меня тайга. Вроде, не на Журавки я попал, а на Гуслаевскую лягу.

— Вот те на — времена: у кумы да шули[2], — воскликнул Кострома. — Гуслаевска мочажина где?! — спросил он так, ровно до него никто о том не хотел знать, и уточнил: — До нее следует на полночь идти. А Журавкины болота? Они где?

— На полдень, — пискнула какая-то бабенка.

— Ты что нам мозжечок на сторону сдвигаешь? — пристал Спиридон до Улыбы. — Это как же надо вывернуться, чтобы через грядку да на вятку[3]?

---

[1] Журавка — ягодка клюква.

[2] Шуляки — коржи, но шули — яйца. В данной поговорке смысл двояк.

[3] Через грядку (хребет, спина) да на вятку (порода лошади), то есть — перекувыркнувшись через спину сесть на лошадь.

— Да черт его знает как,— пожал плечами тот.— Мне самому, когда бы кто рассказывал о таком вертовороте, не больно-то поверилось бы. Не могу взять в голову, какой дурниной отломал я этакий крюк?

— Ну ладно,— взялся Кострома строить из себя основного допросчика,— вышел ты на Гуслаевску лягу, и што дальше?

— Дальше? — улыбнулся Парфен на его пристрастие, но обратился до Кужельника, давая понять целовальнику, что тут имеются люди и постарше его.— Дальше меня совсем закрутило: Гуслаевская ляга оказалась вроде бы Воложным торфяником. Но и в том я скоро засомневался, потому как появилась осина, которой на Воложках не имеется. А во мне уже колотье такое поднялось, вроде бы я еловой хвоей набит. И слабость — за стволы хватаюсь. Этак, думаю, недолго и себя потерять. Под ногами хлюпает. Ежели завалиться в сырость — к утру не поднимешься. А хвою во мне точно кто поджег — стенки печет, в голову дымом отдает, искрами. Кажется, те искры по тайге рассыпаются, озаряют ее. И в той «заре» я окончательно разглядел, куда меня вынесло.

— Ну?! И куда? — завозился Кострома по лавке от нетерпения.

Парфен не дал ему протереть штаны, ответил:

— На Шептуновскую елань.

— Э-вон! — всплеснула руками Акулина Закудыка, а бабка Хранцузка тут же вспомнила:

— Шептуновска елань деда мово, царство ему небесное, держала как-то при себе цельну неделю. Апосля так же вот... впал он в думную тяжесть. И зачала его сухотка глодать. А когда помирать собрался, меня подманил — я ишо сопленышем была. Поделился со мною тайною. Нашаптал он мне тоды, будто по елане по Шептуновской белые черти прыгали...

— Иде ты видала белых чертей?! — оборвала ее Закудыка.

— Не я видала — дед. Прыгали те черти и шипели меж собою. А потом уселись в какую-то медну лохань и укатили в небо.

— Вольно тебе городить-то! — перекрестилась Закудыка.

А Хранцузка сказала:

— Может, и не черти. Может, лунатики навадились

ездить на Шептуны? Дед мой гадал, не в них ли опосля смерти душа человечья вселяется?

— Ты чо — по себе дура или с печи сдуло? — взъерошился Кострома. — Какие ишо лунатики? — так и разломил он бабкину весть, ровно сухую ветку. — Нечистая сила набегает на елань. У нее там заведено проводить шабаш, — заявил он столь убежденно, что Хранцузка хихикнула.

— И откеля в тебе, Лукьяныч, уверенность такая живет? Али ты якшаешься с теми с чертями?

Кострома скраснел, оскалил долгие зубы. Не то укусить хотел бабку? Но мужики заржали, и он прикрыл оскал. Лишь заходили желваки. А рассказ Парфена потек своим руслом.

— И вот... Гляжу я и вижу: под тем осинником сумерки рыскают, всякую пустельгу подхватывают — рассовывают до зари по гнездам. Стало понятным, что в скорой темноте из этой блуковины мне и вовсе не выбраться. Я и прикинул: не лучше ли будет на елани заночевать. А что? Прогалина высокая, сухая, и трава на ней, в отличку от таежной, совсем еще зеленая.

— Эк тебя! — крякнул рыжеватый мужичок, словно не Парфену, а ему предстояло перебыть на Шептунах осеннюю ночь.

А Улыба все говорил:

— На самой елани я не сдюжил устроиться. Насобирал по осиннику ворох листа и зарылся в него у оборка. Часок-другой передохну, загадал я себе, а там поднимусь, костерок разведу, поужинаю. Дождик к той поре притих. Так, разве что капля с ветки сорвется. Разок щелкнула, другой, третий... И ущелкало меня в небыль. Уснул я, ажно застонал. И вот мне видится, что сияет вкруг меня красное лето. Через дремоту соображаю: такая благодать приходит к спящему тогда, когда человек околевает. Однако ж уверенность была во мне, что нет, не от внезапной стужи разжарило меня, в самом деле испарно. Не отворяя глаз, пошарил я возле себя, а ворох мой — только не вспыхнет. Тут уж — не до хвори. Сел, гляжу: вся округа светом отдает. Голову поднял, а над еланью висит, как говорит Хранцузка, медная лохань. Только не лохань, а скорее громадный клещ! Потому как многоног он и многоглаз. И не просто висит, а лапами пошевеливает, а лучами глаз по елани шныряет. Да еще жаром пышит, урчит... Мне бы подняться с вороха-то, бежать бы, а я сижу — рот раззявил. Какого

лешего понять в той вражине вознамерился? Она же, на мой интерес, как чихнет! Подняло меня над землей да спиной о валежину — хрясь! Вот на том и память моя заглохла.

— Хребет перешибло?! — тихо спросил рыжеватый мужичок, боясь того, что его слова покажутся глупыми.

— Ты чо, брат, опупел? — вставился Кострома. — Кабы Парфену расхватило становую жилу, он бы сщас сидел, толковал бы тут с нами?

— Бывает... — собрался рыжий оправдаться, но его опять перебил целовальник.

— У тебя и то бывает, што и кобыла порхает...

— Цыц, вы, порхуны! — прицыкнул на обоих почтенный Селиван и повернулся до Улыбы.

— Ну? А дальше?

— Дальше? — переспросил Парфен и, по одному лишь ему различимым приметам, приступил скорее догадываться, нежели вспоминать.— Дальше, кажется... я и не просыпался на елани, а может, и вовсе на нее не выходил... Подозреваю, что вся эта небыль набредилась мне...

— Ни хрена себе бред — мужик на кол надет, — воскликнул целовальник.— Вот это побасенка... с поросенка! Как же так, Парфен Нефедыч? Вот ты вошел в тайгу, вот занемог, вот завалился — лежишь, бредишь. Неделю бредишь, другу, месяц, два... и все это чуть ли не у людей под окнами. Но никто на тебя не натыкатся. И вот ты очухался, поднялся, как ни в чем не бывало воротился в деревню. Теперь сидишь перед нами, всяку галиматью собирашь — ищешь из выводка выродка, кто бы поверил в твою брехню...

Тут надо сказать, что едомяне старались касаться Спиридона Кострому только тою нуждой, которая доводила их до Ивана Елкина [1]. И все, и ничем больше. Нет, они его не боялись и уважением не тяготились — просто не хотелось наживать лишнего греха, поскольку в каждом человеке видел он только дерьмо и страсть как любил покопаться в нем. И еще... Хотя морда Костромы была занавешена бородой, а все просвечивало в ней что-то такое, от чего пьяным мужичкам хотелось завалить целовальника и пощупать. Пока же Спиридон оставался непроверенным, соглашаться с его мнением никто не торопился.

---

[1] **Иван Елкин — кабак, питейная.**

Но на этот раз кто-то даже пособил ему:

— Парфен Нефедыч, и в самом деле... чо ты наводишь тень на плетень?

А кто-то и поддержал:

— Ты давай-ка, обскажи все толком. Чо там тебе ишо набредилось? Может, золота шматок?

— А может, нозьма ломоток?

— Ха-ха-ха!

Но тот рыжий мужик сказал громко:

— Погоди ржать! Дай человеку оправдаться. А ты, Парфен, не суди убогих, — оборотился он до Улыбы. — Им, равно с покойником, один Бог судья.

— Ладно баешь, Яснотка, — одобрил слова его почтенный Кужельник. — Тут весельем и не пахнет. Тут соображать надо, что к чему. Ты и сам понимаешь, — сказал он Парфену, — в твоем случае никакой богатырь живым бы не остался.

— Та-ак, — сделал вывод Кострома. — Кто-то в тайге тобою попользовался. Признайся, что побывал ты на том свете. А теперь явился выходцем. Расскажи: кто тебя послал, зачем? Может, сам сатана снарядил тебя смущать нас? Он тебя и настроил городить тут всяку хреновину...

— Вот вам крест, — поднялся Парфен и осенил себя святым знамением, чего выходец с того света сотворить бы не сумел. — Ежели я в чем и провинился, — признался он, — то лишь такая на мне тягота: изо всего забытого помню, что кто-то шибко сладко меня кормил. И еще... просили петь... А когда пел, спину немного саднило...

— А ну-ка, сынок, — повелел ему Селиван, — покажи спину.

— С большой охотою.

Смахнул Парфен с плеча душегрейку, рубаху задрал — нате, любуйтесь.

Люди глянули — ба-а! Спинища повдоль таким ли рубцом продернута, что никакого вечера не хватит удивляться.

— Да как же она могла у тебя не болеть?!

— Да нешто с тебя шкуру снимали?

— Да и кто ж это столь умело заштопал тебя?

Селиван осторожными перстами прощупал рубец, простучал позвонки, спросил — не больно?

— Нет, — ответил Парфен.

— А ить похоже, что гряда твоя становая в местах трех порушена.

— Это чо ж тогда получается... — опять закрутился Кострома. — Кто же, кроме нечистого, сумел такое чудо изладить?

— Лунатики, — ответил ему Яснотка. — Разве они глупей сатаны, ежели по небу умеют ездить?

— Ангелы на клещах не ездют,— заспорил Спиридон. — Черти тут...

— Али ты у них в ямщиках? — спросил Яснотка и засмеялся. — Гляди — узнаем: одним духом со второго яруса-то сдернем.

— Да-а, загадка, — протянул Кужельник и опять спросил: — Как ты ушел... от лекарей-то от своих?

— Никак не уходил, — признался Улыба. — У околицы сегодня очухался. Сразу-то мне показалось, что я и часу не пролежал. А когда увидел, что по тайге зима гуляет, подивился не меньше вашего.

— И чо ж, и никаких следов не заметил вокруг себя на месте воскрешения?

— Кабы заметил, сказал бы.

— Ну так и скажи, — опять подсунулся Кострома. — Выклади, за каку услугу хвостаты лекаря тебя с того света отпустили?

Его цепления Парфен больше перетерпеть не смог, сказал, одернувши рубаху:

— Я те сщас... отпущу услугу! Отыскался мне... духовник — через трубу проник. Ступай, пса своего исповедуй. Спроси, пошто он у тебя калачи лопает, когда многие ребятишки от лебеды пухнут. Али, по твоим понятиям, ты тем самым Создателю услугу творишь?

Да. Стыдил козюлю[1] Савва, когда она его кусала...

Сумел-таки Спиридон напустить яду в деревенский покой: зашуршал травленый народ. Каждый посчитал полезным сунуться до Улыбы со своей охоронкою.

— Ой, Парфен, Парфен... смотри со всех окон: кабы на твое на чудо не позарилось бы худо...

— Кабы черти деньгой с тебя спросили, холера б с ними. Мы бы за тебя всею деревней выкуп наладили. А ежели поганые пожелают получить твоею душой?!

— Ить оне всю твою жисть пустят насмарку.

— Ишо Заряною могут оне взять...

Это уж люди потом упреждали Улыбу.

А тогда, зимою, Кужельник первым поднялся с лавки. Поднялся и повелел всем остальным:

---

[1] **Козюля** — гадюка.

— Довольно расспросов. Пора бы увериться, что Парфен Нефедыч тот самый человек, которому даже во сне одна только правда видится. Ить он мог бы нам наврать, что за это время в Москве побывал, и мы бы ему поверили...

Потянулись тогда едомяне из хаты, один только Спиридон придержался у порога. Знать, душонка его, злонравием изъеденная, не могла уже не крошиться.

— Ты это... Парфен Нефедыч, — сказал он с подговорчивостью в голосе, — как только... чего ежели забрезжит сомнительного... не мучайся долго — меня кликай... прямо через заплот — я на карауле буду. Я это... бабкой своей ишо в зыбке заговорен. Вот у меня и ладанка, — вынул он из-за пазухи вкатанный в гутаперку клок седых волос, прицепленный на крепкий гайтан. — Она у меня каку хошь заваруху бесовску развеет...

Чем мог ответить Костроме Улыба? Гнать взашей? Так тот и сам догадался кинуть ладанку за рубаху и выскочить на улицу.

Спиридон Кострома за долгих два месяца, знать, основательно создал в себе Улыбу мертвецом. Столько, знать, силы потратил он на это создание, что теперь не хватало ее в целовальнике сотворить обратное.

Может, и стоило Парфену догнать в обсказанный вечер целовальника во дворе и снабдить его сторонней моготой? Хотя бы для того, чтобы еще в зародыше отсечь, ради самого же Костромы, пуповину того события, которое произошло через лето — осенью.

А может, и правильно, что не догнал. Однако тем же вечером Улыба сказал Заряне:

— Не поглянулся мне допрос. Не лучше ль было бы подохнуть на Шептуновской елани...

— Ну вот тебе, — отвечала Заряна, — запели гуды на чужие лады... Радоваться надо, а он носом подхватывает. Господь не выдаст, свинья не съест...

Она, Заряна Улыбина, насчет всякой напасти понимала так, что и Господь в нас, и сатана в нас; не выпускай-де из себя ни того, ни другого и проживешь на свете человеком.

Недавний Парфен соглашался с нею, а вот теперешний...

Дело в том, что теперешний Улыба ощутил в себе такую необычность: как бы взамен утерянной памяти об-

рел он в тайге особое чутье. Душу его ровно бы кто собакой натер. Ежели до этого случая он только покоил людей, то теперь... стала происходить с Улыбою еще одна странность: идет он, для примера, по улице, видит — мужичок-бедолага до кого-то торопится...

— Степан, — окликнет его Парфен, — не до Дементия ли Лыкова бежишь?

— До Дементия, — остановится тот.

— Не намерен ли ты в извоз упряжную просить?

— Намерен. А чаво?

— Станет тебе Дементий Буланку давать, откажись.

— Пошто?

— Дорогою ляжет лошадка.

— Спасибочки. Не возьму.

И не возьмет.

А Буланка и в самом деле укладется. Только на собственном дворе. Для Дементия Лыкова такое горе не больно велико — у него целый табун гривами полощет. А каково было б Степану?

Как-то, перед майской грозою, почуял Парфен беспокойство насчет избы Котенковых. Побежал. Хозяин на пахоту собрался. И жену с собой снарядил. Малых ребят в хате стоит запирает.

— Захар, — шумит ему Парфен, — ты бы лучше дома остался. Сердце мое вещует...

Остался Захар. А часом гвозданула молния прямо в кровлю, резной петух на коньке мигом распустил огненные крылья. Так Захар Котенкин успел того петуха с крыши согнать. А то чо было бы — подумать страшно.

Осенью большая ярмарка наметилась в уезде. Накануне Кострома прибежал до Парфена. Понадобилось ему подлизаться до Улыбы, чтобы узнать: выдержат ли колеса, ежели ему вздумается на телегу не одну, а две сорокаведерные бочки с хмельной брагой водрузить?

Улыба ответил Спиридону:

— Колеса выдержат, не лопнули б бочки...

— Чо ты меня пугаешь? — захохотал Кострома. — Али на выручку мою завидки берут? У меня ж не бочки — крепости турецкие!

Укатил Кострома до ярмарки. Но не успел он версты три-четыре до торгов докатить — подвернулся ему на дороге этакий Добрыня-богатырь.

— Продай битюга[1], — привязался он до Спиридона. — Сколь хошь дам.

[1] Битюг — конь-тяжеловоз.

Ломовой жеребец Костромы не мог не поглянуться тому детинушке, поскольку были они друг дружке под стать: и в кость, и в масть сумели совпасть.

Целовальник и не думывал лишиться своего красавца, но торги затеял. Да такие горячие, что распалил Добрыню до белого каления. А напоследок и предлагает ему:

— Ежели, — говорит, — с этого места до торговых рядов, взамен мово ломовичка, телегу с поклажей упрешь, тогда... будь по-твоему.

Ну чо? Взяли, выпрягли жеребца; детина оглобли в руки, башку в хомут и попер. Да так лихо попер, что Костроме пришлось впробегушки пуститься. Хорошо, что при нем имелся работник — было кому битюга доглядеть. Одному бы Спиридону — хоть разорвись.

Ну вот. Скачет Кострома по одну сторону телеги, а по другую росточь идет. Не больно глубок буерак[1], но крут. Целовальник верещит:

— Хватит! Будет, чертушка трисильный. Перекинешь телегу-то... Пошутил я...

— Каки таки шутки? — отвечает Добрыня. — Никаких шуток не признаю. Уговор дороже денег.

— Не было уговора, — визжит Кострома. — Не было! Одна только потеха была.

— Вон как!? Потеха? Ну щас и я распотешусь.

Богатырь тот башку из хомута долой, а сам оглоблями — круть! Хваленые бочки и взвеселились. И пошли плясать по овражному уклону.

Брага-хмель, от пляски разгулялась в них: когда одна сороковка нагнала другую да, озоруя, врезала той зашлепину, обе охнули от восторга и прыснули радужной пеною выше дороги.

Мужики, которым повезло оказаться близко, коновки да ведра с возов похватали и... кубарем в разлог.

И не поверите! Не успела брага-милага скатиться по уклону пенистым ручьем, а кубарики те уже и посудины подставили.

Вот проворы!

И ведь набрали. Потом всю ярмарку перекликались да хохотали.

Им-то, конешно... Чего им не веселиться? А каково было Костроме? Спасибо еще, что Добрыня телегу в овраг не завалил.

---

[1] **Буерак, росточь** — овраг.

Покуда лавошник на пустой телеге трясся обратной дорогою, все хватался то за голову, то за сердце: скулил да жаловался работнику своему на людское зло:

— Видал бы ты, как он лыбился при этом, — говорил Спиридон, поглядывая на спину батрака, который правил жеребцом и прятал в красивой бороде точно такую же улыбку.

Этот Борода, моготой смахивающий на Улыбу, не так давно был нанят Костромой. А до него у Спиридона двое парней батрачили. Так они вдвоем не успевали делать столько, сколько делал он один.

Перед деревней Кострома, от жалости к себе, расскулился настолько, что стал обещаться:

— Щас приедем... спалю к чертовой матери Улыбу. Ей-бо спалю!

— Не божись, хозяин, — пробубнил на его клятву Борода.— Могёт новая потеха случиться...

— Могёт, могёт...— не захотел его слушать Спиридон.— Могёт, кто волокёт... А кто ушами хлопат, тот жданки лопат... Сидишь, каркаешь! Нашелся мне... ишо предсказатель. Ступай, пособляй Улыбе... колдовать.

Одним словом, намолол Ерошка — не упечет и сношка.

Парфенова дома Кострома, понятно, не спалил. Побоялся, что пожар может перекинуться и на его собственное подворье.

Замыслил целовальник иную для соседа пакость.

До случая с бочками он все юлил перед Улыбой, а тут дал понять, что и знать его не знает и замечать не хочет. Зато опять стал, где только можно, подкарауливать Заряну. Стал подговаривать ее молодость побеспокоиться о муже всерьез.

— Не то нечистая сила навалится на него внезапно и уволокет на Шептуновскую еланы!

Дело дошло до того, что в глазах Заряны он на семерых Спиридонов расспиридонился: и в заплоте — он, и за пряслом — он, и в кусточке, и в лужочке, и на болотной кочке — кругом целовальник.

А тут как-то признался Парфен Заряне:

— Понимаешь ли, тянет меня на Шептуновскую елань. Не могу с собою справиться. Хочу знать, кто меня воскресил, за какие заслуги сошла на меня такая благодать — грядущее видеть, невзгоды чужие предугадывать?

— Может, с тобою, — гадает ответно Заряна, — такой перерод случился не от кого-то? Может, от удара проснулся в тебе ясновидец. Ведь ты и прежде не числился в бездарях.

— Хорошо. Ладно. А у кого я столько времени пробыл?

— В леснухе, может, какой забытье перемогал...

— А сила, которая шваркнула меня о лесину?

— Может, и не шваркала. Может, захворавши, ты в какую-нибудь водомоину запрокинулся. Там и спину о камень сбороздил и головой до беспамятства долбанулся.

— А рубаха без кровинки?

— Сам, не помня, застирал.

— Больно у тебя все просто объясняется.

— Зато ты... и себе разумение запутал и людям... навязал узелочков...

— Допустим: не было со мной на елани никакого чуда. Почему ж ты отговариваешь меня сходить на нее, чтобы проверить всякую правду?

— Боюсь новых пересудов.

Разговор случился перед самой ночью, а во сне Заряна видела, как гарцевала она, оседлавши сеношный порог, и с хохотом выкрикивала на всю деревню:

— Черти мово Парфена залюбили. Черти!

Когда же утром отворила она глаза, а мужа рядом нету, тогда Заряна, не мешкая, стреканула задворками до Синего разлога, по косогорью поднялась до выпаса и через выбитую скотом луговину пустилась в тайгу — догонять его.

А по сибирскому раздолью, в березовой золотой рубахе, в бархатном чекмене[1] зеленой хвои, в рябиновых кудрях гулял хмельной сентябрь. Недолгое бабье лето дышало на него жаром последней любви. Горячие их головы туманились предчувствием скорой разлуки. Заряне же казалось, что Земля готовится сотворить небывалый разворот, и над таежным краем опять воссияет малиново-смородинный июль, пчела полетит брать медовую взятку, разразится на лугах покос и...

О, этот лукавый мужичок Сентябрь! С ним надо держать ухо востро! У него огонь в голове, стужа в сердце.

Заряна ж доверилась оранжевому теплу — и унырнула со двора в чем была, вроде бы ей в миткалевом сара-

---

[1] Чекмень, сибирка — кафтан.

фане да линялой голубой косынке предстояло пробежаться только до поскотины.

Примерную дорогу до Шептуновской елани она себе представляла. Потому и понадеялась нагнать в тайге Парфена, но, сколько она ни подхлестывала проворные ноги, их резвостью Парфен не догонялся. А солнце, затянутое осенней дымкой, очень скоро взялось коситься на ее выгоревшую косынку совсем с другой стороны неба.

К этой поре Заряна и оголодала, и перетрусила, да только вдруг услыхала она хруст валежника над чьей-то тяжелой ногой. Затем различила впереди спину человека. А скоро уловила и знакомый напев. Шагающий тайгою негромко выводил родным для нее голосом:

Велико Байкал-море восточное,
широка Кызыл-степь полуденная,
перевалит Урал-хребет каменный,
а Сибирь-тайге и предела нет...

Не станем говорить о том, когда вернулся Парфен из соседней деревни, куда бегал он по срочному делу, пожалевши утром разбудить молодую жену да сказаться ей об этом. Не станем и о том говорить, когда хватился Парфен Заряны.

Станем рассказывать, как Заряна, узнавши голос, вздохнула радостно и сказала себе — слава Богу!

Окликать Парфена она не стала, решила все страхи претерпеть, а истину добыть. Хорошую истину. Чтобы воротиться в деревню и при всем народе сказать осточертевшему Костроме: нету на Шептуновской елани чертей. И пущай он отвяжется.

С тем решением и замелькала Заряна по тайге следом за голосом...

Вот она, окруженная осинником, таежная прогалина, которая, должно быть, и зовется Шептуновской еланью. Тайгу уже обуяли сумерки, а прогалина видна оттого, что середка ее светится. И такое свет тот представление дает, ровно бы под травянистой поляною прячется земляника. Из земляники лаз отворен, чтобы кому-то виднее было отыскать подземный приют. Похоже, что там кто-то кого-то поджидает. Не Парфена ли?

Да. Но где же он?

Хватилась Заряна, а никого кругом нету.

Притихла она под кустом. Но, сколь ни ждала, никто на прогалину не вышел, и никто из-под земли не показался.

Затрепетала: ежели Парфеново дело чисто, какая причина столь ему сторожиться?

Ну, как ни трепетала, а намотанный ею за день этакий клубок таежного пути взялся потихоньку слабеть да опутывать ее усталостью. Телесная тяжесть добралась до памяти, сгустилась в ней патокою дремы, затянула глаза липучими веками. Сон изготовился развернуть перед нею ковер небытия...

И развернул бы. Только вдруг позадь дремотной Заряны затрещал сушняк, завизжала ночь кабаньим выводком, следом реванул медведь, да так, словно его шпаранул острой пикою дурной лесовик.

Заряна медлила ровно столько, сколь хватило времени пронизать ее страхом от маковки до пят. Пятки ударили в землю и... только линялая ее косынка осталась на прежнем месте. Знать, цепкий кусток хотел придержать ее прыть, чтоб не расшибиться молодой в прыжке.

Спасибо — не расшиблась. Через миг ее пуганые глаза были уже озарены тем светом, что исходил из-под земли. Они опасливо ждали, кабы не высыпал звериный хоровод на прогалину.

Бог миловал — пронесло стороной. Скоро переполох рассыпался по тайге, а темнота поглотила всякие отзвуки ночного сочинения.

Когда Заряна отдышалась, увидела перед собой нору, что вела в подземелье. Нора эта вроде как служила узким горлышком крутобокому кувшину, наполненному чистым светом. Нутро кувшина было устлано чем-то белым, не то прикатанным облаком, не то мягкой кошмой, ворсинки которой отсвечивали лунным светом.

Если б Заряна могла заглянуть поглубже, она бы, кажется, увидела в подземелье хозяйку ночного неба, тем более, что над тайгою взошли одни лишь какие-то мокрые звезды. Луна ж, верно, от сырости, забралась в свое земное логово и отдыхает, покуда не наступила ее пора красоваться над околдованным тишиною миром.

То, что не было в подземелье ступенек, Заряну не удивило: для чего луне лесенка, когда у нее и ног-то нету. Поразило ее другое: как такая толстая барыня протискивается во столь узкий лазок?

Но скоро она смекнула, что из белого уюта, знать, имеется другой выход. Может, где ворота распахиваются и Луна выплывает в небо на том самом клеще, о котором говорил Парфен. Вот и получается тогда, что чертей тут нету, а, скорее всего, заодно с Луной прилетают

на елань те самые лунатики, в которых, по словам Хранцузки, вселяются человечьи души, ждущие своей очереди определиться в новом теле. Говорят еще, что ночами они свешивают с Луны ножки и зорко всматриваются в ночную жизнь Земли — выслеживают разных злодеев, а поутру Господь обо всем от них узнает. Когда ж Луна отдыхает, они и в самом деле могут прилетать с нею на елань...

На всякий случай — вдруг кто ненужный узрит ее возле света — Заряна оттеснилась в темноту, где слилась с ночью, будто увязла в саже. Там она пошеборшила больно сочной для осенней поры травою и затихла...

Голова ее заново притуманилась дремотой, в сонном представлении поплыли смутные чудеса: вот бы из лесу опять послышалось родное пение. Только на опушке показался никакой не Парфен. А выкатил из чащи на елань этакий косматенький многолапый муравей величиной с кота.

Мордахой тот муравей и в самом деле пошибал на Котофея Иваныча. Разве что усы были куда как длиннее кошачьих и расходились на стороны этакими лучами. Да и сам он весь теплился огромным белым светляком.

Котофей катил на задних лапах, передними выкручивая так, словно пытался сотворить некий символ, но его никак не устраивал узор. Потому он опять и опять распускал лапки, чтобы тут же сплести новое изображение. При этом он смешно сердился, фыркал в усы и... похихикивал. Заряне показалось, что неудачу свою творит он умышленно: желает распотешить ее. Она и в самом деле почуяла безбоязненность, даже выпустила в траву смешинку. Тут же, правда, опомнилась, но Котофею, знать, хватило и такой ее смелости, чтобы без дальнейших выкрутасов взять и запеть родным для Заряны голосом:

Велико Байкал-море восточное,
широка Кызыл-степь полуденная...

Пел Котофей Иваныч, а глаза его сияли зеленоватым озорством. И столь они были ясными — звезды небесные и только!

«Скажите на милость — каково умел да глазаст! — думала Заряна.— Хитер! При его уме почему бы и не распознать мудреную науку врачевания? Почему б и не поставить на ноги расшибленного Парфена?»

Покудесил Котофей Иваныч, попел — промялся. Уст-

роился недалече и давай траву уминать. Быстрыми лапками стебли срывает и в рот. Оголодавшую Заряну завидки взяли: хорошо лунатикам живется — еда всегда под рукой. Людям бы так.

Глядит она, слюнки глотает. А Котофей наворачивает — за ушами трещит, лапы так и мелькают. Сам же озорно в сторону Заряны поглядывает, как бы приглашает харча своего отведать.

Сорвала Заряна стебелек, зажевала, подивилась: вкусно-то как! Подивилась, села в открытую и тоже давай уписывать.

Закладывает за обе щеки, а трава сочная, сладкая: и не лапша на молоке, и не спелая с куста смородина, и не ядрышко ореха таежного — все, вроде, вместе.

Отродясь не пробовала такой еды.

Сидит Заряна, уплетает за милую душу, сама думает: «Лунатики не сегодня обжили елань и не завтра намерены покинуть ее. Вон какое поле возделано, корму сколь насеяно! Не о нем ли Парфен упоминал, когда держал ответ перед селянами?»

А в деревне переполох: Заряна пропала.

Древние бабки цепляются друг за дружку (потому как доброму народу не до них), верещат треснутыми голосами:

— Второ пришествие ли чо ль наступат?

— Кто? Понкрат? Етот могет. У яво кровя — кипяток.

Ребятня большакам под руку суется, затрещины хватают.

А что про Улыбу сказать, так проще народ послушать.

— До пены избегался бедный.

— Все облески обшарил, буераки излазил.

— В тайгу молодайка запала!

— Бог милостив, найдется. Зверь ноне сытехонек — не тронет.

Никому не хотелось до сознания допустить, что пропажа Заряны хотя бы тонкой паутиною связана с Шептуновской еланью.

Пытался и Парфен отогнать от себя большой страх. Но близилась ночь, а с нею и вывод: надо идти в дальние поиски.

Покуда накапливалась в Улыбе такая необходимость, люди на месте не стояли. Они сходились, расходились, делали повседневные дела. Несколько мужичков нашли

причину заглянуть до Костромы, который держал питейный погребок под вторым ярусом высоких своих хором. Так вот перед теми мужичками Спиридон и высказался:

— Это как же получается? О бочках о чужих Парфен сумел вперед угадать, а о супружнице так-таки ничего и не знат? Да в жизнь тому не поверю.

— А чему поверишь? — спросил кто-то.

— Парфен Заряну сам... нечистому запродал, а теперь Ваньку валяет...

— Что ты треплешь языком, как собака хвостом?

— Вытянись у меня хвост,— взъерепенился Кострома,— ежели ее не унесло на Шептуновскую елань.

И хотя подпитое собрание в глубине души перекивнулось с ним согласием, однако его запевку никто не подхватил: кашель всякий и тот затих. И вдруг, на девятый [1] Спиридонов глас, непонятно кто посулил глухо, но разборчиво:

— Будет тебе хвост.

Ровно кипятком окатило Кострому: весь скраснел, испариной покрылся, каждого из мужиков оглядел: кто, мол, тут смелый такой?! Но высмотрел лишь то, что у протрезвевших от страха мужиков рожи лютым морозом сковало. Тогда Спиридон и себе краску с лица потерял: побелел настолько, что мужики пересилили свою стужу, нащупали шапки и гуськом потянулись до порога.

Последний «гусек» не перенес напиравшего со спины страха, поторопился и обступил впереди идущему запятку до вскрика. Тогда передние смекнули, что задних уже хватают и... закрутился по улице осенний лист, подхваченный вихрем улепетывающих ног.

Остался Кострома один. До стеночки прижался; убежать не может — дверь полая, а пройти закрыть — силы нету.

В это время взяло что-то и зашеборшало над перекрытием, там, где на втором ярусе располагалась целовальникова контора. Понесло сквозняком — свечи погасли. В темноте увидал Кострома, как просочился сквозь перекрытие клубок света, распустил кошачьи усы, зелеными зрачками нашел его у стены и повторил посулу — насчет собачьего хвоста. Спиридон и рявкни на весь особняк боевой трубою полный сбор. А кому было собираться, если жил он бирюком? Убрать в доме приходила на час сторонняя хозяйка. А новый работник? Так тот

[1] Девятый глас, или драть козла,— пение невпопад.

был на дворе. Покуда услыхал крик да сообразил, что это хозяин блажит, да пока дотопал до питейки — Кострома уже валялся на полу тряпкою, хоть ноги обтирай.

Очухался целовальник только перед рассветом. Первым делом в контору поднялся — глянуть, что там шуршало? И увидел он в углу прожженную дыру, с кошачью голову. Была она просажена столь раскаленной штуковиной, что ее края и закоптиться не успели. А еще стекло в одном из окон оказалось просаженным овальной отдушиной, вроде как просквозило его шаровой молнией.

— Пущай шаровая...— взялся рассуждать Кострома вслух.— А усищи? А глазищи?! Нешто привиделись?

Когда же на зов его сердитый в контору поднялся Борода, Спиридон задал ему такой вопрос:

— Кто это вечор посулился мне собачий хвост привесить?

— Ды Бог яво знат,— ответил работник, уже наслышанный о вчерашнем голосе.

— Болтают, вижу, по деревне-то? Кто болтает?

— Ды Бог яво ведат...

— Знат, ведат...— разорался вдруг Кострома и сам невольно подстроился к дремучему языку работника.— Ни хрена ты не знашь. За каким тоды лядом я тя при собе даржу?

— Не даржи,— ответил улыбчивый Борода и спросил: — Расчетамся, ли чо ли?

Кострома захлопнул рот, набычился и дальнейшее стал обдумывать про себя. Додумался он до того, что нет: не шаровая молния навертела в его доме дырок, а побывал в нем, похоже, подговоренный Улыбою шептуновский сатаненок. Зеленые глаза, усы, умение прожигать продушины, загробный голос — все это пристраивало его догадки близко к правде.

Думается, что любой человек в таком случае постарался бы откреститься от лукавого. Не таким оказался Спиридон. Он умудрился сделать для себя высокородное заключение, что-де сам сатана кинул ему вызов! И предстоит ему теперь тяжкое сражение. Не зря бабка наговаривала ему ладанку — чуяла дело вперед. И потому он должен выйти изо всей этой катавасии победителем! Когда же он вызволит Заряну, черти заберут самого Парфена. И придется красавице понять, кем она, глупая, брезговала...

— Ничего,— успокаивал себя Кострома.— Где победа тяже, там истома слаже.

Сам ли Спиридон себя переплутовал, черт ли его попутал — теперь у кого спросишь? Но заключение такое в нем состоялось. Тем временем он увидел в просаженное окно, что у Парфенова двора собрались мужики — Улыбы среди них не было.

«Ускакал,— встревожился Кострома.— И подсобников дожидаться не стал. Зачем они ему, коли побежал он заметать следы».

Мужики за окном определились, видно, куда кому на поиски идти, и рассыпались на все стороны.

Кострома же, не найдя во дворе работника, махнул на заботы рукой и заторопился до Шептуновской елани.

Вот бежит Спиридон, скачет — ему бы давно обогнать мужиков, но нет никого впереди. Это не совсем подходяще оказалось для Костромы: вдруг подмога понадобится, кого позовешь? Стал уж он, было, скакать на одном месте, да тут по ходу мелькнула чья-то спина и услыхалась им Парфенова песня, в которой поется о беспредельной сибирской тайге.

— Ты смотри какой гад, а! — зашептал целовальник.— Гуляет. Видимость создает, будто ищет жену. Певец нашелся...

Однако певец не гулял. Хотя и неспешно, а правил он в сторону елани.

— Ладно,— смекнул себе Спиридон.— И я торопиться не стану. Быват и медленней, но ходче...

И вот виляет Кострома по тайге следом за Улыбою, до каждой лесины притыкается, всяким кустиком прикрывается — нету, дескать, меня тут. А сам все бабкину ладанку теребит — вдруг да нечистая сила появится!

Трусит, значит.

Надо же! За каким тогда лядом этот заяц копытом бил?!

Боится Кострома, но не отстает. Шепчет чего-то: готовит, видать, дух для битвы, язык для молитвы. А прибыл на место, как несватаная невеста — жениха-то нет. За лесину Парфен зашел и как растаял. И Заряны нет. Никого нет. Только трава не по времени сочная поляну укрыла.

Зачем перся сюда Спиридон, и сам не знает. Оно ладно, когда б Шептуны располагались за Парфеновой баней. Тогда бы он чихнул на всю эту затею, прибежал до-

мой и сел обедать. А тут? Солнце уже успело в заполдень скатиться. А ведь на дворе не июнь. Не успеешь вернуть и половины пройденного пути — ночь в тайге поймает; сграбастает черными ручищами, до уха припадет и такого страха нашепчет, что до конца дней своих от всякой тени вздрагивать будешь. Черт бы с ним, со спасением Заряны!

А солнце уже скатилось на колени к закату, зарделось от смущения и сползло на землю. Целовальника ж все держала в кустах нерешительность, словно неразборчивая бабенка, суля ему Бог весь какие выгоды. Ну, а когда солнце разметнуло по небу лучистые волосы и вместе с ними кануло в пучину времени, Спиридону волей-неволей пришлось загадать — перебыть у Шептунов до рассвета.

Скоро осенница хмарью затянула небеса, смурь напустила на целовальниково тело таких ли сирот[1], что не мурашки — тараканы забегали по его спине. Вот когда он понял, что не дома сидит, не денежки считает. Застонал даже, зубами заскрипел.

Тут и захихикала над ним близкая кикимора, лесовик в ладоши захлопал, засвистал; ухнул над головою филин, отчего Спиридон маленько сам в пугача не оборотился: выше куста взлетел и вдруг... различил на нем знакомую косынку.

Что-то екнуло у него в животе, вспенилось и взвеселилось, наполнило Кострому уверенностью, что этой самой косынкою и привяжет он до себя увертливое сердце Заряны. Однако ж улику с собою он не забрал, чтобы, при случае, не сказали — спер, мол, да в кармане носил. А, веселясь, спрятал ее под тем же кустиком и, окрыленный надеждою, почти смело побежал домой.

Уж какая дурная отыскалась на небе звезда, что и сквозь осеннюю непогодь высветила перед целовальником обратную дорогу? И хотя она не отказала себе в удовольствии поводить Спиридона по ночной тайге, однако же, упадая в утреннюю зарю, сунула-таки его долгим носом именно в ту тропу, которая выходила на деревню.

Выбрался Кострома из утреннего леса, с гордостью глянул на свой высокий дом, обогнул поскотину и на спесивых ногах направился вдоль улицы.

---

[1] **Напустить на тело сирот** — нагнать озноб страха.

Он еще издали узрел, что у Улыбина двора ликует праздник. Бабка Хранцузка, слетавшая за чем-то домой, проносясь мимо Спиридона, шумнула ему, что Парфен с мужиками наткнулся на Заряну у Гуслаевской ляги. Молодайка, видать, уже успела обсказать селянам, кто выучил ее следить за мужем. Оттого-то в народе, при появлении Костромы, и затихла всякая радость.

Люди ждали, когда целовальник пройдет стороной, чтобы не грешить с ним в такой момент, но тот попер прямиком на толпу. Остановившись против Заряны, спросил усмешливо:

— А скажи-ка, душа-красавица, пошто гологоловой стоишь? Куда это запропастилась твоя линялая косыночка? Не оставила ли ты ее на Шептуновской елани?

Будь Заряна побойчей, она бы, может, придумала чего-нибудь хитрого. Но совестливая, она только скраснела вся, а бабы зароптали, было, на Кострому. Однако тот прикрикнул:

— Чего расшипелись?! Не мертвого достаю, не живого закапываю... Да вы у нее самой спросите, как они с Парфеном этой ночью на Шептунах чертей ублажали...

— Не было его со мной,— вскрикнула Заряна да и поняла, что поймалась на слове. Побледнела, попятилась, домой кинулась.

Улыба же вперед выступил.

— Спиридон Лукьяныч,— взмолился он,— подумай, то ли ты говоришь? Ежели Заряна отыскалась на Гуслае, могла ли она быть на Шептунах? Положим, добралась она позавчера до елани. Но ведь от елани до ляги тридцать верст! И все мочажинами да кочкарником. Мужику доброму трое суток не хватит пробиться, чего же ты с молодой хочешь взять?

— Не с нее, с тебя я хочу взять.

— Да не мог же я там быть. Не мог.

— Мог! — так и выстрельнул Кострома.— Кто как не ты вечор на елани распевал — велико Байкал-море восточное?

— Убей Бог, не он,— заверил из толпы Яснотка.— Мы ж его еще днем на Воложках встренули, и не расходились боле.

— Ясно, ясно, — остановил его Спиридон.— Не я ли уверял, что Парфен с чертями связан. Вот он нам всем глаза и отвел. Так мало того, что сам он продался, еще и жену заложил. Сбегай на елань, убедись: косынка ее под кустиком лежит...

— Ну, хорошо... пущай ты прав,— устало согласился Парфен.— Связался я с чертями. С той поры год минул. Скажите, люди добрые: кому от меня горечь перепала? Либо утрата случилась? Разве что Кострома бочки растерял...

— Сам виноват,— определила бабка Хранцузка.— Помене куражился б над людьми...

— Покою хватает,— поддержала Улыбу Акулина Закудыка.— А ежели Пелагея Смешная да Астах Вылитый, земля им пухом, за этот год ушли, так уж оне сами давно кланялись Богу — просились на покой. Чо им по два века из-за Костромы жить?

— Ну а когда Федот Нахрап показал нам всем длиннющий язык, так ить — вольному воля...

— Накопил дерьма-то... Вот ему нечистый и пособил вязочку затянуть — чтоб не расползалось...

— Ладно,— остановил Спиридон заступниц.— Энто его дело... И ты как хошь собой распоряжайся,— обратился он до Улыбы.— Но Заряна... Вольно ли тебе губить ее душу? Заверяешь: не могло быть ее на Шептунах. А как же косынка? Она там, под кустиком, свидетелей ждет.

— Не знаю, как могла она на елани оказаться.

— Не знаешь?! Тогда веди нас в дом. Веди, веди! Сщас мы у твоей красавицы все и спросим.

И опять Парфенова хата набилась народом.

То, что было с Заряною до встречи с лунатиком, пересказывать не стоит. Зайдем с того момента, когда она, вполне оправившись от испуга, докладывала селянам:

— Жую я эту траву и вроде легче делаюсь. Огляжусь — нет, все на месте, а прислушаюсь к себе, похоже, распадаюсь на пушинки и только сознание во мне прежнее. И вот уж я лечу, плыву ли куда этим сознанием. Котофей мой Иваныч впереди маячит — манит за собой. И оказались мы в каком-то длинном, слепом подземелье. По сторонам — свечи. Горят, а темно. Кто-то черный ходит туда-сюда,— гасит их да зажигает. А мне думается: что это?! И отвечается безо всякого голосу: жизни человеческие; какая свеча крепше — хозяин ее здоровый, тонкая — хлюпок, коптит свеча — зряшно живет человек; с новым огоньком — новая жизнь зарождается, не стало человека — свеча погасла...

— Мою не видала? — не утерпела Хранцузка спросить с тревогой.

— Видала,— призналась Заряна и улыбнулась.— Хороший огонек: так и прыгает...

— А мою? А мою? — посыпались вопросы, но ответчица сказала:

— Велено мне одному лишь Спиридону Лукьянычу передать, чтобы распрямился душой, не то свеча его попусту оплывет.

Отчего целовальник ажно кулаком в кулак ударил.

— Так я и знал — вот насочиняла!

— Правду насочиняла,— одобрила Хранцузка.— Здря, Лукьяныч, оплываешь, здря.

— Ладно. Молчи, трещотка! Поглядим, чем вся эта брехня кончится.

— Брехня моя кончится тем,— сказала Заряна,— что, миновавши подземелье, оказалась я у Гуслаевской ляги. Там и наткнулась на наших. Однако ж я нагляделась еще и такого!..

— Ну, ну! Давай, давай! Рассказывай,— поторопил ее Кострома.— Аль придумать ишо не успела?

— Я-то успела,— сказала Заряна.— А вот когда ты, даст Бог, воротишься, сам обо всем и доложишь.

— А-а,— вдохнул в себя Кострома целое ведерко воздуха, а потом выдохнул.— Сговорилась! Ой, узнаю... Ой, проверю...

— Проверь, проверь... в берлогу дверь.

— Башку свихну, а загляну,— ажно захрапел целовальник.

— На том и порешили,— поднялся на ноги тут же сидевший Селиван Кужельник и, проходя мимо Костромы, уточнил свои слова: — Вот что, Лукьяныч: чтоб никто не успел упредить чертей о твоей ревизии, прям сщас и собирайся до Шептунов.

Да-а... попал черт под куму... и сдернуть некому... Явился Кострома домой злее небитой бабы. Работника своего в тридцать три сатаны изругал. А когда Борода и себе запыхтел — взлетел по крутой лесенке в контору и дверь защелкнул. Стал думать: идти на Шептуны или отступиться?

До вечера промаялся, взвешивая выгоду. Когда осознал, что хрен редьки не слаще, кинуло его и в жар, и в колоти, а когда испариной покрылся, понял — захворал.

И сказал себе: слава Богу — день-другой проваляюсь, а там видно будет...

Сказал и растянулся. Тут же, в конторе на лавке. И тяжело задремал. Но к ночи его опять зазнобило, вроде как из окна холодом потянуло. Поднял он глаза — стекло на месте, но из-за шторки кот белый выглядывает, усищи распустил и дует на него — стужу нагоняет.

Господи, помилуй!

Подхватился Спиридон — нет никакого кота. За дверью, слышно, работник топчется, спрашивает:

— Хозяин, чаво орешь?

«Надо же,— думает Кострома,— окончательно занемог. Скрутит лихоманка, Бороде придется взламывать дверь».

— Погоди, отворю,— сказал он и подался откинуть щеколду.

Откинул, дверь на себя потянул, а за порогом нет никого! И ничего нету: ни стен, ни потолка, ни крутой лесенки — черный провал перед Костромой. И не провал даже, а долгое подземелье. По обеим сторонам свечи. Каждая теплится в своем ореоле. Черная тень бродит туда-сюда... Все так, как Заряна рассказывала.

За световой завесой слышна какая-то возня: похоже устроена там огромная гулкая баня, где кто-то кого-то хлещет, правит, ворочает и скребет и, время от времени, обдает крутым кипятком. Не смолкают вздохи, стоны, скрежет и хруст, тупые удары и раздирающий душу вой.

— Преисподня! — ужаснулся Кострома и хотел захлопнуть дверь, но ее на месте не оказалось. И под ногами никакой опоры. Неведомая сила уже влечет его куда-то; не то опускает, не то возносит. И все слышней звуки вселенской бани. А мимо — огни, огни... И не свечи в темноте, а пойми, что там: глаза ли чьи, звезды ли, оконца ли каких виталищ? Все ли вместе?

Одно оконце поплыло рядом. Кострома вцепился в покатную раму, подтянулся, припал глазами...

Спиридону оказалась видна палата, окутанная по стенам и потолку как бы плотным, искристым куржаком. И пол снеговат. Белый стол посередке, а на том столе распростерт голышом Федот Нахрап, тот самый Федот, которого сорок дней назад едомяне опоздали вынуть из петли. Лежит Нахрап, корчится, зубами скрежещет и завывает так, что не только волосы — кожа взды-

мается на голове Спиридона. Однако ж он словно припаян до окна — не оторваться, не сгинуть в темноте.

Смотрит он, видит: опали Федотовы корчи, будто мужик другой раз помер; чистое мерцание забрезжило над ним, стало сгущаться крохотными блестками, собираться в светлый, живой колобок. Тело же подернулось синевой, пошло пробелью, сделалось сизым, живот распух, суставы набрякли, ногти вытянулись и затвердели, нос расквасился, нижняя губа отвисла, верхняя запала, уши растопырились, бурые, тонкие черви полезли из тела. Они тут же костенели щетиною...

Не прошло и нескольких минут, как со стола соскочил готовый черт. Он ощупал себя, взвизгнул, подпрыгнул — хотел поймать над столом сияющий сгусток, обжегся, взвыл и все видимое растворилось в темноте. Но вой не утих. Напротив. Заодно с пыхтением, вознею, чавканьем, он все накапливался во тьме. Кто-то толкнул Кострому, оторвал от опоры, швыранул в ненадежность, где различил он тени чудовищ, которые шевелили лапами, хвостами, плавниками и крыльями. Схватываясь в темноте, они уже не расцеплялись: терзали друг друга, кусками растрепывали на стороны. Куски пожирались сторонней живностью.

Один отлетел, шлепнул Кострому по голове. Тот хотел отлепить ошметину, да кто-то опередил и зачавкал перед самым его носом, обдувая вонью поганой утробы. Спиридон дернулся прочь, но его ухватили, и вдруг оказался он лицом к лицу с преображенным Нахрапом...

В человеке все подменено, только не глаза: в них основа сущего.

Когда-то Кострома побаивался Нахрапа, его коварства и диких шуток. Потому избегал даже глядеть на него. Но тут он понял, что более бесстыжих глаз в жизни не видел. Спиридон постарался было отделаться от цепких лап, но что-то удерживало его. А вглядевшись, Кострома застонал. Он признал в подлобных впадинах чудища собственные глаза. Целовальник вывернулся, но Федот уловил его за бабкину ладанку. Тогда он ловко присел, выскользнул из гайтана, поднырнул под Нахрапа и застрял меж его ног. И опять крутанулся, и... свалился в своей конторе с лавки...

В дверь кто-то колотился.

В полном еще страхе, Кострома на четвереньках пощекотал до шкафа с амбарными книгами, поджал брюхо, чтобы подлезть под него.

К тому времени, когда поддетая мужиками дверь соскочила с петель, Кострома сумел подсунуть только голову.

Откуда взялись мужики?

Да они ждали-ждали, когда Спиридон отправится на Шептуновскую елань — не дождались. Стали поутру сходиться у его дома, спрашивать Бороду, что тот знает про хозяина. Узнали только то, что вчера прибежал Кострома домой бешеной собакою и защелкнулся наверху.

Вот мужики и поднялись по лесенке. А тут дикие крики. Мужики — колотиться. Никто не отворяет. Тогда и высадили дверь, и увидали, что Кострома мортиру свою в потолок выставил. И венчает эту жерлицу собачий хвост. А конец хвоста повязан линялой косынкою Заряны.

Ну что мужикам? Пугаться? Кабы их мало было, может, и напугались бы. А здесь — целая орава.

Потянули целовальника из-под шкафа. Кто-то не побрезговал за хвост уцепиться. Тот и оторвись. Оказалось, пришит он был до Спиридоновых штанов. Только и всего.

Мужики хохот подняли, повалились кто куда.

Кострома тоже... сел на полу и лыбится, и говорит:

— Чертей на свете нету, и Парфена нету, и меня... Одна только видимость и проверять нечего. На том свете за нас все проверено...

Мужики того тошнее ржать.

И вдруг!

Вдруг ретивое это ржание рассекло лезвием тонкого смеха. Все смолкли и увидели — на высоком окошке занавеска колышется.

Кто-то из мужиков и откинь шторину...

Хохочет на подоконнике белый кот-муравей, закатывается, лапами дергает. Учуял тишину, опомнился, вскочил, усами повел да через голову — кувырк за окно. Только оплавленная скважина осталась в стекле.

В ту скважину влетел оранжевый кленовый лист, поколыхался и улегся перед Костромой и завернулся так, будто состряпал ему горячую фигу.

Целовальник подпрыгнул от такой издевки, кинулся до окна — разглядеть во дворе кого-то, да оттуда вдруг засветило ему прямо в лоб его же волосатой ладанкой.

Зажмурился Кострома — не успел нужного увидеть. А вот мужики успели: Борода стоял под окном и улыбался. Потом он рукой мужикам помахал и пошел со двора, и запел: велико Байкал-море восточное...

Надо ли говорить, что никакого своего работника Спиридон потом не отыскал. Но звезда во лбу волосатая как прилипла, так и осталась. Навсегда.

То-то же.

Ну все, ребята. Дальше сами думайте.

ОНЕГИНА ЗВЕЗДА

Илька Резвун был еще каким подскокышем — у батьки своего на ладошке помещался, а уже тогда нырял да плавал по омутам-заводям речки Полуденки, что твой щуренок-непоседа. И все потому, что опять же батьку своего, Матвея Резвуна, повторил.

Был Илька в семье, после сплошного девчатника, пятым, каб не шестым приплодом. Зато последним. Потому, знать, и прирос он к отцову сердцу больше всякого сравнения. Селяне говорили, что раздели Резвунов хотя бы все той же речкой Полуденкой — вода меж ними чистой кровью возьмется!

Эта самая речка Полуденка больше всего и соединила их непоседливые души. Сам Матвей на речке таким был рыбаком да ныряльщиком, что сказывали, меньков [1] под водою зубами хватал. А то брался пронырнуть из проруби в прорубь.

Шибко тому вся округа дивилась. А надивившись, похваливала. А похваливши, поругивала. Особенно изводились тревогою всезнающие старухи. Они-то и пугали Матвея:

— Гляди, черт везучий! Кабы твоего задору-смелости да водяной не присек! И чего ты все шныряешь по его наделам? Каку таку заботушку потерял ты в речке Полуденке? А и правда ли нами слыхана, что сулился ты Живое бучало [2] скрозь пронырнуть? Что ж, нырять-то нырни, да обратно себя верни. Хотя бы мертвым, — добавляли они и дальше стращали. — Не было еще такого

[1] Мень — самая скользкая рыба.

[2] Бучало — бездонный омут.

удальца, кому провал тот измерить довелось. Когда-никогда, а доныряешься! Расщелкнет тебя водяной, как сухое семечко!

— А может, я и есть тот самый водяной, что в Живом бучале обосновался? — как-то позубоскалил над чужими страхами Матвей Резвун. — Только скроен я не по привычным меркам. Разве вам не помнится, что пращурка моя, древняя бабка Онега, два века жила?

— Помнится. А то как же.

— Так вот, ежели б она свое бессмертие мне не передала, топтать бы ей землю и по сей день! Понятно? Потому я никаких глубин, никаких водяных не боюсь.

— Изгаляется над нами Резвун, — засуетилась меж говорух самая неуемная стращалка Марьяна Лупашиха. — Вровень с недоумками ставит нас. Играется вроде с нами, старухами. Ничо-о! Доиграется бычок до веревочки... Ежели его из-под воды никто не дернет, так на бережок выбросит... Ведь мною чего слыхано: будто Матвей, ныряючи, рыбу под водой из чужих снастей выбирает! Он бы и сына своего Ильку тому же самому научает...

— Брось ты, Марьяна, золу поджигать! — тут же присекли ее болкотню редкозубые товарки. — Что ж ты греха не боишься? Не такой уж кот вор, чтобы кобылу со двора свел... Ежели не тобою самой придумана эка блажь, то какого-то лоботряса тянут завидки за язык. Наловивши, поди-ка, одних головастиков, он от безделья и разбрасывает о Резвуне брехалки. А ты подбираешь...

— Так ведь мое дело дударево, — поторопилась оправдаться Лупашиха. — Я ить только дуду про беду, я к ней ноги не пришиваю. Но скажу и от себя: резвый конь подковы теряет. Помяните мое слово!

Вот ведь штука какая!

Будто на черных картах выгадала та Лупашиха подтверждение своему пророчеству.

Да и сам Матвей Резвун как бы почуял правоту Марьяниных слов. В ночь, как тому быть, пошел он с Илькою на сеновал отдыхать. Там и поведал сыну тайну, что завещала ему пращурка Онега в последний час своей непонятно долгой жизни.

По словам Матвеевым получалось, будто бы древняя Онега, будучи еще в одних годах с теперешним Илькою, собственными глазами видела, как среди бела дня упала в речку Полуденку с высокого неба яркая звезда! Упала она туда, где верстах в трех от деревни, ниже по

течению, в кольце Колотого утеса ныне таится то самое Живое бучало.

В то время Онега не смогла всполошить народ своим испугом — свалилась замертво! И пролежала она без памяти аж трое суток. А после того долгую пору владела ею немота.

Будучи безъязыкой, она и додумалась до того, что о звезде лучше будет вовсе молчать. Одно дело — никто не поверит, другое — могут приписать безумие, а и того хуже — святость! Кто ее тогда замуж возьмет? Никто!

Вот так и прожила древняя Онега свой чрезмерно долгий век с великой в себе тайною.

Может быть, с годами, накопивши сомнений, она и сама бы поколебалась в правде виденного. Однако с той самой поры правду ее просветляло то, что вода в провале, прежде стоялая, теперь время от времени оживала — как бы принималась дышать. Омут разверзался широкой воронкою и всякий, кому выпадало быть тому очевидцем, бежал в деревню с криком:

— Бучало ожило! Снова хлебает...

И опять занимался тревогой народ! Гадали-перегадывали: ни ворочается ли кто в провале настолько большой да неуклюжий, что и всплыть-то ему нету никакой возможности...

Когда Онегин век перевалил за сто, сохраняя хозяйку в полной силе, сообразила она, что столь крепкую и долгую жизнь подарила ей полуденная та звезда за ее молчание! Поняла и веры своей до самой смерти из головы не выбросила.

А умерла Онега очень даже завидно.

Притомившись топтать землю, она признала в себе еще одну особенность: не избыть ей века своего до той поры, покуда носит она в себе замкнутой великую тайну. Вот тогда-то древняя Онега взяла и натопила жарко баню, выпарилась в ней, как душа того просила, обрядилась во все смертное, легла на лавку и попросила остаться возле себя одного лишь Матвея. Ему-то она и поведала сокровенное. А поведавши, померла...

— С той поры и взялся я нашу речку обживать, по омутам-заводям упражняться, — признался Матвей сыну, когда лежали они на сеновале. — Хотелось мне к воде привыкнуть настолько, чтобы до самого дна пронырнуть Живое бучало. Мне и теперь хочется верить, что не погасла навовсе Онегина звезда! Вот и прикидываю — ни она ли ворочается в провале: пытается воро-

титься в небо? Не упомню, сколько раз кидался я в омут, только достичь его предела так мне и не довелось. Не получился, выходит, из меня тот самый ныряльщик, который способен дать звезде подмогу. На одно теперь уповаю: может, из тебя получится...

Высказал Матвей такую надежду, обнял своего любимца, и скоро они засопели в два носа на весь вольготный сеновал...

Утром Илья распахнул глаза оттого, что мать тормошила да спрашивала его:

— Куда отец подевался, не знаешь?

Только за полдень, когда уже вся деревня полыхнула тревогой, бабку Лупашиху вдруг осенило. Вспомнила она, догадалась наконец:

— Так ведь то ж Матвей нонешней ночью да перед самым рассветом Полкана моего булыгой угостил...

И закрутилась старая меж людей — каждому взялась подносить по худому слову:

— Подхватилась я темнотой от собачьего визга. Ни скотина ли, думаю, чья шалавая в огород мой заперлась да кобеля рогом поддела? Выбегла я глянуть. Присмотрелась. Вижу — чей-то мужик берегом Полуденки в сторону омута ушагивает. Идет и на звезды широко-о так крестится — ну, точно, как перед смертью! Так до Живого бучала прямиком и подался. Теперь-то вот я вспомнила, что левой рукою он точно так же помахивал, как Матвей Резвун. Ночью-то его махание мне было ни к чему, а теперь понятно...

От Лупашихиного понимания Резвуниху пришлось водою отливать. Сестры ж Илькины в шесть голосов так реванули, что парнишка в конопли кинулся. Забился он в те зеленя да и пробыл в них, сгорая душой, чуть ли не до новой ночи.

На закате Илька понял — не потуши он в себе слезою душевного пожара, пламя может охватить его голову, испепелить разум.

Однако мальчишке показалось больно стыдным ощутить на своих глазах мокрень, оттого он и припустил к реке, оттого и бросился в ее глубину, где дал волю невидимым в воде слезам.

Нанырявшись до одури, Илька доверил свою усталость волнам — дозволил реке нести себя неторопким течением, куда той вздумается...

И надо же было парнишке очнуться от забытья да прямо против Живого бучала.

С трех сторон охваченный высокой подковой Колотого утеса, омут при закате отливал кровавым глянцем своего покоя. Кругом было тихо, безлюдно...

Не больно раздумывал Илька — доплыл до пологого за скалой берега, вышел на песок, глянул на вершину утеса. Не раз и не два сиживал он на обрывистой его кромке — смотрел на стальной покой омутовой воды. Все прежние разы провел он там в ожидании — не покажется ль из глубины косматая голова чудища?

Но теперь, со слов отца, Илька понимал, что никакого чудища в провале нет. А если что и имеется, так скорее всего Онегина тайна. И что познавшему эту тайну держать ее надо при себе, иначе — худо!

Вишь вот, затянуло Живое бучало Илькиного отца и ни единой морщинкою скорби не покоробило его тяжелого покоя. Сиди теперь, Илька, не сиди над омутом, вряд ли дождаться ему добрых перемен...

Однако Ильку, который успел за невеселыми думами подняться на утес, будто приморозило до каменного среза. Так и досиделся он над провалом до той поры, когда завспыхивали, заотражались в омутовой глубине страшно далекие звезды...

С каждой минутою подводное небо густело этими неведомыми огнями, мрак меж ними густел и проваливался того глубже...

Вот и заподмигивали парнишке из черной бездны те огни — попробуй, дескать, пронырни до нас: может, здесь отыщешь своего отца? Ныряй же. Ну!

Понятно, что за отцом Илька нырнул бы до того самого, до поддонного неба. Только ведь не пропустит омут. Не пропустит...

И тут вроде бы легкий ветерок пробудился внизу. Вспорхнул ветерок до парнишки и в теплом его дыхании тот явственно распознал отцовский шепот:

— Пропу-устит!

Илька отпрянул от провала, неловко подвернулся, опрокинулся на спину и покатился безудержно с каменной крутизны к подножью Колотого утеса...

Весь в ушибах, царапинах опомнился он только внизу. Немного посидел, посображал — что к чему, и настырным неуседою полез обратно. Ему захотелось удостовериться — на самом ли деле была тому причина, чтобы так потерять себя.

Добрался Илька опять до крутого края, но садиться над обрывом не стал, а лишь головою повис над ним и замер в ожидании.

Сколько он там ни проглядел вниз, а вот и видит — вода в провале задышала! Будто огромная живая грудь заходила туда-сюда. Глубина омутовая вспенилась, взялась обильными пузырями, забурлила, закрутилась и раздалась посередке просторной воронкою...

Была бы внизу сквозная дыра, вода бы в нее устремлялась постоянным самотоком. Тут же и вправду выходило, будто бы кто-то огромный сидит в глубине и время от времени разверзает немеренную пустоту...

Пока Илька думал так, поверхность омута сомкнулась, ровно тот, кто сидел на дне, опомнился и захлопнул крышку.

Вот когда Илька задался отцовским рассказом всерьез: что как и в самом деле закатилась в глубину Онегина звезда?! Что как ею заткнуло в омуте подземную протоку? Звезда ворочается там, рвется на волю, да не хватает в ней силы одолеть водяную тягу. Эвон какое жерло-то просторное отворяется! А вода каково рвется вниз! Что как потоком этим да захватило отца? Да унесло Бог знает куда? Может, сидит он теперь в какой-нибудь глубине, кличет на подмогу сына, а голос его из невидимой расщелины идет наружу. Эх, взять бы теперь Ильке да кинуться в ту широкую воронку! Вдвоем-то они с отцом уж как-нибудь выбрались бы наружу...

Вот какие отчаянные думы наложило на Илькино сознание! Отворись перед ним заново Живое бучало, он этих дум и отбросить бы не успел — так бы вниз головой и кинулся со скалы...

И Живое бучало отворилось!

Уже на великой глубине почуял ныряльщик, как вода сомкнулась над ним, завертела, закружила его малой соринкою, упругим обвоем [1] потянула за собой вниз, вглубь, в неведомое...

Скоро Илькина голова от бешеной карусели потеряла ясность, дурнота подступила к горлу, а там и вовсе — заволокло память безразличием...

Снова живым человеком понял себя парнишка тогда, когда осознал вокруг толщу совсем спокойной воды; ему оставалось только лишь разок-другой отдать ногами да

---

[1] **Обвой** — спираль, винт.

руками гребануть, чтобы привычно подняться на поверхность, что Илья и проделал машинально. Вынырнул парнишка и сразу же почуял в душе досаду. Похоже было, что пронырнуть ему никуда не удалось. Видно, Живое бучало вытолкнуло его обратно к материнским слезам, непоправимому горю. Только вот над собою не увидел он ни тех небесных огней, ни черных в ночи стен Каменного утеса. Не почуял он и земной сумеречной прохлады. Да и слух его настороженный не уловил ни шуршания речной воды, ни дальнего бреха деревенских собак, ни близкого стрекота луговой кобылки...

По духоте, по тишине, его обступившей, Ильке показалось, что он вовсе и не выныривал из воды!

«Когда это столь плотная туча успела заполонить небо? — подумалось Ильке.— Ажно земля перед грозой задохнулась».

Подивился он спертому воздуху и размашкою пустился до невидимого предела, чтобы ощупью отыскать выход на реку.

Но никакого скорого предела перед собою он не обнаружил. Становилось похожим, что вынесло его потоком в какой-то неведомый простор и теперь парнишке оставалось надеяться только лишь на везение.

Илька уж забеспокоился всерьез, когда перед собой ущупал рукою плоский да ровный, вроде скамьи, камень. Парнишка вылез из воды, устроился на нем, стал гадать, в какой такой глуши мог он оказаться за столь недолгое время? Ничего не выгадал и потому решился подать голос: не вскинется ли на крик какая-нибудь чуткая собачонка? А повезет, так, может, откликнется запоздалый рыбак...

Никакая собачонка, никакой рыбак на зов не отозвались. Да Илька и сам-то путем не расслышал своего голоса — так глухо прозвучал он в темноте. Зато, немного спустя, на крикуна обрушилась целая лавина отголосья, будто бы надумала дразнить его из темноты ярая ватага злых озорников.

Однако темноте на этот раз не удалось обмануть Илью. Он вдруг сообразил, что раскололо его тревогу подземное эхо.

Стало понятным — поток и в самом деле затянул его в какую-то пещерную пустоту, наполовину залитую водой...

Илька прислушался — не последует ли за угасающим эхом ответный голос отца? Но ожидание никаких пере-

мен не принесло. Выходило так, что либо отец погиб, либо вовсе его тут не было. Тогда кто ж подавал Ильке голос? Морока? Что ж тогда получается? А получается то, что парнишка зря отчаялся нырнуть в омут. Зря!

И тут Илька представил себе бедующую наверху мать. Теперь она наверняка хватилась не только отца, но и сына. Представил Илька бедующую мать, и сам забедовал окончательно. Такая ли безысходность навалилась на него, такая ли память разыгралась, что и получасу не минуло, а уж ему стало казаться, что он в западне своей больше году сидит. А вот уж, гляди, и почудилось малому, что зовет его, кличет голос матери. Да и не голос то вовсе, а скорее всего само отчаянье. Будто бы материнская душа оставила тело, проникла в подземелье и заполнила собою всю черную пустоту. И вот теперь, заодно с Илькою, она, в страхе перед бесконечной разлукою, и тоскует, и мятется, и жалуется...

Скоро материнская боль сделалась для Ильки настолько доступной, что он мог бы словами пересказать ее. Да вот только из пересказа складывалось что-то этакое — не совсем понятное. Получалось-выходило так, будто бы каким-то боком Илька оказался причастным не к одним страданиям матери родной, а изнывает в нем и неведомая ему, какая-то неземная душа. Вроде сочится она в подземелье откуда-то из межзвездной бездны, проникает в парнишку и теснится в его и без того трепетном сердце как бы его собственным отчаяньем и его же собственной болью пытается растолковать ему что-то, край как необходимое. Вот и слышит в себе Илька явную скорбь оттого, что

до чего же страшна доля матери,
у которой сын, точно как Илья,
в западню попал по случайности.
Уж не час, не день
и не год земной —
третий век идет ожидание...
и терзаться ей страшной мукою,
безотвязною
нескончаемо!
А и жить она не живет теперь
и глаза закрыть нет возможности...
Лишь одно в удел остается ей —
день и ночь просить
мироздание,
чтоб оно мольбу материнскую,
не рассеявши, приняло в себя,
унесло бы в даль бесконечную,
заронило бы в душу добрую,
в ту, которая согласилась бы

своей волею пособить в беде;
в ту, которая своей жалостью
через смертный страх несуразности
до конца пройти
пожелала бы...

Сидит Илька на камне, вслушивается в то, что помимо воли изливается в темноте из его сердца, и понимает — что странная в нем кручина звучит уже заклинанием, от которого начинает как бы оживать глубина подземного озера.

Поначалу робкими, потом все более решительными световыми штрихами вспыхивают и обрисовываются в толще воды какие-то занятные знаки. Получается так, будто сидит в озере некий искусный мастер изображения и молниеносно прочеркивает воду тлеющим концом лучины...

Вот быстрые линии осмелели, перестали гаснуть и принялись смыкаться да заполнять охваченное собою пространство мерцанием разного цвета...

Илькою же озерное представление воспринималось так, словно бы неведомая, далекая чья-то мать надеется таким способом ознакомить его с чем-то позарез необходимым, приблизить его к чему-то необычному и одновременно не напугать его внезапностью...

Понимал парнишка еще и то, что, пожелай он, и в подземелье придет прежняя тишина и темь. А может и такое произойти, что он вовсе очнется ото всей этой наволоки и вдруг очутится дома, на сеновале, под боком у своего отца...

Однако же, наряду с пониманием, Илька того острей осознавал боль вечной разлуки, потому и встряхивал упрямой головою — как бы отнекивался, покуда быть отпущенным на волю. При этом он старался не отрывать глаз от озерного чародейства.

А в глубине, мастерством прямо-таки обуянного своим чудесным умением живописца, уже распускались цветы прелести несказанной! Они живым ковром выстилались по огромной чаше озерного дна, всползали по крутым уклонам боковин до самой поверхности, струили красочным многоцветием покой и надежду...

Постепенно всякая тревога отпустила Илькино сердце. А в подземелье уже звучал голос не безысходной тоски — напев уверения и согласия...

В чистой озерной глубине Илька мог различить теперь даже самые малые лепестки чудесного сплетения. Ему становилось все догадней, что перед ним открывает-

ся не случайная красота какой-то неземной природы, а видит он творение ума! Узоры по живому ковру были наведены с великой выдумкой и явным повторением. Перед Илькою красовалось не то разубранное чье-то гнездо, не то богатый покой. Покой тот имел на глубине сводчатый выход куда-то под скалу...

Недавнее Илькино представление о возможном водяном или о большеротом чудище со всем тем, что представилось его глазам, никак не вязалось. Не может в такой красоте обитать лихая жизнь — так подумал парнишка и без особой тревоги уставился на ту дыру. Он ждал непременного появления в мерцающем свете сказочной морской владычицы, прекрасной и печальной, как сам голос подземелья. Но из темноты сводчатого проема осторожно высунулась гибкая, узкопалая, только до запястья голая лапа. Выше того она была покрыта не то поседелой ухоженной шерстью, не то порослью жемчужной, стриженой травы.

В переливе дрожащего света лапа повела туда-сюда распущенной, похожей теперь на плавник, пятерней. Ей вроде бы хотелось дозволить Ильке полностью разглядеть себя. Затем она добавилась точно такой же второю лапой. Обе они сцепились в пожатии, потянулись в сторону Ильки и откровенно его поприветствовали...

Парнишка от воды не отпрянул, а еще с большим интересом взялся наблюдать, что будет дальше?

А дальше, понятно: следом за лапами образовалась в проеме голова. Сплошь покрытая мелким пластинчатым перламутром, она была увенчана красным продольным гребнем. Гребень брал свое начало от самого переносья, уходил через темя на затылок и дальше, на захребетье. По обе стороны его основания блестела пара ярких зеленых вздутин. Они сильно смахивали на глаза лягушки. Эту зелень подчеркивал толстый выворот желтых губ.

Если бы на голове имелись хоть какие-то уши, можно было бы сказать, что желтый рот растянут до ушей — так зеленоглазая улыбалась Ильке. Чуток приотворяясь, улыбчивый рот испускал те звуки, что наполняли подземелье и ласково проникали в Илькину душу. Это пение было теперь посулой долгого возможного счастья — если у Ильки хватит терпения довести дело до конца...

Скоро желтогубая улыба образовалась в глубине полным видом своим. Сплошь покрытая седою шерстью, она была поставлена своею природой на перепончатые крас-

ные плюсни[1]. Сама небольшенькая, Илькиного росточку, она владела великим хвостом. Хвост не метелкой, не веревкою — легким шлейфом колыхался за ее спиной. Был он окаймлен цветными блестками, а сам сплошь искрился, будто свежий снег в полнолуние.

Красотища невероятная!

Если бы да существо это имело какую-нибудь мрачную окраску, Ильке, может быть, показалась бы и не очень приятной его необычайность. Могла бы вновь зародиться в нем тревога при виде этой, изо всех видов собранной, живности. Но естественный ли наряд красавицы, придуманный ли добрым разумом столь ладный костюм ее до такого согласия сливался с чистотою голоса, что парнишка напрочь забыл о себе. К тому ж зеленоглазая взялась извиваться гибким телом да медленно кружиться на всплыве, почти полностью укрытая кисеею сверкающего хвоста...

Порою красавица оказывалась так близко от Ильи, что тот мог ухватить ее за шлейф. Но лишь пробовал он пошевелиться, как сразу же осознавал ненадежность, одну только видимость происходящего. А он пока не желал никаких перемен и потому затаивался вновь — ждал, что будет дальше.

А дальше? Дальше зеленоглазая красавица вдруг прилипла телом до крутого озерного уклона, маленько перевела дух, шевельнула гребнем и побежала по боковине, как по ровному полу.

На близкой глубине, против Ильки, она остановилась, подождала чуток, затем осторожно принялась всползать к поверхности воды. Зелень ее глаз была уставлена прямо на Ильку! И хотя человеческих зрачков среди той зелени он не обнаружил, однако неудобство передалось ему точно такое, какое зарождается в любом из нас при чужом дерзком внимании.

Но не сморгнуть, не отвернуться от пристального глядения Илька уже не сумел — его так и приковало полным вниманием к тем лягушачьим наростам, хотя ни злонамерения, ни алчности какой в красавице по-прежнему не чувствовалось. Во всем ее виде была лишь мольба...

Как у нее такое получалось, понять Илька не мог. Он только ясно осознавал, что бояться ему нечего, что видимое всего лишь призрак, отражение далекой подлинно-

---

[1] **Плюсня — широкая стопа.**

сти. Что этот мираж сотворен силою бескрайнего горя где-то в межзвездной пропасти и неимоверной материнской верностью направлен сюда. Как всякой мороке, ему не дано обратиться плотью, но и раствориться теперь уже немыслимо, потому как не выдюжить повторения! О, как слаб он перед наимоверной далью, куда как, может быть, слабее Ильи, оказавшегося в западне.

И еще зеленоглазая заверяла парнишку в том, что лишь обоюдное их согласие, обоюдная подмога способны вызволить и того, и другого из непонятности, избавить от беды. Но для того, теперь же, надобно Ильке, волею подсказанного ею воображения, оборотиться мерзким гадом, способным одолеть какие угодно глубины, уклоны и пролазы; гадом, наделенным неимоверной силою, ловкостью, цепкостью...

И не только осознавал Илька такую необходимость, он уже успел когда-то почуять себя многоногим, огромным, косматым пауком!

Им-то парнишка, не раздумывая больше, и нырнул в озеро. Махнул он косматыми лапищами раз, другой и вот, гляди, оказался в окне какого-то колодца. Колодец стволом своим уходил в черную неведомую высоту.

Илька легко оставил воду и проворно побежал по отвесной стене колодца...

Скоро подъем осекся, круто завернул в сторону, оказался узким пролазом, который заставил Ильку удивляться тому, как это удается ему каждой шерстинкой на теле чуять самый малый впереди выступ, загодя знать любой подъем и поворот. А сколь верно, сколь ухватисто действовали его ноги, сколь надежна была в них жилистая сила! Сколь неуклонно желание пройти до предела взятый путь...

Наслаждаясь полнотою своих новых способностей, человеческое в пауке завидовало ловкому гаду, хотя больно-то увлекаться этой завистью Ильке было некогда. Его несла и несла вперед тупая сила направленной к бесповоротной цели многоногой твари...

Скоро Илька почувствовал впереди глухую стену. Вот его паучьи лапы нащупали помеху; человеческий же рассудок подсказал парнишке, чтс расщелина в скале пресечена вовсе не каменной преградою, а, скорее всего, каким-то щитом, покрышкою ли. В нее-то и не замедлил Илька тут же удариться тараном; перегородка отозвалась долгим, тихим гулом. Так отзывается на хлопок ладонью огромный, но чуткий колокол. Для верности

Илька шибанулся в перегородку еще разок и вдруг почуял, что она шевельнулась, вроде как пожелала отодвинуться в сторону. Но не смогла одолеть неведомой тяжести и потому осталась на прежнем месте. Ее, видать, заклинило в скальной расщелине.

Косматому гаду в Ильке сразу же потребовалось порушить помеху. Он с тупой, остервенелой силою рвущейся к выживанию твари, уперся растопыренными лапами в каменные стены лаза, резко ими выпружинил и паучьим своим хребтом ударил в перекрытие!

Илька еще успел услыхать, как над ним что-то хрястнуло, затем опрокинулось, дало ему тупым краем по спине и... вновь водяной бешеный поток узлом скрутил все его паучьи лапы, поволок обратно — вглубь, вниз, в подземную западню...

На этот раз осознал себя Илька живым оттого, что послышалось ему далекое петушиное пение. Сразу привиделась мать. Она шла мимо, не касаясь ногами земли. Вся черная и слепая! Встречный ветер пытался развеять ее черноту, да не мог. Только зря рвал на ней платок и просторное платье...

Илька вдруг понял, теперь идти ей да идти такою черною до самой оконечности земной, а там и до смерти, а там и того дальше...

Сердце в парнишке захолонуло от жалости. Он потянулся к видению, крикнул:

— Мама!

И сразу же солнце опалило ему глаза. Во все горло грянул на заплоте петух свое победное кукареку, заговорили радостные голоса:

— Во! Очухался! Гляньте-ка!

— Поди ж ты, живучий какой!

— Так то ж Резвун — чему тут удивляться? Им всем по крови от древней Онеги живучесть досталась...

И тут до Ильки дошло, что лежит он, ровно малец какой, на отцовых руках. Улыбчивый родитель так глядит в его глаза, будто бы ему все как есть известно — ничегошеньки не надо Ильке ни спрашивать, ни рассказывать. Так все хорошо, столько покою!

А некоторое время спустя, не отходивший от постели еще долго слабого сына, Матвей Резвун среди ночи разбудил Ильку, поднял его на ноги, потихоньку от всех семейных вывел за недалекую околицу, сказал:

— Гляди!

И вот. Над рекою Полуденкой, над тем самым местом, где покоилось Живое бучало, медленно засветилась чистая зарница. Она чуток подрагивала, разгораясь, словно бы ей спросонья немного было зябко подниматься в ночной прохладе.

Вот она, как бы нехотя, оторвалась от вершины Колотого утеса, неспешно сгустилась, вспыхнула и... вдруг пошла ввысь! Полоснула по небу яркой звездою и вскоре затерялась среди своих сестер...

ТАРАКАНЬЯ ЗАИМКА

— И что за порча у тебя такая? — часто доводилось Корнею Мармухе сокрушаться да качать головою, глядя на то, как брат его меньшой, Тиша Мармуха, выдувший под самый потолок да прозванный обзоринскими селянами Глохтуном, коим именовались в те поры обжоры да пьяницы, шеперился с печи задом, озаренным закатными лучами солнца. — Тебе, — печалился Корней,— как пойти б да наколоть дровец — так лом в крестец, как пялиться на прохлад — так пружина в зад. Куда тебя снова нечистая толкает?

Тиша Глохтун продолжал себе ленивым медведем корячиться из-за пестрой печной занавески на волю. Он ложился толстым брюхом на край глинобитной угревы, пухлыми пальцами белопятой ноги нащупывал в боковине ее приступок, а сам, вроде бы как забитым густою кашею ртом, урчал ответное:

— Верешши, верешши... Верешшали чижи... когда их гнездовину кот-живоглот зорил. Будь я человеком диким, необразованным, слез бы я на пол да показал бы тебе одним махом и лом в крестцу, и пружину в заду... Вот тогда бы ты вперед думал, соваться ли туда, где и собака хвостом не мела. Твоя стезя на земле какая? — пытал он Корнея, садясь тут же, у печи на лавку. — Твоя стезя такая: в клетухе[1] своей сидеть, да армячить[2]. А моя — зад корячить. Пора бы давно тебе понять, что все твое жизненное счастье состоит в том, что

---

[1] **Клетуха, закут, котух** —комнатушка с отдельным от общей избы входом из сеней.

[2] **Армячить**—шить армяки, портняжить.

я у тебя имеюсь. Да при этом еще и то, что я — лицо вполне рассудительное, с самостоятельной головою. Другой бы на моем месте взял бы, не разговаривая, да и наложил бы тебе за милую душу горяченьких, и лопай — не обожгись. Ну вот, скажи мне, ради Господа Бога, — это уже передохнувши на лавке, подступало рассудительное лицо со своим любомудрием до Корнея, которого, после полного дня безвыходной в закуте работы, нужда заставляла идти в избу; надо же было кому-то и печку топить, и варево затевать. Мог бы Корней, конечно, и среди бела дня оторваться от изнурительного труда — спину размять да остальными косточками пошевелить. Но уж больно чутким сном спал его брат Тихон, взявший себе за обычай только что не до последней звезды колобродить всякую темноту с оравою таких же точно, как он сам, бездельников. Прежде-то он все больше при селе, при Обзорине ошивался, а нынче навадился домой приводить целую пристяжку захребетников. Да еще попробуй их, до самого обеда неуспанных, потревожить чем в избе. Вот и приспособился Корней с вечера и хату греть, и стряпнею заниматься.

Ну да ладно. Вернемся к недосказанному.

Тиша Глохтун редко теперь опускал тот случай, когда предоставлялась ему возможность привязаться к старшему брату со своим бесстыжим краснобайством.

— Ну вот скажи ты мне, — прилипал он до Корнея,— на кого бы ты стал деньгу тратить, не случись при твоей никчемной жизни единственного кровного человека — меня? На кого? Если бы тебе и повезло жениться на Юстинке Жидковой, которая давно под тебя клинья подбивает, так ты бы от нее дня через три сунулся башкой в петлю. Ведь ты тут сидишь на хуторе безвылазно и не знаешь всего того, что о ней народ говорит.

— Ну и что же о ней говорит... твой народ? То, что она ведьма? Да мне пущай бы сам Христос пришел об этом заявить, я бы и ему не поверил. Таких, как она, и в раю-то еще поискать надо. А то, что лопочут о ней дурни, вроде тебя, так это с досады: чихает она на все ваши любови, чихает и смеется.

— Твое дело — не верь. И все-таки колдунья она, да такая, что даже бабку Стратимиху[1] вынудила убраться из деревни в тайгу жить, хоть та сама из ведьм ведьма. Говорят, что Юстинка умеет в какую-то боль-

---

[1] Стратим — сказочная птица, которая всем птицам мать.

шую сковородку, будто в омут, с головою нырять и там жить столько, сколько ей заблагорассудится. А еще я слыхал, у нее сестра объявилась. И тоже ведьма страшенная. Она даже на люди не показывается, поскольку сотворена из чистого серебра. Боится, что поймают да загубят. Так вот, ежели Юстинка умеет будто бы в своей сковороде по небу летать, то сестра ее, или кем там она ей приходится, имеет такую накидку, которую вместо крыльев распускает и тоже летит. Ее бабы-грибницы как-то в тайге видали: сидела она будто бы на кедровой верхушке и орехи лузгала. Понял? Так что насчет Юстинки подумай как следует. Ну а насчет того, что ежели пришла бы до тебя охота друзьями себя окружить, родными по духу собратьями, то чем, каким особым достоинством сумел бы ты их привлечь? Щедротами своими? Так ведь одна только видимость твоя любого человека до такой тошноты одарит, что придется бежать на Шиверзово[1] болото до бабки Стратимихи — чтобы та испуг вылила...

А как-то раз Тиша Глохтун до того распоясался, до такой степени оскотинел, что снял с межоконного в избе простенка тусклое зеркало в облезлой раме, приложил его тыльной стороной до своего толстенного брюха и надвинулся с ним, будто воин со щитом, плотнехонько до Корнея. При этом он, прямо сказать, наступил на брата.

— На, на! Гляди, гляди! Чего глаза-то чубом занавесил? Все одно не спрячут никакие буйные кудри твоей образины. У тебя ж не лицо, у тебя же черного мяса кусок. Ну бывают, ну случаются у мужиков несносные хари, так те хоть имеют возможность бородой их прикрыть. А у тебя и такой благодати не имеется. Ты глянь, глянь на свое рыло. Оно ж у тебя кабаньей щетиной взялось. Не можешь побрить, так свечкою, что ли, опалил бы. Или бы, как киргиз, повыщипывал бы. Больно? Мало ли что больно. Кровит? Мало ли что кровит. А ты потерпи. У меня нутро давно кровит — на тебя смотреть, но я же терплю. А собратья мои, за которых ты мне шею перепилил, так те изжалковались, бедные, надо мною, — навешивая зеркало на прежнее место, маленько не плакал Тиша Глохтун, но продолжал дрожащим голосом: — Они все спрашивают меня, как я только под одной с тобою крышей спать не боюсь?

---

[1] Шиверзить — быть коварным, ненадежным.

— Так что я теперь, — попытался Корней хотя бы немного утихомирить брата, — виноват я разве, что образ мой настоящий родовым пятном захлестнуло? Однако же тягловой скотиною не сделался я под моим несчастьем. Чего ж ты взялся на мне по веселой своей жизни гонять безо всякого стыда? Тебе же ведь, слава Богу, не десять лет. Пора бы и за ум браться. А ты? День ото дня все безжалостней. Хороши свояки — твои кулаки, мои синяки. Мне ради тебя спины разогнуть некогда. А ты? Ты лучше сам возьми — до зеркала подойдя, глядись в себя. Тебе только двадцать осенью будет, а на твоем, на распрекрасном-то лице, скоро уши и те салом затянет. Столько будешь жрать да спать, так из тебя скоро вообще... курдюк зубастый случится. Ведь ты же собирался в люди подняться, мечтал письмоводом земским заделаться. А кем заделался? Краснобаем да пустодомом. Придумал какого-то Сократа изображать. Оно, конешно, за работящим братом можно и Сократом... Успоряешь, что человеку ничего не надо, а сам на меня голодным зверем кидаешься. Мало того — сам, еще и чужих дармоедов до стола приваживаешь. О Юстинке Жидковой все сплетни пособрал. Знаешь ли ты, как ныне обзоринцы наше подворье величают? Тараканьей заимкою, вот как. Не думал я дожить до такого стыда. Это ж равносильно воровскому притону. Вся обзоринская лоботрясина у нас пасется...

— Ну, ну. Понесло яичко в облачко... В ком это ты лоботрясину узрел? — протрубил Тихон всею своею негодующей толщиной. — Где там величателям твоим, чалдонам-реможникам, понять тонкости жизни людей мыслящих, обособленных миром искусства! Да и ты все мозги свои позашивал. Вылези хоть раз из клетухи, полюбопытствуй, о чем мы говорим-рассуждаем. Хотя бы под дверью подслушай, с каким высоким сословием твой брат, как ты говоришь, вожжается. Эти самые лоботрясы только с виду голубей мозгами гоняют. А ежели их взять на понятие, то каждый из них очень даже сто́ящий человек. Возьми хотя бы того же Нестора-книжника, которого обзоринцы Фарисеем [1] кличут. Да знаешь ты его. На погляд-то он вроде мышь, а в себе — шалишь! В себе он хитрее царских замочков. Никто не догадывается, что будет, когда он те замочки отомкнуть надумает...

---

[1] Фарисей — лицемер.

— И что же будет?

— Я и сам еще не знаю, а только Фарисей страсть как башковит. Ведь он какую азбуку составить намеревается! Такой во все века не было. Взял, допустим, книжицу в руки, его письменами начертанную, открыл обычным порядком и читай себе, коли владеешь азбукой, хотя бы Закон Божий. Ты не ухмыляйся. Я знаю, о чем ты думаешь. На кой, мол, черт попу гармонь — у него кадило есть. Есть. Но Фарисеева буквица такова, что захлопни ту книжицу да обратной стороной для себя переверни, откинь заднюю обложку и... — Тихон сделал глазами большое удивление, поглядел в ладошку, ровно бы в книгу, сообщил: — Тут перед тобой раскрывается совсем иное писание! Как только читать его приступишь, голова загорится, тело возьмется ознобом, а разум время потеряет...

На этом Глохтун замолк, однако ж недосказанность душила его. Он даже по избе заходил — думал, что утрясется. Не утряслась. Вынудила его остановиться против Корнея, который сидел у устья плиты, прилаженной до угревы, и шевелил кочергою огонь.

— Вот так и Нестеров отец мордой крутит, — заметил с обидою Тихон, — когда Фарисей пытается ему втемяшить, что не зря ест его хлеб, что ему в этой темной жизни предстоит сильно прославиться. Ты бы разве от славы отказался? Ни-ког-да!

Глохтун рукой отмахнул от себя всякое сомнение и снова привязался к брату, намереваясь вызвать в нем сочувствие.

— Ты представляешь, что он Фарисею отвечает? И Полкан, дескать, от борзой не отказался, да только породу испортил... Вот как нынче отцы понимают своих сыновей! А ведь не сосед вгонял Фарисея в учение, сам же он пацана мучил. А ты вспомни: каким ты силком принуждал меня образоваться? Кто тебя просил? Вот нас-то вы образовали, а сами? Сами же не дотянулись до того понимания, что ученой голове вынь да положь полную мозговую занятость! Понял или нет? Ни хрена ты, я вижу, не понял, — отмахнулся он от Корнея, но не отстал от него.

— Ты и Прохора Богомаза тоже частенько костеришь. А ведь это ни на каких языках не объяснишь, настолько он из ряда выходящий человек! Обзоринцы его называют Диким Богомазом. А никто не желает понять, почему он Божий образ абы как малюет. Ведь он

только вид народу кажет, что весь по жизни растерян. Не-ет. Он не только ростом выдался, он со своей высоты многое видит, многое примечает. Жалко, не могу тебя до его иконописной сводить — Прохор туда лишнего человека не пускает. Там бы ты увидал, какую сдобную барыню выписывает он. Самыми тонкими красками накладывает ее на добротную холстину. И вот ты стоишь, смотришь на барыню, а она, халда розовая, живьем перед тобою лежит... Вот этак... Перегнутая вся, — повернулся Тихон до Корнея спиною и глянул на него через плечо. — Лежит и вроде бы знать тебя не желает. А сама так вся и пышет голым теплом, ровно из парной выскочила, развалилась по шелковой постели, да на короткий миг оборотилась: кто, дескать, любуется тут мною? Но не этот ее взгляд человека будоражит. Вся закавыка в том, что из этого места, которые бабы юбками занавешивают, у красавицы третий глаз на тебя смотрит. И такой пронзительный — до печенки продирает вниманием. Будто пытает тебя: кто ты есть такой на белом свете?!

С этим строгим вопросом Тиша Глохтун подступил до брата вплотную, но не для того, чтобы добиться до Корнея отчета, чтобы самому шепотом признаться, ровно бы его кто-то мог подслушать:

— Стоишь перед нею — дурак дураком. А ведь отвечаешь! А чего отвечаешь, сам не помнишь. Когда оторвешься от нее, до-олго в себя прийти не можешь... Вот такая штука! Но Прохор никак своею работою не доволен. Хочется ему внимание того глаза довести до крайней прозорливости, чтобы все, кого найдет он нужным допустить до лицезрения розовой барыни, не шепотком, а откровенным голосом сами бы себя исповедовали перед нею. Прохор намерен готовую картину разместить в какой-нибудь проходной комнате. В переднюю он думает назвать гостей; кого-то из нас поставить у двери, чтобы по одному человеку впускать до барыни, кого-то — уводить опрошенных в третью комнату. Сам же Богомаз мыслит спрятаться тут же за ширму и наблюдать в малую дырочку: чего люди об себе говорят? Уж больно ему хочется определить, кто в каких грехах погряз. Потом он собирается чего-то там сложить — разделить — помножить, чтобы понять, кто какое место на земле занимает и какое должен занимать. Он и себя определит, и меня, и Нестора... и тебя, если захочешь. А что? Разве тебе из интереса такая хитрая комис-

сия? А вот я бы и за ширмой не отказался постоять...

— Ну? — спросил Корней. — И чего бы ты после этого делал?

— У-у, — протрубил Тиша. — У меня бы тогда многие по струночке ходили...

— Так ведь нет греха боле, чем гнесть чужую волю, — осудил его Корней, отчего Тихон возмутился.

— Снова не угодил, — сказал он и тут же опять пристал до брата.— А иначе как? Как иначе-то узнать и определить себя на свое место?

— Иначе никак, — усмехнулся Корней. — Только через дырку, — сказал он с горечью, которой Тиша не усвоил, и слова принял за чистую монету и потому воспрял духом.

— Вот видишь... А ты — лоботрясы... Понял, каким делом занят Богомаз? А что Мокшей-балалаечник — про этого и вовсе ни-че-го дурного не скажу. Прохор да Нестор — те ладно. Те недосягаемы для немудрящего понимания. А этот? Чем тебе этот-то не угодил? Ведь он весь как есть на виду. Без него ни свадьбы, ни крестин, ни Рождества, ни Троицы... Когды ты поймешь залежалым своим умом, что задарма люди никого кормить не станут! Ведь за каждый кусок, за каждый глоток Мокшею, как ты его зовешь, Семизвону, башку приходится крепко ломать. Не зря же она у него запрокидывается, не от гордыни, не от мозговой легкости. Он мне признался, что у него какой-то нерв от быстрого тока ума перекрутился — веки ему подергивает. Как только припевку новую выдаст Мокшей головою, так нерв у него надструнится и дернет. А бабы свое рады понимать — балалаешник, вишь ты, подмаргивает им. И начинают перед ним краснеть от тайной надежды. А Мокшею плевать на всех. За ним одна барынька из уезду с лета ухлёстывает. Чо ему обзоринские курехи? Он вымолачивает частушку за частушкой, а ты красней, хоть раскались. Мужик какой бабе за это звезданет, а ему хоть хрен по деревне... Выдает сидит, ажно у чертей уши чешутся. А уж когда с лавки сорвется да в пляс кинется — потолок стонет! Другой раз, когда придет он к нам, я его упрошу, пущай для тебя отчубучит. Может, тогда ты его сполна оценишь. Не-ет. Ей-бо, нет. Не зря Семизвон миром кормится. Вот он сидит на гулянке и про каждого припевки складывает. Тут уж — кому смех, кому слезы. На днях как-то с ходу про меня сморозил. Ты

послушай, — предложил Тихон, запрокинул Мокшеем голову и запел, дергая плечами:

Как у Тиши Мармухи, да,
завелися три блохи.
Тиша хочет их словить, да,
и фамилию спросить.

При этом от чрезмерного восторга Глохтун крутанул ногою и пожелал принять от Корнея одобрение.

— Ну? — спросил он нетерпеливо. — Каково? Хто еще в Обзорине способен придумать такое — у блохи фамилию требовать? И всякая выдумка у него наособицу...

— У Якишки у Морозова тоже все как есть наособицу, — сказал Корней. — Которое утро на сарайку влезает, руками себя хлопает и голосит на всю округу. Да ведь сколь умело петухам подыгрывает! Мы через речку живем, и то нашим курам ажно глаза туманом затягивает. Это ли не даровитость?

— Во-от, вот, вот, — заклохтал Тиша. — В том-то и беда мозговитых людей, что их очень непросто от безмозглых отличить. Чтобы в признаках величия тонко разбираться, опять надо обладать небесным озарением. У Якишки у Морозова исключительность его неделями повторяется — покуда его отец дубиною не отходит. А у Мокшея она всякий день разнообразится. Значит, голова его варит, а не переваривает одно и то же...

— Разнообразится, — с печалью перебил Корней брата, — сегодня грезится, завтра блазнится... Ладно, Мокшей — этот и в самом деле на ходу подметки рвет. А у Прохора твоего Богомаза? У него только одна замычка — барыню написать. А у Фарисея одна...

— У них цель, а не замычка. Ясно? А у Якишки какая цель?

— Народ повеселить... Разве это не цель? К тому же, в отличку от Семизвона, кормежкою да брагою он за это не берет...

И от этого довода сумел бы Глохтун отбрехнуться, да только не захотел Корней выслушивать осточертевшие его бредни. Тихон еще о чем-то рассусоливал, а он, подбросивши в печь поленьев, прикрыл дверцу, поднялся с низенькой скамейки и ушагал в свою портняжью клетуху.

Там Корней раздумался о том, кому на руку доброта таких, как он, уступчивых людей. Не на подобной ли покорности взрастают всякие там Тишки да Несторы —

пустозвоны да неспоры, Прохи да Мокшухи — пройды, побирухи [1]. За что же тогда, за какие заслуги воздавать на небесах доброте, коли плодит она своею сговорчивостью дармоедов да краснобаев? Выходит, что ей и после смерти самое место в преисподней. Однако в Законе Божьем нету заповеди — не воскорми тунеядца. Коли обвинять доброту, тогда и Землю-матушку не трудно укорить тем, что она питает собой и белену, и волчье лыко... Не Земля, знать, виновата, а зернышко. Однако же и злое зернышко сотворено владыкою не по недомыслию, а с умыслом. И в нем, видать, имеется необходимость. Выходит, что в устройстве жизни земной все мы чего-то сильно недопонимаем. Ведь, по сути, мы не знаем даже того, для чего она задумана, жизнь? Чем она становится потом? Где скапливается? Что из нее дальше Господь лепит? А насчет того, что им в жизнь всякое мироедство выпущено, так ведь на то и щука в море, чтобы карась не дремал... Ведь человек от человека усовершается...

Тихон собрался, ушел в деревню, а Корней, сидючи в раздумье, даже иглою портняжьей поддевать позабыл. Вперился в ламповый на столе огонек недвижным взором и задеревенел. Он и внимания никакого не обратил на то, что дверь клетухи кем-то осторожно отворилась и обратно вернулась до порога, никого не впустивши. Ему лишь где-то далеко в себе подумалось: «Нешто Тихон воротился? Может, денег спросить?» Корнею даже вздохнулось: что-де с гулеваном поделаешь? Вздохнулось, и горькая эта дума привела его немного в себя. И опять он ухватился за иглу. Но и стежка путевого не успел положить, как ламповый огонек заволновался безо всякой видимой причины — вроде кто подул на него сверху.

«Дверей путем не прикрыл», — снова подумалось Корнею о Тихоне. Отложив с колен работу, он собрался подняться, чтобы унять сквозняк, но лампа вдруг совсем погасла.

— Керосин кончился? — сам у себя спросил Корней.

Он, придержавши рукавом горячее стекло, поболтал лампою. Нутро ее жестяное плескануло тяжело.

«Странно, однако», — подивился Корней и шагнул —

---

[1] Тишки — забавы, гульба, безделие; неспор — человек бесполезный, в делах медлительный; пройда — плут, себядум: мокшуха — человек, живущий за счет чужой доброты.

сходить в избу, огня принести. Но из темноты ка-ак кто-то дохнет ему в лицо полной грудью. Ажно свалило обратно на лавку, затылком о стену пристукнуло. И тут уж явно раздалась дверь да крепко захлопнулась. И сеношная проделала то же самое. И все. И ни звука больше ни в доме, ни во дворе.

Что могло Корнею этой минутой подуматься?

Да ничего. Просто сидел он, ждал смерти, чуя на лице такой холод, будто оно ледяной коркою от того дыхания взялось.

Никто, однако, в клетуху не воротился, не представился хозяину и огня в лампе не засветил. Пришлось Корнею пересиливать себя — не век же истуканом сидеть.

Встал он на слабые ноги, из дому вышел. На дворе полные сумерки. На небе ни луны, ни звездочки. Только вьется, мельтешит в воздухе мартовский легкий снежок. При нем ясно видать, что по двору натоптаны одни только разлапистые следы тяжелого на поступь Тихона.

Корней за ворота выбрел — и там никого.

Протоптанный в сторону реки Толбы медвежий след Тихона успело припорошить снегом. Боле ничего. Лишь какая-то крупная птица минует облетом заречное село Обзорино. Должно быть, идет на дальние кедрачи. То ли глухаря понесло на скорое токовище, то ли неясыть оголодала — решила поохотиться, а может, и впрямь... ведьма полетела... полощет над землею черной раздувайкой...

Насчет ведьмы не Тихон сочинил. Последнее время стали многие поговаривать, будто бы появилась в тайге серебряная девка. Прикрыта девка черным балахоном, который служит ей заместо крыльев. Придумано еще, что ее вроде бы диким вихрем на землю с луны сдунуло, что никакая она не ведьма. Просто на луне все люди таковы. А имелось убеждение еще и такое, что никакой вихрь ни с какой луны ее не сваливал — это колдуньи Стратимихи дочка. Прилетает она из тайги до Юстинки Жидковой, дружбу якобы с которой старательно охраняет от людей, а особенно от матери.

Ерунда, конечно, собачья. Но ежели эта ерунда и вправду имеет облик ведьмы, так неужто ей захотелось пахать ночное небо только для того, чтобы погасить огонь в лампе? Чепуха, конечно. Но ведь кто-то в доме был. Или Корней совсем уж с ума рехнулся?

С тем и воротился Мармуха в дом. Опаскою забрал из своего закута лампу, в избе поспешно насадил на ее фитилек живой свет, однако в клетуху пойти не поторопился. А присел в избе на лавку, стал прикидывать:

«Может, Тихон какую шутку надо мной вычудил? Может, надеется пуганым меня сотворить, чтобы я никак не сопротивлялся его разгулу? Люди-то пересказывали, что Тишкина свора грозилась из меня идиота сделать. Я, видите ли, брату плешь переел. Видно, и девку таежную они придумали — Юстинку опорочить, потому как она всею душой меня жалеет. Грозится свару наказать. Да что она с ними сделает? А с этих штукарей любая проделка станется...»

Станется не станется, а на этом выводе Корней немного успокоился. Но боязнь вовсе не покинула его. Все казалось, что по оконцам не снег шебаршит, а кто-то огромный, сизый трется поседелой спиною о стекло. Поленья в печи стреляют — не совсем просохли за долгую зиму. Ворошатся поленья в огне, а представляется, что кто-то через трубу в устье печное спрыгнул и сейчас вылезет наружу...

И все-таки не идется ему в клетуху. Что делать? Уйти бы сейчас ему из дому совсем, переночевать бы где-нибудь. Да кому такой ночевальщик нужен? Обзоринцы давно говорят, что, мол, старшой Мармуха Юстинки Жидковой не лучше. Потому девка и бегает за ним. А Корней лишь вид кажет, что не хочет молодой красоте жизнь портить. Сами же они давно сладили... Чего Корней с Юстиною сладили, о том, правда, речей не заводили. Да и что же, кроме Юстинки, никто на Тараканью заимку не ходил, что ли? Поспешал до Корнея всякий народ — и девки, и бабы, и мужики, и парни: кому примерку, кому пошив...

По-всякому жизнь на земле строится. А у старшого Мармухи была именно такая.

Вот сидит Корней в избе, голову повесил. А на ум лезет всякая чертопляска.

«А что, ежели, — думает, — я, в своем горе, и в самом деле у сатаны на примете? Ох, взять бы насмелиться да продать ему душу! Только бы избавиться от поганой образины! Можно было бы тогда позволить Юстинке любить меня...»

Вот в это время и взялся во дворе страшный гомон: захлопало калиткою, захрустело ломким снегом, дурным пением наполнилась тишина...

Корней с лавки точно ошпаренный соскочил. Не разобрался что к чему, на колени перед иконой упал. Давай креститься на образ Богоматери, давай поспешно каяться в том, что допустил до себя лихую думу. Да только не дал ему путем разговориться с Богородицей голос родного брата. Оказалось, что никакие не посланники сатаны прикатили до Корнея за кровавой договорной подписью — воротился на веселых ногах беспечальный Тихон со всею своей колобродиной.

Но на этот раз сборище братово Корнея не раздосадовало. Скорее наоборот: ему вдруг занемоглось хотя бы таким способом отделаться от одиночества, которое подступало сегодня до него, можно сказать, с ножом к горлу. Однако бубнявый за окном голос Тихона неожиданно да во всю пьяную неосторожность доложил собутыльникам своим:

— Да я чо? Я и сам бы... со всей душою... в погреб его... Сиди, не ворчи! Только не-ет, лаврики [1], и еще раз нет. Не могу я вам такого дозволить. Мать помирала — наказывала, батя завещал: Корнею быть для меня отцом, мне для него сыном. Вот в чем закавыка. Поняли? А так бы я его и сам — в погреб. И без вас бы давно управился, да греха на душу брать не желаю...

— А мы у тебя на что? На что мы-то у тебя? — высказался чей-то голос и настырно потребовал ответа. — Ну?

— Ну и сажайте, — взвизгнул вдруг Тишка. — Вон погреб, вот — я... А отца родного не дозволю, — уже слезно ерепенился он. — Ежели много побить — это ничего, это на пользу. А в погреб — ни-ни! Только без меня... Я сердцем человек слабый — ступайте одни. Чуток побейте, а я тут погожу. Потом я вроде бы выручать его прибегу. Давайте, давайте. Не стойте...

Вот ведь еще каким бывает человек.

Пьянка, скажете, виновата? Пьянка, конечно, она баба сволотная, но не сволотней негодяя. Она даже хороша тем, что хмельной мужик навыворот шит — все матерки наружу. Вот и Тише Глохтуну допилось на этот раз до самой подноготной.

Не стал Корней дожидаться в избе, когда в дурозвонах согласуется хмельная блажь. Убрался в клетуху, где задвинул на двери надежный засов.

---

[1] От слова л а в р ы — венец славы; л а в р и к же — волчье лыко.

И вот опять полезли ему в голову прежние мысли. И повторно подумалось ему, что, заявись до него нечистый дух, продался бы он черту-дьяволу со всеми своими потрохами.

Да. Красив Полкан с хвоста...

До самых петухов, а и того, может, дальше, не спалось Корнею, опечаленному Тихоновым вероломством. Да ежели он и сумел бы одолеть душевную горечь, сонной благодати все одно не отпустила б ему разгульная свора: всю ноченьку напролет грохотало в доме вавилонское столпотворение. Изба ходила ходуном от дикой пляски, хохота и пьяной возни.

Разгул пытался изначально вломиться в Корнеев закут, но скоро отстал — увлекся бесшабашным весельем.

Только перед самым рассветом бражная канитель притомилась, свору похватала длиннорукая усталость, косматая дрема пособила ей повалить ретивых гуляк кого где пришлось.

И Корней в закуте своем забылся, наконец, коротким сном. Забылся Корней, да вдруг видится ему в дреме, что сидит он опять же в котухе и чего-то шьет. На торцовой же стене, там, где у него обычно всякие выкройки, мерила поразвешаны, вдруг да образовалось в огромную сковороду зеркало — маленько не выше Корнея. И взято бы то зеркало да в гладкую золоченую раму. Поверхность его до того чиста, что и вовсе бы ее нету, а по ту сторону проема расположена такая же точно клетуха. И вот бы Корней поднимается с места, смотрит в тот пролаз и узнает там самого себя, хотя на отраженном лице никакого родимого пятна нет. А стоит — улыбается такой ли раскрасавец статный, что ни отвернуться нельзя, ни зажмуриться. Сердце ж Корнеево трепещет радостью, а глазам слезы лить хочется. Тут бы оплечь красавца образовалась тень, вид которой сплошь занавешен монашьим клобуком. Корней и думает бы себе: «Вот она, явилась, чертова милость, накликанная моим отчаяньем». Однако же смекает себе: как это, дескать, удалось дьяволу рожищи свои под клобуком утаить настолько, что вся голова его поката? Да и чего бы, дескать, сатане-то рыло свое занавешивать? Уж коли прибыл торговать, так какую холеру в прятушки играть.

С думой такою кинулся бы он вперед да хвать через зеркало нечистого за черный клобук. И сдернул напрочь глухую накрыву. А под накрывою нет никого. Полная

пустота. И вот бы эта пустота опять дохнула на Корнея страшным морозом. Таким ли ознобом проняла, что проснулся он.

В клетухе полная темнота — лампу Корней в избе забыл.

Стряс он с головы жуткий сон, лицо ощупал, а оно прямо как деревянным стало — ямки не продавить. Потянулся он с лавки через стол — приглядеться к черному заоконью: скоро ли рассвет, а с улицы от рамы так и отпрянул кто-то. Лишь всполох монашьего балахона резанул Корнея по глазам и погас за стеною, отворив перед ним полное весеннее утро.

Да что же это такое делается на белом свете?!

Ну да ладно. В окно все-таки гляделось полное утро, а не полуночная темнота. Свет он и есть свет. Страхи на свету, что листья на кусту — кто их больно-то разглядывает? И опять подумалось Корнею, что все это Тихоновы штучки.

Вышел Мармуха на крыльцо проверить свои доводы; встретила его весенняя ростепель. Остановился он, улыбнулся скорому теперь теплу. Стоит, слушает звон сосновки, сам думает о шутниках:

«Ишь! Разрезвились бороды, как над стервой вороны. Однако хватит. Надо как-то резвунов отрезвить. Ежели и на этот раз поступиться, скоро и в самом деле придется под лавкою жить...»

Спустился Корней с крыльца, вокруг избы обошел — на рыхлом, напавшем за ночь снегу — ни следа. Никто, получается, из дому не выходил. И возле окна ничего нету.

«Зря на парней грешу, — подумалось Корнею. — Видно, и впрямь с ума я сдвинулся».

Подумалось просто, безо всякого отчаянья. Ровно бы он наперед знал, что иного окончания столь горестной его жизни случиться никак не может.

С этой мирною, ровно бы клинок, упрятанный в ножны, думою и воротился Корней на крыльцо. Поднялся он в сени, увидал на гвозде моток бельевой веревки, спросил не себя, а кого-то стороннего. Того, знать, самого, который отпрянул от окна:

— Может, мне повеситься? Пока не поздно?...

Но снова спохватился, отнекиваться стал:

— Падет же в башку такой вздор. Чо уж я совсем-то? Ну, задавлюсь. А как же Тихон? Он же без меня все хозяйство прогуляет и себя по миру пошлет. Не-ет. Надо

терпеть. Тихон — парняга видный. Авось да понравится какой-нибудь ласковой сироте, навроде Юстинки Жидковой. Мало ли на свете чудес... С красивою да умной женою и мой, глядишь, шалопай одумается. А я стану работать в четыре руки. Там и племяшата появятся. Сызмала-то привыкшие до моего лица, бояться они меня не станут. А я им сказок разных насочиняю, небылиц напридумаю. Тут оно и настанет, мое счастье...

Нашептывая себе под нос такую лепетуху, прошел Корней в закут, и вот тут-то его хватанул настоящий мороз. На той самой, на торцовой стене, где определялось им портняжье снаряжение, и в самом деле увидел он овальное зеркало в золоченой раме. Точно таким предстало оно наяву, каким привиделось во сне.

Даже волосы Корнеевы поднялись, но бежать из клетухи он не кинулся. А припавши спиною до косяка, постоял, подумал, решил: «Нет. Быть того не может, чтобы все это происходило без участия нечистого духа. Иначе — безумие».

Мармухина мыза, или Тараканья заимка (как теперь обзоринцы именовали отводную заречную усадьбу), была поставлена покойным ныне Евстигнеем Мармухою (портным от Господа Бога, человеком доброславным) где-то около тридцати годов тому назад. Она была сорудована Мармухою после того, как в его молодой, согласной семье появился первенец, все тот же Корней. Младенец оказался от самых бровей до ключиц облитым сплошной кровавой рыхлиною родимого пятна. А наши бабы обо всем бают, даже о том, чего небеса не знают. Так вот, они уверили Арину Мармушиху, что она сама в том виновата.

— Не след те, девка-матушка, носивши под сердцем дите, бегать было глядеть на большой пожар, — корили они бедную мать. — Не поостереглась. Вот оно сыночка-то и облило дымным пламенем...

В тот же самый год вымолила Арина у Евстигнея своего согласия отселиться от основного народа куда-нибудь в глухую стороночку. Не то задергает, задразнит и без того на всю жизнь обиженного судьбою Корнеюшку людское злодушие.

С той поры и притаилась Мармухина мыза на отшибе от таежного села Обзорина.

Кроме косматой густоты нетронутого ельника была та заимка отгорожена от излишнего людского внимания еще и Малой Толбою — речонкой узенькой, втиснутой в

крутые каменные берега. Речонка, хотя и не славилась ни широтой своею, ни глубиной — в сухую пору путного ведра воды не почерпнуть, умела, однако, всякой весною показать обзоринцам свой бесноватый характер.

Откуда-то с далекого верховья в одночасье срывалась лавина тяжелой воды, замешанной на красной глине да на ледяной икре, скатывалась в Толбу и неслась ее руслом, сотворенным из дикого камня, студеной, гремучей молнией. Молния плевалась во все стороны злою пеною и сияла по всему телу рассеянной радугой мельчайших брызг.

Вся эта изгибистая, сверкающая пропасть жизни ревела, стонала от избытка силы, грозилась вырваться из берегов. Но, слава тебе, Господи, покуда никогда еще не одолевала гранитных откосов. А где-то за оснеженной, полусонной покуда еще тайгою она и вовсе истекала своим бешенством в Большую Толбу...

Случай появления овального зеркала произошел на мызе аккурат под святые Сороки, или в ту самую пору весны, когда Земля наша матушка, после долгого зимнего покоя, только-только начинает просыпаться да поворачиваться с боку на бок, чтобы подставить свое залежалое тело под лучи молодого, ретивого солнца.

От этого, знать, разворота и срывалась с поднебесного верховья лавина кроваво-льдистого потока.

Рев взбесившейся Толбы да мелкая по земле дрожь берегового усилия, которое еле удерживало этакую зверину в гранитных пределах, вдруг докатились до Мармухина хутора, передались Корнею, оторвали его от зеркальной заботы, принудили сообразить в чем дело.

Поднялась Толба! И это чудо для старшого Мармухи оказалось не менее важным. Поэтому он поспешил натянуть на себя понитку [1], вздеть на голову треух и малыми минутами оказаться на высоком берегу распаленной весною реки.

Ему было хорошо видно, как по ту сторону Толбы набегали на берег да скучивались по-над скалистой крутизною взбудораженные обзоринцы. Солидный народ тревожной красотою весеннего своеволия восторгался очень даже сдержанно, в то время как ребятня, да и молодежь с ходу подпадали под настроение реки, полной дерзновенного воскрешения. Они ликовали: свистели и хохотали, глотничали, намереваясь перекричать голос реки,

[1] П о н и т к а — рабочий кафтан из полусукна.

и плясали под дикие припевки, которые, однако, не были никому слышны, поскольку у всякого стоял в ушах стозвонный мартовский набат. Но веселье оттого казалось еще полнее.

Народ и накатывал, и отступал, а Корнею со своего берега казалось, что на яру толпятся одни и те же люди, околдованные, как и он сам, жутким великолепием торжества коренного характера Земли.

Вот и солнце мартовское, на восходе, казалось, робкое, притуманенное дымкой неуверенности, успело когда-то взбежать на небесный пригорок весеннего полудня и расхлестнуться во всю безоблачность теплыми лучами. Отзывчивое небо полыхнуло накопленной на зиму лазурью. Красноглинистый поток Малой Толбы, под чешуею наплавной, весенней накипи, засквозил отсветом прямо-таки живой, густущей крови. И получилось так, что он вроде бы отразил, увеличил и бесконечно размножил склоненное над водою лицо Корнея Мармухи, его дикую неповторимость.

В необузданном разгуле природы обычно растворяются даже человеческие мысли, а с ними и душевная боль. Вот и Корней, забывши о своих печалях, упивался радостью природы. Он посмеивался над лихостью Толбы, что-то подборматывал ее грому, кивал да покачивал головою.

Со стороны могло бы показаться, что стоит по-над кручею страшно добрый зверь. Этот зверь уважает неистовый норов того зверя, который беснуется под яром, любуется его неукротимостью, однако же заклинает его быть поосмотрительней, посдержанней, что ли: играть, да не заиграться; пугать, да не забываться...

Сколько бы длилось еще это заклинание, кабы со спины до Мармухи не подскочил какой-то дурень, не толкнул бы его в загорбок, а затем не успел бы ухватить его за шиворот понитки. И на том спасибо, что ухватил, иначе нырять бы «доброму зверю» в ледяном потоке до самого океана.

Столь безоглядным шутником оказался Мокшей-балалаечник. Он, раньше прочих гулевак услыхавший грохот весны, переполошил весь дом и наперед остальной братии прикатил на берег Толбы. Нет, не весенняя удаль позвала к себе Семизвона — выгнало его до реки желание поскорее убедиться в том, что теперь ему предстоит долгое сытное безделье.

Обычно Толба бушевала никак не меньше недели, а

то и за полный десяток дней затягивался ее приступ. И какие бы мостки да переправы прежде паводка ни городились через нее, всегда и все сносилось подчистую. Так что, в разливанную пору, человека на другую сторону реки сумел бы переправить разве что нечистый дух. Вот и теперь получалось, что дружная подвижка весны, всем как есть определившая свою долю восторга, одному лишь и без того горестному Корнею поднесла крупную дулю: подсунула на долгий прикорм, вдобавок к родному паразиту, еще целый пучок дармоедов.

Такая нежданная забота осозналась Мармухою сполна за то время, покуда он стоял на берегу да, забывши о реке, глядел-видел, как следом за Мокшеем-балалаечником вытрухивал из-за молодых елок толстозадый брат Тиша Глохтун. Позадь его дробил снег быстрыми ножками Нестор Фарисей. Из-под его легкого венца волос, не прикрытых шапкою, этаким пистолетным дульцем торчал заложенный за ухо грифилек.

Последним из-за ельника выбросил медленные свои ходули Прохор Богомаз. Этот не ликовал. На его бородатом лице была образована полнейшая досада человека, оторванного от любимого дела. За такую вольность он сразу и откровенно невзлюбил весеннюю Толбу, потому и взялся швырять в нее все, что подворачивалось под его нервную, сухую руку. Однако же из-под насупленных его бровей время от времени сверкали огоньки жадного любопытства, оттого-то представлялось, что этот Дикий Богомаз и в самом деле живет за глухою ширмою. Живет для того, чтобы разглядывать через дырочку тайны чужих жизней.

— Пфу! — плюнул Корней в сторону, и не захотелось ему любоваться даже Толбою.

Своей скотины Корней Мармуха не держал. За его золотые руки люди нанашивали в дом всякого корму вдосталь. В амбарчике у него, по ларям-сусекам, можно было полною пличкою[1] подхватить сколь потребно и муки, и крупы всякой. В кладовке, с крученой снитки, за потолочный крюк зацепленной, можно было срезать и кругалек угодной колбасы, и рыбью вяленую либо копченую штуку, снять со стены тяжелую снизку сухого боровика.

Пожелаешь, заходи в просторный ледник, бери чего

[1] Пличка — совок для пересыпки зерна, крупы.

душа пожелает: вот тебе шматок сала с чесноком, вот кус грудинки наваристой, вот и филей — тонкий ли, английский ли; хочешь — баранина молодая; гусятинки пожелал — найдется и гусятинка. Тут определен лагушонок с мороженой клюквою, там — брусника на меду. В погребке — капуста, редька, прочие огородные коренья...

Одним словом, о том, как перебыть ему завтрашний день, Корней не вздыхал. Было чего и в печатном штофаре поставить в престольный праздник перед желанным гостем.

Ну так перед желанным.

А какое желание могла вызвать в его душе Тихонова шатия-братия? Однако ж в народе на такой случай говорится: терпи нужду — не скликай беду.

Воротился Корней на заимку — зеркало в клетухе как висело, так и висит. Тут Мармуху и осенило: покуда поутру носило его вкруг дома, подговорщики Тихоновы и успели овальную позолоту на стену пристроить.

Ну что ж. Ладно. Повиси. Спешить теперь некуда. Воротится с Толбы эта свора, потихоньку и разберемся. На трезвую-то бóшку и черт бывает с блошку...

За такими надеждами Корней успел и порядок в избе навести, и плиту растопить. Поставил варево подогреть, сам в клетухе на долгом портняжьем столе крой разложил. Приступил туда-сюда измерять-прикидывать: так будет лучше спинку расположить, тут рукав пройдет, а сбоку пола выкроится...

Крутит Корней мерками и так и сяк, по давней привычке, приговаривает:

— Хорошо, отлично...

Наколдовывает стоит, а самого так и тянет заглянуть в зеркало. Но не решается. Вдруг да вправду... черная тень из-за спины!

Потом все-таки не выдержал, потянулся, лицом отразился. Черной тени не увидал, а поразиться ему довелось: пятно его родимое вроде как потеряло свою прежнюю яркость, будто бы ее щелоком каким маленько отъело.

«Ей-бо, рехнусь, — подумал Корней. — Ума не приложу: как все это растолковать? — Его даже беспокойство взяло. — Уж больно долго Тишкино охломостье [1] с реки не жалует — не случилось ли чего?!»

---

[1] Охломост —тунеядец, мошенник.

Ничего не случилось. Никаким половодьем Глохтуново братство не захлестнуло. Как только жрать захотело, ровно с каланчи слетело. Да разоралось во дворе столь ретиво, как будто новый Кучум на Сибирь пошел.

Тут клетухина дверь расхлобыстнулась, с нею заодно разверзлась и Тихонова глотка.

— Эй, хозяин! — успел он выпустить из себя только одного раскатистого дурака и сразу же подавился удивлением.

Нет, не в Корнее узрел он перемену — увидал на стене овальное диво.

— Ё-о моё-о! — только и сумел он выдавить из распахнутого рта, и то захлопал от усилия глазами. Затем перевел те глаза на брата и бухнул... телегу в мешок: — Где спёр?

— Опомнись! — сказал Корней.

Глохтун опомнился.

— Эй, робя! — крикнул он придержавшемуся во дворе хороводу. — Ходи сюда! — И первому подскочившему до закута балалаечнику объявил, указывая толстым пальцем на зеркало: — Глянь-ка, Ванька, что делает папанька... Пироги жрет, а нам не дает. — И привязался до Корнея. — На́што тебе этакая царская штуковина? Ты чо, своею рожей собрался любоваться? А ну пусти!

Тихон оттолкнул брата, прошел в глубь закута.

— Я его в избе определю, — сказал. — А с тебя и этого довольно, — буркнул, когда притащил из хаты и сунул на лавку облезлое старье. — Сам потом вещай, а щас подавай гостям лопать — промялся народ.

И приступил тот народ лопать — себя по пузу хлопать. А как пентюх набился — язык распустился, форсун заиграл. Ну, а на заимке-то... перед кем форсить? В Обзорине-селе этим самоумникам в рот заглядывать какие-никакие охотники все-таки отыскивались; было на кого франтобесам выплеснуть свою пахту![1] А тут? На Тараканьей заимке? Кому она тут нужна, отрыжка их сытости? Самого-то себя этот клубок жвачки давно уже до ноздрей наслушался. Вот когда представилось им великим везением то, что на хуторе оказался прежде ими глубоко презираемый Корней.

Только ведь у старшого Мармухи не было времени рассусоливать с непрошеными гостями. Ему надо было теперь в три винта крутиться: успевать угощать этих

---

[1] Пахта — оболтки из-под масла.

чванливых самодаров, хотя бы какой-то порядок на заимке держать, а, главное, портняжить. Ведь когда половодье сойдет, заказчик до него через Толбу побежит. Не вправе ж он, взамен готового пошива, выставить перед людьми всю эту брехливую братию. Но лишь только выпадала Корнею свободная минутка приступить к урочному делу, как тут же холера снаряжала до него то одного пустозвона, то другого. И всяк неровил окунуться в его душу по самую маковицу — чтоб вас черт кунал да потерял!

Нестор, к примеру, Фарисей, сполна оправдывал свое прозвание. Он постоянно подхихикивал каким-то потаенным замыслам, заглядывал собеседнику в глаза, упорно ждал, когда же тот сам обо всем догадается. Чужая недогадливость, знать, сильно щекотала книжника: он все прыгал разбойным куренком, все чего-то высматривал в человеке живое, точно улавливал момент, когда можно будет выклюнуть из него кусочек души.

Корнею же он докладывал быстрым шепотом:

— Я, знаете ли, пишу-сочиняю этакую книжицу... этакими литерами. Вот. Мне потребно, для ее сотворения, прокопаться, знаете ли, в самое кровящее нутро человека. А разве в изгаженном нутре этакую-то малость отыщешь? — допытывался он и пыркал тонюсенькими губешками, что означало: нет, не отыщешь! Затем он выкладывал перед Мармухою самый смак своего интереса.— Вы, Корней Евстигнеевич... человек кристальный. Но что вас сохранило в чистоте? А сохранило вас несчастье ваше. Неволя. А неволя не томить человека не может. Потому и захотелось, чтобы вы распахнулись передо мною всею истомленностью. Доверьтесь мне, Корней Евстегнеевич, как страдалец страдальцу!..

С подобною белибердой Нестор появлялся в котухе по нескольку раз на дню.

Шел до Корнея со своими острыми глаголами и Прохор Богомаз. Как только ему выпадала нужда чапать ходулями за сараюшку, на обратном пути никак мимо Корнеевой клетухи ему не проходилось. В три мерных шага одолевал он довольно просторные сени мармухинского дома, за порогом котуха медлил и вдруг разгваздывал дверь во весь мах.

Ему, похоже, хотелось застать хозяина врасплох за непременно поганым делом.

Корнею был хорошо слышен затаившийся в сенях Богомаз, но всякий раз при его появлении он сильно

вздрагивал, ровно бы и в самом деле творил непотребность. При этом Прохор выпускал из-под ленивых век липкий огонек догадки. А Корней, неясно почему, чувствовал, что попался, что теперь надо признаваться в чем-то, хотя бы самому себе, и оправдываться: нету, мол, кошки без оплошки...

Прохор на лавку обычно не садился — опускался на корточки у дверного косяка, припадал к нему спиной и улыбался Корнею по-доброму, почти по-детски. На это уходило мгновений двадцать. После отворял чуть видный среди волосни рот, и только тогда из него начинала производиться речь, которая всегда завязывалась вопросом:

— Ну? Чего поделываем?

Потом на лице Богомаза вдруг начинала обживаться мысль: дергать его за ноздри, приотворять веки, шевелить бровями, даже ушами.

Пыталась она и головой качать.

При этом Прохор произносил с расстановкою:

— Ни-ка-ко-го порядка не блюдем, ни-ка-ко-го.

Так он отдувался и принимался нажимать на Корнея, словно карманник на полоротого зеваку:

— Давай-ка мы возьмем да сойдемся-ка на таком вопросе: чего нам не хватает в земном устройстве? А не хватает нам простого мерила. Если мерило придумать, то на Земле наступит полный порядок.

— А кто же в мерителях-то будет состоять? — торопился Корней размазать нарисованную Прохором картину.

— Кто мерило сотворит, — отвечал тот сердитым от обиды голосом, — тому и быть мерителем.

— Однако, — не одобрял ответа Корней. — Сам Господь и тот на сортировку такую не решается. Ежели он и оценивает людей, то лишь после смерти. И разбирает их не по форме да разуму, а по нажитым грехам.

— Но ведь кто, как не он, дал человеку разум? Для чего дал?

— Должно быть, для того, чтобы он управлял сутью человеческой, согласуясь с душой.

— Ну а почему тогда только по душе судить?

— Ей все приходится брать на себя, поскольку она лишь одна нетленна. Вот и судима оказывается она и за наплевательское к ней отношение со стороны разума и за упрямое с нею несогласие телесной потребности нашей. А по разуму определять — больно хитро. Ведь всяк

лицедей[1] мудрей семи судей, а что точивый Пров[2] — тому хоть семь умов...

— И все же венец человека — разум! — не желал Прохор размягчить в себе уступкой того, что в нем утрамбовалось долгим умствованием.

Но и Корней пытался держать взятую линию:

— Разум, конешно... Разум — он отец. А душа — мать, — доказывал он. — Только при полном их здоровании да согласии и процветает в человеке задумка Божья, — стоял он на своем, отчего Богомаз терял терпение и начинал подергиваться.

— Хочу знать, — уже кричал он, — где она, душа-то? Где? Ты мне ее дай поосязать, — тянул он до Корнея жилистые руки, теми же клешнями начинал ощупывать себе голову и быстро докладывал, — разум-то наш, вот он. Тут, — стучал он по волосатому черепу козанками пальцев. — А душа? Где она? В этом месте — сердце, — тыкал он себя в грудь, — в этом — рубец, ниже — требуха. А душа где? Чего-то я ее, сколь ни щупаю, не могу в себе обнаружить.

— Плохо твое дело, коли ты не чуешь ее, — вздыхал с печалью Корней. — Разум в человеке прикидкою да своевыгодой сказывается, а душа — заботой и болью обо всем окружении. В тебе душа не болит, вот ты ее и не чуешь. Она у тебя в самодовольстве жиреет, чего ей трепыхаться? Надо б тебе немного спесь охолодить; понять бы то, что нету на земле человека людее всех остальных. Нету и никогда не будет. Может, тогда душа твоя очнется...

Чужих советов Дикий Богомаз ценить не умел, поскольку и впрямь походило на то, что душа его пребывает в глубоком обмороке, а голова в бреду. Вот тогда, ничего не выспоривший, подскакивал он на свои ходули и принимался на них бегать чуть ли не по стенам. В котухе раздолья оказывалось маловато, так его выносило за порог. Там он начинал хлобыстать дверями, притворами, калиткой. Набегавшись, возвращался в избу, забивался в какой-нибудь угол и приступал заново накапливать чванство.

Корней же оставался в котухе размышлять о том, что каких только людей ни плодит наша Земля.

Людское это многообразие вскоре подтверждалось

---

[1] Лицедей — двуличный человек, хитрец и ловкач.
[2] Точивый — за всех страдающий, щедрый.

появлением в закуте Мокшея-балалаечника. Страсть какой конопатый Мокшей впяливался в клетуху с цыганским выпляском. Выкинувши коленце, он с хохотом кидался обнимать Корнея, тормошил его, как будто желал пробудить в нем особое до себя внимание, а там залюбленной девкою закатывал глаза.

— Хочу зеленый пинжак, — взывал он в потолок. — Ой, как хочу! И штаны хочу. Какого цвета штаны у Фазана? — подталкивал он Корнея игривым плечом. — Кирпичного? Шей кирпичные. У тебя тут уйма всяких отрезков. Сваргань такие, чтобы все ахнули. А? Договорились? Сварганишь? Ну, а что? Жалко? Ну-у уж... Друг ты мой ситцевый. Прошу тебя. Ишо б рубаху красную атласную с косым воротом... Уважь, друг. Знаешь, как за мною девки поползут — жужелицами, — уверял он и показывал по столу проворными в рыжих волосах пальцами, как бегают жуки-скороходы. — И картуз, — спохватывался он. — Парчовый. Под такую же жилетку. А? Чтобы соответствовало... Представляешь, какая красота?! Иду по улице — картуз блестит, околыш в два пальца... Нет. Давай в два с половиной. И все. Больше ни-чего не буду просить. Договорились? Что ты жмешься? На-адо же! Чужого пожалел. Ну и жмот. Никогда б не подумал... Вот дурак — унижаюсь тут! Я же — не за красивые глазки. Я про тебя песен насочиняю. Хочешь — слезные, хочешь — какие хочешь... Я на любые горазд. Щас, погоди маленько. Дай подумать, — настораживал Мокшей волосатый палец перед самым Корнеевым носом и вдруг начинал протяжно орать:

Мимо кладбища-могил
Корней Мармуха проходил. О-ох!
Помянул свою он жизнь, да —
слезы кровью полили-ись. О-ох!

Охал Мокшей Семизвон очень добросовестно. А при завывании руки его дергались, вроде бы пользовались балалайкою. И вдруг гаркал со смехом:

По тебе, когда желание
мое исполнишь тут,
все девчоночки-бабенки
слезами изойдут...

— Ей-богу, — заверял он Корнея и начинал сызнова ставить ему условия. — Надо, чтобы околыш упруго стоял — железной полосой! Вот так. И никак не мягче того.

Вспоминать Корнею о ночном интересе выпадало либо тогда, когда он хлопотал по избе, где зеркало было определено Тихоном над лавкой, в простенке меж окнами, либо тогда, когда дом полностью затихал. А затихал он только со вторыми петухами. В этакую пору Корнею можно было бы уже не опасаться никаких чертей. Кто ж не знает того, что с этими петухами нечистая сила торопится домой, поскольку с третьими она немеет и приходится ей где каршею суковатой раскорячиваться, где трухлявым пнем схватиться за землю, где затаиться старой колодою; а потерпи-ка попробуй до новой ночи так простоять.

Насчет чертей, долгая гостевая суета Корнею была подходяща. А чтобы лечь ему да спокойно выспаться — на этот счет было худо: время его для спанья уходило.

И вот, за какие-то три-четыре веселых в доме дня старшой Мармуха до того устосался, что как присел очередным утром в котухе своем за пошив, так с работой на коленях и уснул.

Спит Корней и видит: сидит бы он не в закуте, а в избе, на лавке при пороге. Зеркало богатое напротив висит, а в нем бы черный дым заклубился. Скоро дыму тому места в отраженной избе не хватило, и начал он выходить сюда, на эту половину. А Корней бы никак от лавки оторваться не может. Задыхаться уже стал, и тогда приметил, что посреди дыму, в настоящей избе, маячит все та же тень в монашеском клобуке. Вот бы наплыла тень да ка-ак опять дохнет ему в лицо. Так бедный и захлебнулся он тугой струею. Пробудился ажно.

О, Господи!

Протряс головой и видит — точно! Сидит он не в котухе. Сидит в избе, на припорожней лавке. Изба утренним солнцем полна. Гости поразвалились кто где, спят, хоть в пушки бей. Напротив зеркало овальное висит, но его Корней взглядом избегает. Сам думает о себе: вот, мол, до чего измаялся человек, не помнит, где уснул.

Поднялся, встал на затекшие ноги, да и увидел все же отражение свое.

Ба-а!

Стоит он посреди избы черт чертом. Вся морда густой сажею вымазана. Никакого родимого пятна даже не видать.

Ну уж, это уж... простите. Это уж точно Тихонова братия поработала — чтоб вы все спали, да не скоро встали!

Поплевал Корней на палец, щеку потер — сплошная чернота. Густая, хоть ножом скреби. Заторопился, понятно, до рукомойника. Умываться стал — вода голимым дегтем полилась.

Сам плещет Корней водою, а сам все на парней поглядывает: может, кто пошевельнется, выдаст себя?

Отмылся Корней, утерся, опять до зеркала подошел. Что такое?! Он и так, он и сяк... Никакого сомнения нету: потускнело его родимое пятно, да еще как! Потускнело и натянулось. Рыхлина сделалась упругой и щетина повыпадала. Даже чуток бородка русая закурчавилась.

Не доверил Корней такой радости чужому зеркалу, до своего в клетуху кинулся, но и в стареньком, надежном стекле не увидел себя привычного.

У него даже голова закружилась, тошнотная слабость напала.

Да такая, что пришлось на топчан свалиться.

Свалился Корней на топчан и мертвецки уснул.

Так уснул, что не слыхал, когда дом поднялся.

Разбудил его Тихон — заявился в клетуху жратвы требовать. Но взамен голодного ора только глаза вылупил да и навякал непродуманное:

— Во! Чем это ты морду свою навел? Я еще третьего дня заметил — навроде посветлела, да не придал внимания. У какой бабки лечишься? Говори. Я тоже хочу толщину свою свести.

Чем было Корнею объяснить перед Глохтуном такую в себе перемену? Не зеркалом же чудесным. Он и сказал первое, что на ум подвернулось: имеется-де лекарка такая; только не знаю, мол, возьмется ли она жир твой сгонять. Спросить бы ее надо.

— Так ты спроси поживее.

— Не велено мне до нее ходить. Сама придет, когда надо.

— А как она тебя лечит?

— Да как... — вынужден был Корней сочинять дальше. — Берет старая, на сажу наговаривает и велит мазаться. Маленько посижу да и смываю.

— То-то я и гляжу — полный таз под рукомойником чернотою намыт. Сажа-то, поди-ка, осталась. Дай попробовать.

— Она всякий раз новую доставляет, — пришлось выкручиваться Корнею.

— И чо? Шибко красивым намеревается она тебя сделать?

— Как получится.
— А как ты ее нашел?
— Сама нашлась, — не придумал Корней. — А когда снова придет, того доложить не пожелала.
— Может, осталось все-таки маленько. Дай. Терпенья нет — хочу красивым стать.
— И я хочу, — вдруг впялился в клетуху Мокшей-балалаечник, который, знать, подслушивал за дверью разговор братьев. И не один подслушивал, поскольку по-над его плечом выставилась борода Прохора Богомаза. И тот сделал заявку, что и я, мол, не откажусь. Нестор же Фарисей поднырнул под балалаечникову мышку и задребежал:
— А росту, знаете ли, ваша бабуся не добавляет?
Корней растерялся: первый раз в жизни довелось ему соврать, и вот во что выливается. Сразу оказался в полной осаде. Куда деваться? А куда тут денешься? Хочешь, не хочешь — либо дальше ври, либо сознавайся. Сознаться, кто поверит. Стал дальше выдумывать:
— Ежели старая соизволит еще прийти, я передам ей наш разговор.
— Зачем передавать? Ты лучше сведи нас с нею.
Что оставалось Корнею делать?
— Ладно, — сказал, но тут же оговорился: — Ежели, конешно, она того захочет.

Еще день-другой повыпендривалась перед Корнеем гостевая братия, а там стала до него интерес терять. Нестору Фарисею, например, так и не удалось в старшом Мармухе докопаться до нутра. Что же до Мокшея-балалаечника, так этот Семизвон, после фазаньего наряда, вспомнил и глухаря, и кочета. Добрался до какой-то солнечной цапли (где он ее поймал?), и на ней у переборщика, видно, заворот мозгов случился: взамен штанов стал юбку просить. Но главной причиной Мокшеева отступления послужило то, что припевки его ни с какой стороны Корнея не прошибали. На десятой, на двадцатой ли частушке сочинитель не выдержал, взъерошился:
— Ты чего меня не хвалишь, — зарычал он. — Я люблю, чтобы меня по сердцу гладили. Ласка внимательная мне для запалу потребна — понимать надо! Ведь я же воображенец!

— Похвалить бы можно, — схитрил Корней, чтобы того горше не разобидеть Мокшу истинной оценкой его способностей. — Похвалить — не гору свалить. Только

моей голове, в картинках твоего воображения, мало чего понятно.

Но тот все-таки разобиделся. Да еще как. Даже обругал хитреца.

— Дуболом ты,— говорит,— с хутора. Лапоть веревошный. Чего тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

И ушел. Дверью хлобыстнул и ушел. И больше не захотелось ему, как он пояснил остальным, перед свиньею бисер рассыпать.

Корнею желалось, чтобы и Дикий Богомаз о нем заявил то же самое, но увы. Этот помазок лишь обрадовался тому, что у Корнея случилось для него больше свободного времени.

Он все чаще стал путать избяную дверь с котуховой, все чаще складываться у косяка втрое и пытал Корнея:

— Ну? Как? Что в человеке главное? Разум или душа? Господь, он пущай мертвых сортирует. А мы, живые, сами себе хозяева. Нам и разбираться, кто чего стоит. А для этого потребно мерило...

И вот что придумал Корней против этой пустомельни. Стал он, как только узрит, что Богомаз на дворе показался, из котуха выбегать, кидаться тому навстречу да молитвенно просить:

— Голубчик, Прохор Иваныч! Сготовишь мерило, оцени меня первым. Может, я в жизненном ряду и не числюсь вовсе...

Поначалу Богомаз высокородно кивал Корнею — соглашался. Но скоро стал тяготиться его назойливостью, морщиться, брови сводить. Потом не удержался, определил Мармухе место безо всякого мерила:

— Чего в тебе оценивать?! И безо всякой оценки видать, что ты дурак!

Определил и быстрехонько убрался в хату, потому как, взамен ожидаемой обиды, Корней привязался его благодарить.

Вот хорошо-то! Вот когда выпало, наконец, Корнею маленько передохнуть.

Одну ночь он полностью проспал. Утром проснулся бодрым, весело к работе приступил. Но за нею опять раздумался. Да и странно было бы не думать. Лицо-то его обелело настолько, ровно бы кто всякую ночь тайно снимал родимое пятно, отмачивал от крови, а поутру опять накладывал да расправлял, расправлял...

Корней мог бы поклясться, что сквозь сон чуялись

ему ласковые руки. Однако наяву никто его больше не пугал.

Пугал его Тихон. Видя в Корнее столь счастливую перемену да еще подзюзюкивамый шалопней, стал он неотступно донимать брата:

— Мажешься,— кивал он на его лицо.— А брехал, что сажи больше нету. Лучше отдай! Не то мы тебе морду-то прежней сделаем.

А еще мучил Корнея интерес к тому, кто же все-таки его тайный благодетель? Чем возьмется им в уплату за столь великую услугу?

И тут подумалось ему: «Пойти, что ли, зеркалу поклониться, пока мучители мои спят? Может, чего и прояснится?»

Отложил работу, поднялся, на цыпочках в избу направился. Дверь отворил, а его в сени отдало пригорклой духотой.

Еще бы.

Четверо здоровенных мужиков, разморенных жарой, распластанных вольным сном, лежат, многодневный хмель из себя высапывают.

Подошел Корней до зеркала, взялся путем разглядывать. Завидная все-таки работа! Добротная! Тыльная покрышка словно впаяна в раму. Края высоки — не меньше дюйма! Для чего такая заслонка? Что под нею упрятано?

Попробовал Корней ножом подковырнуть —не лезет.

Сходил за шилом. Стал со всех сторон подтыкаться под заслонку. И шило не идет. В одном месте, вроде, пошло. Но тут Мармуху ка-ак шарахнет горячей силою. Ажно затрясло всего.

Отпал Корней от зеркала, на лавку хлопнулся. В глазах цветастые круги поплыли. И видится ему сквозь эти разводы, как вытянулась из зеркала по самое плечо женская рука и поставила перед ним золотую коробочку в табакерку величиной.

Да-а. Было такое.

Отметить чудо чудное Корней отметил, успел. Но что было потом — этого не мог бы он объяснить... даже самому себе. Вроде бы что-то подняло его с лавки и осторожно перенесло в клетуху. А четверо хмельных свистунов так и остались в избе доглядывать пьяные сны.

Неведомая сила не позабыла в хате и золотой коробочки. Когда Корней в закуте маленько опомнился, она лежала на столе.

Дивная птица стратим, та самая, которую когда-то люди считали прародительницей всех птиц, которая по этой, знать, причине имела женскую грудь да лицо, да самоцветную корону на месте гребня, сидела малой птахою на покрышке. Она таращилась на Корнея рубиновым огнем третьего во лбу глаза.

Корней мог положить голову на отсечение, что поначалу, то есть в избе, красавицы этой по покрышке не было.

Внутри же коробки оказалась сажа.

Все это шибко смутило Корнея. Во-первых, он знал, что все живое на земле от Господа Бога, во-вторых, столь кровожадного глаза не могло быть у святого создания. И потом — сажа! Как он сразу не понял, что она и есть — чертово знамение. Выходит, что нечистый все-таки услыхал его грешные думы и теперь хитро запутывает в свои сети. Да мало ему одного Корнея, он еще подсунул своей отравы и для Тишкиной фалуйни [1].

«Ну, уж нет! — подумалось Корнею.— Шалишь, однако. Что мне создателем определено от рожденья, то и мое. И за мой, за минутный грех небеса пущай с меня с одного спрашивают. Не стану ни сам мазаться этой отравою, ни остолопам не позволю. Не доставлю я дьяволу радости клыкасто над нами хохотать».

— Ясно?! — Это уж он птицу стратима спросил и вдруг показалось ему, что глаз ее рубиновый гневом вспыхнул.

Тогда и Корней осерчал. Сграбастал он чертов подарок, из дому выскочил, твердой ногою с крыльца сошел, да ка-ак запульнет дьявольский соблазн за прясла, за молодые у двора елки.

Сверкнуло подарение на утреннем солнышке огненным мотыльком, порхнуло через невысокие вершинки, а по другую сторону ельника кто-то взял да и вскрикнул, словно бы по голове угодило. Вскрикнул, а потом и засмеялся лукавым девичьим смехом. Зашумела хвоя, заколыхались ели безо всякого ветра, раздался похлоп огромных крыльев, как будто великая птица с земли поднялась и укрылась в таежной густоте.

Корней предположительно понял, что все это значит, и потому не больно-то испугался, он даже решил любопытство справить — удостовериться в своей правоте. Потому через прясло перепрыгнул, между елок по рых-

[1] **Ф а л у й, ф а л я** — пошляк, самодовольный невежа.

лому снегу на ближнюю прогалинку пролез, кругом глазами зашарил — никого, никакого следа. Мартовский снег в лесной нетронутости не больно еще осел, недавняя пороша его и вовсе подровняла. И все одно Корней ничего не увидел. Зато у себя под носом — прямо вот тут, вдруг да разглядел он след босой девичьей ноги...

Постоял Корней, ничего нового не сумел взять в голову и вынужден был поворотить обратным ходом. Поворотил, шагнул, а у него за спиною кто-то ласково сказал:

— Жди меня в гости.

Обернулся — никого. Тогда Корней перехваченным от неверия голосом и говорит:

— Чего ж ты прячешься? Покажись. Хоть знать буду, с кем дело имею.

И пустота поляны ответила ему все тем же нежным девичьим голосом:

— Время настанет — покажусь. А ты не пугайся больше.

Все это предстояло Корнею еще на сто раз передумать. Но зато пришла полная уверенность в том, что Тихонова гостевня тут ни при чем.

Его, покуда неполное, прозрение наступило утром. А в за обед того же дня на Тараканьей заимке опять да снова пошел хмель по буеракам:

Гуляй, браток,
покуль свеж роток.
Бей че-чет-ки —
отрывай подметки.
Из трубы огонь идет —
печка топится.
А быть на свете краше всех
больно хочется.
Черти грешника разок, да,
обмакнули в кипяток, да,
мажут теперь сажею, да,
чтоб до свадьбы зажило...

Последнюю припевку Мокшей Семизвон посвятил Корнею в отместку за то, что потерял всякую надежду заполучить от него картуз с околышем в три пальца. Спел он ее тогда, когда старшему Мармухе пришло время плиту в избе растапливать. На дворе к этому часу уже завечерело да и захмурело. Стали сгущаться быстрые потемки, а с ними завязалась метель последней зимней ярости. Она разошлась так, ровно бы настроилась

выгнать на мороз все избяное тепло. Надо было удержать его, подкормить как следует.

Ну, а ежели... тут печка гудит-пылает, а тут пьяная кутерьма вошла в самый разгар? Понятно, что ни один заботливый хозяин таких два костра в доме без присмотра не оставит.

А Корней Мармуха был настоящим хозяином. Потому и пренебрег Мокшеевым бессердечием — остался в избе сидеть у топки. Он устроился на низенькой скамейке, стал смотреть на пьяный шабаш да молчать.

Ну вот.

Хмельные гостеваны животы свои от стола, наконец, поотваливали — устали набивать. Словоблудят, похабничают сидят. Корнея тем-другим подкалывают: намереваются вогнать его в кровь, чтобы было к чему придраться да маленько с ним счеты свести за незабытых «лоботрясов». А тот терпит, не подливает масла в огонь— все-таки четверо сытых лбов!

Все одно бы нашли они у засватки заплатки, да только внезапный шквал ветра как завоет на дворе целою сотней бешеных дьяволов, ка-ак шатнет избу, как расхлобыстнет дверь во всю ширь — ажно лампа погасла!

Мокшей-балалаечник перед этим моментом как раз до Корнея с выходом подплясал, чтобы опять заломить какую-нибудь припезку побольнее. Вот он и поторопился дверь закрыть. Дернул за скобу, а она не поддается. Держит кто-то дверь с обратной стороны...

От страха вся компания сомлела. Один только Корней усмехнулся.

«Пришла», — подумал.

Мокшей попятился, попятился да и хлопнулся об пол задом, точно кто подножку ему подставил. Потом-то он так и говорил, а пока всякую речь потерял. Только — а,а,а. Как баран блеет, а сказать ничего не может. Из темных же сеней грубый голос:

— Кто тут у меня сажи просил?

И выдвигается на порог черная тень. Выдвигается тень, а дверь за нею сама собой затворяется.

Переплыла черная через порог и посреди избы, освещенной лишь только бликами печного огня, остановилась. Остановилась так, ровно бы отгородила собой Корнея: подержись, дескать, покуда в сторонке — не мешайся в мою затею.

Не стал, понятно, Корней вперед заскакивать. Со спины увидал он, как откинула черная свой монаший

башлык на заплечье и... перед Тишкиным собранием мелко затрясла седой головою давно поминаемая лишь в разговорах ведьма Стратимиха. И еще увидал Корней, как Тишкины застольники в один миг отрезвели. Было отчего. Лицо ведьмы напоминало собой чаговый нарост, снабженный обрубком суковатого носа. Кто-то страшно озорной нахлобучил на этот березовый гриб взамен волос пучок сухой травы, на месте глаз проковырял топором две дырки, вставил в них по курьему яйцу, прорубил с размаху широченный рот и всю эту жуть насадил на комель сосны, приладил кой-какие руки-ноги, вдохнул в это несообразное с человеком творение проворную живость и отпустил пугать православный народ. Затянутые сплошными бельмами глаза Стратимихи не могли видеть. Однако же ведьма глядела. Чем? Да может, у нее под косматой волоснею был третий глаз. Во всяком случае, Тишкина свора почуяла себя пойманной, и не мурашки, а целые тараканы забегали у каждого по спине.

— Ну вот,— сказала старая молодым голосом.— Передавал мне Корней Евстигнеич, что мало вам облика вашего, хотелось бы исключением заделаться? — спросила она со строгостью, на которую нельзя было не ответить.

И спрашиваемые закивали, затакали испуганными курами:

— Так, так, так...

— Ну, коли так, будь по-вашему. Только вот какая загвоздка у меня получилась: сажа наговоренная случайно рассеялась мной по дороге. Она ж у меня не простая — человеческая! Я ее добываю на пожарищах, ежели кто из людей сгорел. Такая вот трудность у меня имеется. Но когда вам невтерпеж, то дело можно поправить: пустить на сажу кого-нибудь из вас?

— Это как же? — вякнул с полу Мокшей.

— Очень просто, — ответила Стратимиха. — Взять хотя бы тебя, завалить, подушкой придавить, чтобы от визга твоего не оглохнуть, а потом — мелкими кусками на противень и в печку. Погляди, какая нынче тяга. И аккурат буря от села идет. Ни один обзоринец не учует смраду горелого. А обзоринцам, когда паводок сойдет, можно будет доложить, что тебя какой-то мол, нечистый, на падору[1] глядя, в тайгу уволок и обратной дороги не показал...

---

[1] Падора, падера — буря с дождем, со снегом.

Покуда разъясняла Стратимиха Семизвону этакую страсть, у Мокшея от трусячки губища на грудь отвалилась. Так что в защиту свою ничего не мог сказать. А тут еще Прохор Богомаз поторопился одобрить бабкино предложение:

— Да о нем никто и справляться не станет. Он же осточертел всем со своей поэзией. Такую хреновину прет, какую всякий мужик мизинцем придумает, только совесть отними и все... и готов сочинитель.

— Да еще лезет с нею за дармовой стол, — с непонятной обидою пробубнил Тиша Глохтун.

А Нестор Фарисей, так тот ажно подскочил, чтобы Стратимиха наглядней его узрела и поняла: хотя и плюгав он и росточком целого полуметра до Дикого, скажем, Богомаза не добрал, но страдает от присутствия на Земле Мокшея во всю душу.

— Ведь сколько песельников он загорланил, — указал Фарисей на Семизвона.

— Это уж та-ак, — колыхнул толстыми щеками Тиша Глохтун. — Спросить насчет Мокшеевой совести, так на том месте у него и собака не ночевала. Нету у него того места...

— А у тебя? — завизжал балалаечник, потрясенный скорым судом недавних друзей больше, чем самим предложением ведьмы. — У тебя-то... кто ночевал?! Дева Мария, что ли? Да она бы от твоего сала век бы не отмылась. Вот из тебя-то, из борова, самая липкая сажа и получится...

— А ведь и правда, — повернулся до Тихона Дикий Богомаз. — Из Мокшея больно сухая выйдет, обсыпаться начнет. А из тебя как пристанет, так другой раз и мазаться не надо будет...

Но Тишу ни капли не смутил Прохоров сказ.

— Интересно, — прогудел он. — Навазякаешься ты моею сажею, а до кого потом пить-гулять пойдешь? До Мокшея, что ли? Иди, иди. Он тебя угостит, чем кобель пакостит... А насчет того, кого следует на противень да в печь, так тебя — самое время. Все одно ты перед своею голой барыней скоро сбесишься. И сажа из тебя бешеная получится. Лучше давай, пока не поздно...

— Ну, Тиша! Какой ты все-таки умный, — подхватился с полу Мокшей, пересел на лавку и приобнял Глохтуна за жирную спину. — Чо ты, паразит, вякаешь? — тут же напустился он на Прохора. — Ой, Богомаз! Беда с твоей головою! Беда... Я, конешно... грешен. Но я гре-

шен перед мужиком. А ты?! Ты ведь Создателя под черта малюешь! И впрямь долбанет он тебя по башке...

— Все идет к тому, — поимел глупость Фарисей оказать прорицателю поддержку, чем и просадил Богомаза до самой сердцевины.

— Ах ты, сверчок дохлый! — схватил тот книжника за шиворот, да так и поддернул его чуть ли не до самого потолка.— Да ты... Да я щас из тебя буквиц твоих паскудных наверчу и кренделей напеку! Вот уж когда мне Господь все мои грехи простит...

Выпуская злобу, Прохор держал Нестора на весу. Тот дергал ножками — пытался встать на лавку, но только бился голенями о ребро столешницы, хватал широким ртом никак не идущий ниже ошейника воздух да все сильнее выпучивал глаза.

— Давай, давай, Прошенька, дав-ай! — догадался балалаечник, что дело идет к завершению. Он оставил свои с Тихоном обнимки и кинулся к Богомазу наподхват.

Сперва он намерился и ухватить Нестора за воротник, но не дотянулся и с проворством собаки нырнул под стол. Уже оттуда крикнул:

— Держи, Проша, держи! А я за ноги потяну...

Фарисей, чуя близость гибели своей неминуемой, стал торопиться тыкать слабеющими пальцами Богомазу в лицо, норовя напоследок выколоть тому хотя бы один глаз. Тихон понял его умысел и ухватил изобретателя тайной буквицы за пакостливые руки...

Ох и ловкими же оказались эти стервятники до чужой жизни! Такими же ловкими, какими были они быстрыми до дармового стола.

Кабы не Корней, читать бы Фарисею через малую минуту свою замысловатую книжицу перед Всевышним. Стратимиху он ловко отпихнул к порогу, брата долбанул по жирной шее. Прохору угодил кулаком под дых, а Мокшея уже сам книжник сумел отопнуть. Тот вылез из-под стола с разбитым носом, утерся белесой в полумраке ладонью, разглядел на ней кровь, проворчал:

— Не мог полегше...

Когда разбойная братия расползлась по лавкам, когда Корней повернулся до Стратимихи, полный намерения не выгнать ее на метель, так хотя бы устыдить, что ли, решимость вдруг покинула его. Не увидел он в лице старухи ни злорадства, ни ехидства. Одна лишь смертная тоска была написана на нем. Тоска и страда-

ние. И тогда Корней понял, что старая, затевая эту канитель, знала наперед, что ни одному из этих словобредов не западет в голову даже соринка того сознания, которое помогает простым людям, жалея ближнего, отказываться от собственной выгоды. Знала, но все-таки надеялась, что перед нею люди...

Ну и вот.

Расползлись эти самые... люди... по углам: смущенный Корней воды Нестору зачерпнул, поднес, чтобы тот побыстрее очухался.

Хлебнул Фарисей, башкою потряс, огляделся чумным псом и вообразил себе, что наступила всего лишь передышка. Опасность только затаилась.

Вот она... черной ведьмою стоит у порога, озаряемая зловещим пламенем печи: стоит, не уходит — чего-то соображает. Оно и понятно: в этакую-то метель разве только затем гнала ее нечистая сила на Тараканью заимку, чтобы попялиться на бесплодную возню ошалевших от безделия дубарей?

Не-етушки, детушки!

Не для того медведь до кабана лезет, чтоб разузнать, о чем тот грезит.

«Ага, — смекнул Нестор. — Стратимиху Корней позвал с лихим умыслом».

И вот уж Фарисей сотворил из только что писклявого верещания этакий солидный, хрипловатый басок.

— Тоже мне, — сказал он, не поднимая глаз. — Додумались... На кого накинулись. Волки и те своих не заедают. Эх, вы!

Он хотел, видно, обозвать виноватых крупным словом, но струсил. Оттого разволновался и выдал слезную фистулу:

— Тараканье!

Выдал — и тут же испугался своей смелости. Но в страхе уже не мог остановиться — его будто несло под гору:

— Вам разве непонятно, для чего все это Корнеем затеяно? Это ж он захотел отбить нас от своего стола. Жадность его одолела. А вы? Поймались на удочку... Вот пущай-ка он сам перед нами попляшет...

Выдавши этакую хреновину, Фарисей глаза так и не вскинул. Не сделал этого и Тихон. А что Семизвон, так тот, потрясенный Корнеевой судьбиной, и вовсе уронил голову на стол. Один только Дикий Богомаз из-под века блесканул на Мармуху огоньком подозрения, после

чего прижал под столом своею ходулиной Мокшееву ногу с таким значением, от которого мигом развеялось балалаечниково сострадание. Он вскинул лицо с выгнутой на нем губищею — это означало откровенное недоумение. Оно говорило, что и в самом-то деле... как это мы, дескать, сумели допустить такой конфуз? Мокшей повел удивленными очами и вдруг напоролся ими на печальную Корнееву усмешку да и на молчаливый суд Стратимихи.

Напоролся так, что опять отвалил губу на грудь. Однако Фарисеева подсказка в нем каким-то чудом удержалась, и нога все еще чуяла Прохоров жим. Но все это ему представилось собственной подачей. А он не любил, когда его опережали, и потому сообщил очень громким шепотом:

— Сговорились, гады!

И только теперь Семизвон осознал, что к сказанному он никак не мог прийти своим умом. Его натравили. И потому щас он... всем он... покажет, где раки зимуют...

В обычае у Мокшея было такое правило: сперва козырем пройтиться, а потом штанов хватиться. Он и на этот раз спешил сперва поймать, а потом уж поминать такую мать... Хорошо, что Стратимиха успела его опередить.

— Сядь! — повелела она. — Не кидайся! Не держи чужого в горсти, когда своего не разгрести... Никакой охоты на вас Корней не замышлял. Да и мои старания не сотворят уже из вас ни черту сродника, ни Богу угодника... Однако ж чего я тут с вами рассусоливаю,— спохватилась старая. — Перед козюлькой хоть черт с фитюлькой...

Стратимиха медленной рукой провела себя по лицу; заодно с бельмами потянулась за ладонью старая кожа и из-под нее открылась такая ли красота, что даже у Корнея дыханье перехватило: на прекрасном девичьем лице, отдающем в полутьме голубым сиянием, горел во лбу рубиновым огнем третий живой глаз. Когда же рука сорвала с головы кочку волосяной накладки, над теменем блеснула корона. Стратимиха распрямилась, смахнула с себя монашеский балахон — и предстала передо всеми лунная девка с хвостом и крыльями серебряной птицы. Подойдя до каждого из гостеванов, на момент отгородила ладонями своими лицо его от ми-

ра, пошептала и что-то стряхнула с пальцев. Мимо Тиши Глохтуна тоже не прошла.

После того лунная красавица приблизилась до Корнея и заглянула ему прямо в глаза. Душа в нем ахнула от удивления да вдруг и заплакала от непонятной радости.

И опять да снова дохнула она ему в лицо полной грудью. Не белым инеем, не черной копотью обдала его на этот раз — огнем опалила. И тихонько засмеялась смехом, полным удовлетворения. После чего она развернулась, вскинула руки, свела их ладонями над головой, легко оторвалась от половиц, проплыла через всю хату и унырнула в зеркальную глубину. И не плеснула, не раздалась кругами чистая поверхность того загадочного омута. Зато дверь избяная чуть было с петель не соскочила. Она даже завизжала щенячьим визгом, над которым захохотала вдруг студеная метель. Крутанула метель по избе: хлестнула упругим крылом по всем сидящим, расшвыряла кого куда...

И умчалась.

И двери захлопнула.

И свет в лампе вдруг сам собою засветился.

И все увидели: где сидели они, там и сидят. Сидят и смотрят друг на дружку: понять не поймут, то ли что-то случилось, то ли не случилось?

В недоумении вся четверобратья потянулась глазами до старшого Мармухи — не пояснит ли чего? Потянулась да чуть с лавок не свернулась...

Тут Корнею и самому захотелось оглядеть себя. Однако овального зеркала на месте не оказалось — висело в простенке прежнее, тусклое да облезлое.

И вот...

Не окажись при нем его чуба, век бы ему было не догадаться, что это он отразился в зеркале. А предстал перед ним такой ли раскрасавец, что и глазам больно стало.

Дня через два Толба успокоилась. Опять побежали по чистым камушкам светлые ее струи, заговорили о скором лете, о радости бытия и еще о чем-то звонком, шаловливом.

Первой прибежала на заимку Юстина Жидкова. Как прибежала, как стала в дверном проеме котуха, как блеснула на Корнея черными озорными глазами, так душа в нем и засмеялась от понятого. А Юстинка по-

дошла до него вплотную, лицо его с превеликим вниманием оглядела и улыбнулась, сказавши:

— Хорошо получилось, лучше и не придумаешь.

А еще немного спустя ушли Юстинка с Корнеем из села. Велика Сибирь, места много. На что им терпеть аханья да пересуды, да подозрения всякие.

Ушли.

Тараканья же заимка как стояла за Малой Толбою, так и осталась стоять. Тишкина братия как разгулялась в ней за время половодья, так и Корнея потеряла, а все остановиться не могла. Опомнилась, когда все припасы иссякли. Пришло время расползаться.

Поползли. Да не тут-то было.

Напал на них смертный страх. Как только подступят к Толбе, чтобы на ту сторону перебраться, так река мигом поднимается. Народ переходит — колен не замочит, уверяет, что это самая высокая вода, да только заимщики не верят. Разве поверишь, когда перед глазами бесится кровавая лавина, замешанная на ледяной икре?

Вот тогда-то и понял Тит, отчего зад болит — оказывается, пнули.

Сообразила Тишкина братия, что нету в Толбе никакого подъема, а только страха своего так и не одолела.

Спасибо обзорницам — не дали подохнуть голодной смертью. Но заявили с первого разу, что кормят дармоедов только до нового урожая. Так что пришлось им любомудрие свое оставить и приниматься за настоящее дело.

КУМАНЬКОВО БОЛОТО

Почему Куманьково? Да потому, знать, что вокруг той непролазной трясины чертова уйма куманики[1] плодилось. Вся просторная логовина по окоему объемистой дрягвы[2] была взята колючей куделью ожины. В редком месте можно было подойти вплотную к зыбунам, чтобы не обхватать одевки цепким ее шипьем.

А, может, потому оно было Куманьковым, что славилось болото липучей кумахою. Ежели когда кто ненаро-

---

[1] Куманика, ожина — ежевика.

[2] Дрягва — топкое болото.

ком попадал в его обнимки, да оказывался столь ловким вырваться из них, так ловкач тот все одно большой радости с собою из дрягвы не выносил: тут же его схватывала вытрясать из кожи вон чулая[1] лихорадка. Перекидывала она хворого из студицы в огневицу[2] неделю-другую, понуждала его говорить Бог весть что, а потом и вовсе уводила беспамятного на другую сторону жизни.

Могло дать болоту такое название еще и то, что близ тех зыбунов живал в свое время пытливый мужик — Володей Кумань. Так Володей тот самый осмеливался заглядывать в чертово месиво. Он, вроде бы, все пытался выудить из болота какую-то особину. Прикидывал он да поговаривал, что кумоха на побывавших в зыбунах нападает вовсе не от природной заразы...

А пособлял Володею в столь рисковом деле здоровенный да космотущий пес, которого вся деревня звала Шайтаном, позабыв о том, что кутенком он был назван совсем иначе.

Шайтану не только за великость да черные косматы приладил народ чертово имя. Был он кроме того хитер да ловок, нелюдим да неласков степенью такой, что даже семейным своим не дозволял больно-то над собою выглаживаться. Что же сказать об остальных любителях собачьей нежности, так всякому панибрату косматый этот бес такую умильную улыбочку на своей морде творил, что у короткого друга мозга[3] от страха спекалась.

Шайтан — одним словом.

А силен был косматый улыба такой силою, что и не знали, где ему кого под стать найти.

Володей Кумань подобрал свое чудо кутенком все на том же на упомянутом болоте. Может, какой дурень мимо зыбунов ехал да кинул щенка на смерть, а космарь сумел выбраться...

И вот какая особина получилась на деревне с тем Шайтаном. Лохматый бес над своей натурой дикою дозволял как угодно командовать одному лишь человеку — Саньке Выдерге. Люди так и говорили:

— О, гляньте-ка, черт черта нашел!

Девчатке той было годов под семь, под восемь, когда в ночном пожаре задохлась вся ее семья. Спасло Саньку

---

[1] Чулая кумоха — нервная лихорадка.
[2] Студица, огневица — озноб, жар.
[3] Мозга — кровь.

то, что, с вечера набутызганная отцом за проказы свои, выверты, унеслась она из дому да спряталась в болотной моховине, где ее искать даже никто и не попытался. Не впервой было находить ей в камышах укрыву.

Когда же, после пожару да поутру, появилась Санька живехонькой на болотной логовине, чей-то недобрый язычище смерзил: черти, мол, Выдергу берегут. Они, мол, в отместку ее отцу, и пожар сотворили!

А кто-то самодурошный нашелся добавить, что ночью якобы видал, как летела с болота галка[1]...

У нас ведь всякий досадник — чертов посланник.

Выпала нужда после пожара принять сироту на хлеба деревенскому лавочнику Дорофею Мокрому, потому как молодая его супружница приходилась Саньке родной по отцу теткою.

Так вот она, молодая да ранняя тетка Харита, чуть ли не в первый день высказалась сердцем перед братанкою[2]:

— Отяпа[3] проклятая! Уберегла ж тебя нечистая от огня! Майся теперь с тобою, с Выдергой паразитскою. А ну, ступай в клеть[4]! Не место тебе в порядошном дому людей пугать...

Высказалась так Харита и втянула Саньку за ухо в темный чулан. Потом дверь с приговоркою на крепкий засов посадила:

— Три дня будешь тут у меня пауков считать!

Выдерга тогда взялась было колотить голыми пятками по дверным доскам — на свободу ломиться. Да только на потребу ее появился в кладовой сам Дорофей Ипатыч и приложил свободухе такого лопуха, что девчаточка маленько по стене не растеклась. А вдобавок наляпал:

— Отец-покойничек не успел вытряхнуть из тебя сатанинскую природу твою — я вытравлю! Ты у меня шелковее шелковой станешь!

Он, Дорофей Мокрый, только лавочником полным на людях держался, а человек из него с рождения вышел пустой — для совести ближних неловкий, словно дырка на мясистом месте.

Очень даже скоро пропитал лавочник сироту такой болью, что девка сама с нею справиться не смогла —

---

[1] Галка — горящая головня.
[2] Братанка — дочка брата, племянница.
[3] Отяпа — черт.
[4] Клеть — чулан, кладовая.

стала на деревню выносить, полеткам[1] пригоршнями раздаривать.

И отроду неробкого десятка, заделалась Санька грозою ребятни, а то и кого постарше. Вот тогда-то и стала девка перед всеми настоящей Выдергой. Угомонить теперь могли ее разве что кнут да цепи. При великой нужде могла она хоть в колодец прыгнуть, хоть в костер нырнуть, могла под любую вершину по гладкому стволу взлететь — не охнуть. Один раз больше суток просидела на осокоре[2]. Ее Дорофей даже ружьем стращал, а согнать на землю не сумел. Лишь на рассвете сманил ее оттуда ласковым приветом Володей Кумань.

Володей аккурат шагал мимо Санькиной отсидки. Нес он тогда за пазухой только что найденного Шайтана. Кутенком этим и послабил он девчаткину настырность.

В тот самый раз и нашла Выдерга себе верного, неразлучного друга.

А когда у Куманей подрос сынок Никиток, так и его эта дружба заманила в свой неширокий, да неразрывный круг. Девка прямо-таки заболела крепким согласием. И сколь Дорофей Мокрый ни приступал лечить ее от такой привязливой хвори, зря только хлысты ремкал...

Как-то случилось раз, что лекарь шибко великую дозу «микстуры» племяннице прописал — забежала леченная от той примочки в такую тайгу, что и выплутаться из нее сама не сумела...

Так вот кабы не Шайтан, нам бы с вами сейчас, может, и разговор бы не о чем было вести.

Отыскал пес другиню свою в замшелом урмане, чуть ли не волоком ее изголодавшуюся доставил до Куманей, а уж оттуда Володей да со своею красавицей Андроной не захотел бедолагу до лавочника отдавать. На Дорофееву злую упреду, что-де наведет вам Санька полный двор чертей, Володей ответил:

— И черти от Бога. А вот от твоего святого догляду нет ни спасу, ни ладу...

— Спаси ее, спаси, только вперед не голоси,— сказал тогда Дорофей-лавочник.

Тут и пойми, кто вернее чертей скликал? Через три дня после Дорофеевой сказки стряслось такое, что вся

---

[1] Полетка — одногодок, ровесник.

[2] Осокорь — тополь.

деревня задохнулась. Вобрала деревня в себя воздух от изумления да и приняла за истину, что Санькино рождение случилось не для добра. А дело в том, что Володей Кумань пропал в зыбунах! Шайтан был с ним, и Шайтан не воротился.

— Вот она, Куманева жалость, — спихнула-разбежалась, — изрек на тот случай Дорофей, и овдовевшая Андрона уже не смогла огородить Саньку ни от плети, ни от клети...

Да и где ж было Андроне чужой бедою бедовать, когда своим горем затопило ее до макушки. В половодье том нашла она себе одно лишь занятие — у болота с Никитком ходить, Володея больным голосом кликать...

— Ох ли уманят зыбуны кликунью в свою глубокую котловину, завлекут страдалицу! — пророчили на деревне бабенки.

И опять сбылось предвестие: сама Андрона ушла по июльским травам в логовину болотную и Никитка с собою увела.

Попричитали, поплакали бабенки, поохали у Куманева двора, окна в доме ставнями поприкрывали, ворота наглухо заперли и разошлись по своим заботам — жить, как жили. А вот что бы да кому бы кинулась в голову задумка — пойти поискать загинувших в болоте... Даже росинка маковая не блеснула...

Кроме непролазных трясин была тому еще одна причина. Дело в том, что на Куманьковом болоте с недавнего времени поселился туман. Обычная его пелена и в прежние годы нередко устилала провальную эту нетронутость. Но в последнюю пору она устоялась такая густущая да вязкая, словно муть ее прорвало из самой преисподни. Прям не туман, а какой-то кисель молочный.

Еще большая его странность состояла в том, что ни зазывными летами, ни кристальными зимами, ни веснами лебяжьими или бы хлизкими осеня́ми в уютной низине-логовине туман тот никакими ветрами взять не могло.

Деревня о нем судила так: на Куманьковой, дескать, топи да нечистая сила устроила кашеварню. Что-де черти поселились под самым днищем болотного котла и зачали там держать постоянный огонь. Приставлены-де рогатые па́рить безотрывно вонючее снедало, чтобы кормить им на том свете грешников...

Чего уж тут кормить людей за то, что ни один не сунулся в экое сатанинское варево?

Только опять да вдруг, денька ежели так три-четыре отчесть от Андронина ухода, под самый вечер, ведет забота старого шорника Свирида Глухова вдоль болотной логовины, по гривке, из соседней деревни домой. Плетется поживший неторопко да мимо скоможного[1] выпаса да видит... Дедок Свирид подслеповатым был. Вот и видится ему, сыздаля-то, ровно бы чей телок в низину забрел. Стоит телок у самого у болотного тумана и домой направляться не думает. Тогда и пала на шорниково сердце забота — пугнуть животину от поганого места, не то прямой убыток может кому-то из деревенских случиться. Бывало уже такое.

Дед Свирид — из добрых добрец, полез ежевичником напрямки до чужой нужды.

И тут!

Вот те нам, да наше вам!

Взамен ожидаемого телка видит старый — Шайтан собственной персоной у болота стоит, с лапы на лапу перепадает, языком бедняга дышит — настолько устал. А рядом с ним, в росной при закате траве, Никиток распластался — чуть живой! Оба в грязище болотной — глядеть страшно! Да изможденыǃ Кажись, помедли чуток — домой уже не доставишь.

Дедок Свирид медлить не стал...

Своих ребятишек старому шорнику за всю долгую жизнь звезда его талана не раздобрилась послать. А тут вдруг да сирота в руки! И размечтался над парнишкою дед, покуда нес Никитка ко двору. Вот, мол, и послал Господь внучонка. Столь надежный подарочек подарил, что и прибежать отобрать некому.

Только вот Шайтан чуток замутил старикову радость. Поскольку пес ни в какую не захотел отстать от малого своего хозяина, то и принудил этот факт Свирида-шорника поразмыслить по-стариковски да вслух. Дескать, чем он станет кормить этакого зверюгу, ежели сам он весь свой век одним только шилом охотился, дратвою силки ставил. Так что легкого корму, каким считался на деревне охотницкий добыток, на столе шорника отродясь не водилось. А много ли ременным тем ремеслом, да еще в старых годах, мог он заработать? По миру не ходил с протянутой рукой и то слава Богу. А такого косматого пестуна[2] караваем хлеба за один

[1] Скоможный — чахлый, скудный.
[2] Пестун — молодой медведь.

присест вряд ли уговоришь. Тут волей-неволей в затылке заскребешь...

Только Свириду-шорнику не досталась на этот раз долгая нужда плешатую маковку скрести: Шайтан, прямо-таки прослушав стариково беспокойство, силы остатные собрал и понесся в недалекий Светлый борок, мимо которого они направлялись до близкой уже деревни.

— Отстал,— подумалось дедку. Но вскоре видит: несет космарь из сосняка ушкана, да живого! Только малость пришибленного тяжелой лапой.

Хорош добыток, ничего не скажешь!

Добытчик похвалить на словах позволил себя шорнику, хвостом даже на одобрение его шевельнул. Но погладить не дался. Оскалился. От его столь знаменитой в округе «улыбки» дедовы лопатки морозом свело. Но бежать, понятно, старик не кинулся: теперь им вместе жить — не набегаешься. Надо привыкать ко псовой строгости.

Вытерпел Свирид Шайтанову упреду и зайца за спасибо принял...

А другим днем поутру вся деревня увидела, как из понизовой уремы косматый охотник нес на хребте до шорникова двора кабарожку. Чисто бабр[1] какой!

Так изо дня в день и повелось — пошло. Не успеет старый Свирид подумать насчет поедки запасов — космарь, глядишь, в тайгу подался...

Деревня головами качает, удивляется:

— Шайтану, знать, черти болотные ума подсыпали. И прежде собачий сын в диковинку всем был, а после зыбунов стал десяти умов...

И добавляет-говорит:

— Да-а! Себе бы такого добытчика!

Понять такое желание очень даже несложно. Давно в миру повелось: счастья только ждут, а зависть уже тут...

Слова мои к тому, что Дорофей Мокрый, Саньки Выдерги наставник ярый, вдруг да раскатился во все свое пузатое хотение во что бы то ни стало переманить до себя косматого заботника.

С великой охоты, с горячего запалу и не подумал он путем, как бы это ему да похитрее до шорника подъ-

---

[1] Бабр — тигр.

ехать; приперся вроде бы заказать медно-бляшистую сбрую для своей выездной лошадки...

Вот он, Дорофей Мокрый, с дедом Глуховым разговор посреди двора шорникова ведет, а сам перед Шайтаном лебезит — хвалу на похвалу внахлест кидает. Будто нетерпеливый жених перед капризной невестою лезет из кожи вон...

Шайтан, понятно, ответить «ухажеру» соленым словцом не способен, но косматой мордою ведет так, словно живому хохоту прорваться из себя не дает. Зато уж Свирид-шорник хохочет не стесняется, и за себя и за своего добытчика отводит душу.

— Не кажился, Дорофей Ипатыч,— советует он лавочнику.— Не тяни заздря пупок. Этот черт косматый и до нас со старухой не больно-то ласков. Одного только Никитка и признает над собою полным командиром...

После такого откровения и порешил Дорофей Ипатыч переманить до себя Шайтана да с Никиткою заодно.

А что? Парнишонка лавочнику не показался простой берендейкою[1].

Серьезным представился ему пацаненок. Тем самым, из которых в умелых руках прокуроры вырастают.

— Ну, прокурор не прокурор,— рассуждал сам с собою Дорофей Мокрый, когда в лавке не случалось народу,— а приказчик из Никитка оч-чень даже толковый может получиться...

Вот тут-то лавочник и вспомнил о Саньке-Выдерге, которую успел за это время нянькою в уезд оттортать.

Поехал он, забрал девку от неплохих людей, везет обратно, толкует:

— Шайтан,— сообщает,— твой отыскался. И Никиток с ним. У Свирида Глухова больше недели уже как живут. Вот я тебе,— показывает,— новый сарафан купил: наряжайся и ступай до шорника. Да постарайся опять с Никитком да Шайтаном сродниться. Понятно?

А чего тут непонятного, когда девчаточка от друзей своих душонкой-то и отпадать не думала. Никаких сарафанов не стала она на себе менять, а прямиком-вихрем пустилась из Дорофеева ходка да ко Свиридову двору.

Бабенки, что были радехоньки Санькиному в уезде найму, узрели этот вихрь, завскакивали ему вдогон:

---

[1] Берендейка — деревянная фигурка, подвижная игрушка.

— Во! Опять заявилась метелица.

— Выпустили бурю на море — всех теперича бешеной волной захлестнет...

Только Саньке оказалось без нужды понимать, что там следом за нею летит. Ей было страшно передним страхом: вдруг да не захотят принять ее у себя старики Глуховы?! Вдруг да прогонят со двора?

Зря вихревая боялась. И сам Свирид и его Свиридиха-бабка, как завидели в воротах гостью, зашумели веселым майским ветром:

— Шайтан, Никиток! Да идите, гляньте сюды! Да посмотрите, кто к нам пожаловал.

Шайтан как вырвался откуда-то из-за стайки, Никиток как вылетел из хаты, из сеней... Кучею-малой все трое повалились посреди ограды... Да бабка Свиридиха наплакалась, глядючи на такую радость, сам же Свирид куда-то шило впопыхах сунул — потом никак отыскать не мог...

Старики Глуховы не первый день на земле жили — сразу докумекали, для какой такой цели, для какой корысти Дорофей Мокрый девчонку с места сорвал. Однако же Санька-то тут при чем?

Ну, а пока... Свириды засуетились:

— Ой да ли гостюшка дорогая к нам пришла. Да где самовар наш, где сахар-леденцы? Да садимся-ка все за стол — праздник праздновать, гостью здравствовать...

А когда время наступило Саньке домой уходить, Никиток следом за ворота выбежал, рукой замахал, закричал вдогон:

— Приходи завтра — в козлятков играть будем.

На что старики в ограде согласно заулыбались.

Ну вот.

А на другой день торговые заботы Дорофея-лавочника поманили из деревни вон. Покуда заботный справлялся с делами где-то на стороне, дружители наши и позабыли напрочь о том, что они не родня...

Дорофей же Ипатыч как прибыл в деревню, с ходу кинулся в приказ:

— Ну вот ли что, дорогуша дорогая,— преподнес он Саньке.— Довольно тебе прохлаждаться, впустую время терять. Завтра же веди Никитка до нас и Шайтана от него не отгоняй. Чо ты глаза-то вытаращила? Али не поняла меня? Тебе, дуре, самой же лучше будет — станете рядом жить...

Только теперь докумекала Санька, на какой поганой

задумке взошла Дорофеева доброта: оказывается, лавочник из нее подсадную творит. Вот оно что!

Но девчонка даже ухом не повела, чтобы поставить своих друзей да перед грехом Дорофеевой жадности. Оттого-то она и заявилась в конце следующего дня одна-одинешенька и стала выкручиваться перед Дорофеевым спросом — насчет зряшнего его ожидания.

— Звала,— слукавила Санька.— Только Никиток не идет до нас.

— Какого беса кочевряжится? — высказал свое недовольство лавочник и застрожился того пуще.— Отвечай, когда тебя спрашивают! Мямлишь стоишь.

— Дядька, говорит, у тебя больно сурьезный,— нашлась ответчица, каким враньем откупиться от Дорофеевой строгости.

— Ышь ты клоп! — подивился на Никитка улещенный.— Смотри-ка ты! Мал росток, а уже дубок! Надо же сколь верно подметил! Тогда передай ему от меня — пущай не боится. Я до умных ребятишек очень добрый. Ну и ты постарайся — чтоб не ждать мне больше впустую.

Только и другим вечером предоставила Санька Выдерга Мокрому Дорофею одну лишь отговорку.

Вот когда нетерпеливый отрезал:

— Чего ты мне угря подсовываешь[1]? Не приведешь завтра гостей, сама домой не являйся...

А Саньке впервой, что ли, под чистым небом ночевать? Взяла да и не явилась. Старикам Глуховым она говорить ничего и не стала, а по закатному времени ушла за деревню — в стога. Там и на ночь определилась.

А кто-то видал ее там определение; прибежал, перед Дорофеем выслужился. Тот кнутище в руку и до выкоса...

Только бы ему всею ширью размахнуться — сполоснуть сонную ослушницу сыромятным огнем да с мягкой высоты на росную стерню... Вот он! Шайтан из-за стога! Ка-ак вымахнул! Ка-ак лапищами дал тому полоскателю в плечи! Как повис над ним своею чертовой улыбкою... Потом Дорофеюшка так и не сумел вспомнить тот изворот, который помог ему выбуриться из-под зверя... Но вся деревня сыздаля видела, каким прытким зайцем уносили лавочника по отаве от лохматого беса его прыткие ноги.

— На гриве-то березу чуть было надвое не рассадил.

---

[1] Подсунуть угря — извернуться, налгать.

— Ты б не то рассадил, когда бы смерть лютая взялась тебя за пятки хватать...

Но такие разговоры селяне вели потом, после, время спустя. А в этот закат народу было не до пересудов: Шайтан-то... Он ведь погнал Дорофея Мокрого распрямехонько на Куманьково болото! Сколь ни досадлив был для деревни лавочник, а все человек. При таких страстях руки стоять сложивши — великий грех!

Повыхватывал народ дубье — отбивать Дорофея от зверя лютого понесся. Только маленько припоздал. Загнал-таки бес лавошника в Куманьковы зыбуны. Так оба и ушли в туман — как в вечность!

А время-то — к ночи.

Что делать?

— Спасать! — верещит Харита Мокрая.

Верещать-то она верещит, а сама в топкую дрягву не лезет.

Ну так ведь как? Хозяину не к спеху, а соседу ни к чему...

Под звон пустозаботного Харитина визга решено было мужиками подождать до утра — может, само собой что-нибудь прояснится...

Решено-то решено, да решение грешно. Потому и потянулся народ в деревню, как в плен. Но не успел он всею своею суровостью и на гривку-то путем подняться, как взревели Куманьковы зыбуны Дорофеевым языком. Деревне показалось тогда, что от бешеной трубы его голоса даже кисельный туман над Куманьковой дрягвою вспенился.

А тут вот и себя, безумного, выкатил лавочник из болотного кипения.

Чуть ли не в три скока перемахнул он логовину, шальным тифоном[1] влетел в скопище перепуганных селян, пойманный мужиками задергался, захрипел, отбиваться надумал от цепких рук.

Не отбился, пал на колени перед век нечесанным, красношарым от беспробудного похмелья Устином Брехаловым да слезно возопил:

— Андронушка, матушка, отпусти! Чо я тебе изделал плохого? Век буду за тебя молиться...

Когда же, обхиханный дурачьем, Устин шагнул на Дорофея с угрозою — щас-ка я тебе отпущу, лавочник

---

[1] Тифон — смерч.

ногтищами заскреб землю и стал кидаться ею прямо в красные шары «отпускальщика».

— Сгинь, ведьма, сгинь! — бормотал Дорофей при этом.— Изыди, сатана...

Потом Ипатыч кувырнулся на спину и стал выкрикивать вовсе какую-то неразбериху, под которую и поволокли его мужики в деревню.

Понял народ, что не тем вовсе страхом блажит Дорофеево нутро, над которым не грех и посмеяться. Тут можно и на себя большую неудобу накликать, ежели не принять произошедшего всерьез. Потому и заговорил он потихоньку:

— Слава Богу, хоть таким Ипатыч воротился — нам в болото не надо лезть.

— Знать, пришлось ему немалого лиха отведать...

— Господь даст — одыгается.

— Шайтана жалко.

— Воротится. Тот сколь раз плутал, а выбрался. И теперь обойдется...

И обошлось.

Воротился Шайтан. Только каким?!

Поутру видел охотный парняга Чувалов Коська, каким мочалом выбрел космарь из Куманькова болота. Был он понур, а истерзан до той степени, ровно всю ноченьку напролет бился в тумане с целым выводком лешаков да кикимор...

В шорниковом дворе забрался Шайтан в пустой пригон и оттуда завыл столь надсадно, столь зловеще, будто хотелось ему упредить народ о неминуемой гибели всей деревни разом.

Солнце только вполблина успело выплыть на край неба, а уж деревня все что могла передумала и пришла к выводу, что надобно готовиться к худшему...

Скоро стала и ребятня просыпаться по закутам да полатям. Стала смотреть на озабоченные лица большаков тупыми спросонья глазами...

Санька Выдерга в клетухе своей поднялась тихая от невольной своей виноватости. Поздняя дрема досталась ей с трудом; в избе всю ночь бушевала Дорофеева буря. И просып тоже легкости не принес. На Шайтанов вой она схватилась, было, лететь до Свиридова двора, но тетка Харита сверкнула в темноту чулана свирепыми глазами, накидала на душу братанки бранья невпроворот и, до полной кучи, повелела:

— Прижми хвост, лётало! Не то я тебя, собачья вера, сгною в этой клети!

Сказала и глубоко всадила в дверные скобы брусчатый засов.

Да-а! Вот те раз — из белены квас...

Сколько бы просидела Санька в неволе — кто знает? Только вдруг да сообразила она, что Шайтан, время от времени возобновляя вой, зовет к себе именно ее — Саньку.

Ну что же ей делать? Башкою стену долбить?

Ох, как поняла она за то время, пока металась в кладовухе, сколь неразрывно привязана она к Никитку, сколь необходимой стала ей приветливость деда Свирида, какой отрадой лежит у нее на душе сердечность бабки Свиридихи... А что сказать о Шайтане, так Санька в кладовухе о нем и подумать без слезинки не могла, хотя отродясь мокроглазой хворобой не страдала.

Прямо как в пропасть кинуло девку в тоску...

День до вечера, словно шар в лузу, западала она в клети из угла в угол. А тут еще в предзакатье да услыхала она за стеною бойкий голос Коськи Чувалова. Должно быть, охотный молодец явился на зов Хариты Мокрой и, от несогласия с нею, вел громкий спор.

— Не,— перечил он лавочнице.— Затея твоя, Харита Миколавна, шибко не по домыслу идет. Ить подумать умной головою, какой такой дурак тебе отыщется, чтобы за столь плевую деньгу рисковать нервой. Ить черта косматого, поди-кась, только заговоренная пуля и сумеет успокоить...

Хотя Санька не услыхала теткиного ответа, посколь торги уплыли в глубь двора, однако поняла, на какой «подвиг» снаряжает тетка Харита скорого на лихую руку Коську Чувалова — Шайтана, понятно, стрелять! И сразу голова ее сделалась такой ли сообразительной, что невольница даже хлопнула себя по лбу ладошкой: как сразу не додумалась? Вот он лом в углу, вот она, широкая под ногою, половица...

Закладки каменной вкруг подклети у Дорофея Мокрого сделано, спасибо, не было — одна лишь дощатая огородка прикрывала подлаз, где хранилось всякое хламье. Да и огородка та была снабжена дверцею, которую не было никакой нужды садить на замок.

— Уж куда как проще выбраться-то!

Но и для такого простого дела пришлось дождаться темноты.

Когда же недолгая июльская ночь заторопилась пришивулить медными булавками над землею небесный полог, затворница неслышной тенью скользнула под звездами через двор. А там, за воротами-то? Да за воротами ее б не смогла поймать ни одна дурная собака.

К тому же беглянка была уверена, что, при нужде, вымахнет к ней на выручку заступник ее Шайтан.

Однако она вот и до шорникова двора добежала, вот и в саму ограду внеслась — никто встречь ей не кинулся, никто даже не ворохнулся. Как будто вымерло все подворье.

Ночница старательно переглядела-перешарила под навесами-клетями — нет нигде Шайтана! Ни живого, ни стреляного...

Это что же это за сторож за такой?!

Санька знала, что при косматой охране старики Глуховы не то клетей, избы на ночь не запирали...

Напоследок она сунулась в пригон.

Еще — вот те раз!

Прямо тут, у переступы подворотной, мертвой дохлятиной лежит вытянулся Шайтан!

Кроме него и вся глуховская скатинеха пораскидалась так, будто над нею волки командовали. Куры и те с насеста посваливались на солому, лапки задравши...

При виде такого «побоища», на Санькином месте, любой бы всполошился: отравлена живность! Только ей скоро понятным стало, что глуховское мыкало да хрюкало спит мертвецким сном. А петух, знать, с непривычки лежать вверх тормашками, ажно похрапывает, распустивши крылья по куче назьма...

Ну, диво!

Принялась дивница тормошить-трясти косматого друга: какой ты, дескать, мне заступник, хозяевам охоронник, когда тебя самого бери за хвост и волоки? Но Шайтан под ее беспокойными руками оказался как есть из тряпья пошит...

Тогда-то Санька и заторопилась в избу — тревогу поднять. Но и там оказался такой же точно повал.

Неужто он, Харитов подговорщик, сошелся с лавочницей в деньгах да успел когда-то побывать у Свиридов?! Побывать да подсыпать кругом сонного зелья?

Ну, а еще-то чего путного могла придумать Санька на такую беспробудность? Ничего другого она придумать не могла. Потому и собралась поначалу всполошить всю деревню. Но потом решила, что Коська-зло-

дей может теперь явиться всякую минуту, что не время оставлять Свиридов на произвол его продажной душонки.

С тем и осталась девчоночка в шорниковой избе.

Села Санька у самого окошка да на широкую лавку, на которой в застенье спал Никиток, настроилась дождаться гостенечка незваного, а уж тогда и народ поднимать...

Глуховский двор плетешком был обсажен не больно высоким. Против окна, за оградою, темнела хатенка Устина Брехалова. Того самого нечесы да неумывы, которого Дорофей Мокрый принял на гривке за утопшую в зыбунах Куманеву Андрону. По правую сторону от окна тянулась плохо видная Саньке деревенская улица. Зато слева хорошо просматривался край Светлого бора. Меж ним да брехаловским двором, минуя Свиридов огород да еще скоможный выпас, за некрутой гривкою ночная видимость резко убегала в низину. Там, увитая сплошной куманикою, низина-логовина с каждым шагом все более хлябла и уходила в Куманьковы топи, который год окутанные загадочным, непроглядным туманом.

Вот сидит Санька в мертвой от беспробудного сна шорниковой избе, смотрит в сторону болота и чудится ей: человек не человек, зверь ли какой белым лоскутом отделился от кисельного марева, не больно решительно, враскачку двинулся по низине, остановился на луне, которая светом своим пропитала всю округу. Хотел, видно, поворотить вспять, да не осмелился и неторопко пошлепал через логовину в сторону деревни.

На недолгий час-времечко пошлепок тот скрылся за гривкою, затем выбрался на нее, осмотрелся вором и подался через выпас, прямехонько до Свиридова двора...

Санька в испуге отодвинулась в простенок. Смелости в ней хватило одним только глазом следить из-за косяка за непонятным живьем.

А то живье уже и поторапливалось.

Вот оно перевалилось через огородний плетешок, вот зашлепало широкими лапищами промеж морковных грядок, вот направилось к избе...

Тут Санька вовсе отпала в угол. Ее трепала жуть. А успела она разглядеть, что до шорниковой избы шлепает прямиком голым-голехонький, да весь не то мокрый, не то маслом помазанный, громаднющий, с чело-

века, перепончатый птенец. Только голова птенцова не имела никакой наметки на обычный в таком случае клюв. Она была гладка и бела, будто ее обтянули тряпкою с прорезями для глаз...

Какого только страха на земле не бывает, но страшней этого придумать было мудрено.

Кабы Санька могла, она бы дурным криком развалила хату. Да вот только все жилы на ее лице стянуло судорогой. И саму ее всю по рукам-ногам скрутило безволием, как младенца повойником. Спасибо и за то, что при всем при этом она оставалась еще способной что-то слышать да видеть...

А услыхала Санька сперва тихий скрип сенной двери, потом тяжелый шлеп великих лап. Вот осторожно отворилась изба, белое чудище перешагнуло через порог, наклонилось над Никитком, зашептало голосом тетки Андроны:

— Вставай, сынок. Вставай. Пойдем со мною...

Весь голубой от луны, Никиток поднялся и пошел маленький, пошел... Избою пошел, сенями, двором, огородом, скоможным выпасом...

Судорога отпустила Саньку, когда оборотень с голосом Андроны уже вводил сонного Никитка в туман Куманькова болота.

Каким путем-случаем оказалась Санька тою ночью опять в своей кладовухе? Каким чудом сумела она определить на прежнее место отвернутую половицу? Кто скажет?

С одного темна до другого била девку на скудной подстилке чулая лихорадка, на что Харита Мокрая мстительно приговаривала:

— Это тебе за Дорофея леденец, за Ипатыча сладенький... Может, кумоха вытрясет, наконец, из тебя дурь твою несусветную да заодно с натурой твоею поганою...

Оно и деревня вся решила, что Саньке Выдерге передалась липучая хворь от Дорофея-лавочника. Народ быстро согласился на то, что отчаюга не выдюжит трясухи и оправится к Богу на руки. Он и рассудил вполне резонно:

— Лавочник эвон какой сноп, а другой день не приходит в себя, да и придет ли. Эту же соломинку любая смерть одним зубком перекусит...

Про Саньку деревня определила, а вот про Никитка

и подумать не знала что — только охала да плечами пожимала.

Однако и насчет «соломинки» неплохо было бы ей языки попридержать.

Не сбылось говоримое.

Выпало девке, против Дорофея, скоренько с немочью справиться. На другой день к вечеру Санька на ноги поднялась. А не успевши подняться, удумала она тут же бежать до стариков Глуховых, пока не узрела ее подъему тетка Харита да сызнова не посадила дверь кладовухи на засов.

Ну, а не терпелось Саньке потому, что надо было поскорей уразуметь правду. Ту правду, которой она прошлой ночью оказалась невольной очевидицей, да ежели та правда ей не померещилась.

А еще надо было поторопиться ей втолковать возможную правду старикам Глуховым. Так втолковать, чтобы Свириды поверили ей да согласились подмогнуть хотя бы разведать, какая такая оказия да поселилась на Куманьковом болоте? И еще девчаточка торопилась избавиться от страха за Шайтана: вдруг да уж нету косматого ее товарища вживе!

Вот сколь было у Саньки забот.

Пока она, хмельная слабостью, спотыкалась вдоль деревенской улицы, бабенки изохались над ее ходьбой. Но ни одна из охалок тех сама не кинулась девчонку поддержать, ни ребят никто не подпустил до нее — испугались, что прилепится к ним Дорофеева зараза.

Что же до стариков Глуховых, так тем все одно оказалось — помирать, не помирать. С утратою Никитка они и ко всему прочему потеряли интерес.

Вот она каким водопадом сорвалась-ухнула на Свиридов Санькина правда!

А попробуй-ка еще и разъяснить ее старым! Вовсе с ума сколупнутся. Какая уж там от них подмога? Такой да подмоге самой бы унести ноги...

Одним словом, не повернулся Санькин язык глуховскую беду да напастью лечить. Только и осмелилась она при горестных, что спросить о Шайтане.

— Не сёдни-завтра подохнет,— ответила Свиридиха слезно.— Маковой росинки не принимает...

— Ровно человек раненый, стонет и стонет,— досказал старухино Свирид.— Из пригона даже не выползает. Ступай, проведай. Тебе хоть, может, обрадуется заботник наш.

На такое дело понятное Саньку долго не надо было уговаривать. Поторопилась она до Шайтана, а тот и в самом деле — языка своего от бессилия не подбирает. Шевельнул хвостом при виде верной своей подруги, и вся сила из него вышла, ажно голову откинул. Подруга на колени перед космарем опустилась, под песью голову ладонь подсунула, другой рукою давай морду его оглаживать. А сама приговаривает, вразумляет Шайтана:

— Я ить тоже собралась, было, подыхать, а гляди, очухалась. И ты у меня давай не дури! Ноги-то вытянуть — не труд. А с кем тогда мне на болото идти? Надо или не надо Никитка вызволять? Разве одной мне со всею болотной хитростью справиться? Да и боюсь я, одна-то! А с тобою б я и в пекло полезла. Вон ты у меня какой — умнющий, сильнющий! Так что смертную дурь из башки своей косматой выкинь! А для силы — поесть бы тебе сейчас надо...

На Санькины слова Шайтан ответно заскулил и тут почуяла вразумительница на ладошке своей странную влагу.

Да батюшки мои! Не то слезы?

Санька быстро отвела от Шайтановой морды лохматы, глянула другу в глаза и обомлела: потоком слезы бегут! Редкий человек может столь горько плакать...

Да и может ли все это быть?!

Так ведь многого быть в эти дни не должно, а оно есть! Есть! И никуда от него не деться.

Вот какая штука.

И все же Санька заозиралась — не в своей ли она кладовухе, не бред ли, доставленный кумохою, опять намеревается сбить ее с толку?

Но и эта, Шайтанова, невероятная правда оказалась настоящей. Такой ли настоящей, что Саньке впору было пойти от нее скачками, как Дорофею Мокрому от неведомого страха Куманьковых зыбунов...

Может быть, и вправду взять да бросить к чертовой матери все эти чудеса, забиться куда-нибудь в безопасье и притихнуть до поры... Только Шайтановы слезы уже успели выпалить своим горем всякую трусость из Санькиного нутра. Взамен в груди ее осталась лишь какая-то тяжкая неуютность и крайняя слабость и сострадания тесная боль...

И все-таки хотелось теперь девчаточке оказаться подальше от этого места, пусть даже запертой в кладовухе. Прикорнуть бы там теперь на дохлой своей подстил-

ке и не двигаться, не думать — просто ждать, когда же вся эта беда пройдет сама собою...

С другой стороны — можно ухитриться и разом впустить в голову все подробности последних дней. Пусть они смешаются в мозгах, сотворят бездумье, унесут ее опять же в забытье...

Только штука-то вся в том, что не выдюжить Саньке повторной лихорадки. А помирать — ох, как не хочется! Ну, а если не помирать, так рано или поздно, а все одно приходить в себя надо. Зачем тогда время тянуть? С правдою в прятки играться? Ведь правда, она и за углом правда.

— Ну, чо ты? — сказала она Шайтану.— Чо ты, как маленький... Увидят люди — за нечистого примут. Тебя и без того Чувалова Коську тетка Харита подбивает застрелить. А прознай она о твоем рёве — и тебе и мне не сдобровать. Как же тогда Никиток?

Нашептала Санька такую безрадостную истину Шайтану, да сама вдруг поверила в то, что пес ее вот как славно понял. Так славно, что когда в пригон заглянула бабка Свиридиха — узнать, не настала ли пора копать для косматого добытчика яму глубокую на задах огорода, девчоночка уже безо всякого сомнения попросила старую принести Шайтану свеженького молока с хлебными крошками.

Не успела Свиридиха охнуть да поспешно засеменить до погребушки, сам Свирид прибежал.

— Эко чудо расчудесное! — взялся удивляться.— Ой, Санька-а... Да, ой, Санька! Да на тебя, знать, девка, не то простой, красной цены нету! Они ить, собаки-то, повторную жисть из рук только золотых людей принимают...

А когда бабка с посудиной полною прибежала, да Шайтан принялся жадно хватать из нее, то дедок и носом зашмыгал и решил:

— Вот чо, девонька. Жалко нам, конешно, со старухою кормильца такого от себя отрывать, однако твой он по всем правам. Бери его себе. При нем и Дорофей с Харитою будут с тобою потише... Бери.

— А еще б лучше остаться тебе у нас,— вставилась в дедово рассуждение со своей крайней охотою его хозяюшка.— Вот уж тогда и мы немного еще пожили...

— Не морочь девке голову! — застрожился шорник.— Это он Володея Куманя побаивался. А нам с тобою Дорофей Ипатыч, опомнится, таких оставаний на-

кладет, таких ставаний — аж до самых расставаний. Забудешь, куда и прятаться бежать.

— Дорофей еще опомнится или нет,— хотела заспорить старая, но Свирид ее перебил.

— А Харита на что? — спросил.— Она и сама, безо всякого Дорофея... не свихнет, так вывихнет...

Прав был Свирид. Только старая надеялась на то, что ее доброта правее. Потому и не захотела так просто уступить своему деду, раскудахталась. Оттого и Свирид разошелся... Санька же на огородок коровьих яселек присела и стала думать себе о том, что с Шайтаном, после того, как потерял он в зыбунах Володея Куманя, вообще случилась большая перемена. Пес и прежде был дивно умен, а теперь... эти слезы! А его позавчерашний вой? А чем объяснить мертвецкий сон? А как понять появление оборотня с голосом тетки Андроны? А Никиткова пропажа?! Пресвятая Богородица! Сколь вопросов безответных! А что сам непроглядный туман над Куманьковой дрягвою? Это ли не первейшая загадка? Чье логово укрывает он? Какая еще беда-морока вызревает за его кисельной густотой? Не-ет! Столь вопросов никакими думами не одолеть. Так ведь не зря же пословица русская подсказывает: не достал умом, дотянись делом...

Надо идти на болото!

Вот в каком чистом виде и предстала перед Санькой ее многосложная истина.

Сумеет ли только она истину эту оправдать на болоте? Вот это вопрос, так вопрос — ажно выше волос!

Изо всей Санькиной правды выходит какая догадка? А такая, что поселилась на Куманьковых зыбунах нечистая сила! Поселилась для того, чтобы заманивать на болото да перекидывать в оборотней добрых людей... для какой-то непонятной надобности. Должно быть, и Никиток за тем же самым уведен. Потому и нет больше у Саньки ни поры, ни времени надеяться на то, что болотная затея уляжется сама собой. Зато имеется у неё опаска, что на медлительность ее возьмет да и выползет из дрягвы какая-нибудь здоровенная гусеница-змея с Никитковой головою...

«Не-ет! При живой при мне такому не бывать! — сказала себе Санька и наметила: — Ночь переждем, а поутру идти надо...»

— Что же вы меня-то не угощаете? — встрепену-

лась она после этого на ясельной огородке.— Я ить, гляньте-ка, отощала хужей Шайтана...

От ее правильных слов старики и спорить забыли, заторопились печку топить.

Только не успелось им согласным путем и поужинать — Хариту Мокрую дурная сила в дверь сует. Похоже, кто-то услужливый ухитрился подслушать у сараюшки стариков спор, насчет Шайтана да Саньки, и перенес его в хоромы лавочника. Вот она, Харита, и прикатила на двух резвых — неотложно требовать братанку обратно в свое хозяйство.

— А то шляется по чужим дворам, что колобкова корова,— оправдала она свой приход громкой руганью.

Санька ж мигом сообразила: при таком теткином нетерпении быть ей непременно запертой сегодня в кладовухе. И улизнуть едва ли придется. Это уж как пить дать. Вон как теткины-то глаза выкатывает на лоб озлоблением.

— Не пойду! — отрезала Санька столь бесповоротно, что Харита сперва на полуслове клекнула горлом, будто заглотнула целиком куриное яйцо, потом кинулась в чужом дворе смотать дерзкую за косы.

Да Саньке было не впервой увертываться от длинных рук. В минуту она уже стояла в сараюшке под Шайтановой защитой. И хотя пес всего-то и делал, что знаменито улыбался, однако жаль — не было поблизости Чувалова Коськи. Лавочница в этот миг, ей-бо, не пожалела бы накинуть сверх им просимого еще золотой.

Того охотного парнягу черти, видать, где-то по другим заботам волочили. Потому и пришлось Харите Мокрой, с угрозами да криком, поворотить оглобли...

А Санька пока осталась у Свиридов.

Определилась она спать в застенье на лавке, на Никитковом месте; легла, как была — в кофтенке немудрящей своей, в старенькой юбке. Прикорнула она на лавке, только уснуть путем не уснула. Сперва, вроде, маленько закемарила, да вскорости ее как домовой под бочину шурнул. «Вдруг да впрямь,— подумалось ей,— Харита с Коськой Чуваловым сумели договориться?! Не пойти ли мне лучше ночевать в пригон?»

Встала, пошла. Не побоялась.

Вытемнила она во двор и что видит?! Пригон настежь распахнут, Шайтан стоит на выходе и натянут весь чуткостью, как струна. Космы его по хребту — дыборем, глаза безо всякого до посторонних дел внимания... Весь

как есть он уже находится на Куманьковом болоте — одним только телом еще тут. И вот это его тело дергает и туда, и сюда непонятной силою. Ровно бы кто упорный да на долгой веревке намерен подтянуть пса до зыбунов, а он упирается...

— Опять... новое чудо.

И все-таки тот, кто на болоте, пересилил Шайтана — сдернул с места. Нехотя да с натугою пошел косматый мимо Саньки. И хотя весь он был уже отдан колдовской силе, а не забыл заскулить напоследок. Вроде хотел сказать подружке: прощай, дескать, товарищ мой верный, ухожу я в тайность болотную, равно что в смерть неминучую...

Ну уж, коне-ешно! Нашел кому такое говорить...

Санька и пригона не стала затворять; метнулась следом за Шайтаном — удержать друга. Она так и повисла кулем на его шее, да только зря коленями глубокие борозды по морковной грядке пропахала. Вот до какой силы налит был косматун чужою волей! Он даже не обернулся на ободравшую колени Саньку.

Однако же девка не зря звалась Выдергой. Не в ее понимании было ухватить да не выдернуть. В конце огорода она догнала Шайтана, ухватилась опять, да уперлась голыми пятками в плетешок..

Но такой же давнишний, как и его хозяева, предел этот хрупнул, повалился навзничь. Санька проехала по нему животом, от бедра до самого низа располосовала юбку, в досаде выпустила уходящего, полежала на земле, покорчилась от боли, затем непонятно на кого озлилась, вскочила, бегом опять догнала космаря, завладела его хвостом и... такой вот недолгой цепочкой оба они вошли в болотный туман...

Санька скоро поняла, что Шайтан распрекрасно знает Куманьковы топи. В такой сплошной непроглядности их ни разу не занесло в трясину, хотя кругом, прямо руку протяни, кипела пучина. Она отдавала какими-то вздохами, бульканьем, пошлепками. А то вдруг оживала огромными вонючими пузырями...

Чистыми водьями да кочкарником, а где и вовсе суховинами, пробиралась оборванная, порядком извозеканная Санька и вперед и вперед. Она не отрывалась от хвоста своего по-прежнему безучастного к ней друга; даже на сухих местах она лишь меняла руку на руку, но Шайтана не отпускала.

А под ногами все чаще и чаще болотная хлябь пересекалась травянистыми взлуками, и скоро вовсе перешла в сплошную крепь, поросшую довольно густой гривою вовсе не знакомых растений...

Ну, скоро, не скоро, а стало Саньке казаться, что кисельное марево тумана редеет перед глазами. Вот, вроде бы, сквозь запотелые его промоины, да при каком-то голубоватом свете, уже и мерещатся ей чужие вовсе травы да цветы нездешние. Прикинуть, так вроде бы получается, что среди Куманьковых топей чудом-дивом образована совсем какая-то неопределимая земля...

Голоногая, ободранная, чумазая вошла Санька не в свои заросли, задела рукой один, другой цветок очень даже интересной красоты, узрела над головою в полете противную, с какими-то серыми тряпками, взамен крыльев, птицу. Она разевала на лету свой могучий клюв — похоже, каркала, но голоса ее Санька не услыхала и скоро потеряла бесперую в совсем уже поредевшем тумане. Не услыхала Санька и пения малой золотистой птахи, что на ветке невысокого, с долгими плодами дерева, явно вымолачивала трепетным горлышком заливистые трели. Чисто голубой ее клювик мелькал в пении быстрее, чем у старательного зяблика...

Засмотрелась Санька на пичугу, рот раззявила. Тут ей прямо в лицо и порхнул из густоты высоких трав проворный метляк[1] синего бархата. Да такой он был здоровенный, что тугим своим крылом, будто ладошкою, хлестанул разиню по щеке. Санька отскочила в сторону и чуть было не села на красную жабу, которая полуметровым пнем подвернулась ей под ноги. Жаба сердито зашипела, показала ей зубастую пасть и одним скоком ушла в заросли...

Только теперь Санька хватилась, что когда-то умудрилась выпустить Шайтанов хвост.

Друга рядом не было! Кисельный туман напрочь рассеялся над странной этой болотной кулижкою[2]. Он как бы раздвинулся на стороны и плотной стеною окантовал мирок с чужой для Саньки жизнью. И эту жизнь озаряли совсем с близкой черноты неба сразу три луны! Они не были ни спокойными, ни деловитыми, как земная, старенькая луна. Вроде только что созданные, они горели каким-то пушистым огнем и даже чуть-чуть потрескивали от жара, подрагивали от нетерпения гореть. Только

[1] Метляк — бабочка.

[2] Кулижка — островок, клочок земли.

свет их не был силен: от заросливых стеблей разбегались на стороны густущие тени. Высвеченные из темноты цветы да листья поблескивали трепетными росинками. Все кругом сияло умытостью да убранством таким, ровно с минуты на минуту ждали сюда сановитого гостя. А заявилась — вот те на! — грязнущая, изодранная деревенская отчаюга...

Но, даже при упорстве своей да решимости, незваная героиня, так вот просто, взять и выставиться из зарослей на светлую прогалину, которая приметилась ей за кустами, не посмела. Она тихонько притемнилась к прогалине поближе, остопилась в укрытии и тайком взялась разглядывать круговой ее простор. Вершка на три от земли перед Санькою оказалось приподнятым лобное какое-то место. Разглядывать тут особенно-то было нечего. Просто среди зелени высилась устроенная кем-то круглая да ровная, как барабан, площадка, величиною с деревенское гумно[1]. Основная ее необычайность заключалась в том, что была она всплошную выбелена чистейшей известкою. Но, когда Санька пригляделась попристальней, оказалось, что никакая тут не известка, а похоже, словно разлитое по всему подхвату молоко накрепко приморожено к основе поблескивающим настилом. Кругом стоит теперь теплынь банная, а от настила того и в самом деле отдает приятным холодком...

Хорошо, конечно.

И вдруг! На тот холодок, на то место лобное да выходит Шайтан. Ни грязи на нем уже никакой нету, ни тины болотной. Шерсть старательно оглажена... Кем? Когда успел обиходить себя пес?!

Снаружи-то Шайтан выхолен, хоть бантик привязывай, а нутром, видно, совсем похирел: темная туча вышла на прогалину, а не Шайтан. Башка лохматая опущена, хвост волочится, лапа об лапу запинается. Идет и с подвывом чуток потявкивает. Вроде спит космарь на ходу и видит страшный сон...

И вот тебе сон его да вознамерился образоваться над белым настилом... да въяви! И не только перед Шайтаном вздумалось ему представиться, а и Санька из-за куста увидела, как вышла-появилась с другой стороны площадки и поднялась на нее недавно утопшая в зыбунах Андрона Кумань! Но какая она стала! Санька и не думала никогда, что барское платье да показная осанка до такой чужой красоты могут изменить человека!

[1] **Гумно** — место для молотьбы.

Среди лобного места стояла царица!

Так подумалось Саньке, хотя отроду не видела она помазаниц Божьих даже на картинке.

Короны, как положено царицам, на голове ее, правда, никакой не было, зато разголехонькая ее шея была занавешана таким богатым ожерельем, каких и придумать-то сразу не знаешь как...

Поначалу измертво-снеговая Андрона, эта Явлена, в короткую минуту приняла живую, человеческую окраску и медленно подняла опущенные веки...

Вот тогда-то Санькина душа и поменяла начальный свой восторг на болезненный озноб. А сама хозяйка этой души чуть было не свалилась со страху в заросли, поскольку глаза Явленины не имели ни белков, ни зрачков,— они были всплошную залиты такою яркою краснотой, ровно бы под черепом осанистой «царицы» пылал жаркий костер. Однако пламени костра не давали вырваться наружу прозрачные меж ее век заставки.

Сатана!

Догадка Санькина подтвердилась еще и Явлениным голосом.

Он хотя и пошибал на человеческий, но было в нем столь много понапехано высокомерия да самомнения, что, казалось, должен вот-вот лопнуть и разразиться над землею громовым раскатом...

А сатана тем временем говорила Шайтану:

— Вот уж не думала, что ты окажешь себя столь неблагодарным. Я же отпустила тебя только Никитка проводить-выручить. А ты и сам ушел. Теперь пришлось мне из-за тебя и парнишонку на болото забрать. Так что вперед знай: ты упрям, а я упрямее. Ты, знаю, хотел бы, чтобы я воротила тебе твой собачий разум? Нет! Этому никогда не бывать. Только с моим отбытием либо со смертью возможно всему стать на свои места. А пока я тут, на вашей земле, мне необходим помощник с твоим чутьем, пониманием и сноровкою. Но для роли моего доверенного в тебе мало было природного соображения. Вот почему я поменяла его на разум твоего бывшего хозяина. Видишь ли, человек в подручные мне не годится. Володей Кумань не менее разговорчив, чем остальные люди. А я не желаю, чтобы кто-то обо мне узнал больше нужного. Да и сердцем своим человек настолько глуп, что страшится любой непонятности. И этот великий страх невежества толкает его уничтожать все для него непостижимое, неподатливое. К тому же он еще и

труслив. Оттого-то, для уничтожения нежелаемого, он часто покупает невежество ближнего. И чем глупее человек, тем он продажней, тем безжалостней. Жизнь на такой основе тормозит развитие земного разума. Тебе даже представить мудрено, как далек рассудок землян от того совершенства, когда его направленная сила обретет умение присваивать волю низших, творить из недоумков счастливых рабов одним лишь только желанием воли...

Глаза дьяволицы, по мере изменения ее настроения, резко меняли цвет огня. То они полыхали пожаром, то рдели закатным заревом, то плескались блестками неспокойной реки, а то вдруг сквозили такой чернотой, что втягивали в себя на время Санькину память. Моменты такие были, правда, коротки и только потому, видать, Санька не выскакивала из-за куста, не шла на белый настил покорствовать дьяволице...

— Примером счастливого раба можете служить на земле вы, собаки,— продолжала высказываться тем временем Явлена.— Одна беда — соображения в вас маловато. Вот почему была я вынуждена поменять твой песий толк на Володеев. Зато жене Володеевой я оставила полный ее разум. Воспользовалась только ее телом. Ты должен понять, что прежней своей плотью, появись такой среди землян, я бы вызвала конец света, как у вас говорят. Люди бы с ума посходили. А теперь? Кто поймет, что я не человек? Глаза выдадут? Но глазами с Андроною я поменяться не могу. Без своих глаз я — ничто. Они излучатели воли моей! Ну, это — невеликая беда. Во взгляде моем и таится самая главная опасность для землян: он парализует волю в один миг. Всякий, посмевший глянуть на меня в упор, останется ничтожеством, пока я того захочу! А я вольна длить и свою, и чужую жизнь сколько угодно...

Глаза ее полыхнули вновь черным огнем, затем вспыхнули солнцем и она воскликнула:

— Скоро, очень скоро я подчиню себе все земное невежество и тогда... Пусть только попробуют сунуться ко мне те, которые ищут меня во Вселенной! Я двину на них полчища подвластной мне глупости. О, направленная косность! Она способна пожрать собственное дитя.

Явлена расхохоталась хмельно, как пьяный барин. А потом призналась Шайтану:

— Вот видишь, тебе я могу сказать все. Этим ты для меня и хорош: все понимаешь, но ничего, никому не су-

меешь разболтать. Могу доверить тебе еще большее. Последнее мое открытие позволило мне бывать среди моих преследователей! — При этом она уставила палец в небо.— Знать их помыслы, определять место в пространстве. И они,— опять расхохоталась она,— они посмели со мною спорить! Хочешь,— вдруг спросила Шайтана Явлена,— я теперь же, сейчас перенесу сюда,— указала она на помост,— их полное подобие? Хочешь? — повторила она и стала пояснять.— Только тебе не услыхать их голосов. Они говорят на столь высоком охвате звука, которого земной слух не достигает. Да и не вынесли бы земные нервы этих звуков. Но хватит с тебя и увиденного. Только — ни гугу! Иначе — беда! Поток зримого способен захватить волны твоего голоса и вместе с тобою унести в простор Вселенной!

Тут бы, на Шайтановом месте, кто угодно закаменел. Явлена же тронула рукой богатое свое ожерелье, побежала кончиками пальцев по его камушкам... Как бы в ответ по белому настилу заплясали радужным многоцветьем быстрые искорки. Когда же огневые брызги принялись свой перепляс замедлять, Санька узрела, как над всем простором лобного места взялись образовываться из ничего какие-то сусеки, что ли, сундуки ли высокие. Они имели наклонные крышки, усыпанные сплошь опять же огоньками да еще кнопками разными, в добрый ноготь величиной...

Скоро предстала перед тайно глядящей Санькою не то лавка торговая какая, не то контора. Она была обустроена вкруговую этими самыми кнопчатыми сусеками по всему белому настилу.

Как раз против Саньки хорошо так пришелся проем между надстроек: вся середка конторы оказалась видна. И на той на середке теперь не было никакой Андроны-Явлены, никакого Шайтана. Так, вроде туман какой-то витал над тем местом и все. И больше ничего! Зато стояли там и бегали через туман напрямки те самые оборотни, один из которых прошлой ночью уманил на проклятое болото сонного Никитка. Только теперь оборотни не показались Саньке столь страшными. То, что в ночной темноте было принято за бесперую, мокрую кожу огромного птенца, при свете косматых лун оказалось хотя и странной, но очень даже допустимой одежкою. Под просторным ее покроем без труда угадывались подвижные, приземистые тела с большущими ступнями в мягкой обутке. Голыми при такой одежде оставались толь-

ко совсем бесцветные, длиннопалые руки, да головы, круглые, как шапошный болван, и, точно как он же, безволосые.

На месте наших скул головы те пошевеливали какими-то тонкими, жаберными решетками. Может, они дышали через них, а может, слушали друг дружку таким способом, поскольку ни носа человеческого, ни ушей на тех головах не было. Вот рот, хотя и полностью безгубый, находился на своем месте. И глаза тоже находились во лбу. Прорезью своей такие же точно, как наши, они не имели ни ресниц, ни бровей. А изнутри были заполнены тем же самым дьявольским огнем, который только что полыхал за прозрачными заставками в очах Явлены.

Все это живое скопление огненноглазых оборотней судило о чем-то явно спорном. Оно размахивало длиннопалыми, белесыми руками, разевало наперебой безгубые рты. Жабры ходили ходуном...

Один неспокойный больше остальных носился через контору, почти перед каждым лысым останавливался особо, распахивал рот широкой трубой, пылал глазами и опять схватывался носиться по настилу...

Но скоро он, знать, выбился из сил доказывать свою линию, прошел до края площадки и черт его определил как раз в том проеме, куда заглядывала Санька. Повернутый к недовольной девчонке спиною, оборотень как бы привалился к невидимой стене, восходящей, знать, от самой кромки настила.

Саньке захотелось убедиться, на самом ли деле круговая площадка огорожена каким-то пределом? Она осторожно потянулась из-за куста. Но рука ее не ощутила никакой огородки, случайно пальцы ее прошли сквозь ногу спорщика, точно сквозь сгусток неощупного пара...

Перед нею действительно была одна только видимость. Однако спорщика будто бы кто ужалил за ногу. Он быстро обернулся и зелеными, огневыми глазами уставился прямехонько на тот куст, за который успела отпрянуть Санька.

Похоже, что оборотень не поверил увиденному. Он ровно так же, как делает в таком случае человек, попытался протереть глаза. Но и на этот раз не доверил им. Потому он ловким движением пальцев нажал на прозрачные заставки...

Санька даже откинулась назад, боясь возможного

огня. Но страшного не случилось. Прозрачные скорлупки величиною с пятак выгнулись наружу и выпали из-под век. Они тонкими лепестками легли спорщику на подставленные ладони, а на Саньку глянули как есть земные, только глубокие и желтые зрачки. Они тут же наполнились неописуемым удивлением и даже испугом. Руки дрогнули так сильно, что гибкие скорлупки на ладонях подскочили, блеснули в свете лун и порхнули за предел настила, прямо на землю... Рот оборотня разошелся трубою, но в этот момент все видимое растворилось, и на помосте вновь образовалась Явлена да с нею Шайтан. Дьяволица опять взялась толковать, теперь о только что виденном.

— Спорят,— объяснила она и без нее понятное.— Никак не могут определить, где я укрылась от них. Если они и додумаются до этого, то без моей помощи сумеют добраться до Земли не очень-то скоро. Ну, а ты — прямо молодец! Ты даже, по-моему, дышать перестал. Страшно было? Ничего, ничего. Это мне понятно. А опасность и на самом деле была велика. Видишь ли,— тронула она рукой свое ожерелье,— это мое недавнее и совсем новое измышление. Оно не совсем мною испытано. С ним я надеюсь натворить много дел. Сама-то я в нем ничем не рискую, а вот того, кто рядом со мною находится, могут ждать большие неприятности. Я еще не знаю, можно ли со стороны видеть его действие — другой раз попробуем. А пока... прости, что я рисковала тобой. Мне так хотелось похвастаться своим умением... А теперь — я устала. Пойдем вниз. Я отпущу тебя к твоему Никитку. Парнишка ни в какую не хочет признать меня своей матерью, а действовать на него силой я не хочу — больно мал еще. Андрона ж, понятно, в теперешнем ее виде не настроена показываться сыну. А Володей — увы! Не знаю даже, что мне с ним делать? Оставить таким — самой мало приятного. Отпустить его на болото — тебя жалко. Утонет. А вдруг мне придется покинуть землю? Андрона-то сможет принять свой прежний вид, а ты навек останешься с Володеевым разумом. Это будет невыносимо! Лучше уж ничего трогать не надо. Пусть пока Володей живет, а потом видно будет, Андрона все знает, она за ним досмотрит. А ты ступай к Никитку — вторые сутки парень один...

Еще договаривая, дьяволица уставилась своим огневым взором в самую середину белого настила. Скоро под ее ногами что-то загудело тихо-тихо и вся белая площад-

ка пошла разъезжаться на сторону ровными клиньями.

Под настилом-перекрытием отворился такой же круговой простор. Он уходил в глубину ступенчатым уклоном, который был рассечен несколькими проходами. Каждый проход упирался торцом в тупиковый срез, в коем виден был овальный проем, задвинутый наглухо ровной загородкою. Все обустройство нутряное сияло белой чистотой и само по себе светилось неброским светом...

Пока Санька тянула из-за куста шею да хлопала успевшими устать от удивления глазами, Шайтан с Явленою сошли с перекрытия на ступеньки. Потолочные клинья разъемного настила, по мере их опускания, взялись опять сходиться и вот уж они примкнули один к одному. Снова перед Санькою под лохматыми, неземными лунами забелела гладкая пролысина лобного места.

Теперь прятальщица, в грязной одевке своей, с ободранными коленками вольна была выбраться из укрытия. Она маленько размяла затекшие руки-ноги, потом присела на краешек настила, принялась мозговать...

О возврате в деревню да за людской бы помощью не могло в ней образоваться даже самой малой думки. Смешно было надеяться, что селяне так вот просто поймут и доверятся ее рассказу. Скорее всего деревня взбулгачится и, на этот раз, наверняка, признает Саньку полной сатаной. И тогда уж ничем ей не суметь помочь Куманям...

Нет, конечно. На люди ей теперь и показаться не моги. Только как же ей одной, хотя и задиристой, и неустрашимой, однако такой махонькой, такой безыскусной, совладать со всесильной дьяволицей?

Поднырнуть под белый настил она сразу не додумалась. Может, внутри ведьминого логовища она бы, по ходу дел, до чего-нибудь и додумалась бы. Но страшно попасть Явлене на глаза...

«Глаза, глаза! — спохватилась девчоночка.— Они, должно, у дьяволицы точно такие, как у оборотней — вставные? Интересно, куда беспокойный спорщик-то уронил скорлупки свои? Вроде бы они в траву порхнули. Надо поискать...»

Санька опустилась на колени и приступила осторожно раздвигать стебли высокой травы. Она ряд за рядом отглаживала их на сторону, основательно проглядывала пробор, сама себе думала:

«Ишь, чего захотела! Так вот он тебе прямо и подкинул свои колдовские гляделки. Подставляй подол!»

Подтрунивала так сама над собою искуха, но траву разводить не бросала. И на один, и на другой, и на третий раз перечесывала она ее на все бока. Делать-то Саньке все одно было нечего.

А ведь как вы думаете — и нашла! Ей-бо, нашла!

Да вот же они, вот! Рядышком засветились в три луны, будто возликовали, что не придется им пропадать на болоте впустую.

Санька приняла те лепестки прозрачные себе на ладонь, почуяла — теплые! Вроде живые. Струсила сразу приладить их до своих глаз — вдруг да прирастут! Куда она потом с ними? Но скоро поняла, что и без них она — никуда. И вдруг ей стукнуло в голову: не случайно все-таки оказались эти чертовы снасти за пределом настила — подкинуты! Безо всякого смеха —подкинуты. С добром подкинуты. Потому как за что бы Явлениным супротивникам желать Саньке беды? Выходит, что бояться этих скорлупок особенно не стоит...

Интересно: мог бы кто из других ребятишек до такого додуматься? А Санька додумалась. Она даже сумела себе обрисовать в уме, как спорщик желтоглазый нарочно выпустил скорлупки из ладоней.

Ну, девка! Ну, Выдерга!

Чтобы не успеть ничего передумать, Санька заторопилась. Она быстро подвела край одного лепестка под верхнее веко, а уж под нижнее он и сам привычно лег. Очень даже ловко устроился шельмец! Со вторым приладом Выдерга справилась и того ловчее...

Никакой видимой перемены, при новых глазах, Санька на болоте не обнаружила: луны остались лунами, настил настилом, а заросли зарослями. Перемена оказалась в другом. Гляделка услышала заливистый голосок укрытой чащею птахи. Услыхала она голосок и подумала: «Откуда такая певунья? Не водится на наших болотах столь славных щебетух».

— Эй, эй,— тут же разобрало ее озорство,— лети ко мне. Дай на себя глянуть.

И вот на это, на шутливое ее приглашение, взяла да выпорхнула из ветвей та самая, золотая пичуга, которую девчаточка заприметила еще на подходе сюда. Стоило только Саньке протянуть ладонь, как щебетуха с полным доверием определилась на ней и прям-таки зашлась трелью...

«Угодничает,— поняла безо всякого удовольствия Санька.— Фу, как противно! Все тут, видать, невольники Явлениной чертоплялски!»

— Лети! Ну тебя!— сказала она певунье и стряхнула угодницу с ладошки.— Некогда мне с тобою...

Пичуга упорхнула, и Санька поняла, что новые глаза кроме лишнего слуха дали ей еще и умение командовать, как Явлена, чужой волей.

Однако же покуда касалось ее умение только мелкого живья. А вот послушается ли ее приказа перекрытие сатанинского логова — это вопрос.

Слава Богу, за такою проверкою не надо было далеко идти. Без долгих колебаний Санька вбежала босыми ногами на белый настил, по тонким лучикам сомкнутых граней нашла его середину, уставилась в нее и... всею волею души свой приказала:

— Отворяйся!

Перекрытие послушно загудело и пошло... Пошло разъезжаться на стороны знакомыми клиньями...

Хотя и надежно дьявольское гнездовище было отрешено от людского внимания провальной топью да непроглядным туманом Куманькова болота, однако же творить свои сатанинские затеи Явлена решалась пока лишь только потемками...

Теперь, по Санькиным прикидкам, самое время выбегать над деревнею шустрому да крепенькому, с востока горячему июльскому солнцу, пора звенеть под размашистыми нырками литовок росным на лугавинах травам, в ржаных полях время перепелам просить «пить-подать»... А тут, во вражьем этом, подболотном уюте даже от белых стен бесконечно голого, бесконечно вихляющего длиннотой своею прохода тянуло мягким, глубоким сном. Ту же самую дрему таил в себе и черт знает откуда исходящий, еле живой свет.

Саньке казалось, что сама она давно уже спит, только новые ее глаза дают ей силы не упасть, не свернуться под стенкою калачиком, не засопеть довольным носом. Они заставляли ноги шагать и шагать и этому шаганию, похоже, не было предела...

Одна за одной, по обеим сторонам прохода, перед упорным Санькиным взором, охотно раздвигали свои плотные задвижки овальные проемы. Они беспрепятственно дозволяли озирать сокрытые внутри покои, приглашали войти, осмотреться. А и было чему там поди-

виться, на что рот разинуть: одним только пересветьем разным, обдающим Саньку то беспричинным блаженством, то неуместной кручиною, то восторгом, можно было потешаться хоть целый год. Да вот только не смела девчоночка переступать высоких дверных порогов. Больше всего пугала ее безоконность тех покоев. Она напоминала Саньке кладовуху в теткином доме. Так что боязнь ее была оправдана прежней неволею...

Отворялись перед Санькою и такие покои, где, безо всяких фокусов, можно было просто посидеть, полежать, разные картинки на стенах поглядеть. Но и понятной простотою не могли они заманить Саньку в свое нутро...

По всему чувствовалось, что дьяволица устроилась в болоте распрекрасно и надолго. Одно вызывало полное недоумение: неужели Явлена с таким огромным хозяйством управляется в одиночку?! За все хождение ни единая живая душа ни радостью, ни испугом не отозвалась Саньке. И даже легкой тенью не промелькнуло нигде никакое дыхание...

Тогда Санька стала подумывать, уж не разглядывает ли она ходит то, чего на самом деле и нету? Может, хозяйка логова образовала тут одну лишь видимость, на случай появления такой вот доверчивой дурехи? Получалось, что видимость надо было все-таки осознавать на ощупь. Тогда и пришлось Саньке переступить высокий порог.

Она очутилась в окружении довольно просторного, очень занимательного сада. Снизу, из-под каких-то мудрено завитых решеток, под которыми серебрилась чистая вода, не только по стенам, но и по потолку вползали-цеплялись за ловкие выступы разные там вьюны да повилики. Их долгие плети, унизанные густотой листьев, свешивали где лопушистые, где метельчатые, где в стрелку выведенные цветения. Во всей пышности лепестков копошились да посвистывали забавные птахи, вспыхивали недолгими огоньками какие-то иные порхуны. В стороне, у одной из торцовых стен вделанное прямо в пол, голубело огромное корыто, полотенце висело на блестящей перекладине. Оно было еще мокро. Кто-то недавно тут мылся. Интересно! А противоположная стена оказалась совсем голой.

Когда Санька подошла к ней, то поняла, что она покрыта точно такой же ровной, мерцающей белизною, как верхний на болоте настил.

Вот теперь-то ей совсем нетрудным делом оказалось понять, что эта лысина, среди остальной пышности, образована тут не без умысла. Похоже, что Явлена не имела крайней нужды подниматься всякий раз на болото, если ей было желательно вызвать тени ее однородцев. Должно быть, ей прямо из этого сада удавалось и подсмотреть и подслушать своих противников.

«Ой, да как хорошо бы, — подумалось Саньке, — взять да выманить оборотней из поднебесья, тех, которым не терпится отыскать болотную эту диву. Оно бы небольшая беда самой пострадать при этом, лишь бы лысоголовые посчитались с ведьмою, утрясли бы с нею свои дела...»

Так мечталось Саньке, хотя понимала она, что без дьявольского ожерелья ниоткуда никого не заманить ей сюда, не дозваться. Да и не сама ли Явлена доложила на болоте Шайтану, что, покуда владеет она своим проклятым ошейником, никакие мировые страсти ей не страшны...

И все же Санька, из простого упорства, попросила стену:

— Покажи, а! Чо ты умеешь делать?

Знакомыми искрами ответная белизна стены вспархивать не стала, она взяла и просто засветилась сплошным, ровным светом.

Засветилась и сделалась насквозь проглядной. И увидела просительница по ту сторону стены да непролазную, болотную топь. Чертова каша почти рядом с Санькою пузырилась, расходилась ржавыми кругами, лоснилась плешинами маслянистой грязи... А этак шагах в двадцати в глубине видимого проглядывалось упрятанное в густых камышах низенькое, маленькое такое, странное жилище. Перед его овальной опять же дверью девчатка различила косматого, грязного человека. Он сидел как-то по-собачьи, на коленках, упершись руками в землю, и тяжело дышал, будто бы только набегался. Санька пригляделась к нему и со страхом признала Володея. Тут из низенькой построины показалась хотя и чужетелая, но понятная теперь Андрона. Она, в гадком своем обличии, присела на порожек, откинулась безволосой головою до кромки дверного проема и по бесцветному ее лицу покатились быстрые слезы.

От жалости в Саньке зажмурилось даже сердце. Кровь ударила в голову с такой болью, что она не сумела от нее опомниться сразу. Когда же пересилила ее, по

ту сторону стены образовалась уже иная картина. Там, по мягонькой среди болота лужайке, со смехом носился Никиток. Он, понятно, радовался Шайтану. Да и сам пес, довольный, знать, встречею, забыл на время о своем положении — дал волю короткому счастью. Он и ползал и скакал перед Никитком, и валился лапами кверху, и вдогон за парнишкою пускался и нарочно не мог поймать удирающего... А тот заливался неслышным хохотом, что-то кричал Шайтану, размахивая руками...

Чуть поодаль от их веселья виднелась такая же точно построина, какую видела Санька при Володее с Андроною...

А вокруг и того горя великого, и этой временной радости верным приставом стоял густой болотный туман. И очень даже было понятным, что к одиноким этим приютам нету никакого земного доступа; проходы к ним из дьявольского гнезда ведомы только лишь Явлене. Вот когда Санька простонала в упадке духа:

— Никиток, Шайтан...

И вдруг! Да оба разом игруны замешкались, замерли, насторожились...

Санька не поверила стати — приняла за совпадение. Повторно сокликнула встревоженных. Шайтан на ее призыв заметался по лужайке, Никиток постоял-постоял, ляпнулся животом на траву и заревел.

Тогда Санька, и сама готовая удариться в слезы, кинулась на стену, заколотила в нее кулаками, закричала:

— Пусти! Пусти меня!

Белая преграда послушно загудела и пошла собираться гармошкою на одну сторону.

Крикуха же, пылая нетерпением, поспешила протиснуться в совсем еще малый проход, но... никакого Никитки, никакого Шайтана по ту сторону не обнаружила. Там, на удобной, чистой постели, спала дьяволица. Она дышала глубоко и безмятежно. В такой покой упадают люди, которые верят в то, что долгий их сон не может быть никем потревожен. Даже рот у ведьмы, как у простого человека, малость был приоткрыт. И точно так же, как у деревенской щеголихи любезные ей причиндалы[1], рядом с Явленою, на придвинутой до постели плоской подставке, покоилось колдовское ее ожерелье. Кроме него, налитая водой, тут же серебрилась чудной работы

[1] Причиндалы — украшения, уборы.

посудина. В ней плавали скорлупки приказного да слухового зрения...

Санька всегда была неоглядкою, а тут ее ровно подменили. Она даже сама не услыхала, с какой осторожностью двинулась до подставки...

Первым делом она нацепила на себя чертов ошейник, чтобы и ей не грозила никакая беда, затем она выбрала из воды глядельца, увязала их в край порванной юбки своей — про запас, после того отступила подальше от ведьминого сна, нацелилась на полоротую зерцалами и приказала:

— Просыпайся, паразитка!

И сразу же приказчица увидела то, чего больше всего хотелось увидеть: веки сонной дрогнули и оголили желтые зрачки во всем остальном обычных глаз.

— Ну, чо вылеживаешься?! — совсем осмелела Санька. — Поднимайся давай! Накуражилась над добрыми людьми — хватит! Мы тебя сейчас на расправу, в деревню поведем. Все расскажем! Наш народ не такой уж дурак, чтобы не понять твоего злонамерения. Он с тобой чикаться не станет...

Пелену ведьминой сонливости одним хлопком ресниц так и смахнуло с желтых зрачков. В страхе Явлена уставилась на чумазую, голопятую грозницу да и взялась вдруг терять человеческую окраску. Потом нос ее полностью завалился под кожу плоского лица, ресницы да косы Андронины развеялись в дым, тонкой ниточкой растянулись губы, на боковинах набухшей шеи зашевелились жаберные решетки...

Санька уже видела такие страхи...

Однако ведьма начала медленно подниматься с постели, растопыривая руки, начала пухтеть — пугать. Но и эти фокусы не прошли. Санька не то чтобы рассмеялась, а так — фыркнула. Нашла, дескать, чем меня взять. Тогда лысая нечисть трубою распахнула рот — собралась, видно, сказать что-то. Но в этот миг грянул такой раскат грома, что, спасибо, ноги Санькины не подкосились! Гром тут же перешел в скрежет, треск, вой, свист...

Куда там вытерпеть!

Девчонка в ошейнике своем в три голоса заорала и о ведьме забыла — спасаться понеслась...

Было похоже, что по дьявольскому логову резануло такой молнией, которая расхватила его стены на несколько частей и теперь болотная тяжесть доламывает

все остальное. Она сопит от натуги, стонет и охает, ползет во все щели, ломает преграды и вот-вот поймает Саньку за голые пятки...

Покуда голопятая на крыльях ужаса взлетала вверх, она не соображала, что же творится на самом деле, а когда увидела болото в прежнем покое, тут и вспомнила, как ведьма говорила Шайтану, что земные нервы не вынесли бы голоса ее однородцев.

Ах, вот она штука-то какая!

Это ж лысая нечисть из утробы своей поганой такую грозу выпустила. Решила ее сразить наповал. Кого? Саньку? Выдергу?! Хотя понятно: где ведьме было знать, что Санькины голопятые ноги уже не раз и не два выносили хозяйку из неминуемой беды...

Санька замолчала, обернулась на ведьму, которая со ртом трубою взбегала на сходящиеся клинья настила, велела ей строго:

— Заткнись ты, полоротая!

Ведьма захлопнула свою трубу, да, знать, не по Санькиному велению. Ей, должно быть, самой надоела ее сатанинская песня. Понятным это стало потому, что Явлена не остановилась на ее приказ. Она прямиком, через сомкнутый настил, направилась до растерянной Саньки, полная намерения овладеть своим добром. На нее больше не действовали никакие сторонние веления. И в страшной улыбке чувствовалась полная уверенность, что неволя не грозит ей. Потому и наступала она неторопко, с ленцою победителя...

Затянула сатана свое удовольствие, перемедлила...

К той поре, как дошлепать ей до края настила да протянуть к Саньке длиннопалые руки, та уже успела все для себя решить — будь, что будет! И нет, чтобы попятиться от насильницы в кусты, Санька прыгнула вперед, сшибла ведьму на площадку и... наугад, быстро-быстро, стала нажимать на самоцветы проклятого ошейника...

Ой, что тогда завязалось на болоте! Какая потеха поднялась!

Налетела на зыбуны чертова свадьба! Ветрище! Грязища! Дождище! А темнища! А вместе с туманом закрутило над топью повыдерганные с корнями кусты, деревья... Да крики в темноте, да вой нестерпимый, да хрип... Господи!

Вот натворила девка беды!

Явлену оторвало от настила и уволокло куда-то в са-

мую гущу, вцепиться не во что! И чует Санька — поднимает ее над зыбунами...

Крутануло девку над болотом, дало в бок волною шального ветра, зацепило за что-то подолом, рвануло, дальше понесло, а там и шмякнуло о тряское место. Да, слава Богу, что срослый пласт моховины только сильно спружинил, но не продрался — выдюжил. Лишь полная люлька насочилась воды и окупнуло Саньку с головой.

Да это уже разве беда?

Утро-то не октябрьское — июльское. Остуды девка никакой не подхватила. Особенно-то даже и не заметила она своей купели — задивилась на то, что над нею голубеет бестуманное небо, а где-то рядком, в знакомых камышах, покрикивает суетливый зуек. Вот он и комаршкода — волчья порода, мухатый бес — штык наперевес...

Санька ловить его не стала — просто шлепка дала. Сама села в люльке своей, заулыбалась утру, как проснулась только. Глаза протерла... а колдовских гляделец-то на месте нет! Посеяла где-то в потехе.

Это уж никуда не годится!

Тогда Санька за юбку-то за свою — хвать. Но и запас ее остался в былом. Это когда ее, видать, оторвало от зацепки. Один только ошейник на ней холодит шею...

А ведь Кумани-то? Они же все на болоте остались! Кто скажет Саньке, что с ними натворила вся эта чертопляска? Да и как ей воротиться в деревню одной?

Санька тык, тык в камушки пальцем, а они не действуют. Вот беда! Девчоночка даже заплакала.

Только чего реветь-то? Ее удача на слезу не клюет.

Поднялась. Из моховины выбралась на близкий болотный край. Взялась ожиной продираться до того места, где ночью за Шайтаном входила в зыбуны. Надо еще оберегаться, чтобы кому из деревни на глаза не попасть. Поймают теперь — убьют! А тут, как на то зло, голоса впереди.

Затаилась Санька в колючках, ждет.

А Шайтан-то ее учуял!

На то ведь и собака.

Да как лай поднял. Да в аршин от земли прыгать давай! Да волчком, да волчком...

И Володей, и Андрона, и Никиток, и сама выручательница — пока дошли до дому, нахохотались все до седьмых колик...

Что ожерелье? Да пригодилось!

Камушки из него шибко пособили и Куманям в другое место переехать, и Свиридам, ими с собою взятым, хорошо дожить, и главное, Саньке — до нее уже никогда не смогли дотянуться дурные руки.

ПАМЯТЬ ВЫДУМКИ

От земли Адом
до земли Эдем
черной бурею
пронеслась беда.
То Горыныч-Змий
прилетел грозой
до заступницы
земли Эдема,
обережницы
добродетели —
до Югоны-свет
раскрасавицы...

* * *

Чудеса многолюдья сторонятся, потому случаются в основном с теми, кто одинок да склонен перебываться в жизни выдумкой.

Мечта, ежели она здравая, она все знает. Она ведь до появления хозяина своего на свет успевает облететь весь мир, все оглядеть и все запомнить.

Готовому-то человеку только представляется, будто бы он сам что-то измышляет. Нет-нет! Это ему в часы одиночества открывается память выдумки. То, о чем она ему повествует, где-то в мироздании уже случалось. Ну, а поскольку вселенная бесконечна своей повторяемостью, то любая человеческая мечта способна образоваться наглядно. Хотя исключительная, но возможная эта редкость и воспринимается людьми как чудо.

Яся Пичуга с матерью своей — шаловатой Устенькой, до деревни Большие Кулики, что стояла на берегу таежной реки, вроде как со внешней стороны были прилеплены. Годов тому за десяток, как случиться описанной тут оказии, Ясина мать, убегши, по ее словам, от грозного супружника, закатилась с дочкою за Васю-

ганье, да только привиться до местного народу не сумела, поскольку оказала себя такою гуленою, которую прикуй до ворот — и столбы унесет. Нечистый, похоже, на ней где-то целыми неделями скакал, принуждая кидать на произвол судьбы малолетнюю дочку.

Конечно, люди стали в открытую говорить, что никакого супружника у такой шалавы не было и быть не могло. Насчет же дочки?.. Так в жизненной суете своей вряд ли мать разглядела, от кого ее поймала. Потому, видать, и получилась Яся какой-то недосиженной. Ежели она и представлялась на белом свете живою, то разве что одними только глазами.

Да уж. Глаза у нее были — две утренние звезды на чистом небе.

А все остальное? Поздергивай, казалось, лохмотья, в кои рядила дочку разгульная мать, ежели найдутся под иными голые косточки, то и слава Богу.

К тому же бедняга эта даже имечка своего настоящего произнести не могла — настолько была заиката. Иной раз до посинения заходилась. Когда кому с расспросами выпадало до нее вязаться, так не хуже было бы лютой пыткой девку пытать. Потому к ней никто лишний раз и не приставал. Потому и сама она старалась ни до кого не касаться.

— Божевольная[1], — страдали за нее бабенки да шептались от нее в стороне. — А не всучена ли Устеньке нечистым духом мертвяка с чужими глазами?!

Сносно заикаткою выдыхалось одно только слово — «я». Это «я» отдавалось ею с каким-то присвистом. Потому и стал народ называть ее Ясею.

Что там ни говорили о Ясе люди, а все жалели — не обижали. Разве что пацанье... Оно поначалу даже дразнилку придумало:

Яся, Яся, Яся, Ясь,
ты откелева взялась?
Не стелилась, не снеслась —
с того свету поднялась...

Озорники — чего с них возьмешь? Дуракам закон не писан.

Жить шаловатая Устенька наладилась в мазанке недавно умершего бобыля Бореньки, невеликий двор которого сходился задами со двором большекуликинского санника — деда Корявы. Тот, с малков в подпасках бе-

---

[1] Божевольная — глупая, юродивая.

гаючи, все покрикивал на блукавых буренок — куды тя корява понесла?! Оттого на всю жизнь и остался Корявою, хотя, заусатившись, от гурта отошел и взялся гнуть полозья.

При нем, при Коряве, держался внук — Егорка, который с рождения светленьким, навроде седеньким, удался. За что и кликали его Серебрухою. Парнишка был вихровой, но жалостливый. Когда гулявая Устенька до Больших Куликов прибилась, ему годов двенадцать уже сравнялось. Лет на пяток опередил он в годах Ясю. Вот и взялся он опекать глазастую. Драться доводилось. А когда в ней проявилось умение узоры всякие выводить, то, радуясь тому, обещался:

— Плюй ты на чепуху ерундову. Подрастай скорейча. Я от деда как только полностью перейму ремесло, да как заделаюсь знатным санником — шелков тебе накуплю, холста, бисеру... Знай красоту по узорам своим наводи...

Шить-вышивать Яся давно норовлялась, да только работа эта бабья привлекала ее постольку-поскольку. Больше тянулась она до изображения красками. Как минутку свободную выкроит, так и кидается неведомые цветы по стенам избы своей распускать, живые таки травы взращивать. К девичьим летам навострилась она столь отрадно красками владеть, что тот, кому выпадало переступать порог мазанки, оказывался как бы на лужайке посреди неведомого сада.

Для людей особо интересным было то, что, к примеру, стручок гороха, изображенный ею длиною в доброе полено, заставлял верить, что и на самом деле он таким случается. И вот еще какая заманка была в Ясином умении: каждому хотелось затаиться посреди ее сада, прислушаться — не бродит ли по-за стеною дивных посадок тот, от которого в жизни человеческой многое зависит?

Когда же деревенский люд малость попривык к Ясиным чудесам, ему одной только видимой красоты маловато сделалось.

— Благодать, конечно, несказанная, — взялись они указывать рисовальщице, — но ежели ко всему да соловушку сюда заманить — прямо-таки не жизнь, а малина бы сделалась...

— Так уж сразу и соловья подавай. Хотя бы щегла или зяблика...

Разговоры эти в зиму поднялись: какие по снегу

щеглы, какие зяблики? Одни воробьи да вороны остались.

Вот тогда и попробовала Яся сама научиться под стать любой птахе трели выводить.

Дело занялось с первыми зазимками, а уж к Рождеству заикатка такого соловья выдавала, что вконец обеспокоенная кошка начала припадать к половицам да подергивать хвостом.

Дальше — больше.

Прозванная за такие концерты Пичугою, Яся наметила себе попытаться повторить крик какого-нибудь иного живья. Начала с упомянутой кошки. И что вы думаете? Так ли замяукала, что хвостатая, с полатей сиганувши, выгнула хомутом спину и... заревела только что не тигром.

При людях случился фокус: кто засмеялся, а кому вспомнилась «мертвяка с чужими глазами» — потянуло перекреститься тайком.

Со временем Ясе придумалось еще и шум всякой непогоды освоить. В новой затее она точно так же достигла предельного сходства.

Должно быть, природа была определена ей неугомонная, потому как терпения хватило подладиться голосом и под шум речной гальки, и под наплыв тумана, и под солнечный восход. Даже свет звезды пробовался ею напеться. И ведь получалось! И все у нее выходило так, вроде бы в момент достижения цели, она сама становилась тою же, допустим, галькою или звездой.

Вот она какая штука!

Народ через Ясю понимать стал, что в мире все как есть имеет свой голос. Только уши к человеку приделаны слишком толстые...

Одним из большекуликинцев Пичугина способность казалась Божьим даром, другим — наоборот. Оно и понятно: нечистая сила в старые времена точно так же была придумана, да вот только к исполнению своих обязанностей она подходила куда как серьезней.

В одном лишь мнении сходились все насчет Пичуги — божевольная. Потому и оставалась она, как всякий непонятный человек, и одинокой, и беспомощной.

* * *

Раздымился Змий
чадом-копотью,

расщелкался Змий
огневым хвостом,
угнездился Змий
посреди небес,
располохнул пасть
окаянную,
клыкнул раз-другой —
с языка его
сошла на землю
Яга Змиевна...

* * *

Понятно, что не одним годом достигла Ися умения своего. Но оттого, что голосом вознеслась она в мир услады, сама Пичуга приглядней не сделалась. Всей и невесты из нее выросло — глаза да песни. Ну, еще доброта.

Вообще-то для человека столько иметь — об чем печаль? Но ведь нам надо не как пришлось, а чтоб сыпалось да лилось...

Однако молодость брала свое. И ежели говорить о любви, так, по сути, дружба с Егором Серебрухою и вдохнула в Ясю желание длить жизнь да во что-то еще и верить. Кого ж ей было в таком разе полюбить-то?

Надо отметить, что Егор к тому времени выдул — парняга хоть на трон, хоть в заслон! И человек из него получился некорыстный, веселый. Делу своему взялся служить отменно: такие бегунки-розвальни, такие козырки налаживал, что во дворе деда Корявы всяким новым Егоровым саням устраивались смотрины, на кои налетывали ретивые купчики-голубчики. И затевались ярые торги. Но сколь ни хороши были проданные сани, очередные из-под Егоровых рук выходили того краше.

И опять собиралась ярмарка.

А что Ися? Она как была для Егора Пичугою, так осталась. И даже те девчата, которые выкокечивались перед санником, смотрели на нее, как на забавную при ладном женихе безделушку: они даже зазывали ее на вечеринки-посиделки — заместо гармошки. А и не шла, так не больно тужили.

— Подумаешь... королева из хлева! Ну, и сиди, дура, без закваски. Все одно не раздобреешь...

Гулять с раздобревшими Серебруха гулял — в кус-

ты не прятался, но и Ясиной дружбою не пренебрегал; по душе была ему прежняя забава.

— Напой мне, Пичуга, каково живется пленнику на чужбине, — ласково прашивал он ее чуть ли не всякий день. — А теперь о том, как цыган от погони спасается...

Дед Корява беспокоиться стал:

— Обалдуй! Ты чего это с девкою игрованишь?! Она те чо? Одной только неуклюжестью выросла?! Загляни-ка ей в глаза — каково в них бездонье! Через них до любой звезды добраться — раз плюнуть... На нее сердцем, а не кичливостью глядеть надо.

— Брось метелиться, дедуня, — заверял Егор. — Мы с Ясею, что брат да сестра.

— Сестра — посреди костра... Девка горит, а ты, обалдуй, греешься...

Как-то на новые торги Егоровых саней насыпалась целая свадьба народу. Наддатчиков налетело — один другого карманистей да крикливей...

Вот задириха неспустихе и тычет:

— Куда тебе с этакой мордой в Егоровы сани? Тебе ж бегать сзади...

А неспустиха оттыкивается:

— А тебе передом — под ременным кнутом...

И разгулялся каленый спор.

В этот день возьми нечистый и принеси домой из долгого затемнения шалавую Устеньку. Узрела она во дворе соседей канитель, перемахнула через огородные прясла, оглядела Егоров товар и себе давай в сторону козырок пальцем тыкать. А сама до купцов тощей грудейкой пялится.

— Это ли сани? — допрашивает каждого. — У вас чо? — ухмыляется. — У вас деньга сорвана с пенька? Она у вас по колкам опятами растет? Вот я, — признается, — видала сани так сани! Руками Севергиных мастеров налаженные! Владычица в них безлошадно катается. А это разве сани?! Это же корыто с усами. В него и плюнуть-то зазорно.

А сама взяла и плюнула.

После до Серебрухи повернулась, оглядела его долгим взором и говорит:

— Смотри у меня!

И захохотала так ли раскоренисто, что и комары даже оцепенели.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
На Югону-свет
совой глядючи:
— Я, владычица
земли Адома,
озарение
вольна даривать,
от звезды к звезде
вольна летывать,
время за время
перекидывать...

* * *

Надо сказать, что теми временами разговор о Северге никому из жителей таежного края в диковинку не был. Народ тогда в основном промышлял лесом и случалось, конечно, терялся иной охотник либо шишкователь в смурых дебрях урмана. Бывало, что и грибница-ягодница, излишне добычливая, захаживала себя по ельникам да марям до полной потери.

Ну, а нынче? Разве нынче никто не теряется? Однако и в голову никому не приходит пенять на всякую там нечисть. В те же поры все таежные напасти сваливались на упомянутую Севергу, на владычицу какого-то якобы жизненного провала. В народе верилось, будто бы ведьма эта, время от времени, всплывала из владений своих потуземельных через Шумаркову слоть[1], вылезала на плавник[2], который на мочажине той и поныне лежит не тонет, перекидывалась черной совою, перелетала ею топь да береговую недоступность, чтобы, колдовской волею своей, полонить заблудшего в урмане человека и принаровить его к нужному ей ремеслу.

Кому-то удавалось обхитрить колдунью — к людям воротиться. Только вспомнить да рассказывать, о чем бы надо, он не мог. Так себе: полохнет память ярким лоскутом и тут же выцветет. Иного же кого Северга сама гнала в три шеи; того, кто оказывался дурнее кривой сохи. До дому, однако, не доходил такой кривосоха. Становился в тайге лешим либо кикиморой.

---

[1] **Слоть, слотина** — вязкое болото с крутыми берегами.
[2] **Плавник** — камень, плавниковый шпат.

Для избранного же владычицей человека выход из провала якобы имелся, только отворен он был совсем в иную жизнь. Где он находился, тот выход? Какая за ним судьба поджидала полонянина? Северга про то никому не докладывала.

Народ ей был необходим будто бы для того, чтобы с его подмогою творить ведьме во владениях своих какие-то секреты. Этих умозрений держались не все таежники. Некоторые полагали, что владычица, среди уводимых ею людей, подыскивала всего лишь одного способника, который не вот бы взял и создал для нее секрет, а способствовал бы открыть готовую тайну, которая не давалась ведьме Бог знает с каких времен.

Ну и вот.

Не то какой-то обидчивый лешак, досадуя на владычицу за свою испорченную жизнь, постарался перевстретить в тайге бывшего свояка да нашептать ему что почем? Не то кикимора болотная откровенничала с водяным да была подслушана кем-то случайным? Определи теперь. А только по народу, как рябь по воде, пошла и пошла нашептываться сказка о том, что Северга будто бы намерена, способностью подыскиваемого ею разумника, познать тайну Алатырь-камня.

Хотя смутно, да и теперь еще помнится таежными людьми заклинание, которое творилось стариками на случай пропажи в урмане охотного человека:

Как на море-океане
да на острове Буяне
Алатырь-камень лежит...
Без огня камень горит...
Кто камень изгложет,
тот жизнь свою помножит;
кто скрозь него пройдет,
тот сам себя найдет...

И опять же... Где тот океан? Где тот остров? Какую для себя выгоду надеялась добыть владычица жизненного провала, познавши тайну Алатырь-камня? Кто нам возьмется все это объяснить?

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
лисой глядючи:

— Пожелай и ты,
моей выучкой,
озарение
станешь даривать,
от звезды к звезде
станешь летывать,
время за время
перекидывать...

* * *

Ну ладно. Пущай, покуда, все остается как есть, а мы воротимся во двор деда Корявы.

Со слов ли, с хохоту ли шаловатой Устеньки, а вроде бы как все разом прозрели, а то наоборот — ослепли. Одним словом, напала на людей какая-то душевная слабость: ну сани, ну стоят, ничего себе — хорошие сани. Только есть ли нужда рубахи из-за этого рвать? Надо подождать, какими из-под Егоровых рук следующие козырки выпорхнут. Тогда можно будет и кошелем потрясти...

Вот по таким по гладким думам и разъехалась ярмарка. Серебруха же остатным вечером во дворе своем долго кормил резными санными боковинами да глянцевитыми полозьями прожорливый костерок. Смотрели сыздали на тот малый пожар большекуликинцы и невеселые думы свои перемалывали досадливыми языками:

— Это ему Устенька подладила — за дочкины муки.

— А так ему и надо: не пляши перед хромым...

— А ты, коза, не лезь под образа... Егор ли повинен в том, что заикатка душу свою перед ним готова расстелить?

— Губа — не дура...

Вот чего на Сибири возами наскубили, так это присловий да поговорок; что ни словцо, то копьецо.

Сладил Серебруха другие сани и опять ярмарка налетела.

— Ну, могё-ошь! Ну, ма-астер! Интерес берет поглядеть, на что ты дальше будешь способен? Вот тогда уж — по рукам...

На третьи сани какой-то хлюст глянул и говорит:

— Пожалуй, мною чудо бы это купилось, да вот купило затупилось: не по нашим дорогам царя из себя выгибать. Ты, паря, чего бы попроще изладил...

— Зачем попроще? Самокатки Севергин пущай из-

ладит. — Опять подсунулась со своим советом шалавая Устенька.— В них по любым дорогам — как по столешнице...

— Не самокатки — самолетки сотворю! — ударил кулаком в ладонь, никогда прежде не ходивший в росхристях, Егор.

— Фю-у! — только и сумелось кому-то присвистнуть в толпе на Серебрухину посулу.

А кому-то прошепталось:

— Пропал человек!

И тут в голос ударились девчата:

— Ведьма проклятая! Нарочно придумала о Северге?!

— Вконец изурочит парня!

— Ни сама ли она и есть Северга?!

— Сщас проверим. Хватай шалавую!

Сообразив, что доигралась, Устенька бежать кинулась. Да вряд ли спасли бы ее от цепких рук не столь уж быстрые ноги, кабы шум скорой расправы не покрыло Пичугино пение. И хотя даже на песню не выделил ей Создатель ни единого словечка, однако же голосом души своей сумела, смогла она донести до сознания взбудораженных людей такую истину:

Что на слово сказанное,
как на семя брошенное,
отзовется зримое,
знамое откликнется,
память первоголоса
переймет грядущее...

Поняли в тот день большекуликинцы, что искра человеческой мечты негасима. Сказанным словом она витает по умам. И не беда, что Егорово обещание не исполнится им самим. Придет в мир иной мастер. Серебрухино слово отыщет его и озаботит. И любая Северга со своими хитростями ничто против людской переимчивости, поскольку человек задумкою своей обязан только времени...

Внимали селяне Пичуге и диву давались: насколько, выходит, значим в этом безмерном мире каждый человек! И насколько он становится обобранней от неумения дослушаться до чуда того слова, которым говорит благая мечта...

Замолкла Яся, а люди, околдованные ее отповедью, занемели в желании осознать себя. Стоят, думою за-

текли. И тихо вроде, но очень внятно сказала в оцепенение шаловатая Устенька:

— Ой, доченька! Откажись лучше от Серебрухи. Не здешней теперь он жизни человек. Не наладит самолеток — в думах загинет, наладит — Северге станет нужен.

— Ну, вы подумайте! — страшнее всякой Пичугиной кошки реванула которая-то из девах. — Мы стоим тут, ухи развесили, а они сговорились да принародно хомутают Егора.

Лесом-тайгою подступила до Яси со всех сторон хула, точно, не окажись ее в деревне, всякой бы невесте по Серебрухе досталось.

— Вы поглядите на нее! Чирию некуда прилепиться, а она чего-то там ишо для парня освобождает...

— В зад дунуть — голова отвалится, а туда же...

Да уж... Языком болтать — не деньги кидать. Столь густо была осыпана Яся лихими щедротами, что с неделю, больше, разгребала она шиповатую кучу — и носа на деревню не показывала.

Однако урожаистые на дурное слово Серебрухины заступницы тем временем и до частушек довымудривались; подговорили пацанье орать на всю улицу:

Ой, слышу — сто,
переслышу — двести:
Яся косточки считает —
все ль на месте?

Заикатая милашка
в санника влюбилася —
до того дозаикалась,
аж изба свалилася...

Егору-то Серебрухе некогда было вслушиваться в экое бесстыдство. Сутками взялся он иссиживать себя, морокуя, каким ему вывертом навести на новые сани резьбу, чтобы она не только не мешала на взлете, но еще и способствовала вспенивать воздух. Из камышин, рознятых на пластины, приступил он приращивать до козырок только что не теплые крылья; точно такой же хвост скоро оказался способным, по желанию мастера, хоть парусом подняться, хоть опорой распластаться по ветру, хоть рулем послужить.

Многие из большекуликинцев уже бегали по веретью[1], что пологой горою шла вдоль берега реки, прикидывали на глазок, сколь она высока, судачили:

[1] **Веретья** — возвышенность.

— Така стремнина вскинет не только Серебрухины крылатки.

— И в простых санях, придись, не рискнул бы я с нее скатиться.

— Да-а! Соцедова безо всякой Северги в любой жизненный провал угодить — раз плюнуть.

В наступившую осеннюю непогодь заждавшиеся пацанята взялись сообщать друг дружке с крыльца на крыльцо:

— Бабка Луша сёдни обещалась, что по этой слякоти снега лягут.

— Глядеть пойдешь?

— Дурак я ли, чо ли, — не пойти.

Но не довелось, не выпало ни с дождем, ни со снегом на деревню Большие Кулики долгожданного восторга. Все, что мог, отдал Серебруха своим саням. Носовину гордую приладил в виде Индрик-зверя. По первому снегу, один, ночью, доставил крылатки на веретью, чтобы светлым утром раскинуть крылья над речной поймою — ежели не подведет ветер.

Ветер санника не подвел, да самолетики за ночь ровно припаялись до земли. А у Индрик-зверя на морде ехидная улыбка откуда-то взялась.

Хотел Егор спалить крылатки — мужики отстояли:

— Тебе от Бога — и нам немного... Ребятишки увидят, что ты красоту гробишь, подумают — и нам можно.

Так и осталась Серебрухина мечта стоять на веретье прекрасным чучелом.

На том Егор и забедовал — в думу кинулся. Все реже стал бывать в настоящих днях. Все чаще стал искать себя в ясном былом либо в темном будущем.

И стал, как говорят, наш Клим — ни лапоть, ни пим; и сделался Клим — хоть собакам кинь...

Ну, а те, которые изводились частушками, принялись нашептывать Серебрухе:

— Это безъязыкая ведьма со своей шалавой матерью загубила твою работу. Они и тебя на нет изведут.

Набрал Егор того шепоту полную голову и далось ему, что сам он к такому выводу пришел. Как-то на масляной выпил, перевалился хмельной головою через огородние прясла и давай шуметь:

— Ведьма! Перепой свою поганую песню. Не то я тебя самуё перепою...

Да. Язык — не камень. Он размашисто бьет — не отстронишься.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря соколицей:
— Я, владычица
земли Адома,
из воды могу
высекать огонь,
из огня того
своей волею
сотворять и смерть,
и дыхание...

* * *

С того дня все чаще стал переваливаться Егор через прясла хмельной головой, все чаще грозиться:

— Перепой песню!..

Кроме хулы-обиды, Яся принимала на душу еще и ту боль, которая скатывала Серебруху под гору жизни. И оттого еще лихорадило ее, что торопилась она прикинуть, как бы половчее опередить ей Егора, чтобы принять на себя окончательный его удар.

Давно бросила она разводить напевы. А ежели когда и подавала голос, тоска в нем была столь безысходной, что скотина и та впадала в беспокойство — вроде как надвигалось на небо полное затмение.

Один раз перетерпела деревня это «затмение», другой раз переморщилась, а уж в третий раз — на месте Ясиного двора только чудом пустырь не случился.

Так и скончались Пичугины песни.

А тут как-то вышла она на крылечко — глянуть, не Егор ли спьяну кличет ее? Голос послышался. Вышла, а никого нету. Зима, над которой собирался Серебруха птицею взлететь, давно минула. На дворе лето красное, заря вечерняя; комар-толкунец хоровод затеял — так и норовит всем игрищем в глаза кинуться.

Стоит Пичуга, отмахивается от комара и примечает краем глаза: тень ее, что маковицей перекинулась через огородные прясла, голову подняла. Помедлила тень и вспорхнула на жердочку черной совою.

Повела Яся головой — тень как тень, лежит как лежала.

Что за насыл?!

Не хватало еще свихнуться.

Приотвернулась Пичуга — сама косится в сторону прясел. Опять вспорхнула тень совою, на колышек уселась и давай крылом звать: иди, дескать, сюда — дело есть.

Ясе дурно сделалось: села она на ступеньку. А сова манит. Насилилась девка, поднялась, не чуя ног, пошла на зов. Перьястая же махнула крыльями и... понесло ее в сторону реки. Сама оглядывается: не отставай, дескать.

Идет Ися, и такое у нее понятие о себе, точно успела она когда-то очутиться на том свете и нет нужды бояться, поскольку два раза никому еще помирать не доводилось.

Вот и ладно.

Совушка за реку и Ися за реку, черная в тайгу и Пичуга следом, та до Шимарковой слоти и эту подгонять не надо.

Вот она и мочажина. А час поздний. Туман. Сова в туман и Ися вокруг болота не кинулась. Сошла, ровно сплыла с высокого берега. Только дивится тому, что ноги ее босые не топнут в трясине и даже охлады не чуют, вроде под нею стелется прослойка восходящего тепла. Вот он и плавник. Черная сова лупает с него глазищами, сама клювом чего-то скубит.

Прислушалась Ися.

— Алатырь-рь, Алатырь-рь, — повторяет, как спрашивает: знаешь ли ты, мол, о чем я речь веду?

Ну, а чего такого особенного могла знать Пичуга о том камне? Только и слыхала, как большекуликинские рукодельницы пели на девичниках:

Как на море-океяне
да на острове Буяне
Алатырь-камень полег...

Те слова и постаралась Пичуга оживить в уме. Перьястая же наклонила голову так, словно прислушалась к Исиному нутру.

«Нешто ей дано понимать, о чем я мыслю?» — подивилась Пичуга и давай знакомую песню дальше в себе вести:

Как летел Алатырь —
море дыбилось,

как упал Алатырь —
земля хрястнула...

Вовсе затаилась совушка. И тогда Яся попробовала взять представляемое голосом.

Вот она всею грудью выдохнула отдаленную, но оттого не менее страшную боль пораненной Земли. Совушка заклекала ответно, вроде чем горячим облили ей сердце, распахнула крылья и услыхала Яся человеческие слова, которые стали вещать ей о том, чего на девичниках она и слыхом не слыхивала:

Во лесах-долах
повалился зверь,
уравнялся пад
со вершиною,
из семи глубин
поднялась вода,
с семирядного
неба хлынула...

Трудно сказать, ведал ли в то время народ о Всемирном потопе; воспринимал ли его как наказанье Господне? Может, и ведал. Но Пичуга не стала оспаривать черную. А попыталась она домыслить совушкину вероятность. Ведь жизнь наша такова, что в ней кто ложью прав, а кто правдой лукав... Рискнула Яся представлением своим пробиться глубже услышанного. И вот что пришло ей на ум тою минутой:

Отворилася
пропасть звездная,
опустилась ночь
вековечная...

Должно быть, угодила она совушке, потому как та с клекотом подхватила:

Разгулялась стужа
вселенская,
время с небылью
побраталися...

Хорошо, ловко пела черная! Но не лучше Пичуги. Всего хватало в ее повести: и стужи, и безысходности, и того, чего никакими знаками на бумагу не перенести. Не было одного — сострадания. А уж ликование в ее голосе и вовсе казалось неуместным. И вот еще какая задача выпала Ясе: не первый раз слышала она этот голос. А где? Когда? Убей — не вспомнила бы. Перьястая же не бросала задорить Пичугу — вела былое дальше:

Сто веков заря
занималася,
сто веков Земля
возрождалася...

Тем временем Яся поспешно думала: «Кем и во имя чего было запущено в Землю Алатырь-камнем?» Этими мыслями она устремилась к тому, кого представляла вселенским распорядителем. И... вроде бы кем ответным, подсказалась ей догадка:

Истомилась Земля,
иззнобилася —
человеком Земля
разрешилася...

Совушка вскрикнула, взмахнула крыльями, сорвалась с плавника, и мохового болотного настила коснулись уже не когтистые ступища черной неясыти — спружинили чеботы дрехлявой ведьмы.

Слыхала Пичуга о неприглядности Северги, но такую нелепицу даже представить себе не могла. Не особа высокого звания, а дерганая обезьяна с глазами все той же совы, стояла перед нею. Только не эта несуразь вновь озадачила Ясю: при всей нелепости вида, в обличии ведьмы сквозило что-то невероятно знакомое... И все же не испуг — жалость окатила сердце Пичуги. Захотелось утешить вихлястую эту никчемность. Но глаза владычицы вдруг вспыхнули желтой злобою, отчего Ясе стало жарко. Но огня того Северге, должно быть, показалось мало. Она вскинула руку к плечу и... над мочажиной воспламенела странная заря.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря голубкою:
— Пожелай, и ты,
моей выучкой,
из воды начнешь
высекать огонь,
из огня, тобой
сотворенного,
создавать и смерть,
и дыхание...

* * *

Вскинула Северга раскрытую ладонь и... всякая травинка, всякий стебелек отдал в ночь собственным светом. Пичуга успела разглядеть на руке владычицы как бы впаянную запону[1], которая тут же утонула в кулаке ведьмы. Однако в глазах Яси долго еще стояла изображенная на запоне черная звезда.

Колдунья же тем временем пытала Пичугу:

— Заслужить Егорову любовь желаешь?

И сама отвечала мысленным согласием заикатки:

— Еще бы!

— Через неведомое пойдешь?

И снова ответила:

— Посылай.

— Волю мою исполнишь?

— Приказывай!

— Ну! Смотри ж у меня! — пригрозила владычица и вновь что-то знакомое в лице ее потревожило Ясю.

Но не стала она вдаваться в память, а вся ушла во внимание, поскольку Северга продолжала говорить:

— Человек всегда мечтал о вездесущности и бессмертии. А ведь он и в самом деле, постигнув умение выходить сном из тела своего, обретет способность жить вне границ простора и времени. Но это случится с ним ой как не скоро! Однако в бесконечном мире уже есть люди, для которых такое возможно. Да только я превзошла всех! Я способна владеть не одной своей жизнью, но и любой другой, была бы душа, подпавшая под мое влияние, согласна с собственным телом.

Ведьма улыбнулась с нелепой на лице ее задумчивостью, но глаза ее тут же обрели прежнюю зоркость.

— Сейчас, — сообщила она, — тело твое лежит на крыльце твоего дома. Ты же вольна пуститься в минувшую давность. Воротись обратно, познавши тайну! Доверь тайну мне и я исполню всякую твою волю.

Северга взяла Пичугу за руку и палец в палец сошлась с нею ладонью. Яся почуяла на руке своей липкий жар, который владычица сопроводила пояснением:

— Вот тебе и час, и путь, и дела суть...

С интересом глянула Пичуга на вручение: округлая серебряная тамга с черной звездой посередке представилась ее глазам. Она как бы впаялась в кожу, однако

[1] **З а п о н а — знак, тамга, бляха.**

никакого неудобства руке не доставила. Северга же, растворяясь в тумане и телом своим, и голосом, успела на три раза повторить заклинание:

Под кладень-травой,
под сурмой-водой,
в камык-вертепе,
в ледяном склепе[1]
лежит Алатырь,
молчит Алатырь.
Кому его взговорить —
тому тайну открыть...

С последним звуком ее слов затих и прочий шум. Сосны по краю болота сомкнулись, вознеслись утесами; на месте ж плавника вдруг восстал каменный тур. Чахлый по болоту ельник, а с ним и рогоза-осока пропали. Под ногами Пичуги, слегка подернутая ворсистым блином рыжеватой плесени, образовалась сквозная глубина, наполненная черным не то киселем, не то студнем.

По-прежнему чуя над собою опеку восходящей волны тепла, Яся напригляд определила, что оставайся она в своем обычном весе, пожалуй, теперь бы уже и отмучилась хлебать эту смурную соломату.

Куда ее занесло?

Может, когда-то успел уже случиться конец света? А может, волею владычицы, возродилось его начало? А то, может, Земля повернулась другой стороной, и Яся попала в какое-нибудь заморье? На остров на дикий?

С этим гаданием в голову Пичуги пришел повет, спетый ею напару с Севергой:

Как на море-океяне
да на острове Буяне
Алатырь-камень полег...

Припомнились и слова напутственного заклинания, трижды повторенного владычицей:

Под кладень-травой,
под сурмой-водой,
в камык-вертепе,
в ледяном склепе
лежит Алатырь,
молчит Алатырь...

И решила Пичуга: конец ли света наступил, воспряло ли его зарождение; этот ли ворсистый мох имела в виду Северга, когда говорила о кладень-траве; назвала

[1] Под мохом-травой, под черной водой, в каменной пещере, в ледяной могиле...

ли она черной водою болотный кисель, а каменную громаду тура вертепом — кто подтвердит? Да только надо надеяться, что все это так и есть.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря гиеною:
— Я, владычица
земли Адома,
из червя могу
мудреца взрастить,
из пропащего
греховодника
воссоздать дитя
непорочное...

* * *

Какой бы легкой ни чувствовала себя Яся, возносимая над топью восходящей волною тепла, только, выбравшись на каменную твердь, ощутила она облегчение. Однако недолгое. Валуны тура громоздились перед нею столь неприступным капищем, рядом с которым разве что создатель не осознал бы себя жужелкой. Пожалуй, что и не следовало бы ей пялиться сюда топью. Разумней было бы попробовать выбраться из провала, да наверху поискать ответа на все вопросы. Но что поделаешь, если до нашего разума — семь суток разного...

Только поправить оплошность оказалось делом непростым: из-за скальной кромки котловины всползала на небо грозовая туча. Такой оказии никогда прежде Яся не видела. Иссиня-черная, плотная, как мокрая куделя, туча тяжело култыхалась только что не на земле. Ей, видать, тяжко было стоголовым чудищем всползти над провалом. Как бы спросонья неповоротливая, оголяла она в позевоте огненные глотки свои, просаженные клыками молний, и то урчала недовольная, то взревывала громами. Словно оголодавши за время долгого сна, она настраивалась разорвать в клочки и поглотить все, что копошилось перед нею на земле.

И вдруг, невесть откуда взявшиеся, полчища серых тварей, в палец величиной, хлынули на каменное под-

ножье тура. Ясе не удалось подхватиться на какой-нибудь валун. Она лишь притиснулась к одному из них спиною. Но серая река, несмотря на поспешность, взялась обтекать ее. Даже вконец осатаневшему от страха малому подростку и тому не удавалось проскочить невидимую помеху. Его множество наскакивало на незримую стену, которая окружала Ясю, оттискивалось ею прочь, верещало и грызлось. Яся отчетливо видела каждого из многих. Она была поражена разноликостью тварей. То отмечала она свинячий пятак, венчающий вполтела вытянутый нос; то поражалась языку, вылетающему из свирепой пасти и наносящему недругу кровавые раны; то дивилась пружинистым ногам, способным одним прыжком унести своего хозяина от посягателя...

Не уставая дивиться, Пичуга не обращала внимания на то, куда изливается река серых тварей. Лишь тогда, когда несколько приотставших особей проволокли мимо животастые, посаженные скорее на загребала, чем на ноги, тела, она хватилась выследить устье. Но его не оказалось. Вся разноликая прорва истекла в прострелы каменной кладки тура. Выходило, что валуны уложены не кучею, а, скорее, образуют некий шатер. Иначе бы ни в каких расщелинах такой армии живья не разместиться.

Гроза же тем временем поднималась. Пичуга и себе собралась отыскать какой-нибудь пролаз. Но вдруг такой ли молнией полоснуло по котловине, столь щедрый грохот ломанулся в провал, что и шатер каменный дрогнул.

Яся раскинула руки, упала на один из валунов и... ее понесло вперед. Плашмя вытянулась она по настилу, который махрился под каменной укрывою вековой плесенью.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
глядя ярушкой:
— Пожелай и ты,
моей выучкой,
из червя взрастишь
проповедника,
из пропащего

греховодника
воссоздашь дитя
непорочное...

* * *

Села Пичуга, осмотрелась: над нею стрельчатым сводом сходились стены остряка. Света хватало разглядеть, что нигде никаких тварей нет. И никакая булыжина не выдвинута из каменной клади. Как была сплошная крепость, так и осталась.

Новое чудо хотя и подивило Ясю, но не настолько, чтобы сильно долго от него отходить. Оно ведь с чудесами да странностями человек способен куда как скорее сживаться, нежели с осточертевшей обыденностью. Кроме того, Пичугу беспокоила забота: сумеет ли она выбраться из этого могильника? Поднялась она, встала, дотронулась до валуна, который пропустил ее под укрыву, — камень как камень. Тогда она чуток налегла на него руками и... утонула по самый локоть. Испуганно отдалась назад — все на месте.

Для проверки Ярся повторила проделанное, затем шагнула вперед и очутилась под грозой, которая успела заполнить все небо.

Не поспеши она воротиться под укрыву, ее наверняка ухватил бы ветер, пушинкою оторвал бы от скользкой опоры и, кто знает, куда бы ее унесло...

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна,
на Югону-свет
зря волчицею:
— Я, владычица
земли Адома,
на сто дел умом
переброжена,
на века веков
перемножена,
снизошла к тебе
своей милостью...

* * *

За стенами остряка бесновалась непогода, но в полутьму Ясиного укрытия не просачивалось ни песчин-

ки, ни капельки ее исступления. Зато тишина, похоже, сбежала сюда со всей котловины да набилась под шатер столь плотно, что, казалось, продохни Яся путем, и приют ее не выдюжит — рухнет.

Но долго оставаться косной Пичуга не могла: взялась прикидывать, куда подевалась этакая пропасть разноликой твари? Нет ли где проема, в который утекла живая река?

Скоро под налетом плесени приметила она западенку, но сколь ни кружилась возле, сколь ни силилась ее поднять — только зря время провела. И тогда она вспомнила о Севергиной тамге, о словах владычицы, что вот тебе, мол, туда-сюда и час, и путь, и дела суть...

Вскинувши по-севергиному ладонь, она подумала: давай, дескать, отворяйся. И сразу же покрышка сделалась прозрачной, затем и вовсе пропала. Перед Ясею открылась округлая, серебристая площадка, посередине которой красовалась черная звезда.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Не устала я
быть коварною —
друга со другом
ложью стравливать,
рукой матери
истязать дитя...
Истомилась я,
искручинилась
жить убожливой,
неказистою...

* * *

Давно погасли над Ясиной головой всполохи молний, давно затихли раскаты грома, а ее все уносило и уносило в неведомую глубину. Когда стало казаться, что пора бы ей выскочить на другую сторону Земли, полет в слепоте замедлился, а там и вовсе наступил покой.

Вскоре забрезжила далекая заря.

Яся увидела, что она находится под сводами громадной пещеры, где закаменелые от стужи языки водопадов, в свете восходящей зари, начинают сквозить при-

чудливыми узорами; огромные купола застывших на взлете пузырей наливаются живым огнем; жемчужным блеском проявляются из темноты высокие наледи; радужным многоцветьем вспыхивают пологи сосулек...

«Не здесь ли начинается жизненный провал? — подумалось Пичуге. — В этом царстве стужи и в самом деле способно жить только снам да привидениям...»

И вдруг она остро почуяла на себе чье-то внимание. Яся резко обернулась и лицом к лицу сошлась с бедою, от которой сама было закаменела навеки. Притуманенная мириадами крохотных пузырьков, из темноты закаменелой волны рвалась ей навстречу девушка невиданной красоты. Легкое белое платье обтекало тонкое тело, протянутые вперед руки напряжены, веки сомкнуты. Однако лицо хранило такой ужас, после которого человеку вряд ли заговорить когда-нибудь спокойно. Пичуге даже показалось, что именно этот ужас, некогда пережитый красавицей, достался и ей, после чего она сделалась заикою...

И тут, как бы одобряя ее мысли, красавица кивнула головой.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Все, чему сумел
научить меня
необузданный
разум вечности,
я с готовностью
передам тебе.
Но взамен должна
ты свою красу
на мое сменить
безобразие...

* * *

Сколько бежала Яся ледяным подземельем? У кого намеревалась отыскать спасение? Да разве человек в такие минуты волен соображать? Вроде глупого мотыля летела Пичуга на свет, который все сильнее разгорался в глубине ледяной кипени. Опомнилась она тогда, когда очутилась на краю пропасти, сотворенной из расхлестнутой небывалой силою и тем же моментом стужею за-

кованной воды. Лопасти взрыва застыли на лету чашею громадного цветка, в сердцевине которого, вроде кокона, покоился белый ребристый кристалл. Основание его было надежно впаяно в вечную мерзлоту. За гранями кристалла, расписанными изнутри морозными узорами, переливалась световая метелица. Вроде бы там дышала, выпариваясь, несообразная с земным представлением жизнь...

Перед столь важной загадкой Пичуга на ледяном лепестке осознала себя малой козявкой. Но «козявка» была велика своей думою. В себе ли самой, через себя ли, Яся вновь приступила испрашивать дотошным разумом всевластного, вседержащего: кому и для чего припала нужда отложить в земные недра столь громадную личину? Какому чудищу должно вылупиться из нее? Какими переменами чревато для земной жизни предстоящее нарождение?

Такие, близкие ли к тому вопросы задавала Пичуга душевному своему непокою? Сумей теперь спросить ее. Одно понятно, не могла она в тот миг мыслить о том, какая наверху погода — слякотно или ведро. Не могла она не прикидывать, как добыть ей из «кокона» потребную Северге тайну. Не для того же снарядила ее владычица в провал, чтобы, воротясь, Пичуга доложила ей: да, мол, была-побывала, кой-чего повидала; а что видала, сказать не скажу — сама не разобралась. Да с таким ответом Северга и кикиморой не выпустит ее под ясное солнышко...

Только в том, что предстала она перед Алатырь-камнем, у Яси не было сомнения. Все приметы совпадали: и то, что бел-горюч, и что лежит-молчит. Подходящим было и то, что пелось ею да Севергой на Шумарковой слотине:

Как летел Алатырь—
море дыбилось,
как упал Алатырь —
Земля хрустнула,
из семи глубин
поднялась вода,
с семирядного
неба хлынула,
отворилася
пропасть звездная,
опустилась ночь
вековечная...

Близкой к истине была и та правда, которая излагалась в народной притче:

Как на море-океяне
да на острове Буяне
Алатырь-камень лежит,
без огня камень горит...
Кто камень изгложет,
тот жизнь свою помножит;
кто скрозь него пройдет,
тот сам себя найдет...

И не заметила Пичуга того, как, думая о притче, подала она с ледяного помоста, до возможного в камне разума, свой удивленный голос.

Ничем сразу не отозвался Алатырь. Разве что световая метелица в нем пригасла. Она как бы смутилась на бегу; и Ясе занемоглось докричаться до этого смущения. Усиливши голос, она поняла, что творит перед камнем не просто высокую музыку, а слова — внятные, нежные слова слетают с ее ожившего языка:

Отзовись, Алатырь-камень,
откройся,
ты доверь мне свою тайну
вековую,
сокровение свое
осознать дозволь —
не затем ли ты меня
заманил к себе?..

Что еще могла придумать Пичуга в своей малости?

И хотя молитва ее в стылом подземелье могла бы кому-то представиться шуршанием пойманного в коробок жука, однако счастье ожившего слова было в Ясе столь велико, что она не замечала тщеты своего старания.

Но вот голос ее переливом весеннего ветра отпорхнул от тонких сосулек, восходом зари отозвался от стылых водопадов, громады наледей откатили его от себя многоголосьем проснувшейся Земли, и... грянул, заплескался в пучине ледяного океана небывалый хорал...

За белыми гранями Алатырь-камня только что морозный свет стал наливаться изумрудной зеленью, затем в него вплелись извивы золота, которые постепенно раскалились до кумача... Скоро смена цветов утратила всякий порядок, и царство вечного покоя ожило рассыпанной радугой...

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:

— Ты пошто, краса
ненаглядная,
на мои слова
ухмыляешься?
Аль тебе зазор
по звездам летать?
Ни к чему года
перекидывать?
Без нужды творить
из воды огонь?..

* * *

А Пичуга пела.

Когда разбуженное ею многоголосье достигло своей полноты, одна из граней камня отошла медленной лопастью от серебряного ядра, выгнулась, перекрыла собою глубину ледяной чаши и верхней кромкою выстелилась перед Ясею. Та не отпрянула от приглашения — ступила на любезный помост, который тут же начал подниматься. Одновременно он прогибался пологим желобом. И вот... словно со снежной горы Пичуга заскользила с высокой лопасти к ее основанию.

В страхе разбиться о крепость серебристого предела, у нее занялся дух. Но в стене ядра успел образоваться проем, в который она и впорхнула, словно бабочка в окно. За пределом Яся угодила в седельце, мягко осевшее под ее невеликой тяжестью. Круговая стена сомкнулась, и она оказалась в пустоте глухой светелки...

Не прошло и минуты, как за стеною что-то зашелестело, запотрескивало, вроде бы кто-то неловкий плеснул водой на горячую плиту. Но скоро оказалось, что никакая не вода исходит паром, а кипит и превращается в туман сама круговая преграда комнаты...

Недолгим временем Ясю окутала такая белая слепота, в которой, казалось, потонули даже ее глаза. Однако пугать ее долгой неясностью никто, видно, не намеревался: забрезжила видимость, возникли звуки. В мареве вечерней, утренней ли зари Яся разглядела, что оказалась она в саду. Но в каком? Вот вопрос!

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:

— Али ты и тем
довольнешенька,
что в добре, как в море,
купаешься?
Что красою ты
неповторная?
Младостью своей
вековечная?
Здравием своим
неизбывная?..

* * *

Гибкий весенний лист на упругом стебле качнулся перед Ясиным лицом. Из-под него, умытое росою, выглянуло не по времени спелое соплодие — этакая снизка журавицы[1], каждая ягода которой представилась величиною с кулак младенца.

«Поди-ка с осени висит?» — подумалось Пичуге.

Но стоило ей присмотреться сквозь все еще густой туман, как она обнаружила на соседнем дереве ореховую гроздь. Зеленовато-молочные ядра, готовые вывалиться на землю, выглядывали из растрещин косматой лиловой кожуры. А вот издали показали ей аршинные язычища гороховые стручки. Они чудом удерживали в сахарных створках штук по семь горошин, которыми, высуши, можно было бы заряжать пушку...

Пичуга была готова ко всякому диву, но чтобы ожил выдуманный ею сад! Такому поверить сразу она не могла. Сколько бы она удивлялась невероятному — сказать трудно, когда бы вдруг за пологом со всех сторон обступившего ее чуда не послышались шаги. Кто-то стремительный мелькнул алым нарядом меж ветвей и стал удаляться. Он не продирался чащей, не ломал веток. Пичуга поняла, что это не зверь по зарослям рыскает, а следует торною тропою человек.

Забывши о том, какой небылью очутилась она в дивном саду, Яся заспешила выбраться на дорогу, надо было догнать уходящего, чтобы хоть немного определиться — куда она попала?

Увидевши впереди легкую алую накидку на стройной девушке, Яся забыла всякую робость и бегом припустилась догонять уходящую...

---

[1] Журавица — клюква, веснянка, красница.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Коль ответишь мне
несогласием,
я воздам тебе
одиночеством:
красота твоя
станет карою,
молодость —
тоской безысходною,
здравие —
бедой вековечною...

* * *

За великим изобилием сада вдруг да сразу открылась пустыня, уязвленная немалой впадиной, со всех сторон окруженной скалами. Два солнца висели над провалом. Одно краснощекое, привычное, теплилось в скором закате по ту сторону пропасти. Оно было смущено усталостью, но медлило уйти на покой, как бы страшась покинуть Землю на произвол небесного собрата, готового затопить мир своим черным сиянием.

Тяжко пояснить, каким светом способна сиять чернота; должно быть, имеется предел ее спелости, превысивши который начинает она отдавать себя гибельными лучами...

Еще не подпавши путем под их влияние, Пичуга ощутила смуту — какую-то стыдливую тревогу: вроде бы она явилась воровать. Захотелось спрятаться от черного догляда.

Кто знает, как бы она поступила, когда бы краснощекое светило не улыбалось ей, да полыхающая на лету накидка девушки не манила ее за собой.

Но тут хозяйка алого наряда столь решительно ступила на край обрыва, что, не успевшая догнать ее, Пичуга вскрикнула: куда ты, дескать,— упадешь! Девушка дрогнула, остановилась, помедлила, оглядевшись, и по высеченным в скале ступеням стала спускаться в провал. Она не увидела Ясю, хотя простору меж ними было не так уж и много.

«Права Северга,— подумалось Ясе.— Сном я вышла из тела своего, им и присутствую в этом мире. А кому дано видеть чужой сон?»

Не стала Яся другой раз окликать девушку, а молча последовала за нею в надежде, что со временем все объяснится само собой.

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Коль и тут ты мне
воспротивишься,
я на твой Эдем
напущу огонь,
нагоню волну,
дуну стужею
сорока миров —
все возьмется сном
и пустынею...

* * *

Следом за хозяйкой алой накидки Пичуга сошла в провал и там поняла, что снова оказалась в той самой котловине, посреди которой должен был бы громоздиться каменный тур. Но ни капища, ни покрытой плесенью черной глубины не оказалось. Под ногами покоилась твердь, и только.

Покуда Яся узнавала окрестность, хозяйка алой накидки отдалилась. Пришлось снова ее догонять. Вдруг там, где должно бы выситься остряку, отворилось окно невеликого озера, которого Пичуга странно не заметила с высоты обрыва. Озеро поражало своей чистотой. Стебли подонной травы поднимались из глубины в такой проглядности, вроде бы их только что промытыми да оглаженными выставили напоказ очень старательные русалки. Необычных видов и расцветок сновали среди лощеной зелени рыбицы. Они как бы водили замысловатый хоровод...

Девушка определила себе место у самой воды и стала лицом к закатному солнцу. Яся же затаилась поодаль...

Как только краснощекое светило коснулось отражением кромки озерного берега, девушка вскинула к плечу ладонь. Но перемен никаких не случилось, ежели не считать того, что на воду лег отблеск луча. Яся потянулась удостовериться в своей догадке и чуть было не сва-

лилась в воду. Но не знак черной звезды, впаянный в ладонь хозяйки алого наряда, поразил ее. Перед нею стояла та красавица, которая была погребена в ледяной волне...

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:
— Что ж, красавица,
на себя пеняй:
за твою ли за неуступчивость,
от твоей ли от
ненаглядности
быть душе твоей
отделенною,
чтоб в веках бродить
неприкаянно...

* * *

Словно кто со стороны подсказал Ясе, что, кинься она в новые бега, этой встречи ей все равно не избежать. Не лучше ли подождать, что будет дальше?

Но, кроме нарастающего в лице девушки отчаянья, ничего не менялось. Тогда Пичуга подумала — а не выпустить ли и ей солнечного зайчика?

Отданный от запоны, луч метнулся и заиграл на воде светлым пятнышком. Красавица заволновалась, осторожно повела свой отсвет в сторону отраженного в воде светила. Яся догадалась последовать тому...

Когда оба луча слились в лике заходящего солнца, озеро неожиданно высохло: вода в нем оказалась всего лишь игрою света. Только что колыхавшиеся стебли водорослей выстелились по дну мозаичным изображением, а рыбицы прилипли до узорчатого настила дивными картинками. Однако и эта явность, стоило солнцу закатиться, потускнела и пропала. При озарении же черного света дно озера и вовсе исчезло. Взамен его развергся широченный колодец...

* * *

Взговорилася
Яга Змиевна:

— Ей, душе твоей
неприкаянной,
сотни сотен раз,
через сотню лет,
навещать тебя
в живой небыли;
соглашать тебя,
угодивши мне,
дать ей маятной
отпущение...

* * *

Из кромешной тьмы колодца, на две трети видимой глубины, медленно поднялась в темно-синем блеске островерхая башня. Маковица ее столь же неторопливо раскрыла огромный огненный зев и выпустила из нутра своего тотчас узнанный Пичугою Алатырь-камень. На этот раз камень не стал дожидаться голоса, и свет его морозный не стал рассыпаться радугой. Наоборот. Волны метелицы взялись быстро перемежаться темными прорывами, которые множились, покуда напрочь не заполнили собою всю начальную белизну.

Накатила страшная ночь, в которой проглядывалось все до последней мелочи. Но проглядывалось так, словно с уходом красного солнца черное принялось вытягивать забранный Землею дневной свет обратно. Как бы вымерзая, он обтекал мерцанием каждую встречную грань, каждый излом, чем и обнаруживал в темноте всякое явление.

Это марево скоро выявило на середине Алатырь-камня широкий блин подставы, на которой обрисовалось то, что можно было бы назвать царицею, не будь владычица...

Одним словом, в урмане, среди Шумарковой слоти, Северга не показалась Пичуге столь негодящей. Может, в сравнении с хозяйкою алого наряда так изрядно проигрывала она, только ведьмою на болоте владычица глядела куда как сноснее, нежели теперешней государыней.

Первые же слова, коими она разрешилась, донесли до Ясиных ушей торжество ее победы.

— А-а-а! — в клокотании скорого веселья выпорхнуло из колодца.— Явилась?! То-то же...

Пичуга, принявши на себя злой восторг, собралась

было пояснить в глубину, что она и не настраивалась увиливать от обещанного. Да опередил ее горестный вздох красавицы, после которого послышался чистый голос:

— Явилась.

— Все-таки надумала меняться?!

— Не меняться — смерти просить пришла я.

— Опять за старое?! — загремела глубина и отдала шипением.— Да ежели ты и умудришься когда умереть, я тебя из праха подниму! Но чтобы не было мне лишней заботы, отныне и до срока телу твоему хранить для меня красоту свою, будучи ввергнутым в живое небытие. А душе твоей отторгнутой в вечных муках скитаться по чужим судьбам. И являться ей перед телом своим в столетие раз. Через стенания её и жалобы красота твоя покорится мне.

— Вряд ли,— отвечала красавица.— Покуда на мне эта накидка, и ее мольбы не дойдут до меня, и ты, стоит только прикоснуться ко мне — развеешься в небыль ночным кошмаром. И тогда я вернусь в жизнь сама собой.

С этими словами девушка подалась вперед. Ясся машинально кинулась удержать ее на краю колодца, но только алая накидка осталась у нее в руках...

Страшным хохотом разразилась Северга. Земля разверзлась от его раската. Из глубины вскипела вода. Она успела подхватить красавицу, вскинуть, как бы желая показать Ясе тот самый ужас, который она уже видела на лице ее, чтобы затем поглотить несчастную. Черное солнце вдруг дохнуло с неба такою стужею, что даже Пичуга, окутанная восходящим теплом, почуяла ее жестокость. Волна, уже тяжелая, захватила оторопевшую Ясю, понесла куда-то, где вытолкнула из себя и закаменела на лету. В ее толще, притуманенной мириадами пузырьков, сразу обрисовалось тело красавицы.

* * *

Разразилась тут
Яга Змиевна
сокрушительным
смехом-хохотом.
Ей Горыныч Змий
отокликнулся...
От того ли смеха
раскатного
раздалась земля,

море вспенилось,
накатила стынь
сорока миров...

* * *

И на этот раз Пичуга вытерпела увидеть: девичье лицо ожило, тяжкий вздох пронесся по ледяному подземелью. Стылые пределы отозвались тихим звоном, в котором услыхалось:

— Душа моя! Ты полюбила земного человека. Передай Северге: ради твоей высокой любви я уступаю ей...

«Что же это?! — подумалось Ясе.— Из-за того, чтобы ведьме стать красавицей, Егору придется полюбить дерганую обезьяну?»

— Не-ет,— прошептала она.— Нет! — крикнула.— Никогда! Лучше я тут останусь... навеки...

* * *

По сей день тот смех
лихорадостный
по горам-долам
катит грозами;
по сей день красе
очарованной
от бессмертия
избавленья нет;
по сей день душе
неприкаянной
нет ни жизни,
ни погребения...

* * *

Ну, а в деревне Большие Кулики смута. Казалось бы, где уж там, а вот тебе на: шаловатая Устенька с ума съехала. Дочка-то ее, Яся, не захотела мириться с дурной судьбою и отравилась. Дед Корней видел из оконца, как вышла она на крылечко, попрощалась с белым светом, и... нет ее.

Устенька в это время где-то моталась. Бабы успели и омыть Пичугу и в саван обрядить. Тут и шалавая мать налетела. Всех повыгоняла из хаты и затворилась наедине с покойницей. И вот уж как трое суток Пичуга земле не предана. Стучали, вразумляли — не отзывает-

ся Устенька. И ни стону, ни причету... Спятила! Все верно: и для Жучки кутя — родней царского дитя...

Ну вот... Люди в деревне были не такие, чтобы уж вовсе — полено с дубиною. Которые совестливые, те взмучились своей виной: угробили певунью! Которые попроще устроены, те кинулись виноватого искать.

Нашли, конешно,— Серебруху Егора.

— Ышь ты,— накинулись,— летатель! Завихрил убогой головушку...

— Долетался, придурок самоделошный...

И взялись парня костерить — кто во что горазд. Ведь попранному царю всякий каин — хозяин...

Но не нападки односелов главной мукою сказались на Серебрухе. С уходом Пичуги перед ним всею наготой открылся тот предел, об который, в падении своем, ему предстояло расшибиться. Тут и опомнился Егор. Три ночи знобило его, на четвертую встал — поднялся, пошел и стукнул в соседнее оконце.

— Тетка Устинья,— позвал,— отвори. Дай мне рядом с Ясею помереть.

А ему как бы ответно:

— Не-ет! Никогда...

И еще чего-то прибавилось — не разобрал. Только Серебруха и по двум словам понял, что не Устенька ему ответила — молодой голос отозвался.

Силы небесные! Откуда взялась в нем ломовая крепость? Даже не разбегался, но дверь под его натиском располохнулась, будто на живую нитку прихваченная.

Влетел он в избу, а темнотища! Только парень на этот раз сердцем смотрел: вконец, видно, обезумевшая Устенька дочку-то... подушкой прикинула... Пичуга ногами еще подергивает, а голоса уже не подает.

Тем временем дома дед Корява внука хватился. Сообразил, куда тот мог ночью отправиться. Соседей поднял: свехнутые-то они ой как могутны. Однако Серебруха сам управился — спеленал Устеньку. Когда подмога подоспела, уже он, с Ясею на руках, из хаты вышел. И сразу вокруг них поднялся тихий галдеж:

— Видать, не дотравилась, бедолага...

— Вот спасибо-то Устеньке: не то похоронили бы девку живьем...

Доставил Егор Пичугу домой. Ночь лунная, теплая. В избу не понес — на подосланное сено во дворе опустил. Только теперь всеми обратилось внимание на то, что поверх савана рдеет на ней алая хламида.

— Устенька, видно, донюшку свою обрядила,— решилось людьми и ими же отозвалось.— Душа-то хоть и шалавая, а все материнская...

Пичуга на тех словах глаза отворила. Увидела народ — села порывисто. На Егоре взор остановила.

— Где Северга? — спросила.

Серебруха не понял:

— Кто?

— Не мать она мне! Ведьма!

Сразу-то народ не сумел толком принять ее слова, а всё головы в сторону Устенькиной хаты поворотил.

Ну, а ведьма и есть ведьма: она уже умудрилась выпутаться из Егоровых тенет...

Не больно-то прытко бегала Северга, но до веретьи успела первой доскакать. Там она впрыгнула в Егоровы крылатки и... ожили они под владычицей! Развернулись крылатки, на ловцов двинулись. Те — врассыпную, а ведьма в хохот... Одна только Яся не растерялась. Сорвала с себя накидку, махнула ею...

До-олго помнили большекуликинцы, каким ярым огнем полохнула алая накрыва: Серебрухины крылатки под облака поднялись, готовы были за тайгою скрыться, а пламя над ними все веселилось. Когда же зарево погасло в далеком далеке, на оторопевших людей прям-таки с неба спустился злой шепот:

— Я еще вернусь!

Легко было понять, кому грозила владычица. Все посмотрели на Ясю. Только вместо Пичуги увидел народ такую ли раскрасавицу, какой и придумать нельзя...

* * *

Жить в Больших Куликах молодые не остались — отселились в тайгу, за Шумаркову слоть. Пичуга, вишь ли, боялась, как бы Северга угрозы своей не поторопилась исполнить, да не досталось бы через нее и всей деревне. Старые люди сказывали: от Егоровой с Пичугою любви со временем целый народ образовался, которого таежники за красоту чудью прозвали. Позднее эта самая чудь испугалась якобы нашествия Ермака Тимофеевича, ушла под землю да и погребла себя заживо. Но ежели подумать, то и так рассудить можно: Ермак тут ни при чем. Северга ее спугнула. Шибко верила та чудь в Алатырь-камень: вот и ушла через него в неведомую жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

ТАЕЖНАЯ КЛАДОВАЯ

ОНЕГИНА ЗВЕЗДА

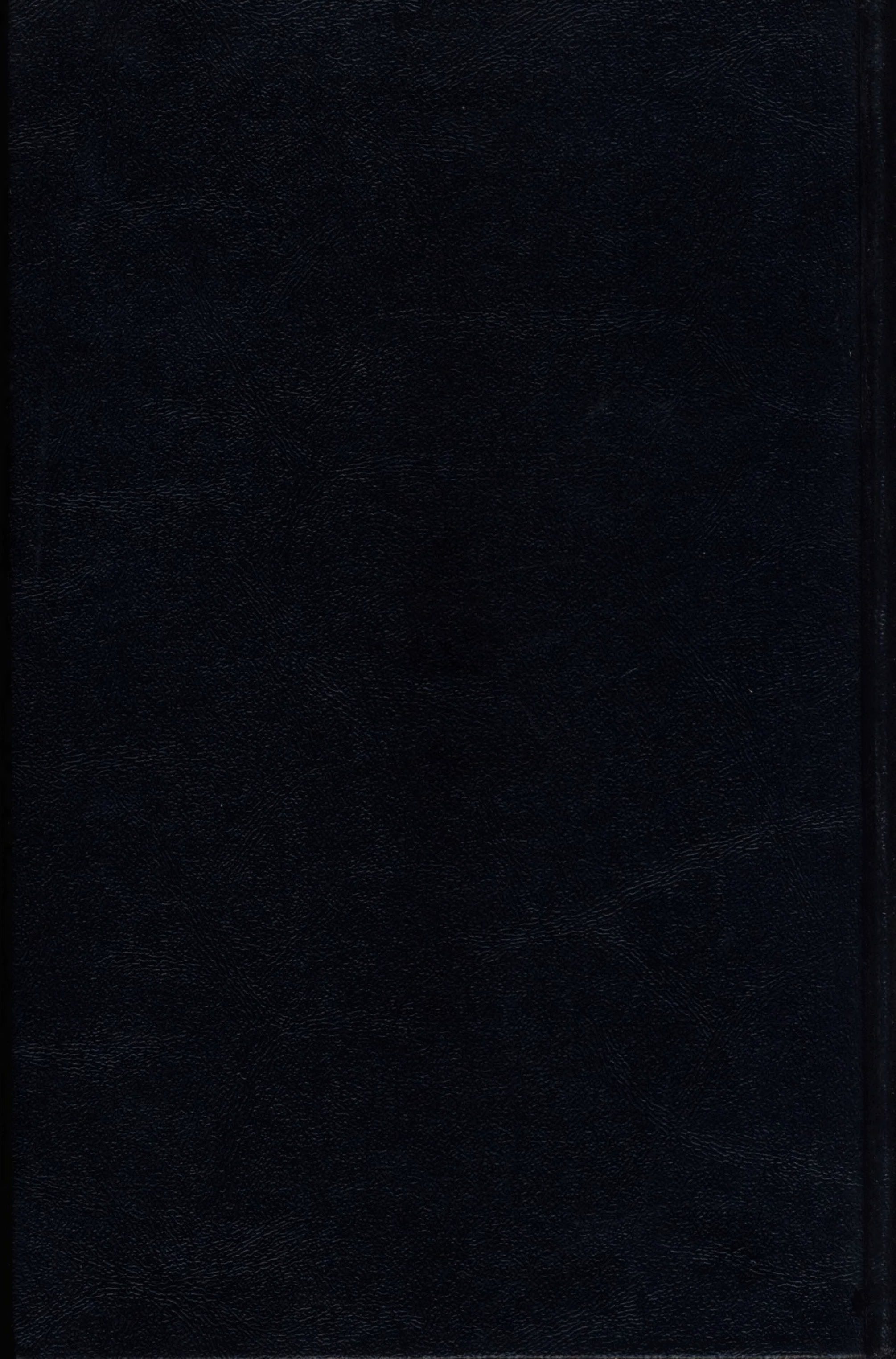
Пьянкова Таисья Ефимовна

СИБИРСКИЕ СКАЗЫ

Главный редактор *В. П. Забагонский*
Художник *А. А. Заплавный*
Технический редактор *Л. А. Польщикова*
Корректор *Т. Ю. Сенокосова*

Сдано в набор 16.06.93. Подписано в печать 31.08.93. Формат 84×108 1/32. Бумага книжная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. + вкл. 0,84. Тираж 50.000 экз. Заказ № 126.

Фирма «Тимур», г. Новосибирск, ул. Журинская, 14.
Набрано и отпечатано в издательско-полиграфическом предприятии «Советская Сибирь», 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.



СИБИРСКИЕ СКАЗЫ